

ЖЕОБЪИ МТДР

N *МТДР* Y

(6)



1994

|| 6 ||

ЖЕОБЪИ МТДР

|| 1994 ||

НОВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ И ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ

Издается с января 1925 г.

№ 6(830)

Июнь, 1994 г.

УЧРЕДИТЕЛИ:

РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «НОВЫЙ МИР», АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО «ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ „АРМАН”»,
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОТКРЫТОГО ТИПА
«БИОТЕХНОЛОГИЯ», АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«БАНК „САНКТ-ПЕТЕРБУРГ”»

СОДЕРЖАНИЕ

ЕВГЕНИЙ РЕЙН — Сапожок. Из книги итальянских стихов	3
ВАЛЕРИЙ ПИСКУНОВ — Свои козыри. Записки наемника	15
ЕВГ. ХРАМОВ — Рисунок пером, стихи	54
ИНГА ПЕТКЕВИЧ — Свободное падение. Главы из книги	56
МИХАИЛ СИНЕЛЬНИКОВ — Ходил пароход, стихи	98
АНДРЕЙ СЕРГЕЕВ — Изгнание бесов, рассказы	100

ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

Д. С. ЛИХАЧЕВ — Нельзя уйти от самих себя... Историческое само- сознание и культура России	113
---	-----

ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ

Б. ЕКИМОВ — В дороге. Продолжение	121
-----------------------------------	-----

ПУБЛИЦИСТИКА

ЮЛИЯ ЛАТЫНИНА — Демократия и свобода	149
--------------------------------------	-----

ОТКЛИКИ И КОММЕНТАРИИ

А. В. — «Соцреализм — культура мутагенная...». Новое исследование тоталитарной культуры	166
АНДРЕЙ НОВИКОВ — Фашизм как форма некрофилии	168

ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

НЕИЗВЕСТНЫЙ МЕНДЕЛЕЕВ. Публикация и предисловие И. Мо- чалова	175
ОЛЬГА МУРАВЬЕВА — «Вражды бессмысленной позор...». Ода «Кле- ветникам России» в оценках современников	198

(См. на обороте)

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

В МИРЕ ИСКУССТВА

- ТАТЬЯНА ЧЕРЕДНИЧЕНКО — Музыкальные увеселения: культура радости вчера и завтра 205

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 218

- В. Камянов. Остановиться, оглянуться...
Павел Басинский. Недуг Дмитрия Голубкова.
Анатолий Кузнецов. «Узрение существа музыки при посредстве естества женского и безумия артистического...».
Е. Ознобкина. Одинокий картезианец.
А. Руткевич. «Нить законности» или «лезвие меча»?
Т. Бушуева. Между двух зол.

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

- СЕРГЕЙ БОЧАРОВ — О чтении Пушкина 238
МАРИЯ БЕЛКИНА — По поводу «одной версии» 245

КОРОТКО О КНИГАХ:

- Сергей Костырко. — I. Шота Иаташвили. Больной город. Повесть. II. Видманте Ясукайтите. Голубка, которая ждет. Повесть. III. Александр Чуманов. Дискотека. ♦
Андрей Василевский. — Александр Проханов. Последний солдат империи. Роман. ♦
А. В. — Егор Радов. Якутия. ♦
Вольфик Небрезгливых. — Владимир Сорокин. Месяц в Дахау. Поэма в прозе 246

ЗАРУБЕЖНАЯ КНИГА О РОССИИ:

- Александр Носов. — Лора Энгельстайн. Ключи счастья. Секс и поиски современности в русском fin-de-siecle 252

- КНИЖНАЯ ПОЛКА (3) 254

- SUMMARY 256

Господа зарубежные читатели!

Подписывайтесь на «НОВЫЙ МИР» в германской фирме «КУБОН УНД ЗАГНЕР». «КУБОН УНД ЗАГНЕР» — корректность, точность, ПОРЯДОЧНОСТЬ — везде: в Европе, Америке, Японии, на Ближнем Востоке. Эти качества врожденные и проявляются одинаково во всех частях света.

**ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА «НОВЫЙ МИР»
У «КУБОН УНД ЗАГНЕР»**

Kubon & Sagner, Postfach 340108 D 8000 München 34 Germany
Tel. (089) 522027. Telex: 5216711 kusa d

ЕВГЕНИЙ РЕЙН

*

САПОЖОК

Из книги итальянских стихов

Выставка Модильяни

На этой выставке пленительной
За цикламеном на стене,
Преодолев падеж винительный,
Я Вас увидел в стороне.

Какие ню, какие линии,
И так же профиль горбонос.
Как обольстительно невинны Вы
Средь прочих монпарнасских поз.

Вот в эти туфли летчик Блерио
Совал письмо для randevu.
Окончено мое неверие,
Все это было наяву.

И кубистические дикости,
И пьянство в положенье риз,
И никогда уже не выскрести
Из века лучший Ваш девиз.

И здесь вдыхая Адриатику,
Зрю у палаццо на торце...
Но ту же видел я геральдику
На шереметевском дворце.

Я видел это же величие,
Почти египетский покой.
Когда-то нищею Фелицею
Вы помахали мне рукой.

Тогда, тогда на Красной Коннице
И на Ордынке ввечеру...
Но все, что знаю, все, что помнится,
Я расскажу, когда умру.

Нет ни побед, ни поражения,
А только очерк и овал
На облаках Преображения,
Где Моди Вас нарисовал.

Продуктовый рынок во Флоренции

А. Эппелю.

Двускатный павильон
 Крупней, чем Нотр-Дам,
 Я за тебя гроша,
 По совести, не дам.
 Поскольку я глодал
 Блокадный хлеб зимы,
 А на тебя ушли
 Все души и умы.
 Вот миллион колбас.
 Его Лаокоон,
 Вот колбаса — тритон,
 Вот колбаса — Пифон.
 Вот альпы Потрохов,
 Вот Печени монблан.
 Кабан лежит таков,
 Каков лежит баран.
 Вот заяц во хмелю,
 Вот куропатка фри,
 И я себя молю:
 «Смотри и не смотри!»
 Вот диски всех сыров
 Забросил дискобол,
 Один, как смерть, суров,
 Другой, как жизнь, тяжел.
 Спагетти протянуть
 Отсюда на луну
 Такие, как сейчас,
 И те, что в старину.
 В середке черный склад,
 Лежит там шоколад,
 Будь проклят и забыт,
 Но видеть очень рад.
 Вот тысяча капуст —
 Лепечут листья уст,
 Когда-то я учил
 Ваш лепет наизусть.
 Собрание земляник.
 Зачем я к ним приник?
 Их узнает всегда
 Рязанский мой язык.
 А вот и алкоголь,
 Сказать тебе позволь,
 Что это ты меня
 Натаскивал на роль.
 Привет тебе, коньяк!
 Всегда и всюду твой,
 И чачи не дурак
 Был выпить, молодой.
 А что вот это там,
 Заплатим пополам.
 Стакан — три тыщи лир.
 «Спуманте». Мандельштам
 Ну что же? Ну, привет,
 Великая Жратва.
 И как мне не понять
 Великого Жлобства!

Взгляни на мой живот
И покосись в карман.
Давай, давай, давай
Ударим по рукам.
Ты остаешься здесь.
А я опять туда,
Где нету ничего,
Ни крошки, ни следа.
Где бедный пирожок —
Святитель и пророк.
Но погоди, жратва,
И наш наступит срок.
Под русским топором,
В намыленной петле
И за пустым столом
На праведной земле
И мы нальем стопарь,
Надкусим огурец.
И полный наш словарь
Закроем наконец.
Мы скажем: «Наливай!»
И крикнем: «Дайте хлеб!»
А ну давай, давай —
Не то могила, склеп!
Мы вытащим тогда
Из голенища нож.
«Корми, а если нет,
То никого не трожь».
Корми, корми, корми!
А нет, так, черт возьми,
Мы станем наконец
Волками и людьми.

Ноябрь 93. Италия.

Рынок подержанных вещей в Риме

А. Глезеру.

Туда идет один автобус сто шестой,
И сорок пять минут ты в тесноте постой.
Зато — какой товар, какая красота!
Ушанку продают из римского кота,
Пижаму с мертвеца, солдатские штаны,
Они во всех углах, что Пифагор, равны.
Журнал, где голый зад и тот крутой фасад,
Который увлекал меня сто лет назад.
Повсюду дуче сам, не верю я глазам:
«Бенито, наконец я здесь, но ты-то там!»
Вот русский продает отцовы ордена
И говорит мне: «Друг, Кремлю теперь хана!
Сказал мне человек в таверне «Колизей»,
Что Ельцина купил коммерческий еврей».
Мадонны и божки и будды без башки,
Компартии былой линялые флажки.
Караты в чугуне, Веласкесы в говне
И в этой стороне, и в этой стороне.
Вот римский сапожок Траяновых времен,
А вот и скарабей, а вот и фараон.

Тебя нельзя пройти, ты долог, что Китай,
 Послушай, погоди, мне что-нибудь продай
 Бауту и судьбу, подшивку «На посту».
 И поднимуся я в такую высоту,
 Откуда видно мне до Лиговки моей.
 Вы просто берега двух слившихся морей!
 Я все с себя продам и все себе куплю,
 Поскольку ничего на свете не люблю,
 А только этот хлам, позорище веков.
 Ну что поделать, я воистину таков!
 Мне нечего ценить и некого жалеть,
 Чуть-чуть повременить и вовсе ошалеть —
 Разрушить этот мир, раскокать в пыль сортир,
 О, тлен, сегодня ты — единственный кумир.
 Ты правишь и зовешь, диктуешь и паришь,
 Ты — Запад и Восток, ты — Рим и ты — Париж.
 Ты вышел из могил, покинул ты курган,
 Мы за тобой идем и по твоим кругам.
 С тобою ночью спим, а днем тебе кадим,
 И ты у наших ног, но ты наш господин.
 Прощай, Великий Тлен у Тибра на камнях,
 Которые давно уже Великий Прах.
 Прощай, не поминай, я твой Великий Раб,
 И это ничего, что я бываю слаб.
 Я вечен, словно ты, мы одного гнезда,
 И надо мной всегда стоит твоя звезда.

Ноябрь 93. Италия.

Прощание с Флоренцией

Прощай, и если навсегда,
 То навсегда прощай.
 Теперь уже свое лицо
 Ко мне не обращай.
 Не поворачивай дворцов
 На узких площадях,
 Не прячь сокровища свои,
 Твой тлен, и пыль, и прах.
 Прощайте, крепкие мосты
 И Арно желтый ил,
 На этих набережных я
 Полсвета исходил.
 Витрины страшные твои,
 Где пьются карат...
 Пускай они в последний раз
 Мне в спину поглядят.
 И Боттичелли, ты прощай,
 Храни свое гнильцо.
 Ты вовремя мне показал
 Курносое лицо.
 Теперь я знаю, как мне быть,
 Кого во всем винить.
 Спасибо, Сандро, подсобил,
 Бедняге подал нить.
 Прощай, мой кэт,
 Прощай, мой дог,
 Хозяйка Маргарит.
 Я вам поднадоел чуток.

Кто знает — тот молчит
 Прощай, мой дом, где кипарис
 И Аполлонов лавр.
 Прощай, мой двор, где прожил я
 Среди людей и лар.
 Прощай, Тоскана, но поверь —
 В Париже и в Москве
 Я буду твой и только твой
 И по тебе в тоске.
 Ни Лондон и ни Петербург
 Тебя не заменят.
 Я буду ждать — а может, вдруг
 Ты позовешь назад,
 Ты позовешь меня во сне,
 Как Медичи, сильна.
 И я увижу на стене
 Иные письма.
 Там будет черный силуэт,
 Там будет тонкий крест.
 Я променяю Моссовет
 И всех своих невест
 На то, чтобы опять пройти
 По улицам твоим.
 Кто знает, тот всегда молчит,
 Мы знаем и молчим.

Кошки на развалинах древнего Рима

А. Монлизан.

Привет вам, милые, серьезные создания.
 Гляжу на вас я затая дыханье.
 На ваши явные и тайные повадки,
 Пока вы в Риме, в этом Риме все в порядке.
 Я побывал в столице вашей — Колизее,
 На вас поболее, чем на него, глаза.
 На ваши мордочки, и хвостики, и лапки,
 Пока вы в Риме, в этом Риме все в порядке.
 Зачем глядите вы темно и безразлично,
 Зачем кричите вы так тихо, симпатично,
 Зачем живете вы в подвалах Колизея,
 Где тигры ели христианского еврея,
 Где гладиаторы вооружались к бою?
 И что вообще являете собою?
 Да, вы хозяйева, а мы — дурные мыши,
 Что притаились на минуту в этой нише.
 Но выдаем себя и суетой и дурью
 На повороте к мировому бескультурью.
 Здесь на развалинах мы временно пируем,
 Пятнаем вечность нашим смачным поцелуем,
 Возводим грубые заводы и коробки,
 Ждем от Всевышнего дешевой перековки.
 А вы не то, и ваша область — время,
 Вы разобрались в этой жуткой теореме,
 Вот потому у вас зрачки что хронос,
 Но это только мелкая подробность.
 Когда-то вы достойно правили Египтом
 И фараон был вашим ставленником гибким,
 Ну а потом вы разбрелись по свету,

Но вы не выдали ни одного секрета.
 И вот теперь столица ваша в Риме,
 Где маска прошлого лежит в суровом гриме.
 Вы наблюдаете сквозь прорезь этой маски
 Все наши глупости, пороки и гримаски.
 Вот я принес вам итальянские сосиски.
 Молитесь за меня, родные киски,
 Тому, кто создал Рим, Россию и Египет,
 Чей профиль на монете четко выбит.
 Но он не виден дуракам и негодяям,
 И мы монету эту ищем и теряем —
 И снова ищем и найти не можем,
 Но все же некогда ее в карман положим.
 Но это будет после нашей жизни
 В том вечном Риме, истинной отчизне.

У Тёрмини

За вокзалом в закатном кармине
 Я сидел, опрокинувши джус.
 Никакой ностальгии в помине,
 О проклятый Советский Союз!
 Несусветные мотоциклеты
 Пролетали безумной стрелой,
 И фонтаны плясали балеты,
 И цыгане бродили толпой.
 И подседа ко мне незнакомка,
 Попросив сигарету мою,
 И потом мне сказала негромко:
 «Come home, comrade, I love you».
 Ну конечно, она проститутка,
 Ну конечно, вокзал и т. д.
 Но молчание было преступно,
 Хоть и было мне не по себе.
 Почему, почему, почему же
 Был в словах ее явный укор,
 И она, меня локтем толкнувши,
 Повторила: «Решайте, синьор!»?
 Почему не рожден я отпетым,
 Авантюрным, безумным, лихим,
 Почему не рожден я поэтом,
 Пребываю огрызком сухим?
 Я несчастлив с законной женою,
 Как последний зрачок, одиночек,
 Я не знаю, что будет со мною
 Через час, через этот денек.
 Лет семнадцати, с легким загаром,
 Мини-юбка, наколка, духи.
 Почему не рожден я завгаром,
 Управдомом людской чепухи?
 Даже доллары преют в кармане,
 Нету дела на сутки вперед.
 И известно мне точно заранее —
 Жизнь моя безответно пройдет.
 Вот единственный друг на сегодня.
 Боже мой — как она хороша!
 И назойлива воля Господня,
 И свободна сегодня душа.
 «Мерседесы» спешили и «ланчи»,

Зажигались неона огни,
 И, мечтая о вечном реванше,
 Мы сидели в ограде одни.
 И она, затянувшись «Мальборо»,
 Наклонилась ко мне через стол
 И сказала мне кратко и скоро
 Непонятный латинский глагол.
 Я погладил бретелек полоски
 И печально промолвил ответ
 Почему-то зачем-то по-русски:
 «Что поделаешь? Нет — значит, нет!»

Утреннее размышление в кафе «Греко»

Бывают странные случайности —
 Даю Вам слово или зуб —
 Я забежал сюда по крайности,
 Поскольку был предельно туп.
 Хотелось как-нибудь позавтракать,
 Уж полдень бил в колокола.
 Моя яичница да здравствует!
 Вошел — была и не была!
 И вот, рассевшись на диванчике,
 Я с удивленьем узнаю,
 Что итальянские обманщики
 Не уважают плоть мою.
 Тут только кофе с алкоголями,
 Да сэндвичи, да dolce vita,
 Еще пирожные, которыми
 Мне в Риме завтракать обидно.
 И я хотел уже отчаливать
 И поискать чего попроще,
 Но аппетит вопил отчаянно:
 Кто ищет — не всегда обрящет!
 И заказал я что-то глупое
 И поглядел на эти стены,
 А дорогое и безлюдное
 Кафе пустело постепенно.
 И, закусив какой-то курицей,
 Положенную на горбушку,
 Уставил взор, красот взыскующий,
 Ширяющий на всю катушку.
 И надо мной меж ламбрекенами
 Висела в рамочке страница,
 Которой бы аборигенам бы
 Всех больше надо бы гордиться.
 И вмиг узнал я почерк Гоголя
 Про подлецов и департамент
 И завитушки те, что около,
 Пера гусиного орнамент.
 И эти яти, эти ижицы
 И росчерк гениально-острый,
 Как флот, что по проливу движется
 В Страну Великого Господства.
 Вот здесь, за этими диванами,
 Как папуасы и разини,
 Они и нежились с Ивановым
 И говорили о России.
 Тогда холмы сникали римские,

Бледнели папы в Ватикане,
 Ее просторы исполинские
 В кафе сивухой затекали.
 Сюда входили люди лютые,
 И нарастал здесь гомон русский,
 Пил граппу Иоанн с Малютою,
 «Карвуазье» Филипп и Курбский.
 Кто обедался кремом приторным,
 Кто падал головой об столик,
 Пророки, каторгой обритые,
 Лежали навзничь возле стоек.
 Один сидел, ликер заглатывая,
 Единственный был в равновесье,
 Все время на брегет поглядывая,
 Поскольку собирался к мессе.
 А в глубине, гуляя бедненько,
 Где эмиграция припухла,
 Мицкевич ждал себе соперника
 Из ледяного Петербурга.
 Вдруг кто-то подошел панически
 И протянул ко мне бумагу,
 И я, безумный, но практический,
 Всю сразу потерял отвагу.
 Был этот счет исчислен лирами
 И должен быть оплачен лирой,
 И я его в досаде выронил
 Рукой безденежной и сирой,
 Поскольку я проел в безумии
 Штаны себе, жене костюмчик.
 И я вздохнул с такою думою:
 «Куда ты делся, мой подстрочник?»
 Ну что ж, судьбы не изнасилуешь,
 Она гуляет не впервые.
 Давайте, Николай Васильевич,
 Оставим вместе чаевые.

Морской музей в Венеции

Итальянский торпедный катер,
 Год выпуска тридцать девятый,
 Бубновый туз на борту
 Под именем, флагом и датой.
 Праздничная гондола,
 На которой плавал Отелло,
 Налево
 «Буцентавр» — золотая мадонна
 И крылатый лев на носу, листающий книгу.
 Галера, которой впору перевозить квадригу.
 Далее водолаз. Жизнь не задалась,
 Если в таком скафандре, скажут ему: «Аванти!»
 Еще один прогон — яхта класса «дракон».
 Все они в этой гавани,
 Окончено плаванье.
 Нет адмирала — все задремало.
 И даже привратник глух,
 На лацканах пух.
 Требуется билеты, но пускает и так,
 Простак.
 А рядом плещет лагуна,

Стихи, начатые в церкви *Santa Maria della Saluta**Матери.*

Разбуди меня ночью в четыре часа
 И скажи, что дурная прошла полоса.
 И воскресный рассвет как в церковном окне
 Пролетит по паркету к затемненной стене.
 И под утлый огонь той последней зари
 Все, что знаешь, о будущем мне говори.
 Глядя в купол на роспись Его торжества,
 Я тебе обещаю — ты будешь жива.
 Нет ни жизни, ни смерти, ни меня, ни тебя,
 Только свечи горят в глубине октября,
 И архангел пикирует, как «мессершмитт»,
 И твой голос со мной до утра говорит.
 До свиданья, молись за себя, за меня,
 Эти стены не выстоят, нас затемня,
 И когда мы увидим простор Божества,
 Я скажу тебе слово, а ты мне слова.

Семену Липкину

Я вижу Вас совсем нечасто,
 Тринадцать будет лет как раз
 С тех самых пор, когда начальство
 Вполне разгневалось на нас.

Еще не лысину, а бобрик,
 Еще безусое лицо...
 Не Вы ли на чванливый окрик
 Билет вложили в письмецо?

Но нет, не в этом все же дело,
 А дело, видите ли, в том —
 Вы человек водораздела
 Времен, сложившихся гуртом.

Вы — Заболоцкий и Багрицкий,
 Вы — Гроссман, но и Пастернак.
 Вы мрак, нас издавна покрывший,
 Прошли насквозь как вещий знак.

Вы спутник двух великих женщин,
 Что входят в список четверых,
 Которым веком был завещан
 Невероятный русский стих.

Вы шли через края Востока,
 Как Марко Поло и Рубрук,
 И возвращались одиноко,
 Охватывая полный круг.

И будет то вовек нетленно,
 Что Вы связали через край
 Холмы и рощи Вифлеема
 С горой по имени Синай.

Отель «Гритти»

Пять окон на канал
 И гондолы у пристани,
 Я в бельэтаж вхожу,
 Разглядывая пристально
 Барокко в этих барах
 И кресел молоко,
 Террасу терракоты
 И в холлах рококо.
 Везде гуляет дойчланд
 Да изредка косые,
 Я объясняю бармену,
 Как хорошо в России.
 И то, что наша водка,
 Куда евонной граппе.
 И тут заходит некто,
 Он в барсалино-шляпе.
 На нем пиджак из твида
 С той самой речки Твид,
 Он по-американски
 Картаво говорит:
 «Одну большую водку,
 «Столичную»! О'кэй».
 Я был во всем отеле
 Единственный еврей.
 Поэтому я сразу
 В момент его узнал.
 Он с Нобелевских премий
 Ту водку покупал.

В Италии когда-то
 Он санитаром был,
 В Париже вместе с Джойсом
 В «Ротонде» он кутил.
 Ловил форель в Огайо,
 На Кубе — рыбу-меч
 И подавал в футболе
 Неотразимый мяч.
 В России в каждом доме
 Висел его портрет,
 Давно уже на свете
 Таких кумиров нет.
 Он написал в отеле
 Ту «Киску под дождем»,
 От коей мы доселе
 Большого чуда ждем.
 А после, как Джек Лондон,
 К подросткам перешел,
 Но под дождем холодным
 Он забивает гол.
 Порой в свои ворота,
 Но это ничего.
 Вот так в отеле «Гритти»
 Увидел я его.
 Он тяпнул рюмку водки,
 Спасибо не сказал.
 Когда-то Евтушенко
 Об этом написал.

На карнавале

На карнавале
 В начале ночи
 Венецианской
 Какие ноты!
 Шурует Вагнер,
 Шумит Бетховен,
 Играет ангел
 Среди диковин
 На флажолете,
 На мандолине.
 Ах, пожалейте
 Меня отныне.
 Ведь вечно это
 Я слышать буду.
 Гудит Пьяцетта,
 Людскую груду
 Переправляя
 На вапоретто.
 Ах, вечно буду
 Я видеть это.
 На колокольне
 Колотят мавры,
 Везде привольно
 Стоят кентавры,

Где Византия
 Сроднилась с Римом
 В одном созданье
 Неукротимом.
 Вот Паганини,
 Вот Элвис Пресли.
 Да, вечно буду
 Сидеть я в кресле
 У «Флориана»
 Среди Сан-Марко
 И филигранно
 Из зоопарка
 Толпы туристской
 Тянуть, что надо.
 Моя прописка —
 Моя бравада!
 И патефончик
 Годов тридцатых,
 И баритончик
 В его раскатах!
 На карнавале
 В начале ночи
 Вы мне шептали:
 Люблю вас очень!

Венецианский кот

И. Б.

О чем ты думаешь спокойно,
С моста взирая на канал?
Ты долго шел путем окольным,
На набережных спуск искал.

Ты ждал подмоги из лагуны,
За высотой следил не зря.
Снимал и ставил караулы,
Где чешуя из янтаря.

Тебя не привлекали толпы,
Ты был вовеки одинок.
Гулял ты по Пьяцетте долго,
Где вечность что морской песок.

Отвергнув мелкие интриги,
Не удивлялся ничему.
И у столба, где лев при книге,
Ты не завидовал ему.

Тебя ловили частой сетью,
Ты поступал наоборот.
Ты был один за всех на свете —
Простой венецианский кот.

Музе

Останемся с тобой, хоть ты на вид груба,
Твоих шершавых губ обидно шевеленье.
Но поздно нам с тобой уйти на отруба
И потому, что так пропустим вы Веленье.

Стрекочет аппарат, слепит электросвет,
Повсюду господам показывают фокус,
Срезает лавры враль, хлопочет паразит,
И только мы с тобой снимаем с меди окись.

Еще наступит день рожденья пирамид
И конница пройдет на Загородный лавой,
Тогда-то будет счет закрыт и перемыт,
И нас с тобой возьмут в приданое с державой.

Пока терпи и жди. Труди свою мозоль,
Стой у чужих трибун и обходи их с краю.
И все-таки еще в последний раз позволь
Сказать тебе: «Вовек тебя благословляю!»



ВАЛЕРИЙ ПИСКУНОВ

*

СВОИ КОЗЫРИ

Записки наемника

Последние десять лет: свет поднимался высоким окном из тонкого переплета. Окно было поставлено на лестничную площадку, и как только я открывал дверь, желтый волнистый кафель кидал под ноги воздушный коврик обманного солнца, мутные квадраты витража составляли распертую грудь старого тополя. Я выходил покурить, посмаковать самоощущение догорающей плоти. За дверью я оставлял нашу обширную коммуналку, по левую сторону освоенную неутомимой семьей Само-Самойленко, а по правую моей семьей, из полутора комнат которой уехали сестра, брат, потом вынесли гроб с маской нашего отца... Теперь эти высокие метражи принадлежали нам с женой. Изредка к нам приходила моя мать (выделенная в однокомнатную), приходила обнюхать старые углы. Но углы уже пахли не тем. Тогда она заболела, телефонная трубка долго держала, не могла проглотить густую боль ее слабого голоса. Я приходил к ней, кормил тем, что готовила моя жена. Мама принимала поползновения этой чужеродной доброты, но с кровати не вставала. Она говорила:

— Креплюсь ради вас. Но силы не те.

— Крепись, мать, — говорил я, страстно желая, чтобы она жила. — Ты будешь долго жить, и мы будем жить следом.

— Не хочу, — говорила мама. — Смысла нет.

— Тогда не волнуйся, — говорил я. — Смерти нет. Умирай спокойно. Все нормально. Мы следом за тобой.

— Ничему вы не научились, — говорила мама, ступая за границу. Беспокойство за детей держало ее здесь, но моральный долг — усталость, усталость в лице, в глазах, в которых уже запеклась корочка будущего сна, — стоял у изголовья. Господи, как я жаждал в эти минуты внезапного исчезновения: детское волшебное желание закрыть глаза, чтобы обмануть смерть.

Моя мама демократка, но невестку не любила. Она поднималась с кровати, шипела на меня, чтобы я — последний оползень ее живых усилий — не превращал ее в шута. Она сама перемывала баночки и кастрюльки, сама изгоняла из посуды следы чужой плоти. Седая, сильная в плечах и руках, она держала некую нравственную высоту перед медлительной невесткой. Она, как говорят у нас в Ростове, богвала. Тоненьким, переходящим в горловое «хи-хи» голосом она расстреливала Светку в упор. Прощала изредка, по большим, теперь церковным, праздникам.

Глядя на бессмысленные ужимки жены, мне хотелось плакать: мне жаль было и маму, и жену. Но плакать я давно разучился. Какой-то едкий комок вырастал в горле — словно головка чертополоха, и я не плакал, я ждал, когда эта головка высохнет и я по частям проглочу ее.

— Я только потому за Ельцина, — говорила мама, — что он тебе, дураку, соли на хвост насыпал. Раньше надо было думать! Вот Самойленки, они думали за четверых. Голова, будущее России...

— Ой, врешь, маман, — отвечал я, собирая отмытое в сумку. — Кто они и кто я? Ты троих в люди вывела, тро-их!

Но маме не на кого было сослаться. Так она, старчески перегибая спину, угловатыми пальцами трогала сплюсненную подушку, так она думала. Станным, внешним образом. Иначе думать она не умела. Это было строгое движение формального, но внешнего, предметного ума. Накормить, вырастить, выучить, поучать, поправлять, подсказывать, возражать и судить, судить — все это было ходом мысли. Формой сознания. Старшая дочь — старшая тревога — жила на Камчатке, питалась маринованной черемшой и писала, что Камчатка будет отделяться. Тревога средняя — мой брат. Тот служил и метался между необходимостью соблюдать две присяги, соблазном продать все вооружение и спивался под непосредственным началом полковника со странной грузинской фамилией Держава... Кто же даст себе время и позволит такие жизненные затраты, чтобы понять природу материнского сознания? Кидайте на счет извращений сталинизма, но — но материнское сознание мыслит предметно. Пока движутся (под ее руками и заботами) предметы семейного обихода, она — человек, она мыслит, она следует за ходом порожденных ею вещей... «А ты?» — спрашивал я себя, с эстетическим удовольствием играя в этот местоименный бильярд. «Вот он я — весь как есть», — отвечал я себе, ему как себе, перебрасывая кий твердолобой совести из руки в руку. Вот он я — весь как есть. Инженер-оборонщик, математик-прикладник (по шарам!), выходя на лестничную площадку, шурясь от солнечной заумы желтого кафеля, я смотрел на блокнотные квадраты окна, исписанные за многие месяцы (читай: годы!) формулами и поправками, подножками экспериментов. Трибоника — наука трепетная. Чтобы посадить отечественный шатл, надо накачать его колесные ноги такими тормозами, чтобы забывшая его матушка Земля ответила ему чисто-сердечным, любовным трепетом. Трением... Я, мамочкин сын, мыслил тем же внешним способом. Все эти духовные ухищрения — выйти, сощуриться, курить, вписывать мысленно формулы в листики мутного окна, думать, перечеркивать и переписывать — были недолгим (время, отведенное курящему его сигаретой) самообманом. Я мыслил так же, как и моя мать: внешним ходом эксперимента.

А ведь я знаю, как начиналось такое мышление. Женщина — рождает, она обречена. А мы, мужчины, существа с «левой симметрией»? Мы выдумали некую внешнюю свободу мысли, то есть свободу внешнего мышления. Ах, как мы наслаждались джазовой импровизацией, как мы радостно кувыркались в абстракционизме-авангардизме! Помню осенние, провисшие моросью ночи, слабые фонари, запах портвейна и кошачьего полуподвала, саксофон, труба, контрабас и бара-бара-бан. Этот квадратный ритм. (Данте говорил: человек — это мягкий куб), эта веселая обезьянья случка неукоснительных инструментов... я мыслил, моя мысль, уложенная на грифе тригонометрии, наслаждалась возможностью быть объективной. Ведь это исторический шанс, потом не будет! Кто даст мне возможность переводить мысль непосредственно в действие, кто даст мне возможность мыслить действием, быть свободным в поступке, возбуждать сладостную неопределенность духа, оголенно ищущего (как распаренная под душем нога) безобманную почву?.. Вот только не могу понять: почему моя мысль была так претенциозно противоположна официальной? Ведь официоз — любой, вплоть до демократического — мыслит тем же внешним образом. Только ли потому, что не тем предметным рядом жила мысль?

Мы сбрасывали роля с двадцатого этажа.

Они сбрасывали расчетную ракету на расчетную цель.

Самое поразительное (в прямом смысле: мой пирозаряд поражал цель неизбежно, но — но задача состояла в точном измерении «поверхностей трущихся пар») — это совпадение, притирка, парное скольжение: сначала Ст. Лем — об обезьяне, которая на пишмашинке выстукивает текст «Короля Лира», потом — время первых выборов в Верховный Совет — Борхес, объясняющий смысл буддизма: человек рождается человеком настолько случайно, насколько случайно попадание черепахи, вынырывающей из глубин океана, в дырку плавающей на поверхности колоды... Можно ли проиллюстрировать, нарисовать невозможность? И Лем, и Борхес пони-

мали невозможное как невозможное возможного, расчетного, вполне вероятного (как говорят на ростовском базаре).

Моя мама понимала своих детей как данность. Вру. Как подвижную данность. Вру. Она их не понимала, но жить без них не могла. С колодой на шее, с тяжким чувством бездны под ногами.

Для того ли я рожден, чтобы стать мужем? Гордости положено быть ядерным чувством. «Ус...ся, но не поддамся», — любила повторять мама. Она завидовала семье Само-Самойленко и гордилась тем, что они жили в одном с ней коридоре. Такая наоборотная гордость способна дать человеку счастье неиссякаемой целесообразности. Само-Самойленки значили для нее не меньше, чем ее чада.

По коридору налево Само-Самойленки постепенно занимали все комнаты, вытеснив сначала семью алкоголика (манифестированный МДП), а потом и старушку-раковинку, свернувшуюся так незаметно, что в ушах соседей почти до сороковин стоял прибрежный шум тишины. Так Само-Самойленки мыслили, и моя мама воспринимала их кропотливые передвижения как чистую мысль. Они так купно и плотно жили, что, мне представляется, матерью я был предложен, а Само-Самойленками воплощен.

В дальней, глубокой комнате, выходившей окном третьего этажа во внутренний двор, жил отец — Растарас Гурьевич. Он жил голой головой под настольной лампой. В свой срок по Parteiblatt'у он отсидел пятнадцать лет и вернулся оппозиционером всех газет. Он жил этой упечатанной плоскостью: как только включалась настольная лампа, мысль Растараса Гурьевича освещалась тремя цветами — красным, синим и зеленым: тремя карандашами работал он над газетой, разбирая пасьянс партийных имен — союзного значения, областного, районного. Нервная система связей возникала объемным прообразом компьютерной графики, и сам компьютер с несогреваемым лицом, с попушенными веками, с голым, напряженным, как преклоненное колено, черепом работал. «Иных уж нет, а те далече» — и под «нет» гулаговский пенсионер подразумевал тех, иных, которые сгнули в лагерях, а «далече» надо было понимать, что «те» добрались-таки до почтовой аллеи на цивильном кладбище.

Внук с дворовой кличкой Пупон быстро открывал дверь и быстро закрывал, гасил волшебный фонарь, обманывая меня на всю жизнь недосмотренной картинкой. Пупон тащил меня на кухню, где Бабанаба жарила толстые круглые котлеты (я любил плоские, остроносые). Она совершала для меня переход от плиты к буфету, отрезала от хлебного короба квадрат серого, свежейлочного хлеба, который — после ее обратного передвижения — прогибался под котлетой и через минуту моего терпения пропитывался жирным духом чужой семьи... Бабанаба ходила на тонких, крепко, лучным изгибом, пружинящих ногах, смотрела на меня глазами, утопленными в толстых линзах круглых очков: «А что вы сегодня готовили?» Надо понимать: «А что сегодня ваша мама достала?» Я не хотел перечислять свиные хвостики, копытца, говяжьих голяшки, потроха и субколбасу. Я затравленно любовался Бабанабой и тем, какой любовью отвечал ей сын Агарий — огромного, наклонного роста, с приземистым задом парторг не то издательства, не то овощной базы. (Механика личностного учета, дарованная эпохой классического фашизма.) Почти каждый день я оказывался вовлеченным зрителем чистой мелодрамы на коротких метрах общего коридора. Для меня это действие протекало в двух плоскостях — Агарий играл сразу на двух площадках: одно действие как бы возрождало мимическую жизнь Растараса Гурьевича (Растарас говорил о тысячах, прошедших через его руки: «Горы, горы трупов!»); другое действие вызывало во мне тяжелый, панический стыд, я не мог выносить этой откровенно выказываемой на людях любви (хворью оборачивалась эта любовь во мне и стыдом моим, поскольку я не мог себе разрешить такой ласковости с мамой). Агарий лысел, настольные пряди перекрывали темя от уха до уха. Черные глаза с горошинками душистого перца подхватывали всякое слово мамаша, как будто слова ее были чем-то плотским и приятным, вышедшим из кухни, свежeparным,

с неизбежным ароматом материнской ласки. Любовь навсегда делала Агарию маленьким (что усиливало остроту моего стыда за мое жесткосердечие), но Агарий радовался именно этому непроходящему детскому блаженству: открывался младенческий ряд верхних, сидящих в десне, зубов, прерываемый веселыми кошачьими клычками, розовая, молочная улыбка натекала на губы... Пчела не тонет в своем меду. Впрочем, и паук не вязнет в своей паутине.

Агарий был партюком городского масштаба, он работал одним карандашом и воровал в сумерках. Машина приходила без него — из района, из колхоза-совхоза, — багажник открывался, и шофер тянул дерюжные мешки или бумажные пакеты. Сам Агарий любил выступать в школах, в ПТУ, в казармах. Смысл выступлений его от времени до времени менялся — в соответствии с возможностями генеральной установки. Эта внедряемая из генерации в генерацию биография, я понимал, нужна была Агарию, как сама жизнь: он так мыслил, таким внешним образом осуществлялось его мышление. Таков мир, в котором мы пребываем, и таковы в нем люди, способные осуществлять интимнейшую часть духовной жизни только на внешних и податливых предметах.

Во время войны — вон откуда! — мать и сын завербовались на работы в Германию. По совету добрых людей: к родственникам репрессированных рейх благоволил. Агарий работал не то в похоронной команде, не то в хлебозерке. Когда Красная Армия стала подходить, начальник лагеря, дочка которого была влюблена в Агарию (по версии Агарию), объяснил ему, куда и как бежать, чтобы выйти к русским. Агарий вышел 4 мая 1945 года и, опять же по его версии, успел несколько дней повоевать. Все эти героические подробности выяснялись постепенно и как бы вопреки сталинской административной логике. И так же постепенно Агарий Растарасович входил в льготы: дитя войны, жертва гитлеровских лагерей, сын репрессированного и — апофеоз — участник войны. Упал на память эпизод: посещение Агарием Растарасовичем Само-Самойленко нашего института. Он вошел, мощностопый, с приземистым, бабьим седалищем, радостный, кусая всех присутствующих детской улыбкой, и несколько раз произнес слово «фойе» — отдуваясь, восстанавливая кровообращение, и, садясь в подсобное кресло, забросил короткую голень на низкое колено. Он рассказывал долго (был не то праздник Октября и он говорил об отце, но и о себе-себе, не то праздник Победы и он уже рассказывал, как выходил к нашим и как потом воевал, избежав фильтрационной комиссии), с особенным смаком — опять улыбаясь десенной улыбкой, но уже с какой-то смазанной, уголовной, сердечностью, — рассказывал о том, как его любила дочь начальника лагеря, «Herr Pfeffer und Seine becaubernde Töchter»¹, и как начальник лагеря взял его за руку, вывел за ворота и показал направление: «Schnell! Und hilft dir Russischer Gott!»² При своем недоразвитом немецком он хорошо картавил. Голос у него был огромный, отмашный — так выбивают ковры. Он говорил как бы на спор: «Вот я скажу, а вы поверите». И старательно выискивал недоверчивые лица. Говорил о любви, что его вела любовь, что на своем тяжелом пути он встретил много душевных поступков. «Людей спасает любовь, — уверял он нас, держа на задворках языка, подслюнком, детскую картавость. — Потому что человек жаждет любви до самого последнего момента. Вот фашисты проводили эксперимент: клали рядом мужчину и женщину и замораживали. — На лице жизнелюбивого сластолюбца всплывала дощечка серьезности. — А потом размораживали, и мужчина сразу набрасывался на женщину!» Он не знал смерти и не хотел умирать. «Ницше говорил: «Когда плохо, любовь ищет ненависти». Но это не так». Выдуманый им Ницше был не прав на все сто, Агарий Растарасович поддегивал брючину, показывая свежий батон презренной плоти. Сочная фигура. В ней можно было бы увязнуть, если бы не быстротечность жизни.

¹ Герр Пфеффер и его очаровательная дочь (нем.).

² Быстрее! И да поможет тебе русский Бог! (Нем.)

Агарий несколько раз выручал сына из тюрьмы и учил жену переносить несчастья (посадки) так же сдержанно и гордо, как это делала Бабанаба. Потом номенклатура авансировала себя перестройкой: надо было юридически оформлять брак шестой статьи с мафией. Агарий Растарасович приватизировал не то овощную базу, не то издательство и создал «Предком» — предприятие коммерческое. В предприятие вошли Пупон — сын Агария, сам Агарий и верная до гроба секретарша (жена Агария, долго болевшая, умерла, перед этим несколько раз жаловалась моей маме — общей кухни тогда уже и в помине не было, — что Агарий никогда не давал ей денег). Теперь оба-два, отец и сын, трудились рука об руку. Сын взял на себя политическую часть дела, создавал платформы и движения, мутил воду через подставных то в партии демроссов, то в казачьем стане, то в либеральной забегаловке. Поприще отца и сына было широко, как аппетит. На лице отца теперь печаткой лежало радостное самодовольство исторически оправданных усилий. Историческое возмездие, которое обеспечило победой его последовательную подлость, и в сыне закрепило великое правило п р а в о й руки. Кошачий выводок частной собственности в таком изобилии вывалился из тоталитарного режима, как будто этим режимом всегда и вынашивался.

Встречая меня в коридоре или на лестничной площадке, Пупон говорил: «Не понимаю, для чего они ворошат прошлое? История только начинается. Мы все в равных условиях, на старте, и выживет тот, кто переплывет стремнину батюшки тихого Дона».

То есть он меня вовлек. Я размножал листовки с призывом голосовать «за». Комментировал статью известного социолога-позитивиста Оклункина, доказывавшего необходимость введения просвещенного авторитаризма. Как-то все это романтически соединялось: разгул демократической собственности и диктатура. Да может быть, на себя самого и примерял: пока закуешь да к атаману и возвратишься. Отпечатанные листовки моя мать с подругами по ночам расклеивала по Ростову. Жена курила и, возбужденная временным миром с «коброй», мечтала, как на первые дивиденды (откуда? с какого капитала? с акций на ваучеры?) мы купим автомобиль... «А если ты так... — развивала она мечту. — Я возьмусь сама, будут работать челноком между Турцией и Ростовом!» И опять же свежее чувство, неожиданное, как «все дозволено», обжигало меня: а что, если и ее пустить показывать? что, если и с нее снимать ренту? Какова она после того, как отработает с другими?

Огонь пробегал по коже и под, как будто отогревалась смороженная плоть.

.....

С политической тусовки Пупон пригласил в офис. В комнате, тесно обросшей свежей, под кожу, мебелью, нас было четверо: Пупон, его политические подруги — поэт из Нахичевани-на-Дону и радиожурналистка — и я, взятый на честном слове друг детства. Пупон ходил на отца, но был женственнее, ноги еще не подгибались в коленях, и задорно терлась ляжка о ляжку. Пупон поставил коньяк, Бурочка (от Чернобурочки — черноволосой, со стоп-взглядом в темных глазах) расставила рюмки и невнимательно отсчитала ножом кружочки двусмысленной колбаски салями. Пупон восхищенно слушал говорливого поэта — поэт был красив, убранный скобкой бороды, хищный, на хрящах, нос был, казалось, напряжен мышечной судорогой (в том смысле, что мог и обмякнуть), голубые глаза — что редко у нахичеванских армян — источали то, что невозможно описать, — пафос. Это существо было рождено для пафоса (его любили женщины), а если признать, что пафос — это бьющий ключ интуиции, то Мурлян был бесперебойной бьющей интуицией — куда? во что? поэмка обнаружений, находок, безусловных открытий. «Я невинность потерял в двенадцать лет, — говорил Мурлян, мило, красиво смущаясь. — Когда лежал в больнице с переломом ноги. Я такую кепку носил, «аэродром», сестра меня в процедурную завела,

и я — откуда-то вдруг пришло озарение — зачем-то подсунул ей кепку под зад». Но сейчас Мурлян рассказывал-пересказывал, рисовал, олитературивал то, что произошло на политической тусовке. Пупон потому так восхищенно слушал, что на его глазах, на его слуху если не творилась история, то уже создавалось произведение, артикулировались события, в которых он с удивлением узнавал и себя и знакомых, и все это, как уже отформованное, можно было... хоть на рынок выносить!

— Судьбоносный момент! — восклицал он, показывая папины недоразвитые зубы с игольчатыми клычками. — Судьбоносное решение!

Бурочка подхватывала его рассказ, характерно копировала ораторов и, отстраняясь от резких слов, как бы смягчая отдачу, повторяла:

— Быдло. Какие они все идиоты и быдло.

— Мне часто снился один и тот же сон: на меня собирают улики. Я совершил или не совершил тяжкое преступление — не важно, — рассказывает вдруг Мурлян. — Они собирают улики, а я уверен, что их не собрать. Но в какой-то жуткий момент я понимаю: улики собраны и то, что из них сложилось, есть мое преступление. Я в этом преступлении, а не в том, которое, может быть, скрывал... Сейчас этот сон не повторяется.

Я видел, как он потел от коньяка, как брови «размазывались» по лбу и веки больших глаз начинали поблескивать, как (не это ли влечет женщин?) туго натянутая крайняя плоть.

— Муурзик, — пропела подвыпившая Бурочка. У нее округлился второй подбородок, и от него к мочкам поднялась волнующая припухлость. Пальцы были у нее неподвижные, как бы склеившиеся, веселым был большой, и жест «варежкой» подчеркивал некую женскую грубоватость, если не сдержанность, что приходило к противоречию с откровенной развинченностью пальца большого.

Но Мурлян рассердился — и на бывший партийный кабинет, в котором мы сидели, и на то, что в политику и коммерцию, как он выразился, полезли перекрашенные партюки. Краска с хмельным насилием обагрила лицо Пупона.

— Это ты о моем отце? Отец — подлый партюк? И я подлый партюк? Да знаешь ли ты — откуда тебе знать, чистоплюю, — что он изо всех сил разваливал партию изнутри? Вон видишь сейф? В этом сейфе когда-то хранились партийные взносы. И что делал мой отец? Он запускал эти бабки в дело и за два-три дня успевал их обернуть — и себе пользу приносил, и людям! Понял, как мыслят прогрессивные умы?

— Алялик, — упрасивала его Бурочка. Она «варежкой» погладила его по плечу.

Мурлян хехекал, насмешливо брякал языком:

— Может, твой отец диссидентом был?

— Да! Был! — Плечо Пупона забило под ладонью Бурочки. — И он больше сделал для развала тоталитаризма, чем все твои вонючие диссиденты!

— Ха-ха-ха! — запевшим от обиды голосом сказал Мурлян.

— Мурзик, у тебя мерзкий характер, — сказала Бурочка.

— Он разваливал тоталитаризм!

— А ты только под жопу бурчал!

— Спекулировал на партийных взносах...

— Развивал рыночные отношения!

— Мурзик, перестань, — горловым голосом сказала Бурочка.

— А ты помолчи! — У нахичеванского поэта голубые глаза стали бешеными. — В тебе течет азербайджанская кровь!

— Забаржанская, — подсказал я.

Они замолчали. Бурочка улыбнулась мне уголками черных глаз. Склеры у нее лоснились, как лоснилось черное шелковое платье под темной шерстяной кофтой. Она вообще предпочитала темные тона: темный гардероб, темная неразрешенность судьбы... Пупон вдруг рассмеялся, крутнул за горлышко коньячную бутылку.

— Вот коньяк карабахский... А чей разлив? Чей раз-лив? Кто нацедил сюда горькой человеческой мочи? Армяне? Азербайджанцы? О, наши, наши цедили, ростовские!

— Можно пить, — сказал я.

Он разлил, сказал, держа рюмку на взводе, как микрофон:

— Мой отец говорит: нет наций, когда есть любовь... Почитай, пожалуйста, стихи... Люблю из «Имперской тетради»:

И клонится дын-дын трава
над черепами, черепами...

Он захлебнул печальную рюмку, поднял на стол отцовы гигантские ступни и сказал:

— Победим на выборах, мать-перемать, издам сборник твоих стихов. Так и вижу прилавки с томиком «Пишу стихи в сынулькиной тетрадке»!

— Ты душка, Алялик, — сказала Бурочка, она поднялась вслед за словами и пошла вокруг прозрачного стола, позванивая застегками на сапогах. Когда она проходила мимо Мурляна, поэт скособочился и обезьяньей пятерней укусил за ягодицу.

— Платье выдерни! — крикнул он на ее сердитый оборот.

Бурочка тихо цыкнула и смутилась.

— А еще у меня мечта! — Пупон жестом тяжеловеса опустил ноги, поднялся и открыл сейф (своим ключом, заметил я). Он достал кипу семейных альбомов. — Уникальная коллекция. Если это издать, можно заработать миллионы... Но отец еще не созрел.

Альбомы были пронумерованы, карточки собраны по сериям и по годам. Огромная коллекция порнографии. От желтых толстокожих фотографий до модных и цветных.

— Поэтический гарем Само-Самойленко! — сказал Пупон.

— Спермой капал, — насмехался Мурлян, тыча в разводы на старых фотографиях.

— Вот эту серию он выменял еще в немецком лагере. На несколько паек хлеба. Эту — у американцев. Рисованная. А это — наша, родная дунька. Эта из Югославии, эта из Амстердама...

Допили шампанское и досмотрели фолианты. Пупон уверял, что отец любил каждую из натурщиц, по многу раз рассматривал, вживался в образ, увеличительным стеклом уточняя уже семейные детали. Мы молчали. Мурлян пошаривал овлажневшим носом. Так же влажнели глаза Пупона. Лицо же Бурочки, наоборот, стало сухим, суровым, обозначились скулы и мелкие, сыпкие веснушки. Ноздри приподнялись, как жаберные щитки.

Пупон бросился спиной в толстое кресло, потянулся — руками за голову, ногами под стол, — передернулся, замер и сказал:

— Сейчас бы перловочки с грибочками, с лучком...

Мы зашуршали куртками, растащили шапки. Бурочка, стесняя лицо, надела берет. Сразу за дверью ветер потащил нас к себе. Ночная поэмка февральским фетром заластилась у лица. Длинношерстый снег мотался в световом конусе, и в эту метущуюся муть упал зябкий от коленок до губ кошачий Бурочкин «ах».

— Прошу в «Жигули»! — крикнул из-под фонаря Пупон.

Он подпер коленями руль и включил печку. Тепло щедро напоило мои ноги и переползло назад — Мурлян затарахтел каблуками и закашлял. Мы ехали в аэропорт.

— Погода нелетная, и Хачик будет рад, — сказал Пупон.

При выезде за город ветер вцепился в машину, потащил с дороги. Пупон мотал рулем вправо-влево, выравнивая ход, — ветер тянул машину, как волна лодку. Бурочка и Мурлян притихли.

— Левый галс! — подсказывал я Пупону. — Правый галс!

Машина поерзала и, дрожа, выправилась. Снег летел вдоль шоссе, словно обжигаясь об асфальт. Пупон поймал паузу и включил кассетник. Как прогорклое масло, потек ресторанный оркестр, и гнусный голос с неотменным даром запел: «С ростовского кичмана сбежали два уркана».

— Узнаете? — спросил Пупон.

— Алялик, ты, что ли? — спросила Бурочка изменившимся голосом.

Я обернулся — Мурлян бубнил ей в ухо, глубоко засунув руку ей под пальто.

— С каким ансамблем ты пел? — спросил я.

— Купил. — Пупон оскалился детской улыбкой.

— Иди ты, — сказала невпопад Бурочка.

Потом загадочный, богатый инструментами ансамбль заиграл: «На Боготяновской открылась пивная». Игривый голос Пупона звучал слишком близко, и я понял, в чем фокус, но ничего не сказал. Мурлян стал подпевать, фальшивя глубже своего неразвитого слуха. Машина дважды уходила в неглубокий кювет. Мы замолчали. Только музыка да наложенный на нее самозабвенный голос Пупона удваивали тишину и, мистично, самого Пупона, крутившего баранку так, как будто непосредственно ею выковыривал и подсаживал «Жигуленка». Напрягающая забывчивость дурманила мне голову. Бурочка стала икать. «Не бойсь!» — Пупон расправил плечи над баранкой, налег на нее грудью. Вдруг машина выправилась, поймала ветер, шла как отрешенная над обметенным асфальтом. Печка у меня в ногах притихла. Мурлян засобирился носом. Бура ответила ему, проойкала поспешно, потом ко мне на колени пришел женский сапожок. Я оглянулся: Бурочка распахнула ноги, но Мурляну было тесно, удушающе безвыходно, бескровная плешь билась под потолком. Пупон засмеялся, детская придесенная улыбка расквасила лицо. Он похлопал ладонью по голенищу — сапожок тянул, тянул носочек.

Я человек сентиментальный и прямой. На вопрос: «Приватизируешь?» — отвечаю: «Приватизирую». Пупон или его отец Агарий смотрят на меня глазами тайной глубинной общности. Я не могу понять этой любви к имущественной плоти: такими же глазами, я знаю, смотрит муж на растущий живот жены, прикладывает ухо, слушает густой шум природной биржи. Я отпрядывал от их тесной потусторонней родственности. Чем я мог ответить? У меня жена на третьем месяце, я без работы, в доме хлеб, пшеника и шесть кусочков мяса, по числу дней, утаенных от прожиточного минимума. Напиваясь, я спрашивал Пупона:

— Зачем, зачем я тебе нужен?

Он чувствовал мое нравственное превосходство, но уже видел, что я торгую этим превосходством: я продавал себя как честного человека, всегда стоявшего во внутренней оппозиции к режиму, я был выше режима, а они — Пупон, и его дед Растарас, и сын деда Агарий — вертелись, воровали, сидели, копили... Но теперь они расправили плечи, вдохнули во всю уголовную грудь... Пупон отмывал мою честность, он хотел, чтобы я предстал в том же голом виде собственника, в каком предстал он. Независимо от размеров собственности, в чем-то естественном, демократически первичном мы — Пупон это уже знал, а я еще нет — были равны.

В этом ощущении было нечто неожиданное: просыпаешься утром и обнаруживаешь волосы на лице. Женщинам этого не понять. Вот и Пупон смотрел на меня как на особь, которой Бог не дал способности почувствовать и с к у ш е н и е.

Я даже могу сказать, откуда вышло искусство. Из бытовой нищеты, которую художник изловчился «снять» отвлеченной формой красоты.

Да-да, я сочувствовал Само-Самойленкам. Я понимал, что их собственности нужен закон, который охранял бы эту собственность. Я сопереживал, когда Пупон жаловался, что где-то что-то не успел перехватить, кто-то, мошенник более ловкий, ему недоплатил или совсем ничего не вернул. «Чего ты хочешь? — говорил я. — Нет правового поля!» Пупон отвечал мне пониманием — так он извлекал из меня искренность, панированную в моей же отмытой честности. Да хрен с ней, с честностью. Меня волновало то, что я не могу понять основного (кайф нищего недоумка): чем я владею? Другими словами, чем я могу помочь Пупону? (Самоидентификация — слово, превышающее жизнь.) Мне вбивали собственность в глотку, меня заставляли

чем-то владеть — чтобы создать правовое поле для собственности Само-Самойленко. Но к чему меня можно привязать? К чему привязать так, от чего отвязаться я мог бы только вместе со своей жизнью?

Ночами у толстого бока беспокойной жены я вздрагивал, но не от внезапного поворота плоти под ее натянутым животом. Я вздрагивал оттого, что с запоздалым откровением понимал: «Пупон знал, каким будет наше завтра!» Это меня так обижало, что я просыпался, вставал с кровати и шел в туалет. Пупон, его отец Агарий и отец его отца Растарас Гурьевич знали, что будущее надо помещать в недвижимость, в собственность, в.

В будущее. Иначе оно не светит.

Для меня, профессионально привыкшего учитывать микродозы времени, время было органично вращено в движение (в жизнь). Само-Самойленки оторвали время (время — деньги) от моей жизни, превратили его во внешнее мерило... Вот отчего я так сочувствовал Пупону в его финансовых проколах: он взял у меня мое время, сиречь мое будущее, и пустил в оборот. А поскольку у меня не было иной собственности, кроме жизни, я — волею Само-Самойленко — должен был приватизировать жизнь, сделать ее собственностью. Классический вариант рабочей силу, данную мне от Бога, мне полагалось кинуть в оборот.

Мне нужны были деньги. Быстро и много. Жена не хотела оттягивать роды. Но природный ритм приходил в крутое противоречие с ритмом капитала, которым ворочал Пупон.

Мне необходимо было выкупить свое будущее.

Но я хотел сделать это честно.

А почему нет?

У меня есть жизнь. Я владелец этой мелкой собственности. Наши бизнесмены и их идеологи уверяют, что капитал начинает с малого. Я решил начать с малого. Вот моя жизнь, моя маленькая собственность. И ничего в запасе. Могу ли я воспользоваться ею честно?

Или в оборот вводится материал, заведомо удаленный из нравственности? В самом деле, можно ли зачать ребенка честно, бескорыстно, нравственно?

Вот на каком языке общался я со своей нерешительностью. Августовский пыльный зной насадал со степей, пересекал прозябающий Дон и столбенел над асфальтом и среди домов. Окна в комнате были закрыты и зашторены. От жены исходил влажный запах погребя. Я стал глубокомысленным. Ниже падать некуда. В косом мягком луче неслабеющего солнца светлые волосы жены плавилась, восково слипались в прядки. Детские сосочки лежали на ребрах, подпертых взъемным слепым животом.

— Юр, — сказала она, употребляя мое имя как легкую отмычку, — хочу коку-колу. — Открыла темные голубые глаза, облизнула потный пушок над губой. — Хочу коку-колу.

— Может, что-нибудь одно? — сказал Юра.

У меня появилась привычка прятаться в тень своего имени.

Она отвернулась. Выгнулась, как обиженный ребенок. Тоненький позвоночник, узкий таз. Не сможет родить! Она молча плакала, скрытно снимала пальцем слезы. Не родит! всю ночь ее тошнило. Она родит уроды или кончится вместе с ним. «В Господа Бога! — Я засобирался и вдруг выскочил за пределы мужской симметрии. — Она родит мне девочку! Маленькую, удобную. Девочка проскользнет сквозь эти косточки незаметно, чтобы не причинить им вреда!»

Жара как будто ждала меня, охватила с головы до ног, обливной пот облепил как вылепил. «Комки» продавали кока-колу баллонами. Емкость была размером с новорожденного. Еще несколько шагов по мягкому асфальту — и я вспомнил, что в таких емкостях казаки хранят самогон. А вот и сами казаки. По обочине проспекта маршировала примелькавшаяся полусотня — впереди на «кобыле» ерзал есаул-сеголеток, а замыкал сдвоенную шеренгу всегда один и тот же маленький, злой, конопляный казачок, поспевающий за своими самоходными кирзовыми сапогами.

...И как мой сосед Само-Самойленко не мог быть уверенным в том, что его наворованная собственность принадлежит ему, так и я не мог поверить в то, что моя природа принадлежит мне. Мамочке предстояло пройти через муку: женщине природой даровано было рожать собственность из себя. А мне предстояло повозиться с собственной пригодностью. То, на что я решился, было логически необходимым: честно и самостоятельно я мог запустить в оборот мою жизнь, став наемником. Никому ничем не обязан, ни у кого не беру займы ни копейки. Продаю свою жизнь и, если повезет, получаю проценты.

Светка уже не кричала. Она сидела на кухне, расставив отекавшие ноги, вытаращив красные глаза.

— Хрен с тобой, — сказала она. — Но знай, если тебя пристрелят, я выйду замуж, а ребенку ни слова о тебе не скажу.

Это было уже легче. Светка дистанцировалась. Я боялся ее произвольного мышечного трепета.

— А матери твоей все скажу.

— Не говори.

— Скажу. Зачем мне это одной?

У Юрки (то есть у меня) модная стрижка. Темные освеженные волосы пробегали над плотными большими ушами. Прическу он сделал в дорогу, покорооче. По затылку гулял бесшабашный сквознячок. В душе Юра обмалчивал маму. Даже про себя не мог рассказать ей, на что решился. Не знал, как все это можно объяснить на языке ее социального романтизма. Язык не поворачивался.

Глаза смотрели нагло, взгляд был тупым от внутренней правоты.

На вербовочном пункте — во двор под глубокую арку, мимо толстой липы, в густую вонь полуподвала — я не сразу сосчитал, сколько нас. Комиссар (усл.) проверил паспорт и военный билет, и врач — не то мужчина, не то женщина — задал несколько вопросов. Все же врач был женщиной, врачом, со смуглым тощим лицом и сильной летней мокротой. Меня прознобило. Почувствовал в ней хватку постоянного члена военных медкомиссий.

...Я вглядывался не так в соучастников, как в комиссара-вербовщика. Он не разговаривал с нами из конспирации. Усатый, с порозовевшим толстым лицом, улыбочивый и суетливый. Я заглядывал ему в глаза, как будто за ними он прятал мой роковой диагноз. Он подмигивал, мы шли на поезд, он помахивал старым портфелем, безрукавая рубашка прилипла к луже на спине. Оказалось, что идем не на железнодорожный, а на автовокзал. И когда стали садиться в автобус, я наконец сосчитал нас. Четверо без комиссара. Сосчитал, чтобы решить, с кем сесть рядом. Но комиссар разыграл места по-своему, и рядом со мной сел Бесан — шофер из Волгодонска. На его лице не произошло начало усмешки, голубые глаза открывали из-под верхних век полужрачки. Он был маленького роста и в кресле сидел глубоко, скрестив пальцы на животе. Он рассказал, что водителем работал на элеваторе, а потом ушел в линейную милицию. («Так вот откуда у него этот дежурный взгляд!» — подумал Юра.)

— Сначала один ребенок родился, — говорил он перечислительно, — потом другой. Старшему семь лет, компьютером бредит. Я ему сказал: «Сынок, беру отпуск и еду зарабатывать тебе на компьютер». Пусть развивается. — Бесан посмотрел на меня вопросительно. — Он у меня башковитый.

Все мне в Бесане нравилось. Кроме усмешки, которая, как заноза, торчала в лице. Я даже представил себе его жену, назвал ее Галей, — небольшого росточка, быстроногая, какие маленькими табунками выходят из донских степей. Добрая и терпеливая, и дети у нее ухожены, и зеленый борщ наваристый... Бесан отводил полуслепой взгляд от жаркого окна и шутил:

— Все мы подонцы.

Дразня, он обернулся. Позади сидели еще двое. Самый молодой Вова-казак — строгий, в черной бородке и с белым, словно с испуга, носом. Вова был убежденный, идейный казак, он ехал защищать новые рубежи и отстаивать свободу русских и их названных братьев от... ну, назовем условно, эн-

дурцев. Вова держался надменно, такая стеклянная надменность и пятнышки никотина на студенческих пальцах. «Исторически сложившиеся корни взаимопонимания», — сказал Вова. На плече у него болталась полевая сумка, он придерживал ее у бедра, когда выходил покурить на остановках, и клал на колени, когда садился и молчал. Рядом с ним молчал высоченный — из отборных, методичных, гравитационно самостоятельных тел — Сташ.

Набранные в полях клубы пыли стояли в автобусе солнечными кубами. Этим приходилось дышать. Раздельно, кусками, с нарастающим отвращением понимая, что выдыхаешь чище, чем вдыхаешь. Это вдвоенное чувство невозможности дышать и невозможности не дышать перекинулось и на мое отношение к соучастникам. Эти люди были мне не нужны. Ничто в моей истории не предвещало их появления. Но я вынужден был в них вживаться, вглядываться, слушать их голоса, отгадывать смысл под радужной пленкой глаз. Мы выходили на остановках покурить и перекусить смачными от сала пирожками. Бесан хмыкал носом и спрашивал:

— А когда комиссар нам платить будет?

— Своевременно или несколько позже, — отвечал Сташ.

Я глядел на окна автобуса, и комиссар кивал нам, улыбался вдвинутой под усы улыбкой: мол, все хорошо, или потерпите, а я никуда не денусь, или, может быть, кушайте, а я сыт. Это последнее раздражало Бесана:

— Сучок, у него там в портфеле ветчина, колбаса копченая. Вова, подойди к нему и спроси: он скоро нам денежки заплатит?

Вова улыбался, переглаывая оскорбление.

— Я вообще не понимаю, зачем он нужен.

Брезгливость в лице казака по молодости была чистоплотной, не превышающей розовые сполохи над бородкой. Глаза у Вовы были черные — черные большие яблоки были почти без белка и казались неподвижными. Когда Вова улыбался, взгляд тоже был неподвижным, сопротивлялся или пренебрегал веселым блеском склеры. И это мне нравилось. Парень выглядел самостоятельным — при всей изнеженности и романтической незащищенности. Взгляд не нравился, немолодой взгляд, предуготовленный молчаливой природой. Как ранняя волосатость на молочном лобке. Выправка была симпатичной. Я уже представлял его в фуражке, отличающей его от самого неба, в гимнастерке, в штанах с лампасами и в сапогах с попушенными голенищами.

— Что-то я не помню тебя маршрутирующим, — сказал я.

Вова загадочно улыбнулся.

— При штабе, — сказал добродушно Сташ.

Добродушие у него было тяжелое. Как весь его весомый рост. Но глаза были красивые, умные. Спокойные были глаза у гиганта Сташа. Зеленоватые, с детскими, открытыми зрачками. Круглая, выпуклая, стеклянистая часть, вставленное как бы часовое стекло в глазное яблоко (по Далю), тревожила меня всего более. Свет проходил сквозь это «часовое стекло», и мне казалось, что мысль, бегущая по циферблату роговицы, искривляет солнечный луч. Мимолетно вспоминалась похотливая плешь поэта Мурляна и ритмичное иканье Бурочки. Ох, мощная машина — человек!

«Зачем они мне нужны? — спрашивал Юра. — Для чего мне брать их в свою жизнь? Я хочу быть один. Я не хочу ни от кого зависеть». Он улыбался разговору, смотрел, как детской, но большой рукой Сташ вынул нож и стрельнул выкидным лезвием — хорошая сталь с кровоотводом и зубчатым затылком: «Если комиссар забудет про деньги, я отрежу ему уши. Он не оглохнет, но любимая музыка станет недоступной».

В Армавир автобус пришел ночью, и я уже задыхался от тоски по дому. Автобус заехал на железнодорожный вокзал, комиссар поторопил нас выйти. Кучно стояли елки, тархтел усилителем рестораник. Комиссар крутнулся, исчез за елками. Жесткое от звезд небо и запах рельсовой окалины. У «комка» остановилась парочка — хмельной, за версту видно, парень и совсем молоденькая дурочка. Он ладонями приподнял ее под скулы и целовал.

— Засос за два, — сказал Бесан.

Парень куражился над дурочкой, но ей это нравилось, она терпела, цыпочками нащупывая асфальт.

Задом накатил брезентовый «уазик». Дверца открылась, выпал мешок и следом выпрыгнул комиссар. «Уазик» сорвался, и комиссар на ходу захлопнул дверцу.

— Номерок военный, — сказал Сташ.

Комиссар подозвал нас и зараводался:

— Дисциплина железная, ребята. Вот вам обмундировка.

Как-то странно было вдруг сознать, что никто из нас не задает комиссару никаких вопросов. Как будто каждый решил уйти в сторону от ответов. Комиссар вручил нам деньги.

— Подъемные, — сказал он и раздал билеты на поезд. — Я поеду в другом вагоне, — пояснил комиссар, у него на голове сидела кепочка с кнопкой на козырьке. — Нужна осторожность.

Была в нем увертливая уверенность бывшего толкача. Мы разошлись.

— Раздал подье...е и слиняет, — сказал легко Бесан.

— Нет, — сказал тяжело Сташ. — Доведеет до места.

В купе мы пили. Вова дважды пересчитывал деньги. Он был на второй полке и для пересчета залезал наверх. Водка толчками выбивала тоску. Бесан развязал мешок и раскидал камуфляжные куртки и тяжелые, не первой свежести ботинки.

— Слушай, — сказал он Сташу, — это все на тебя!

Он накинуд каскетку, поерзал в ней головой. Вова спрыгнул с полки и сказал:

— У меня есть своя форма.

— И дедушкина сабля есть, — сказал Бесан.

— Дедушкина сабля в новочеркасском музее, — сказал Вова.

— Так ты из казаков? — спросил Сташ.

Вова не ответил. В купе было сумрачно, мы включили ночники, спустили окно. Ветер стелил вдоль рамы, не тревожа влажного воздуха в купе. Водка отстранила меня от соучастников. Чуть-чуть полегчало. Сташ взял пробку и спрятал руки за спину. Сказал мне:

— Отгадаешь — нижняя полка твоя.

— Да я люблю на второй.

— Нет, — сказал. Он сидел коленями в колени, его гравитационная тяжесть давила и на душу и на ступни. Он улыбался потемневшими маленькими губами. — Ты не понимаешь. Надо отгадать.

Он хотел сказать мне и остальным: если полезешь на вторую полку, потому что тебе так нравится, значит, жизнь твоя продолжается без обрывов и смен. А если ты и граешь, значит, жизнь начинается в этот момент — без всякой связи с прошлым. Эта догадка тянулась во мне долго, стелилась по сознанию, по памяти, вдоль водочного вдоха-выдоха. Я не отгадал — то есть судьба свершила свой приговор. Я полез на вторую полку. Мне стало обидно, что жизнь начинается, следуя привычному движению. Я попросил ребят не курить — и они разом кинули сигареты за окно.

— Ты саблю нашел?

— Нет. Отец, еще пионером был. Нашел в подвале, в тайнике, и отнес в музей. Ему дали за эту саблю, инкрустированную, с драгоценными камнями, дали ему пачку входных билетов. Потом заведующий все камешки повыковырнул. Сейчас сабля щербатая, тусклая.

— Да, — сказал Сташ. — Никого в Новочеркасске не знаю.

— Ты же не донской, — сказал я.

Сташ по-совиному повернул ко мне голову:

— Почему?

— Говор не наш. «Г» русское.

— А ты не русский?

— Ну вон, слышишь, что Вова говорит.

— Казак — какая же это национальность?

— Будто есть русская национальность? — сказал Бесан. — Я вот русским себя не чувствую, хоть и говорю по-русски.

— А кто ж ты?

— Пусто. Не знаю я, кто я. Я знаю, что русских никогда не было. Потому называется не русак, не россиянин, а русский. То есть всякий. Один раз... приснилось, что по географической карте расползается язык...

— На военных учениях приснилось? — спросил Сташ.

Бесан захныкал пьяным смехом.

— Расползается язык, как вода весной, а то, что плавает, — это нации.

— Дерьмо, значит, всякое, — сказал Сташ.

— Да нет. Ладно. Но если так, то и казак — тоже нация.

— Не так, — сказал Вова. Он хотел было забраться на вторую полку, но замер. Пьяное оскорбление готово было перелиться в гнев.

— Казак по крови — так, что ли?

Вова подумал.

— Так.

Сташ лег и посмеивался. Бесан снял рубашку, стянул брюки. Сел, поджав ноги.

— Ну так если по крови, значит, нация.

— Исторически сложившаяся народность, — сказал Вова. Он сопел, он смотрел тем же, черным, взглядом на Бесана.

— Из книжки вычитал, — сказал Бесан. — Казаком называешься, а сам себя отличить не сможешь. Как жид.

Вова залез-таки на полку, лег и выругался. Бесану мысль понравилась:

— Все ломают голову: как отличить еврея? А очень просто: он сам себя не может отличить. Вот и вся загадка.

— Херня какая-то, — сказал Сташ.

— Идея у меня еще не оформилась, — сказал Бесан. — Она у меня вот тут, — он постучал себя по лбу, — в жопе. Но одно знаю: человек должен отличать себя от других. Вот поэтому мы и едем туда.

— Философ, — сказал Сташ. — Эндурцы-пендурцы — какая разница? У человека одна нация — его собственная жизнь.

— Политрук, — сказал, притихая, Бесан.

И Сташ, так же притихая, сказал:

— Я твою национальность знаю, ты — афганец.

Бесан не ответил, я видел только его майку, белая сумка-авоська была полна тихого, глубокого дыхания. Через минуту Бесан резко поднялся и, как был в трусах, ушел курить.

Не дышалось. Неизбежность самоопределения через другого хватала за горло. Юра протягивал лицо к ветру, быстрыми пальцами ветер перебирал волосы, лоб, глаза; ночь, ветер, весь мир работали на узнавание. В таких делах любви не бывает, думал Юра. Здесь таится закономерность, понуждающая запускать ведро в колодец чужой души. «Родник лица, — вспоминал Юра не то какое-то утро, не то страничку, вспыхнувшую утренним светом. — Рядом с любовью никогда не было ненависти. Чистая любовь — это чистое детство. А ребенок, движимый самоопределением, и убить может».

Я задремал, притупленный тишиной и мучительным узлом в голове. Или показалось, что задремал, — вдруг лицо Вовы с кукольно блестящей бородой и внимательными глазами. Поезд стоял. Двое внизу говорили. Пахло вареной кукурузой. Мне почудилось спросонья, что в темноте висит паутина нервных волокон, связывающая нас четверых. Паутина липла к лицу, и желание сбросить, движение ладонью вызывали всплеск странных родственных чувств к соучастникам. Бесан и Сташ, как мне показалось, говорили давно. И шли они на вербовку, понимали мы с Вовой, не первый раз. Назывались имена вербовщиков, цены за те или иные виды военных услуг

Я смотрел Вова в лицо — мы подслушивали, и я ждал, выдержит Вова или нет.

Бесан, я видел его майку и лицо с кукурузным початком, говорил:

— Сколько я переловил их! Баб наших любят, светленьких. И наши сучки рынок сразу усекли — стали блондинками краситься. Знает же, что он ее, как Бог черепашку, а все ждет, что задницу кредитками оклеет.

Вова механически мигнул веками, и я понял, что он пьян. Я усмехнулся и перевернулся к стене. Вова, давнув меня рукой, спустился вниз. Бесан рассмеялся и продолжал:

— Ё мое! Все поменялось. Раньше они ехали на наш рынок, а теперь мы едем на их!

— Так бы нам грести, как они у нас гребли, — сказал Сташ.

— Надо быть твердым, — сказал Вова. — Нельзя ронять лицо России.

— А что это у тебя? — спросил Сташ.

— Это мама в дорогу дала. Жареные патиссоны.

— А я думал — кабачки.

— Кто же это патиссоны жарит? — спросил Бесан.

— Моя мама, — сказал Вова.

— Какая же это мама, если она патиссоны жарит?

— И сына благословляет на чужую войну, — добавил Сташ.

— Меня священник благословлял, — сказал Вова.

Они выпили.

— Им бы такой рынок, какой они нам, — сказал вместо закуски Сташ и громче: — Таджики были?

— Были.

— Узбеки были?

— Были.

— Армяне, азеры? Были...

— Мы ведем превентивную войну, — сказал Вова. — Чтобы к нам не перекинулась.

— Ты маме это говорил?

Поезд пошел, пошел отлистывать световые страницы, и я ждал, что текст изменится, но они говорили все о том же — возникая, и пропадая, и опять возникая: о крови, о нации, о флаге, о совести, о ценах и опять о национальном флаге и такой же трехцветной совести. Вова держал кукольно самостоятельную голову на ладони и напевал:

— «Не белым-то, белым заря занималась...»

И я, опять засыпая, под стук колес и сменяющий его стук сердца понимал, что пили мы не для сближения, а для того, чтобы приостановить падение друг в друга.

— Мать есть мать.

— Знаю. Все видел. В Афганистан своих детей отдавали — сдыхивали.

— Каждый играет в свои козыри.

В Минеральные Воды (называю последний пункт: вербовщики — люди нервные) поезд пришел утром, до восхода. Вокзальная площадь и здание были переполнены еще спящим, но кое-где уже закипающим народом. Потянуло в о й н о й. Беженцы, бивачно нагромоздив баулы, гигантские полосатые сумки (по цвету российского флага), казалось, на многие месяцы превратили вокзал в коммуналку. В выгородках спали семьями, может быть, родами, а может быть, племенами.

Вова опустошил свой рюкзачок и теперь стоял во всей казацкой красе. Комиссар похлопал его по груди: «А вот это хорошо, к месту». Мы вышли на привокзальную площадь. Комиссар сказал, что идет звонить. Мы улеглись под елками на газоне. На долгих спинах далеких холмов таял туман. В хвое льдинками позванивала синица, и воздух был с морозцем, чистый. Сташ потянул раз, потянул два, прокачивая вдох через свое большое тело.

— Кавказ! Я еще ночью почувствовал. Свежесть горная.

Прибежал комиссар. Он был уже потный.

— Решается! Может быть, подвернется вертолет УИТУ, будет мэрто. Нормально? Пойду позвоню.

Бесан встал и тоже ушел, сутуло поглядывая по сторонам. Вернулся и молча катнул в траву бутылку коньяка.

— Ну что? — спросил Сташ.

— Такие, как наш комиссар, кончают плохо. Такие кончают ужасно. Бывало, запихнешь его голову ему же в брюхо — он свои же кишки жрет.

Из ели выскочила синичка — с инеем на щеках, желтым нагрудничком, голубыми до синевы перышками, все словно бы только что принесенное, утрешнее: корочки снега, солнечный мякиш и пропитанные небом плечи, — вдруг пробилась синева сквозь густую смесь тумана и облаков.

Подошел мальчик и спугнул синицу. Лет семи оборвыш в чесотке. На голове было две макушки, два вихорька — надо лбом и на затылке — поднимали золотистые бурунчики.

— Как зовут? — спросил я.

Он не ответил. Голубые глаза спружинили на бутылку. Бесан постучал по бутылке ногтем и сказал:

— Принеси чего-нибудь нам поесть — налью.

Пацаненок отвел набок верхнюю губу, обрадовался:

— Знаю. Вон у той бабки клевые пирожки. По четвертаку.

Пирожки были тощенькие, в черных пятнах пригоревшего жира. Но пахли укропом.

— Он же заразный, в какой-то парше, — сказал Вова. — Что у тебя? — спросил он пацаненка.

— Это чесотка, — сказал Сташ. — От нервов.

Бесан налил пацаненку в бумажный стаканчик (пацаненок подобрал его тут же, у газона), сказал: «Хватит?» Тот выпил, кадычок забегал по приподнятой шее.

— Ну как?

— Алкоголь, — ответил со слюной пацаненок.

— А как ты узнаешь?

— Когда алкоголь — горло жжет.

— Ну пошел отсюда, — сказал Бесан.

Паренек поставил стаканчик вверх дном и шлепнул по нему ногой. Ничего не получилось. Он ушел.

Солнце давило на туман, на облака, вспыхивали и уже не исчезали голубые пробоины. Синица вернулась, из-под руки Вовы подхватила кусок непропеченного теста, поволокла по траве, дважды отрывала вес, роняла.

— Возьмет?

— Нет.

— Спорим.

Не успели — из-под еловой лапы высунулась длинная морда собаки и перехватила кусок.

Пришел комиссар. Он был потный, розовый, глаза не смотрели. Под нижними веками расплылись синеватые пятна, словно сквозь них подтаивали голубые глаза.

— Значит, так. Задача номер один — не разбредаться. Если привяжется патруль, отвечайте: завербовались на полевые работы...

— В самую щелочку.

— Да. Задача номер два — помочь местным казакам провести мероприятие. Мы поможем — они помогут.

Он переложил портфель из руки в руку и ушел. Вова поднялся, сошел с газона и выпрямился, прогнал складки под поясом, стряхнул что-то с коленей, поправил фуражку, из-под которой, поправ козырек, вдруг вылупился чуб. От ровного, белого лица, от бороды и взвеселенных глаз повеяло — Бесан хмыкнул — точным, на длину воображаемого погона, отчуждением.

— И пить не будешь?

Вова отвел вопрос все тем же воображаемым погонном, закурил и стригущим движением пальцев вынул сигарету изо рта.

Площадь пошла народом. Составлялся по периметру рынок. Огромные чемоданы, сумки, ящики перемещались во всех направлениях.

— Наворовали, мародеры, и везут в Россию торговать, — сказал Бесан. У него были красные веки, воспаленные кутки глаз слезились. — Эх, — он потянулся во весь рост, упал спиной на траву, — не повезло мне там. А то бы я взял свое!

Несколько мгновений он говорил желваками. Вова прервал его:

— Воровать — ума не надо.

— Тебе в тире надо работать. Мишенью.

Солнце пришло в сопровождении ровного ветерка. Суета из утренней, весенней перетекала в дневную, августовскую. Сташ очнулся, поискал жмурным лицом солнечную прогалину в еловой тени, поводит лицом словно под душем: «Ох, тепла да на всю бы душеньку». За елками послышалась громкая нерусская речь. Сташ длинной рукой раздвинул ветки. Трое теснили одного, по лицу — своего же. Один, повыше и поплотнее, ударил — теснимый упал. Его стали топтать. Они делали дело, как будто никого вокруг не было. Или привыкли к тому, что дела приходится решать на глазах у посторонних. То, что они делали, было неотложно и необходимо. На автобусной остановке закричала женщина. Парни дотоптали и ушли. Избитому никто не помог. Он полежал, прикрыв голову полой куртки, потом встал. Его стошнило.

— Они должны быть там, куда мы едем, — сказал Бесан.

— А тебе понравилось бы воевать дома? — сказал Вова.

— А я их друг от друга не отличаю, — сказал Сташ. — Кто чечен, кто черкес, кто армянин, кто осетин? Ей-богу, как в лесу не отличаю деревьев.

На площадь выехал автобус, из него выгрузились девчонки в униформе ПТУ с духовыми инструментами. А к нам подошли два милиционера. Тот, что постарше, махнул дубинкой: «Убирайтесь». Вова вдруг выструнился и замахал кому-то рукой — возле девчонок-оркестранток стоял наш комиссар с казаком в черной форме. «Я сейчас», — сказал Вова и, придерживая левую сумку, ударился широким шагом.

— Вставайте, — повторил милиционер.

— В чем дело, отец? — спросил Сташ.

— Пошли отсюда! — закричал младший. — Слышали? — И сказал старшему с обидой: — По-моему, они нарываются.

— Цемент абонемент? — сказал, улыбаясь, Бесан.

Старший включил рацию, сыпануло шумом, старший докликивался до ответа. Бесан розовыми веселыми глазами посмотрел на младшего:

— Не понимаешь?

И нам — подмигивая, свой глуповатый каламбур:

— Це мент, або не мент?

Младший нацелился дубинкой, но подошел комиссар, подошли два казака — наш Вова и мужчина в черной форме с длинной шашкой, облитой тонким, нитяным узором серебра. Черный казак отвел старшего, стал что-то объяснять, вскинул козырек фуражки двумя пальцами. Девчонки выстроились и дунули в трубы, пришибленно забил барабан, и скрежетнули тарелки. На площадь въехал атаман — а может, и не атаман, черт их разберет, — на белой лошади и ввел за собой человек двадцать пеших в черной форме. Казак с серебряной шашкой развернул пеших лицом к конному. Мы подошли. Конный говорил о возрождении войска, о патриотическом долге, о защите святых рубежей от инородцев. Последние толпились, настороженно, вежливо глядя на то, как белый конь поливает брызгами свои по-армейски неподвижные ноги. Потом выступил наш комиссар, он передал крикливый привет от братьев-донцов. Казаки закричали:

— Любо!

Вова подтянулся и тоже крикнул: «Любо!»

Девчонки вздули трубы, казаки перестроились и пошли на электричку. Конный сбросился с коня, подошел к нам, белой перчаткой подковыривая усы, сказал: «Вот и ладненько. Должен быть вертолет. Он повезет продовольствие, а вы тамочки примоститесь». Он забрался на коня и поцокал в проулок.

В ад попасть непросто. Душа должна быть готовой. Душа должна вибрировать от глубочайшего страха, а совесть сиять как нимб — над головой.

.....

До позднего вечера мы провалялись на газоне. Выпивали, беспричинно гоняли комиссара звонить и узнавать. УИТУ по кличке Нота нам не помогло. Комиссар купил нам билеты на проходящий — битый-перебитый, в плацкартный — и быстренько исчез, пожелав счастливого возвращения.

В духоте и беспощадно тусклом свете дремала конфедерация народов Кавказа. Заняты были и багажные полки. Багажные ящики по всему вагону были забиты углем (чем-то рассерженный наш казак искал место для своего рюкзака). Когда Вова пошел выяснять, проводник сказал с конфедеративной прямоотой, что уголь везет для пострадавших, что там, куда идет поезд, нечего кушать, а зимой люди будут умирать от холода. Вова отпрянул, а проводник — лицо, как под вуалью, в недельной шетине — кричал вдоль вагона, чтобы слышали те, кто тащил мешки, волочил ящики с навесными ручками, полосатые сумки «смерть носильщика», чемоданы, тюки, чтобы все они слышали:

— Пусть приходит ООН! Пусть ООН посмотрит, что делают люди над собой!

Как пароход, по старости пустившийся в контрабанду, раздолбанный поезд уходил в открытое море Кавказа.

Мы примостились, отвоевав для себя две полки — верхнюю и нижнюю. Вова, словно после приятной выпивки, был взвинчен и торопливо наивен:

— Как много здесь народностей! Что же? С одной стороны реки один народ, а с другой стороны другой народ?

Женщина на соседней полке кивала, удивляясь вместе с Вовой.

— Но в этом заключена какая-то природная тайна! Почему люди, живущие в одном ущелье, ни по языку, ни по обычаям не похожи на людей из другого ущелья?

— Беда, такая беда случилась! — ответила женщина.

Бесан уперся во что-то в темноте и залез на вторую полку.

— Юра, ты будешь ложиться? — спросил Сташ. .

Я удивился, что чей-то голос нашел меня здесь.

— Нет.

Сташ залег за наши с Вовой спины.

— Садитесь сюда. — Женщина поджала ноги.

Вова пересел.

И женщина стала рассказывать длинную запутанную историю о муже, севшем по навету начальника, о детях, о родственниках, о друзьях мужа, об адвокатах и судьбах. Слова назывались ею понятные, но жизнь за словами была зашифрованной не только чужим языком или бытом или, глубже того, историей, жизнь была зашифрована так, что история или то, что мы этим словом называем (яма прошлого, свитки чужого разуменья), нигде в прошлом не откладывалась, а билась прямо в голове этой женщины, поступала живьем, чуждая не только словам русской речи, но, может быть, и речи, под которую родилась.

— Рыбы живут под водой, но руководствуются звездами, — сказал к чему-то Вова.

— Соседом был, а стал собака! — сказала женщина. — Бешеная собака! Он камни грыз... Как из человека такое получилось?

Снотворная дрема приникала к решетке сознания, ошупывала, искала щель, надавливала — я вздрагивал. Белое, ровное пятно лица, прихваченное из мгновенно спугнутого видения, молча стояло передо мной. Вова был неподвижен, бородка, как наркомаска, лежала на губах и подбородке.

Дрема опять налегала на решетку, опять протягивала какое-то видение — чтобы опять ударить меня испугом. Не в сон протискивался, а в память. Темный вагон, сине-розовая полутьма, душный воздух и медленно мыслящие вещи — чемоданы, ящики, обувь, полки. С ума сводящее чувство: б ы л о. Мысль возвращалась от каждого предмета со следами чужого созна-

ния: было. Ненависть не убивает, любовь не защищает. Было. Бессонное сумасшествие совпадения. Кто сказал, что жизнь повторяется? Когда случается совпадение, сходишь с ума. Сознание не способно выпататься, высвободиться из решеток светлицы. Вот тогда-то и приходит потребность убивать...

Сновидение подкралось и кинулось было в промоину, но сознание вспыхнуло и, мало мне испуга, прошло мучительной ломотой по суставам: не спи!

.....

Я замечаю, что память отбирает то, что приятно. Но даже отвратительное, будь оно пересказано памятью, уложенное в сюжет, выступает образом, с которым приятно общаться.

Память, как идеология, владеет сюжетом, а потому владеет сознанием.

Пошлость есть исполнительская тупость души. Исполнительское мастерство может быть изощренным, но пошлость неистребима — потому что видит мир только в чужом пересказе.

Сюжет — это закон пошлости, пошлый закон памяти.

Я убиваю не из ненависти; я убиваю, не замечая убийства, потому что идеология уже пересказала мне эту кровавую подлость.

.....

На станции N мы выгрузились утром. Над вечнозелеными уже поднималась духота. Маленький вокзал был фарширован беженцами. За вокзалом у ржавого забора были расставлены австрийские палатки. В них жили цыгане.

— Гадать мне не надо, — сказал Сташ. — Почему вы здесь сидите?

— Да где ж быть? — Цыганка заулыбалась тусклым золотом. — Сразу столько границ, и везде убивают! Двух сынов утопили — за что?

Она хватала Сташа за рукав — высокого, надежного, как скальный скол, сошедший прогуляться среди людей. Сташ по привычке отнимал руку, отнекивался. Она же, привыкшая ловить чужую руку, вдруг испугалась за себя — боялась его потерять, шла широким своим цветастым шагом, показывая в улыбке опавшие десна и гильзовый ряд коронок.

На этом маленьком вокзале люди делали то, что делают на всяком нашем вокзале, — ели, пили, курили, спали, ходили по платформе, исчезали в беспощадном туалете. Но концентрация всего этого была такой высокой (по способности горя занимать небесные высоты) — я вглядывался в лица с болезненным, неосторожным чувством: вот-вот увижу родное лицо или знакомое, может быть, где-то существовал мой брат (другой, младший), о котором я не знал, но война и паника выгнали его мне навстречу. Это была лихорадка тревоги, выплескивалась она в жалком человеческом желании не то пожалеть кого, не то встретить того, кто тебя пожалеет. Этим объяснялись прозорливость и сонливость. Мы тут же выпили и закусили прогорклой тушкой рыбы-курицы. И Сташ вдруг рассказал, что от сестры у него есть племянник-осетин — из села Катгерон, фамилия теперь известная в военных кругах Осетии — и что Сташ готов туда прорваться и посмотреть, каким же стал тот мальчик-с-пальчик, которого он когда-то нянчил.

Я, в мягком утреннем опьянении, умилялся чуткости биологической природы: мандраж (тревога) на каком-то клеточном уровне уходил не в пустоту, как мне, физику, померещилось, а в некую область возможного человеческого со-чувствия.

Мы искали майора Г. Мы нашли его на дальних путях. У раскрытого вагона стоял охранник — парень лет двадцати пяти в камуфляже, с автоматом и бутылкой из-под колы на поясе. Он нас не подпустил, но из вагона выпрыгнул Г. — вокзальная физиономия, но чем-то уже облеченная (властью или ее спутницей — самодурством). Г. спросил, подписывали ли мы документы. Мы не подписывали, сказали мы. Г. зашел за вагон, мы за ним и стояли свидетелями его безуспешной попытки справить малую нужду. До нее ли, когда великая нужда толкнула народы с насиженных мест?

Он кивнул, подтверждая, что бумаги мы обязательно подпишем.

— Слушай, — сказал Бесан. — Мы приехали помочь. Но вы сами себе не хотите помогать!

— Слушай! — ответил Г.: черные глаза, черные брови, черные усы и арафатская шетина на щеках. — Мы вагон разгружаем. С мукой! Кто его бросит? Сразу разворуют! Первый вагон за два месяца. Вот придет машина, мы ее загрузим, в ней поедете.

В самом деле пришла машина. Водитель и еще двое стали вваливать в продолбанный носатый автобус мешки, задыхаясь от мучной пыли; Г. не помогал. Я, толкаемый нетерпением, подставил было спину, но Сташ придержал меня:

— Не суетись. Может, они воруют.

Водитель и его грузчики выбрали свой лимит, и тогда Г. сказал что-то на своем шoferу. Тот испуганно оглянулся, напоролся взглядом на Сташа и пригласил входить. Мы ехали по всхолмленной равнине к горам. Ветер вбегал во все окна, выметал мучную пыль. Дважды пересекали плоскую на равнине горную — в характере — реку. Русло было выстлано огромной галькой, принесенной, как строительный материал берегов, откуда-то с вершин Кавказа. Проплыло полусожженное кукурузное поле. Вова, оберегая казачью форму, прошел вперед, разговаривал с грузчиками. Он стоял, те сидели, смотрели снизу вверх. Вова, нам было понятно, расспрашивал: какая река? какое селение? почему сгорело поле? Дорога обозначала длинный подъем, и незаметно мы оказались над руслом реки. Справа стал вырастать склон, скальные взъёмы, покрытые облепиховой позолотой. Нас догнал серый «Жигуль», и рука попросила остановиться. В автобус вошел Г., осмотрел мешки, потом нас и достал из грудного кармана листочки. Раздал. Это был обыкновенный договор на подряд.

— Что тут заполнять? — насмешливо спросил Бесан.

— Фамилию-милию, что, не заполнял?

Мы вернули ему кое-как заполненные договоры, он пробежал-проглядел, все ли подписи на месте, и откозырял нам.

Часа через два автобус притормозил у турбазы, и водитель длинным, удаляющим жестом показал, куда нам идти.

.....

Может быть, мы по дороге спорили о том, выживут или не выживут эти люди. Вова вернулся к нам и сказал, что река называется Айдор (усл.). И вот тогда произошел спор — не в словах суть. Спор догорел, когда мы вышли из автобуса, уронив на землю мешок с нашим камуфляжем. Сташ сказал:

— Твоя сказка про лягушку в кувшине с молоком — для детей, которые любят молоко и масло.

— Почему сказка?

— Потому что в кувшине было молоко. А если в кувшине одна вода?

.....

Нас принял и молча пересчитал Кожан — «кожаный затылок». В небе невесомо стоял розоватый полумесяц. Кожан был во всем военном, длинный козырек фуражки опускал тень точно до подбородка.

— Вот мои часы, видите? — Кожан вздернул рукав, обнажил заросшую руку и большие, с орлом, часы. — Если меня убьют, все опознавательное снять, оставить только эти часы. Идут точно, жить вы будете и подчиняться мне по этим часам.

Он повел нас по розовой дорожке. «Вот ваш коттедж». Мы вошли в деревянный домик из двух комнат — на четверых. Оставили вещи. Кожан стоял на верандочке, курил «Приму», а когда шел по дорожке, песок под его ботинками мягко молчал.

— Наша задача — охранять дорогу, — он кивнул влево, — держать под наблюдением склон за рекой, — он кивнул вправо, — и надзирать за туристами...

— Тут есть туристы? — спросил Вова, чему-то обижаясь.

— Молодежь бывает. На несколько дней.

Он подвел нас к другой деревяшке — медпункт и радиопункт. Открыл дверь радиопункта. Рядом стояли автоматы, гранатомет, ящики с патронами...

— Это я выдаю, и это вы возвращаете. Дежурство очередное. Никакой партизанщины. Я не хочу за вас отвечать.

Он закрыл дверь на два-три замка, обернулся — солнце, пробив верхушку кипариса, село на лицо Кожана, круглое, с голубыми глазами в белых ободочках светлых ресниц, маленькие сильные скулы, выбритые щеки и приподнятый маленький подбородок. Все это — и щеки, и скулы, и подбородок — лоснилось здоровой смугловатой кожей.

— Мы что, будем безоружные? — спросил-таки Сташ.

Кожан обернулся, поискал плечами что-то у себя за спиной — стенку, чтобы опереться? — сильное лицо его возмутилось.

— Вы будете стрелять тогда, когда я прикажу, и туда, куда я покажу. — И поскользнулся на раздражении, покатыл на нас: — Мне не нужны вольные стрелки, мать ... ! Мне надоело отчитываться, писать объяснительные, мать ... ! Я тоже приехал воевать, а меня заставляют составлять докладные: какой мудака, сколько и в какую сторону выпустил патронов!

Он отвернулся на пол-оборота и сказал:

— Мне за убитых не платят.

— А какая вам польза от живых? — хотел я перевести разговор на тему житейскую.

— Обращайтесь ко мне «господин капитан». И никакой душевности. Здесь эта валюта не ходит. Во всяком случае, я ее не обмениваю.

Кипарисы потемнели — солнце клонилось за хребет, небо лиловело и густым замесом опускалось в ущелье. Было около трех часов. «Столовая там», — сказал Кожан. «Платить надо?» — спросил Бесан. «Все оплатил совхоз». Из столовой на дорожку стали выходить ребята. Вдруг. Лет четырнадцати—семнадцати, девочки и парни. Кожан расставил ноги поперек дорожки — циклоп, пережидаящий стадо. Но ребята рассыпались — кто за кипарисами, кто потянулся вдоль забора-штaketника, утонувшего в кустах ежевики.

Со спины Кожан показался мне знакомым. Когда-то я видел его, может быть, говорил с ним. Когда-то он мне что-то внушал, и воспоминание было приятным.

Мы не пошли в столовую. Доедали свое.

— Я его где-то видел, — сказал я.

— Да? — спросил Вова. — Значит, я ошибся. Я не мог его знать раньше.

— Инопланетянин, — сказал Бесан. — Все с ним встречались, но не могут припомнить, где и когда.

— Инопланетянин? — спросил настороженно Сташ.

Вечером в темноте заиграла музыка, и на площадке у столовой расплясалась молодежь. Мы подошли, посмотрели издали. Взревел телок — он выпал из темноты тремя лунными пятнами. Девочки раскричались, парни быстрой образовали полукруг. Телок стоял растерянный, взревывал, вызывая восторг, — он озирался, словно никак не мог составить себя из белых и черных пятен. Пришел дядька в кожаной, клиньюми, кепочке и хворостинной оттеснил телка за загородку.

На нас поглядывали, но Вова было мало. Он отделился, отошел. Мы вернулись в коттедж, Вова остался.

И уснули не сразу. Через полчаса прибежал, прилетел (я слышал его длинные, с носка на носок, прыжки) Вова: «Кожан поднимает! Местные пришли с туристами разбираться!»

Со стороны дороги трясли забор, выламывали штaketник.

— Эндурцы?

— Говорят, айдорцы.

— Они же свои!

— Из-за девчонки своих не бывает.

Сквозь кусты несколько раз ударили светом фары, разбили темноту. Золотой абрис Кожана передвигался в изумрудном потоке листьев. Кожан шел в пролом, мы держались позади, а ребята шелестели по кустам, искали проходы в ежевичной коллужке.

На Кожана кричали нападавшие. Он выслушал, поднял руку — свет погас. Стало тихо. Взревел мотор, другой, колеса заскребли по земле и побежали, настигаемые тишиной. Воздух стоял холодный, и звезды сквозь усиленный горами мрак играли по-зимнему.

— Вы не имеете права! — со слезами возмутился девичий голос. — Что я такого сделала?

— И не жалуйся потом, что тебя изнасиловали! — ответил голос Кожана.

Оказалось, Бесана среди нас не было. Он спал. Сташ рассердился и сорвал серое, с полосками по голове и ногам одеяло. Бесан скосил глаза на тусклую лампочку, выругался.

— Ты почему не пошел? — Сташ отшвырнул одеяло.

— Отвали, — сказал Бесан. — Я не люблю политруков.

Сташ занес над ним руку — тень ладони прыгнула в угол комнаты.

— Не надо, — сказал Вова. — У него дети.

И Сташ вдруг отвернулся, он смотрел туда, куда забилась тень его руки. Уши потемнели, глаза стали желатиновыми.

— А у меня не дети? — сказал он. — У меня поросята? У моей дочки врожденный порок сердца. А она бредит — хочет быть балериной...

— Не дави. — Бесан сел на кровати, лицо у него ослабло, он не обмяк, не струсил, но все-таки оправдывался. — Я ничего не понял — я спал. Понимаешь?

Он посмотрел на Вову, потом на меня, он протягивал проводок связи, надо было дотянуть до Сташа.

— У меня такой сон — отрубной. Я как с ума схожу, боюсь просыпаться. Следующий раз поднимайте меня ногами.

Мы закурили, и Вова рассказал Бесану, что было. Свет погас. Четыре огонька описывали душевные состояния каждого из нас, и каждый из нас переносил на сигарету свой вопрос и свое недоумение. Но в общем-то, в подоснове, был покой. Покой, охраняемый злобой.

.....

Рано утром Кожан выдал нам оружие, построил и проверил, все ли при нас. Мы стояли, как школьники, по росту — Сташ, я, Вова-казак и Бесан. Бесан отказался надевать ботинки: «В них только на тот свет ходить». Камуфляж сидел лишь на Сташе, я колебался от холода и невозможности утвердиться плечами в мешковатой куртке. Солнце осветило редкие тучи над горами. Кожан скомандовал: «Бегом!» — и «потянул по флангу».

Вдоль шоссе через мост, оторвались от базы и вверх, вверх, я хватал воздух и свежие запахи хвои, речной воды, запах-вкус ледников, прибежавший на крыльшках ветра.

Кожан свернул с дороги и потопал по лесной тропинке. Лес был букочный, многослойные листья скользили под ногами. Склон стал круче. Солнце восстало над хребтами и погнало влажную духоту. Запахла дикая лилия. Мы бежали кособочась — левая нога над правой: Я задыхался, в спину мне обидно и тупо дышал Вова. Я оглянулся, лицо у него под казачьей фуражкой было белым, но с жарким румянцем на скулах. Мир стал неудобен для жизни — солнце все время находило глаза и липло, как лесная паутина, листья скользили под ногами, и я чувствовал эту временем нанесенную, не тающую наледь падали. В ушах пошел речной шум, я еле слышал, что объясняет нам идущий ровным бегом Кожан: выше — село, из него выбили эндурцев, но остались семьи. Эндурцы могут вернуться со стороны перевала — это за селом, дальше, через долину. Сейчас основные бои как раз у перевала, если эндурцам удастся выбить айдорцев и конфедератов с высот, контролирующих дорогу через этот самый перевал, — надо ждать их здесь.

«Или снизу, — доносился хриплый, сочный голос Кожана, — со стороны железнодорожной станции. Но оттуда навряд ли». У меня загорелось сердце, воздух пробегал мимо и, разогревшись, обжигал легкие. Я сдался и уступил место Вове. Сташ не отрывался от Кожана, малиновый затыл великана только слегка взмок.

Небо и конец горы были еще недосыгаемы. Мы повернули, и склон встал справа. Как поменять ноги? Солнце опять било в лицо. Пробежали взорванный экскаватор в глиняном карьере. Пошла травяная волна, кусты шиповника, опять трупный аромат лилии и ее свет — узлы сатанинского огня. Я сдыхал. Мельком замечал множество охотничьих гильз. С обидой, чуть ли не со слезой увидел, как отрывается от меня спина казака. И тут же сильных два удара в зад — вернулось сознание вместе с болью. Бесан ударил еще и еще, но злость только на мгновение напомнила о себе — словно мое унижение было ей нипочем, она скользнула куда-то в свою, вторую, что ли, душу. Когда Кожан стал разворачивать склон под левую ногу, я спекся.

Алялик Само-Самойленко, Пупон бархатнолистый сопровождал меня из обморока. Встретил же Бесан — он бил меня по щекам и выкручивал нос. Он улыбался, братские беспощадные глаза — физика глаз ничем не подтверждала их человечность — смотрели вверх, вслед ушедшей тройке.

— Иди, иди, — сказал я.

Он взял мой автомат и побежал. Сверху он крикнул:

— Переходи на второе дыхание — дыши задней!

Я рассмеялся. Потный холодный лоб, бесформенное тело, ни одной мышцы. Юра поднялся и медленно, роняя себя вверх, стал по корням выбирать высоту.

На вершине горы стояли высокие, вровень с буками, дубы. Село как бы парило над глубокой лесной долиной, и вдали небесным прибоем светились снежные хребты.

Цепочкой — Кожан, Сташ, Вова-казак, Бесан и Юра Хлюп — они входили в село. Навстречу шел дед в пальто и шапке, дед припадал на ногу, и Юра смутился, подумал, что деду всю жизнь пришлось приспособливаться к наклонной плоскости. Дед вел на веревке круторогого козла и на приветствие не ответил. «Э дурец, — объяснил Кожан. — Не захотел уйти со своими». Село было пустынным, в садах тишина, только собаки выныривали из-под ворот и калиток, вытягивались гуськом или разворачивались полукругом, наседали на пятки. Юра дважды швырял камни.

Слева по улице дом был разрушен сухим, безогневым ударом. Другой полуобгорел, среди разора ходил мужчина. Женщина ворочала матрац. Из воротца высочил мальчик и повернул назад.

— Казаки!

Его крик подхватили собаки и набежали опять. Юра испугался и обиделся.

— Успокойте ваших собак! — сказал он женщине, выглянувшей справа над забором.

Женщина улыбнулась и позвала: «Юздаш!» (Усл.) Черный кобель, хвативший было Юру за штаны, покладисто унялся и юркнул в калиточку.

— Почему я здесь не живу? — сказал забористо Бесан. — Почему они живут здесь, а я здесь не живу? Какое равноправие наций, если меня родили не здесь?.. — Он обернулся ко мне напряженным лицом, зловатой улыбкой. — Ты заметил, у них у всех здесь сплошь золотые зубы? Просто Клондайк!

Он говорил со мной, как будто и не пинал меня в зад.

— Справедливость — это рулетка, — сказал я.

— Слышишь? — передал он мои слова Вове. — А каза и дуванили, дураки!

— Сначала дуванили, потом играли, — сказал Вова.

Улица свернула влево и пошла на взгорок. «Вино ищите?» — спросила старушка из-под мандаринового куста. «На обратном пути». — сказал Сташ. На взгорке белело двухэтажное здание

— Два инстинкта соревнуются в человеке, — сказал я Бесану — Родовой и коммунистический Откуда родовой — понятно: сохранить дом, семью, род.

Я замолчал. Девочка лет тринадцати гнала корову. Черно-белая, с влажным носом корова, казалось, несла в себе и на себе прохладу Тяжелое, ниже колен, вымя было подвязано толстой волосатой сеткой Коровий рев поднялся над дорогой, прошел над садами и скользнул в голубую дымку долины.

— А коммунизм? — спросил Бесан.

У здания, облицованного бело-розовым туфом, стоял бронетранспортер, на флагштоке качался айдорский флаг. На лавочке, как перед правлением колхоза, сидели солдаты, конфедераты, ополченцы — Бог их разберет Кожан кивнул кому-то и показал нам рукой, чтобы следовали за ним Мы поднялись на второй этаж, прямо по коридору. Кожан промаршировал и толкнул дверь с надписью «Партком».

Кабинет был большой, его свободно перебежали две квадратные колонны. Столы были составлены угол в угол, и зигзаг этот указывал на большелицего лысоватого человека. Кожан козырнул — человек, не выправляя шеи, поднял как бы свисающую голову, навел на нас обвисшее лицо, большие черные глаза под ленивыми веками.

— Привел познакомиться, — сказал Кожан. — Протектор айдорского района Азик Еворкович. (Усл.).

Протектор кивнул. Над его головой в нише книжного шкафа стояли все пятьдесят пять томов В. И. Ленина — муляж, сработанный из толстого железного листа. Протектор заговорил о сложностях горной войны, о коварстве и подлости эндурцев. Голова его так и висела на ниточке между плеч и чуть-чуть раскачивалась из стороны в сторону. Кожан что-то шепнул Сташу, тот передал, и по цепочке дошло до меня: у протектора погиб сын, а раненая дочка и жена эвакуированы в долину.

— Эндурцы преследовали нас за то, что мы предпочитаем говорить по-русски, а не по-эндурски.

Протектор улыбнулся нижней половиной лица. Мы тоже заулыбались понимающе. Он смотрел на часы, утонувшие в волосатом запястье, и рассказывал, как близким знакомым:

— Я еще был студентом. Пришел в гости к родственнику. Мы сидели за столом, выпивали. Он был яростный антиэндурец, я над ним подшучивал. И тогда он мне сказал:

«... — Вот ты смеешься, когда я говорю, что эндурцы опутали нас по рукам и ногам. Но я с тобой иду на спор. Возвращаясь в город, ты будешь идти мимо дома, где все наши министерства. Выбери любой этаж и пройди подряд десять кабинетов. И если в восьми не будут сидеть эндурцы, я выставлю тебе и любым твоим друзьям хороший стол и даю клятву больше ни разу не говорить об эндурцах.

— Вы это всерьез?! — спросил я, пораженный таким оборотом разговора. Дело в том, что его домыслы об эндурцах никогда не опирались на цифры, а теперь он вдруг прямо обратился к статистике»³.

Азик Еворкович значительно умолк. Мы закивали. Я сказал:

— Люди обычно увиливают от математически точного ответа.

— Вы экономист? — спросил Азик Еворкович. — Люди у нас тут такие: не только в чужом кошельке, в своем считать не желают.

— Точный ответ пугает людей, — сказал я. — Как будто точный ответ может выстрелить.

Протектор сонно помолчал. На столе у него подобно зеленому кубу лежала незрелая айва. Протектор пощупал ее издали одним движением глубоких ноздрей и сказал:

³ Прибегаю к помощи другого летописца, Ф. Искандера, который, судя по цитируемым фрагментам, лучше и тоньше описывает драму униженного Эндурией народа. Я позаимствовал у летописца и условно-этническое определение «эндурцы» Этнос всегда условность. И доказательством тому случайность, сделавшая меня участником айдорской драмы Все могло повернуться иначе, и я бы смотрел на айдорцев глазами эндурского летописца.

— Так вот что было дальше:

«Через двадцать минут я уже был возле Дома правительства. Я на минуту замешкался у входа. Я здорово волновался. Я сам не ожидал, что буду так волноваться. Я не знал, какой этаж выбрать для чистоты эксперимента. Почему-то я остановился на третьем. Он мне показался наиболее свободным от игры случая.

Перешагивая через одну-две ступеньки, я вымахал на третий этаж. Передо мной был огромный коридор, по которому лениво проходили какие-то люди, пронося в руках дрябло колыхающиеся бумаги.

Я пошел по коридору и, отсчитав справа, почему-то именно справа, десять кабинетов, распахнул дверь в последний и остановился в дверях.

За столом сидел лысоватый немолодой эндурец, и, когда я открыл дверь, он посмотрел на меня с тем неповторимым выражением тусклого недоумения, с которым смотрят только эндурцы, и притом только на чужаков».

Протектор изобразил этот взгляд — ему ничего не надо было менять в лице, он только потянул за невидимую ниточку и приподнял белые заслонки век. Мы рассмеялись. Кожан снял фуражку и стал обмахивать ею коротко стриженную голову.

Протектор дослушал наш смех (Вова из вежливости кулдыкал дольше всех) и продолжал:

«Я быстро закрыл дверь и направился к следующему кабинету. Толкнул дверь, и сразу же мне в лицо ударила громкая эндурская речь. За столом сидел эндурец, а двое других эндурцев стояли у стола. Говорили все трое и все трое замолкли на полуслове, как только я появился в дверях, словно обсуждали план заговора. Замолкнув, все трое уставились на меня».

Покачивая головой слева направо, еще правее и слегка назад, Азик Еворкович изобразил троих заговорщиков, при этом его неподвижные глаза, перемещаясь, не теряли выбранной точки прицела. На этот раз всех опередил Вова — взоржал и для чего-то шлепнул ладонью по автоматному прикладу. Но протектор нас не слушал: веки увели взгляд книзу, плечи встали закрылками, верхняя губа потянулась к кончику ястребиного носа:

«Гейзер паники вытолкнул в мою голову мощную струю крови! Я распахивал дверь за дверью, и, как в страшном школьном сне, когда тебе снится, что экзаменатор отвернулся от стола и разговаривает с кем-то, а ты переворачиваешь билеты в поисках счастливого, но в каждом незнакомые вопросы, а ты все ищешь счастливый билет, уже тоскуя по первому, который все-таки был легче остальных, а счастливый все не попадается, а экзаменатор вот-вот повернется к столу, и у тебя уже не будет возможности выбрать билет, и ты уже забыл, где лежит тот, первый, что был легче остальных, и по хитровой улыбке экзаменатора, который теперь слегка развернулся к тебе и договаривает то, что он говорил кому-то, ты понимаешь, что он все это знал заранее, что он нарочно отвернулся, чтобы полнее унижить тебя, вот так и я...»

Азик Еворкович кинул над столом большую белую ладонь с мягко колыхнувшимися пальцами, словно дал отмашку своему нетерпению:

«...вот так и я открыл восемь дверей, и в каждом из восьми кабинетов сидел эндурец. И я в отчаянии открыл девятую дверь. В кабинете оказался очень молодой эндурец, и он очень доброжелательно посмотрел на меня. Я рванул к нему и замер у стола. Сидя за столом, он кротко и внимательно следил за мной.

— Извините, — сказал я, — я хочу вам задать один вопрос.

— Пожалуйста, — ответил он, застенчиво улыбаясь и тем самым как бы беря на себя часть моего волнения.

— Вы эндурец? — спросил я, может быть, слишком прямо, а может быть, самой интонацией голоса умоляя его оказаться не эндурцем или, в крайнем случае, отказаться от эндурства.

Молодой человек заметно погрузстнел. Потом, бессильно прижав ладони к груди, он встал и, склонив как бы отчасти признающую себя повинной голову, промолвил:

— Да... А что, нельзя быть эндурцем?

— Нет! Нет! — крикнул я. — Что вы! Конечно, можно! Правь, Эндурия, правь!»

Азик Еворкович оказался стоящим на ногах. Осязающим движением глубоких ноздрей он ощупывал пространство своего рассказа и молодого эндурца, который волею этнократии рожден был повелевать.

.....

Вечером на базе мы еще переживали внезапное, свежее чувство восстановления исторической справедливости. В самом деле, почему главный эндурский проспект должен тянуться от эндурской столицы до айдорского села? Почему айдорцы должны говорить по-эндурски, если они предпочитают говорить по-русски? Мы готовы были вершить справедливость, а в том, что айдорцы предпочитают русский эндурскому, я для себя, для своей бесформенной, или, точнее, не чувствующей границы, души находил полезное этническое соответствие: я помещал душу в айдорца, а он отвечал мне русской речью.

Помню, звезды так и просились на язык — снежинками первого (в жизни) снега. Было холодно. Сочная ледниковая роса лежала на траве, на крышах, луна, сама морозоватая, светом своим лишь скользила по плотной пленке искристых капель. Сташ достал приемничек — прятал же где-то! — и мы слушали этот странный, этот многоречивый мир. Поймали «Свободу», где изящные, окатанные на кафедрах голоса: один говорил о либерализме и смаковал встающую за словом некую новую, открывшуюся ему именно сейчас свободу быть самим собой (в отличие, в отличие от других), а другой скороговоркой рассказывал, как казаковал на золотых приисках и вдруг — философский склад ума — обнаружил себя в артельной (помноженной на собственность) спайке... Но мы были настроены на иную волну, нам не хотелось расставаться с чувством обретенной души — души русскоговорящей, обнаруживающей себя через малые народы. Вот же пионерское, подзвездное ощущение!

— Они думают, что человек исходит из голода! — отвечал Сташ перетирающим звездный эфир радиостанциям. — Отец мне рассказывал... Он попал в плен. Под Витебском. Зимой. Жрали не только погань, крыс, жрали друг друга, но унижало не это. Унижало то, что вокруг звучала немецкая речь.

— В Афгане я это сразу почувствовал, — врывался Бесан. — Они жрали друг друга, но унижение...

— Казаки тоже терпели.

— Опять ты с казаками!

— Черт их разберет. Все народы были унижены, но отпрыгивается национализм.

— Все перепутано. Потому что человек — животное от головы. То, что у животных — инстинкт, у человека — идея.

Бесан длинно, тонча голос, матерился. На кончике его мата светилось подлое сомнение: никакой исторической справедливости не существует. Потому что за справедливость человек расплачивается не документами, справками, выписками из архивных дел, а жизнью. И вся справедливость — вот она, в моем дыхании, в насыщенной звездами ночи межгорья, в черном стреловидном и черном, шпалерой, движении кипарисов.

.....

Утром Кожан отрядил троих — Сташа, Бесана и меня — сопровождать ребят в «Икарусе» к леднику. Выдал автоматы, но запаса не дал.

— Злее будете, — сказал Кожан.

Ребята рассаживались и матерились. Девочки не отставали. Была одна, к которой глаза мои невольно привязывались. Завлекали волосы — пышные, серые, натуральные. Лицо было милостивое, с мелкими точными чертами. И шурилась. Ей пришлось потрудиться, чтобы отбить всеобщего любимца — Рузана. Красота ее не лезла в глаза, но была точной, острой. И еще ей надо было раздеться. Я видел несколько раз, как они — Ксана и Рузан — сходились на берегу. Она медленно выделялась из кустов, отслаивалась от тени, вспыхивала белым над прогретыми камнями пламенем, воло-

сы изнемогали от волнистого сияния. Ксанка не торопилась, оберегала узкие ступни от капризных окатышей, но шла прямо, ай, трепетно прямо, а он поднимался от загорающих. «Рузан! Рузанчик!» — обиженные голоса невидимых среди серых и голубых камней девиц; небольшого роста, широкоплечий, в синей каскетке, в синих тонких плавках, черные плотные ноги, притиснутые друг к другу ляжки борца или штангиста (горцы рано взрослеют, рано мужают ногами), он забывчиво, твердо, уклюже шел ей навстречу, и когда она вспыхивала возле него, серый распадающийся купальник тончился под его руками, он прижимал ее к себе, и она вдруг становилась ему ровень...

Девочки садились впереди, мальчики на задних местах. «Икарус» перебрался через мост и прижался правым боком к склону. Свет солнца был ровный, ветер шел через ущелье, где внизу — и чем выше поднимался автобус, тем глубже становился обрыв, — из настоящего в игрушечный превращался ледяной и сладкий на вкус Айдор. Я перебрался ближе к девушкам, примостился возле Ксаны и, когда нашел место автомату, посмотрел на нее. Она взгляд не отвела. Она улыбалась маленьким точным ртом. Рядом с этой улыбкой, на текущей, как свет, высокой шее, под хрупкими хрящиками которой журчал ее женственный (на пробу) голос, в горловой вымоенке лежал маленький, на золотой ниточке, крестик. Ксана отзывалась на грубый голос Рузана, кидала за плечо густые пряди волос и поспешно, пока волосы не вернулись, улыбалась ему. Попутно она вышучивала меня, мой автомат и мой камуфляж.

— А почему вы все время материтесь? — спросил я.

— Кто? — Ксана посмотрела на свою подругу — крашеную в блондинку, со стоячими еврейскими глазами.

— Мы? — спросила подруга. — А они другого языка не понимают.

— Кто «они»?

— Кавказские люди, — сказала подруга.

Они рассмеялись.

— Алмасты, — пояснила подруга.

Я оглядел салон, обнаруживая лишь красивые — почти все девочки и ребята были красивые, — красивые сами по себе лица. С какой-то крутой — как автобус на крутом повороте грозил уйти в пропасть — вершины меня бросило в обихажущую внезапную тоску по жене, по неуютному дому, по существу, втиснувшемуся в не готовые, хрупкие чресла моей жены...

Грубым, громким голосом Рузан рассказывал, что на склонах этих гор живет таинственный художник — он всегда ходит в красной рубашке (в ясную погоду видно, как он перебирается по скалам или замирает над мольбертом) и тому, чей портрет рисует, предсказывает судьбу. Ксана не слушала моего разговора (моих вопросов) с ее подругой, она всем лицом и всеми своими густыми серыми волосами ловила слова Рузана.

— Так вы из разных мест? — повторил я вопрос.

— Э! — Подруга толкнула Ксану локтем. — Ты из разных мест?

— Я из Воронежа, — сказала Ксана. — А есть из Баку, Невинномысска, Нальчика..

— А Рузан? — спросил я.

— А Рузан местный, — сказал Рузан. Он стоял возле, сросшиеся брови были удивленно приподняты. — Разве не ясно?

Он попросил у Ксаны жевательную резинку. Она отказала, он дернул за рукав и попросил настойчивее.

— Жалко, да? Я тебе целый блок куплю!

— Ты все обещаешь, — ответила Ксана.

— Обещаю — куплю!

Они говорили не о том. Подруга, глядя на них глазами домашней кошки, все понимала и все чувствовала — словно Рузан заигрывал с ней.

— Я куплю. Но сначала я хочу, чтобы ты угостила меня своей.

— Вот, условия ставишь! Какой же ты мужчина? — Это вмешалась подруга. — А если эндурцы нападут?

— Нападут, — сказал Рузан. — Здесь полно парашютистов. Все знают: эндурцам американцы подарили такие парашюты, на которых можно летать среди гор.

— Вот видишь, — сказала Ксана. — Не дам.

Я устал от их долгого, шутливового, бессмысленного препирательства. Машина шла на полдень. Позади дремал Сташ. Впереди, рядом с водителем, сидел оживленный Бесан. Когда он с какой-нибудь шуткой оборачивался к водителю, я видел профиль, заостренный жестковатой улыбкой. Днище ущелья приподнималось, Айдор, не увеличиваясь в размерах, приблизился. Но от берегов прыгнули сосны, запрыгали вверх по скалам и осыпям. Сквозь влажный шелк неба проступили шелковые складки снежных вершин.

Возбуждение и полная отрешенность составляли меня. Я замечал, что разговариваю с ребятами, отвечаю на вопросы и даже поучаю — глядя на шелковое же (как быстро женщина схватывает пейзаж!) лицо Ксаны, на ее улыбку точной вышивки, на то, как ее улыбка, ниточка к ниточке, отсвечивает грубоватым высокомерием Рузана. Я сказал ей и ее подруге: «Вы думаете, любовь — это бутерброд? А это кусок хлеба». Они заулыбались, но Ксана еще и засмеялась — уж очень красивым смехом, крестик в прохладной вымоенке вздрогнул, и Рузан не вытерпел, ткнул коротким пальцем в ямочку: «В Бога веришь?» «А ты не веришь?» — спросила Ксана. «У нас свой Бог, — ответил Рузан. — Он древнее вашего». «Какое-нибудь огненное колесо?» — сказала подруга. И шелк, и вышитые по шелку склоны, и скользящий над подлинным смыслом разговор внушали ощущение сотворенности будущего. От будущего, как от гор, веяло ветром, если хотите, временем, выметавшим сиюминутность. И в подтверждение этого чувства отрешенности — следы ледникового схода, где «Икарус» развернулся и стал; сосны, создававшие видимость сиюминутного усилия (вверх, вверх!), здесь были срезаны и лежали вершинами вниз. У ресторана «Приют» стояли две-три легковушки, играла музыка и пахло копченым мясом и мамалыгой. Водитель сказал, что дает ребятам на все про все час. Его, наверное, никто не слушал. Ребята столпились у причала подвесной и — попарно, попарно — уходили, уплывали вверх. Солнце припекало, вылавливая всякое мгновение в затихающем ветерке. Я всматривался, с кем отчалит Ксана. Причал опустел. Ниточка подвесной медленно вшивала фигурки в сверкающий склон. Бесан ловил затишек под боком автобуса, он посмеивался нам — мы со Сташем сидели на лавочке спиной к Айдору, к каменному шуму его молодой мускулатуры. Изредка Бесан что-нибудь нам говорил громко, светлые волосы его отливали все тем же ледниковым солнцем.

Подвесная вывезла ребят, но продолжала двигаться, обегала причал, словно подгробала и вывозила призраки. Музыка глухо — уши были слегка придавлены разреженностью — играла и переплеталась с медленным дымом, сочащимся сквозь плетеные стены пристройки. Подошли еще две машины — значит, народ не боялся, народ любил отдохнуть, но я бы ни за что не отправил сюда своего ребенка. Стали возвращаться наши — первые пары промерзших. Кое-кто нес слепленные у ледника снежки. А мы уже были под автоматами. Приехавшие рассредоточились — трое держали меня со Сташем, а трое Бесана и водителя. Седьмой, усатый, облитый смолой щетины, успокоительно поднимал руку и говорил что-то на своем, изредка проскакивало: «Нэ надо срать». Он — кстати, как и все мы, в камуфляжном костюме — прошел к вороту подвесной. Он курил, я с нарастающим холодом в животе, с нарастающим страхом, с внезапным, словно мозг в черепе проворачивался, безумием страха подумал, что он будет отбирать девочку. Они же здесь насилуют друг друга целенаправленно, идеологически. Бесан вдруг стал кричать, он выкрикивал что-то, матерился, ревел и плевался. Один из тех, что держали нас, сказал Сташу: «Вас, русских наемников, надо расстреливать на месте, как собак». Он оглянулся на орущего, на смоляного, стерегшего причал подвесной, и сказал: «Скажи ему, чтобы заткнулся». Сташ пожал плечами, глаза у него были ясные, детские, почти что любознательные. Бесан кричал — я почувствовал облегчение от этого крика, как будто беспощадное пространство обрело некое свойство защищать, мне не

было одиноко. Смоляной разговаривал с прибывавшими, ребята растерянно оглядывались, приплыла Ксана с подругой, они улыбались, подружка поигрывала снежком. Смоляной сказал им что-то, они суетливо отшатнулись, но все так же улыбались. Потом прикатил Рузан, он принес полную каскетку снежков. Смоляной взял его за шиворот и подтолкнул за автобус. Рузан вывернулся. Смоляной передвинул автомат дулом вперед и ткнул им паренька — лицо у Рузана съезжилось, он оглянулся на ребят, он прижимал каскетку, оберегая снежки. Смоляной закричал на него по-своему, по-эндурски. Бесан замолчал, а Рузан ответил — я слышал — по-русски, я точно слышал, что Рузан ответил по-русски, но не слышал что. Рузан ответил и выдул изо рта белый пузырь (Ксанка угостила-таки жевкой). Смоляной заорал и ударил ногой. Рузан увернулся и кинул в смоляного снежок. Снежок попал смолянному в лицо, в лоб, как полагается. Смоляной набежал на Рузана, они скрылись за автобусом. Бесан заметался, присел, высматривая что-то под днищем автобуса. Смоляной выбежал один, машины налетчиков взревели и заторопились. Закричали посетители ресторана, несколько человек выбежали и попрыгали в свои машины.

Потом, может быть, на обратном пути, водитель объяснял, что смоляной — кровник рода Рузана. «Как кровник? — спрашивал я. — Ты же говоришь, что он — эндурец». Водитель не слушал меня, он рассказывал, что родственники смоляного пострадали от родственников Рузана — и вот Рузан попался. «А они прорвались со стороны перевала. Значит, там все очень плохо». Автобус катил вниз, устремляя носом то в скалу, то в пропасть. У Рузана были перебиты грудь и шея. Он лежал на полу, накрытый собственной курткой. Ребята молчали, а Бесан матерился, тряс разряженным автоматом и прикидывал, сколько либо высчитают, либо недоплатят за украденные патроны и покойника.

— Да что же он ему говорил? — докапывался я.

— Он говорил, чтобы Рузан говорил с ним по-эндурски!

...Вечером того же дня ребят вывезли с турбазы вниз, к железнодорожному вокзалу. Компания ребят сомкнулась, как будто среди них и не было Рузана. Они матерились, рассаживались, Ксана доверила сумку другому. Она уже не помнила, что во рту мертвого Рузана кровь пузырилась вперемешку с жевательной резинкой. Девочка жила от свершенного будущего. Так живут старики-долгожители, обнадуженные заверренным прошлым: «Ничья чужая жизнь (как и чужая смерть) не изменит мою судьбу. Главное — не делать резких движений».

Кожан составил акт о смерти и навесил на нас и саму смерть, и стоймость отнятых патронов.

Ночами мы дежурили попарно. Я со Сташем. Он жаловался на бессонницу и на то, что живет как бы не с той руки. «Все лезу в какую-то щелочку!» Ночи пошли почти морозные. Электроэнергия вовсе пропала. Кожан объяснил тем, что на перевале сильные бои и эндурцы перерезали линию передачи. Сам Кожан стал ночами уезжать в село. Бесан посылал ему вслед и жаловался на то, что инфляция растет, жизнь дорожает, а договор с нами никто не собирается перезаключать.

— Этих денег хватит только на то, чтобы меня похоронить.

И через минуту добавлял:

— Да и хоронить не надо! Бедных надо убивать, как бродячих собак. Вот убивают же на бойне коров — незаметно, особые люди-убийцы, — и общество остается чистеньким. Такие же боины надо построить и для бедных. Это нормально. Бездомная душа так же опасна, как и бездомная тварь.

Бесан ходил за нами часов до двух ночи. Сташ спросил его:

— Слушай, почему ты такой злой?

— Я злой? — удивился Бесан. — Я не злой. Я так думаю.

Последние дни мы недоедали. Кожан обещал напомнить о нас протектору.

— Но вы же ни хера не работаете! Какой от вас прок?

Сташ отмалчивался, а потом остро сожалел обо всем:

— Это первый случай, что я в такую дыру угодил. Вот там — работают, я знаю.

Он смотрел в ночное небо, от которого эхом со стороны перевала доносились залпы тяжелых орудий.

— Бесан прав: мы купились, как нищие. Я презираю себя. Презираю. Презираю.

В голосе этого большого, сильного тела звучала, как потревоженная сталь, ненависть.

Утром на проходящем автобусе приезжали Кожан и работница столовой — тетка Южан со своим мужем. Газ был баллонный, и тетка берегла его. Муж разводил огонь на улице, примащивал над огнем большую кастрюлю. Тетка Южан кормила нас разваренной лапшой с кусочками тушенки и поила вонючим эндурским чаем. Если Бесан был после ночи, он кобенился, кричал в пустом зале столовки: «Тетка, ты хоть улыбнись!» Тетка Южан, намешивавшая бурду для теленка, поднимала голову, показывала обезличенное напряженной печалью лицо, и медленно-медленно, как из теста, на лице проступала улыбка — обнажался тусклый слой неопрятного золота.

— Вот! — восклицал Бесан. — Я все вижу. Вы все тут жадные, лаврового листа не выпросишь!

Вова грубовато смеялся. Он изменился, запустил бороду, волосы подступили к глазам — черные яблоки были прихвачены с внешних краев клейкими капельками сонливости.

— Он смеется, — полунаигранно злился Бесан. — Знаешь, как эндурцы называют айдорский район? «Золотой зуб Эндурии»!

Вова, выстреливая кусками лапши, хохотал. Приходил муж тетки Южан — дядя Валера. На нем была кожаная кепочка, сбитая из клиньев. Он никогда ее не снимал. Под козырьком лихорадочно дрожали голубые глаза, на смуглом узком лице вечной мерзлотой лежала седина. Дядя Валера брал ведро с бурдой и шел к теленку. Вова шел следом, ему нравился черно-белый дурачок. Я тоже приходил поглазеть, как лобастая морда поддевает и ворочает ведро.

— Я думал, теленок — телочка, а это теленок-телок! — объяснял мне Вова. И спрашивал у дяди Валеры: — Так вы решили — совхозу продадите или сами нарежете?

Телок вскидывал морду и ревел — дядя Валера отворачивался от брызг. «Что решать? Что решать!» — говорил он, как бы занятый делом. Володя шептал мне: «Жену боится. Жена все решает. Он армянин, жена айдорка и собирается в женское ополчение!» Телок продолжал реветь, и дядя Валера тогда пригибал его голову, толкал носом в ведро. Мы уже знали — затыкал рот. Потому что иной раз на крик телка отзывалась корова. А это означало, что опять корова ушла из села, а за своенравной коровой бежала дочка дяди Валеры и тетки Южан. Корова выходила на берег Айдора и редела — телок отметал ведро с бурдой и запускал усилитель на всю катушку. Выбегала из столовки тетка Южан, она улыбалась, и дядя Валера отвечал ей такой же золотой улыбкой. Они начинали ругаться — телок и корова переключались, — они ругали друг друга на своем, потом, поглядывая мимоходом на нас, переходили на русский и опять, как в воду, на свой. Дядя Валера швырял ведро и шел на берег Айдора. На другом берегу стояла черно-белая корова и рядом с ней девочка. Дядя Валера, пережидая материнский рык, кричал дочке, чтобы она поворачивала в село, а девочка отвечала, что пусть он сам гонит свою корову. Так они разговаривали, и завершалось это всегда одинаково: девочка хлестала корову палкой, гнала ее вдоль Айдора, через мост, и вдвоем они приходили на базу. Зачем? Тетка Южан не доила здесь корову, скарелничала. Корова бродила по территории базы, выщипывала траву, телок ходил рядом, обнюхивая ее огромное, уложенное в веревочную сетку вымя. Тетка Южан кормила дочку, а та рассказывала, что прилетел вертолет и взорвал здание правления. Тетка выбегала на порог, смотрела вверх, на склон, на небо, говорила мужу, что произошло, они оба озирали небосклон, и муж уверял, что дыма нет.

— Ты опять наврала! — ругала тетка Южан дочку. — Вертолет-мертолет!

Девочка обижалась и спорила:

— Прилетал! Прилетал! Я сама видела.

— А кто тебе сказал, что он правление взорвал?

— Мне тетя Зуля сказала!

— Скажи тете Зуле, чтобы она за своей свиньей смотрела — опять нам огород перероет!

Тетка Южан гнала дочку домой, дочка вытягивала палкой корову, так они вдвоем выходили на дорогу и шли — успокоенная чем-то корова и рассерженная девочка. Если корове мало было палки, девочка швыряла в нее камнем — тогда тетка Южан голосила и угрожала дочке. Девочка оборачивалась и делала такой жест — издали было видно выражение ее лица, вздутые щеки и ладонь, прижатая к щеке.

Пока дядя Валера пытался запустить движок морозильника, Вова объяснял ему, как должны жить айдорцы, после того как победят эндурцев:

— Вот казакам говорят: «Берите землю в частное пользование». А казаки отвечают: «Не возьмем». «Так вы хотите сохранить колхозы?» «Нет, — отвечают казаки. — Нам колхозы не нужны, но и частная собственность на землю нам не нужна».

Дядя Валера отрывался от мотора и смотрел сердито на Вову

— Что же им надо?

— Нужна община. Кто выдумал колхозы? Евреи, Карл Маркс. А кому нужен рынок? Евреям, они всегда впереди рынка бежали. Казаки спрашивают: «Почему это мы должны выбирать из того, что предлагают евреи? Мы будем строить свой уклад». Вот так и вы поступайте: никого не слушайте, думайте сами.

— Что — «думайте»? Думать будут за нас!

Дядя Валера сидел на корточках, он был маленький, маленькая сутулая спина обтянута была серым рваным пиджаком, из-под кепочки на смуглую шею выползали слипшиеся потеги серых курчавых волос. И затылок, и затылки, и плечи — все было злое и раздраженное.

— «Думай, думай», — дразнил он Вову. — Я тоже в армии служил! Голова не жопа. Это жопа всегда своя. А головой начнешь думать — приедет на «мерседесе» и скажет: «Я уже за тебя подумал!»

Я вспомнил, что дядя Валера торгует плохим вином. Даже нам он продавал разбавленное. И я подумал, что злится он из-за того, что хотел бы всех обмануть, но обманутые живут рядом — и не убивать же их? Приходится злиться и отворачиваться

.....

Ночью я не мог уснуть. В соседней комнатке Сташ слушал свой приемник. Было холодно, но голова у меня горела. Под черепом пламенела бессонница. Подливала света и сильная, почти дозревшая луна. Ноги были холодные, от голода свело живот. И я вдруг заплакал. До этого момента я не мог по-человечески вспомнить ни маму, ни жену, ни заплеснувшего в нее младенца. А тут пробило: жалость к маме, к беспомощной и покинутой Светке, слезы пошли так горячо и обильно, что я испугался, горлом, горлом! Я умолял жену выдержать, я просил маму помочь ей, не бросать. «Должно же быть на земле человеческое солнце, Господи!.. Расскажи, расскажи! — говорил я себе, — не стесняйся, расскажи, как ты любишь и маму и Светку, — развяжи язык». Я захлебывался, прятал от самого себя плывущие в горячем потоке глаза, я понимал, что пробивался к этой любви через злобу. Ненавидел ли я Пупона? Нет, ненавидишь всегда только самого себя: почему такое со мной? Злоба отталкивает от всего живого.

— Эх, Юра, Юра, — сказал и замер.

Через минуту, показалось мне, я очнулся. Окно уже просыпалось, а со стороны шоссе шел пульсирующий гул бронетранспортера. Я не успел себе все досказать, я недоплакал. Мне не хватило жалкой предутренней минуты — откровенной и как бы предсмертно вмещающей в себе жизнь. Мне надо было еще пожалеть Рузана и дочку тети Южан Дади... или так звали

корову? Жалость хотела пожалеть, и я вспомнил могилку отца и заматеревший тополь с дуплом, в котором я подкармливал белочку. Светка когда увидела — ахнула: белочка перелетала с оградки на оградку и смущала душу откровеньем легкости и свободы.

...Дверь в комнату была открыта, и свету поперек стоял автоматчик. Юра сразу понял, что в туалет ему не выйти. На кровати напротив сидел маленький молодой мужчина, курчавый, с круглым сердитым лицом. Чекалов? Чокулов? Он принес Юре известие, что Юра очень болен, опасно болен. Юра твердил: «Я не виноват! Вы ошибаетесь!» Но маленький человек, полевой командир, не позволяя Юре встать с кровати, сам сидел, по-детски скрестив ботинки, носком цепляясь за пол.

— Ты продал моего двоюродного брата, — в который раз повторил полевой командир.

Юра ничего не мог сказать в оправдание. Ничего у него не было, он сначала просил командира, брата убитого Рузана, обыскать его, подсовывал сумку, ботинки, командир молчал, щетина делала его лицо неприступным. Юра корчился на постели, глаза покраснели, он хотел быть убедительным, он хотел, чтобы командир (Чокулов? Чекалов?) поверил ему так же, как поверил тому, кто убил Рузана и оклеветал Юру. Юра приподнимался над подушкой, потом уперся спиной в стенку, он умолял командира поверить, что Юра любил Рузана, Юра рассказывал, как восхищался смелостью мальчика, описал девушку, которая тоже любила Рузана: «Красивая, с такими пышными серыми волосами. Она все время ловила его слова, смеялась его шуткам!» Юра смотрел в глаза командира: «Верите? Это была великолепная пара!» Юра не стыдился своей трусости, он был болен, безнадежно, у него уже ничего не оставалось, кроме куска бессовестной жизни.

— Почему ты мне не веришь? — спрашивал он, испуганно переходя на «ты». — Спроси у Сташа. Он был, он честный человек.

Юра постучал было в стенку.

— Не стучать, — приказал командир.

И надежда, что их сведут, что Юра почувствует рядом спасительную мощь Сташа, исчезла.

Под взглядом командира Юра чувствовал себя то маленьким, то безногим, то братом погибшего. Но человеком себя уже не ощущал. Потерял себя, привычное самоощущение выскользнуло — как будто только этого мгновения и ожидало всю жизнь — и развеялось в утреннем свете. Слабеющими силами души Юра искал, на чем бы выжить, прожить минуту-две, и когда его повели, не дав обуться, он сначала хотел закричать, завертеться, как кричал и вертелся под боком «Икаруса» Бесан, но бессилие и этого было лишено. Он шел по мокрой холодной траве, потом по прибрежным камням — а рядом уже вели Сташа, — ноги подламывались, ступни искали опоры в колкой гальке. И Юра чувствовал себя женщиной, беспомощной, глупой, изнасилованной и преданной смерти. Он хотел было выправиться, ступать по гальке так же, как когда-то ступал Рузан — не обращая внимания на боль в ступнях, — но не смог. Сташ шел поодаль, на его шее под черной волной волос пролегла белая, словно иней, полоска. Юра ломался всем телом, скользил на камнях, животом, утробой чувствуя, как гудит под камнями гранитное эхо. Вот так же, наверное, чувствуя не столько боль в ступнях, сколько бездонное эхо под ударами потревоженных окатышей, боязливо ступала возлюбленная Рузана.

Их поставили к реке. Юра не смотрел в глаза Сташу. Тот молчал. Юра заплакал, подумал мимолетно: «Слава Богу, получается!» Три автоматчика и полевой командир поглядывали в сторону базы. Юра подумал, что должны привести и Бесана. Сташ, словно сейчас, в эти минуты, не могло быть скрытых мыслей, сказал:

— Бесан с автоматом. Пусть попробуют взять.

За спинами, на другом берегу Айдора, взревела корова. Маленький командир подошел к самой воде и крикнул:

— Что тебе надо?

Голос девочки утонул в коровьем гласе. Со стороны базы завелся бычок.

— Уходи! — сказал командир и еще что-то на своем.

Девочка открыла рот, но корова опять разбила ее звонкий голос. Автоматчики рассмеялись, и Юра, срываясь от давящих слез, затрясся, он смеялся, показывал рукой через Айдор, опять смеялся, вытирал глаза и все призывал рукой смотреть на эту девочку, и эту корову, и может быть, на синюю вьюшку тумана, и выше, на верхушки деревьев, потеплевшие от солнца. «Ее зовут Дади», — сказал он полковому командиру, тот даже не оглянулся, и страх опять опрокинул сердце: Юра не знал, кому принадлежит имя Дади — девочке или корове?

Прибежал дядя Валера, он заругался и даже кинул камень через Айдор. Но девочка заголосила, она кричала своему злому отцу, что из села все уходят, потому что всем уже известно, что эндурцы отбили перевал и скоро будут в селе!

— Кто тебе сказал? — крикнул дядя Валера и оглядел всех разом: мол, вот глупая, ничем ее не проймешь.

— Мне учительница сказала!

— Сумасшедшая, — сказал дядя Валера полковому командиру.

— Какая учительница? — крикнул командир.

— По литературе! — доказательно ответила девочка. — А вы вернетесь к нам в школу?

— Вернусь! Уходи!

— Значит, вы будете нас защищать! Вы не уйдете?

Юре показалось, что девочка посмотрела на него. Он заулыбался через реку, высветлил лицо, чтобы было видно издали, и закивал, закивал.

— Что ты будешь с ними делать? — спросил дядя Валера. Он не посмотрел на обреченных.

— Они продали моего брата.

— Мне надоело это слушать! — сказал обозленно и обиженно Сташ. — Ты в армии служил? Иди разберись с нашим командиром.

Полевой командир посмотрел на дядю Валеру.

— Я его видел — он там, — сказал дядя Валера.

Но полевой командир прикрикнул:

— Уходи! Без тебя разберусь.

Дядя Валера на своем крикнул дочке, чтобы та не мешала, — так понял его Юра. Девочка не уходила. Полевой командир погрозил ей. Девочка заулыбалась. Она сделала движение — погнала корову, но корова ее поняла и не двигалась.

И тут-то явились Кожан с Бесаном и Вовой. Все при автоматах. Глаза у Кожана не мигали. Голубые, замершие, они смотрели в лицо полевого с бессловесной яростью. Но голос был только что раздраженный:

— Я за них отвечаю. Если ты считаешь, что их надо под суд, — пиши рапорт. Без суда не отдам.

Они стали препираться, но Юра и Сташ по каким-то признакам поняли, что могут уйти.

— Будь оно все проклято, — бубнил Юра. Он хромал так, как будто ему отбило ноги. — Он что, сошел с ума? — накинулся Юра на дядю Валеру. Тот искоса, через белок, глянул на него, но ничего не сказал. — Если не верите, зачем зовете? Братство! Солидарность! Совесть есть?

— Какая совесть? — сказал Сташ. В голосе его звучал прикровенный, отшлифованный формализм. — Какая совесть, когда плывут миллиарды?

Солнце уже высушило росу, а я все никак не мог согреться. Бешено вертелась мысль: «Я не могу присвоить свою жизнь. Моя жизнь мне не принадлежит!» Злоба билась на зубах вместе с лихорадкой. «Они хотели распорядиться моей жизнью» — и вспомнил большое — профиль такой же круглый, как анфас, — лицо Пупона. «С чем же остаюсь?» Запоздалая мужественность душила меня изнутри. Я стоял под стеной коттеджа, наблюдая, как нахлынувшие конфедераты и айдорцы суетятся во дворе, они не были похожи на подкрепление. Тупые, закоченевшие лица, они смотрели друг на друга так же, как смотрели в небо, откуда стремительно сошел вер-

толет и пульнул по сброду ракетами. Ополченцы сразу вспотели, забежали, задышали шумно, словно дыхание пробивалось сквозь многодневную щетину, проросшую внутрь. Остолбенело они смотрели, как взрывами подняло коттеджи и крышу кирпичного клозета. Рядом со мной лежал Бесан. Он смотрел, как ополченцы, пригибаясь, словно под непрерывным обстрелом, перетаскивают два-три разобранных тела.

— Ну, бля, война! — сказал Бесан. — Все. Теперь до вечера.

Он поднялся. Я не хотел вставать. Я думал: у меня можно отнять жизнь сразу, можно постепенно. «Но никто не сможет отнять у меня мою смерть, — простая, солнечная истина осветила мне душу. — Я все время путал жизнь со смертью. Вот моя ошибка. Теперь я знаю все». Мне стало тепло. Два разваленных коттеджа горели — их никто не тушил. «Смерть неотъемлема — вот на что опирается наемник. — Я с благодарностью смотрел в небо, на солнечный склон горы, где уже вспыхивали ало-желтые крапинки осени. — И потому прибыльна только смерть».

Я не пошел хоронить. Нашел солдатскую шапку с кислым запахом перebroдившего пота. Попросил Вову передать. На похороны Вова шел, начистив сапоги, долго гонял по носочкам и голенищам прихотливые матовые зайчики. Лицо у него покрылось не то загаром, не то каким-то угаром напряжения. Он улыбнулся мне:

— Я думал, вас хоронить будем. — Резанул по животу ребром ладони.

Похоронили быстро, но разгорелся какой-то спор. Ни Бесан, ни Сташ объяснить не могли. Вова объяснил, что среди ополченцев слух пошел: вертолет навела эндурка-колдунья, живущая в горах, у перевала.

— Идиоты, — пояснил Вова.

— Экстрасенс?

— Отрядили семь человек карателей.

— Против старухи?

— Да не знаю я! — возмутился Вова.

Но во мне работал моторчик смерти, он вырабатывал въедливое беспокойное электричество: этакая настольная лампа под черепной коробкой.

— Почему идиоты? Мистическая сила национальной ненависти еще никем не объяснена.

— Так что, она и ракету может навести на цель?

— Может. Компьютер же наводит крылатую ракету...

— Так то ж компьютер!

— А какая разница?

Но я говорил не о том. Иной текст лежал под моей «настольной лампой». Множественность форм жизни оказывалась формальным богатством смерти. Человек был наделен жизнью, но неотъемлемыми правами обладала только смерть.

Пришел полевой командир с двумя бутылками водки и консервами. Он оказался старше, чем показался мне утром. Мы расположились на траве, но я видел, что этот плотный полулилипуд не испытывает угрызений и не думает извиняться. Он не улыбался, круглое заросшее лицо Сократа Зангаровича не меняло выражения хмурой надменности.

Он окончил исторический. Он хотел разгадать судьбу своего народа. «Крестьяне на войне как бараны. Спросите их, куда впадает Айдор. Приходится бить. Иначе не понимают».

Он говорил о святых камнях, над которыми неуловимым маревом, мреющей неуловимостью, немymi душами предков... он говорил о смысле истории.

— Кладбище больше города. Мы не боимся смерти. Мы будем драться до последней капли крови.

Сократ Зангарович отводил взгляд от солнечного света, как будто чувствовал давление света на склеры.

Водка была теплой, мясные консервы пахли ржавчиной. Сташ сказал:

— Американские солдаты, уходя на войну, оставляют дома замороженную сперму... Айдорцы — народ маленький. Вы не бойтесь, что эндурцы перебьют всех ваших мужчин?

— Американцы? — Сократ Зангарович резко поднял лицо вверх, я думал, расхохочется. — Американцы не знают, что такое малый народ. И эндурцы не знают, что такое айдорцы.

Он все-таки приоткрыл губы — показал хорошие золотые одежды.

— Малому народу выбирать не из чего. Мы будем насиловать эндурских женщин, они будут рожать айдорских мужчин...

Теперь он опустил лицо, под щетиной ползали желваки.

— Наша культура древнее, и мы все равно победим.

— Младенец из матки пойдет сразу на голос крови?

Сократ Зангарович поискал того, кто спросил. Вдохнул медленно, через судорогу. Он допускал, что русские тоже умеют шутить, и раньше, до войны, он прислушивался к этим шуткам, учился смеяться вместе с русскими. Теперь он позволял шутить при себе, но уже не напрягал сообразительность, не тревожил сердце инородным остроумием. Война разрешила расслабиться, война погрузила его в стихию родной речи, он почувствовал силу этой стихии:

— Можно сохранить нацию, имея только язык и деньги. — Брови сходились на переносье, глаза были твердые орешки, но при этом что-то мягкое, сердцевинное светилось в серых белках. — Мы ведем библейскую войну. Большие нации не знают таких войн. — Он загорелся против больших наций. — Их культур-мультир делают сумасшедшие... Русские тоже большая нация, — напомнил он нам. — Ваши художники не хотят понимать, что они рисуют! Ваши писатели-мисатели пишут для того, чтобы запутать свои мозги! — Он смотрел на нас, вонзив в удивленный лоб маленький толстый палец. — Вы что, не понимаете? Как же можно хотеть не понимать?!

— Вы все сумасшедшие или наркоманы. И малые нации будут делать вас на раз. Вот так.

Я слушал его с новым, непосредственным чувством родственной смерти. Он работал машиной, смерть производящей. Мы были существа равновеликие. Во всяком случае, сиюминутная история его маленького народа равнялась, а в чем-то превосходила, сиюминутную историю моего.

— Вы хотите навязать нам свой мировой порядок? Вы еще не знаете, что законы маленького народа крепче законов большого.

Охмеленье крутнуло меня, отнесло в мягкое ущелье самозабвения. Когда я вернулся, Сократ Зангарович вынул из нагрудного кармана колоду порнографических карт. Он шелестнул ими, словно вовлекал в азартную игру, мы заулыбались, Бесан даже ладони протер, но не тут-то было. Сократ Зангарович выкидывал карты рубашками наверх и приговаривал:

— Вы хотите, чтобы мы играли по вашим правилам? А мы не будем!

Девочки принимали снаряд с невольной вульгарностью глухонемых, переводящих грубым языком жестов то, что понятно и без слов.

— Разве это женщины? Разве это люди? Таких надо убивать на месте!

Его ненависть была такой же откровенной, как и позы натурщиц.

— Вот! — сказал он, обрушивая палец на одну карту. — Моя невеста. Она похожа на нее как в зеркале. Я показал ей это и сказал: «Убирайся, тварь! Я не позволю осквернить очаг моего дома!»

В столовой дядя Валера разругался с полукровкой — полуэндурцем-полуайдорцем. Дядя Валера заподозрил в полукровке предателя, на что полукровка закричал трудным русским языком:

— Я их убивал! Я их мат е...!

Но дядя Валера хотел особенных доказательств. Он выволок полукровку на улицу.

— Мать — это серьезно, — горячился дядя Валера, сухим нахмуренным лицом зазывая свидетелей. Он рассказал, что родственники-эндурцы этого вот громилы (дядька был широкий и в плечах и в бедрах, клыкастой пятерней он обрывал стружья с глубокой царапины) разорили его, дяди Валеры, дальних родственников в верховьях Айдора.

— А что они сделали со всеми женщинами села? — закричал дядя Валера. — Они старых старух ..., они грудных детей сбрасывали в Айдор! Как ты носишь в своих жилах эту поганую кровь?

Дядька-полукровка остолбенело смотрел в лицо дяди Валеры и ничего не говорил.

— Пойдем, — сказал дядя Валера и потащил его в загон, где стоял бычок. — Покажи свою силу, ну! А я тебе еще перчатки дам!

Он в самом деле принес латаные боксерские перчатки. Большой обиженный полукровка надел перчатки — зрители уже подзадоривали его, подталкивали, он еще отпирался, говорил, что не понимает, почему над ним смеются.

— Иди, — сказал дядя Валера. — Покажи, на что ты способен.

Бычок был добродушный и не скоро взъярился. Полукровка бил его по морде, по бокам, бычок тянулся мордой к перчатке и тут же получал по мокрому носу. Бычок отшатывался и ревел, отмахивался молодыми рожами, хотел было убежать в сарай, но дверь подперли. Полукровка развернул бычка пинками и бил, глаза его наливались кровавой безнаказанностью, но свирепел и бычок, держал удары, тонкие передние ноги уже играли по-звериному. И пока соперник отирал перчаткой пот с грязного лица, бычок белым быстрым рогом ударил его в мохнатый мягкий живот. Кровь, как огонь, побежала вверх по распахнутой рубашке.

Зрители затихли, полукровку оттащили. Бычок взреывал, длинная слюна паутинкой вилась и безотрывно длинилась за ним.

— Кто еще хочет? — спрашивал дядя Валера. — Вояки, герои, кто хочет?

Сташ взмахнул рукой над головами, пошевелил пальцами. Ему дали перчатки.

— Ну, русский даст! Ему бычок по колено!

Сташ вошел в загончик с чистым детским лицом, он смотрел на бычка ясными, без задней мысли, глазами, и бычок осторожно, взмыкивая, подошел. Сташ стал бить его быстрыми короткими ударами, лепил по морде, по глазам, бил в нос, бычок захлебывался, отступал, толпа кричала. Вова ругался, обзывал Сташа и толпу подонками, но Бесан был в восторге. «Кик-боксинг! — кричал он Сташу. — Врежь ногой!»

Бычок отпрыгивал, угиная голову, но Сташ поднимал, поднимал его морду сильными кривыми ударами, заставлял его смотреть в глаза. Бычок осоловел, слюна тянулась кровавыми нитями. Он погнался по маленькому загону, Сташ вдруг присел, принял морду чуть ли не на грудь и невидимыми ударами в горло смял — бычок упал на передние коленки, мордой пополз по земле.

Тогда незаметно — ополченцы хлопали, кричали — в загончик вошел дядя Валера и рубанул топором шишковатый лоб побежденного.

Часть свежатины дядя Валера продал ополченцам, другую часть ночью уволок в село.

Этой же ночью ополченцы снялись и пошли к перевалу. Мы хотели присоединиться, но Кожан запретил, он ожидал прибытия партии завербованных.

Утром мы шли в гору на долбящий стук крупнокалиберного пулемета. Как зверь с подветренной стороны, Кожан подвел нас к боковой улочке. Надрывно кричал козел. Шутники подвесили его рогами на ветку дуба. Козел потягивался и сжимался. Хромоногий дед-эндурец ругал козла и пытался костылем раскатать его.

Задами Кожан вывел нас прямо к укреплению из бетонных блоков. Тут отлеживались человек пятнадцать, другие постреливали из соседних домов. Здесь улица сворачивала к лесу, слева на взгорке дымило здание правления. Со стороны леса стреляли беспорядочно, мелко. Мы долго лежали, я нашел амбразуру: был виден лес, идущий по склону вслед за голубоватой дымкой, склон прерывался скальной оскалиной, на которую пролилась алая дорожка подступающей осени. Много железа было в этих горах. И прогалина, сквозь которую я видел склон и скалы и угадывал захватывающий дух спуск в долину, подсказывала мне, что люди предпринимают смертоубийственный разговор только там, где кровь и смерть мгновенно и без остатка пог-

лощает ненасытная красота пейзажа... Я просунул ствол автомата в бетонную щель и стал работать.

Через несколько часов огонь со стороны пейзажа стал плотным, секущим. Послышался далекий вой мотора. Кожан показал нам, как отходить (все так же, задрами), но притормозил Бесана с его гранатометом. Вова лучше помнил дорогу и бежал первым. На участке запасливого хозяина у штабеля столбов Вова упал. Сташ заюлил спиной, прополз, походя подтащил в укрытие Вову. Когда я повернул Вову на спину, он открыл глаза и стал улыбаться. Правая щека до подбородка была оторвана, Вова что-то шепелявил и кровавым языком бегал по заголенным зубам. Противоположная часть улицы была выше нашей, и там на крыше двухэтажного дома сидел снайпер. Сташ поднял на палке казачью Вовину фуражку, и снайпер разметал ее в ключья.

— Чем бы подвязать? — спросил я.

Сташ сидел ко мне спиной и не ответил. Вова замычал, он прилаживал оторванную часть к лицу, и тогда я увидел вторую рану, под ключицей. Вова улыбался и кивал мне белыми веками.

Сташ оглянулся и сказал, матерясь:

— Гранатомет нужен. Без него отсюда не выйти.

Мы зашарили глазами по задворкам, по кустам мандаринов. Где-то несколько раз крикнула женщина. Я увидел, как у соседнего дома, справа от нас, метнулся сгорбленный дядя Валера. Он кричал и прятался за железной бочкой. Почти не высовываясь, он грянул из охотничьего ружья. Ему ответил автомат. Дядя Валера оглянулся, увидел нас, закричал, Сташ закричал в ответ. Вова в моих руках задрожал, стал сплевывать куски рваной бороды. Он тужился что-то сказать, но потом его глаза заинтересовались кончиками сапог, Вова почистил подошвой одного союзку другого. Я позвал его, Сташ оглянулся, посмотрел на него, на меня и сказал: «Без гранатомета мы все здесь подохнем». Снайпер ловил каждое наше неосторожное движение. «Что делать?» — спрашивал я. «Куда девался Бесан?» — отвечал Сташ. И наконец мы увидели его, он вынырнул возле той самой цистерны, под которой прятался дядя Валера. Сташ показал Бесану на крышу опасного дома, но Бесан пожал плечами. Ему надо было менять место. Вдруг стукнула дверь в доме слева от нас. Из-под навеса нижнего этажа вышла старуха — вся в черном, из этих, древесных долгожительниц. Бабка расставила было ноги, но снайпер двумя-тремя выстрелами разбил ей голову, может быть, освободил память, потому что старуха с чудовищной девичьей легкостью перебежала клумбу, ворвалась в сад, чудом минуя деревья, и на излете зарылась в кустах шиповника.

Когда мы очнулись, Бесан сидел возле нас и ухмылялся.

— Ты где был? — спросил его Сташ натужно.

Бесан оттянул ногу, залез в карман и показал жменю золотых коронок. Бесан улыбался, брови и ресницы у него светились, и азартные глаза были обведены воспаленными ободками.

— Жри, — сказал Сташ. Голос у него полегчал.

Бесан прижался спиной к бревнам и все так же улыбался. Сташ подтолкнул его ладонь стволом и повторил:

— Жри.

— А, — завыл Бесан, оскаливаясь и поджимая ногу. — Я сразу понял, кто ты. Сука ты. Марксист-ленинист е...

Сташ смотрел своими детскими, слегка зеленоватыми глазами с черными, словно капельки туши, зрачками. Бесан взывал, утихал, всплакивал, потом в приступе ярости высыпал в рот коронки, выгаращился, сглатывая, и в это же мгновение Сташ в упор перемолотил его грудь.

Снайпера Сташ убрал из гранатомета. И как только пространство освободилось, накатил Кожан:

— Я все видел! За что ты его убил? Знай — от суда не увильнешь.

Дядя Валера помог мне закатать труп Вовы в полиэтиленовую пленку и перевязать. На поле боя что-то переломилось, выстрелы и разрывы стали утихать, но зато среди защитников покатила паника. Со стороны перевала пробежали первые машины с отступающими. Дядя Валера растерянно смотрел на бегство.

— Женщины в лесу, — говорил он сам с собой.

На садовой тележке — Кожан крикнул: «Куда? Назад!» — я выкатил труп на дорогу. Я все-таки оглянулся: Кожан обезоружил Сташа, забрал и автомат Вовы-казака. Он опять крикнул мне: «Вернись!» — некому было тащить гранатомет, потому что Сташ взвалил на себя труп Бесана — вещдок, необходимое им обоим.

Я покатил тележку по дороге. На выезде из села мекал обессиленный козел, он вытянулся так, что почти касался копытами земли. Старика-эн-дурца все-таки застрелили.

Минут через пятнадцать меня догнал грузовик, дядя Валера и ополченец помогли мне втащить труп. Машина сбегала в ущелье, где уже была заготовлена и поднималась густая ночь.

.....

Так под горку, под горку. Сменив грузовик на раздолбанный автобус. В ногах сумка и рюкзак Вовы-казака. Полиэтиленовый рулон между сидений, в проходе.

На вопрос: «Куда ты его везешь?» — я почему-то с гордостью отвечал:

— На родину.

Но пока что тело, как и все мы, катилось само. Что я буду делать с ним дальше, в городе, на вокзале, я не знал. Законы войны были на излете. Кому нужен труп в мирном поезде? И где документ, удостоверяющий смерть? И не бегу ли я сам от преступления и не увожу ли с собой труп сообщника?

Ополченцы говорили о перегруппировке, о передислокации, о сильном подкреплении со стороны российских добровольцев. Однако газ Россия уже перекрыла. И сократила продовольственную помощь. И я прислушивался к этим политическим разговорам, прикидывая, на что я могу претендовать, какие козыри у меня в руках, на чем я смогу сыграть, чтобы вывезти труп казака, и что для меня потеряно.

В утомленном автобусе русская речь уже не звучала. Каждый говорил на своем. Потому что говорить на своем — это стоять на своем и, теряя дом и близких, поддерживать надежду на спасение, на чудо.

Дольше всех ругался и спорил дядя Валера. Но его я понимал. Ему надо было, чтобы вся эта вонючая от страха армия повернула назад. «Почему мы не можем повернуть назад? Послушайте, как я говорю вам на вашем родном, кровном языке: поворачивайте назад и спасите женщин и детей!» Его слушали, как последние известия. И он, отголосив, умолк.

На привокзальной площади автобус стал на прикол. Водитель сказал, чтобы я оборачивался быстрее — он может сорваться в любой момент.

Стоял поезд, забитый народом, но когда он отправится, никто не знал.

Я искал машину в сторону России, но мне объясняли, что там уже граница, посты и очередь на несколько дней.

— Паспорт-маспорт, «что везешь?», документ-монумент!

Глаза у водителей меня обманывали, я думал — они набивают цену. И прикидывал, смогу ли вывезти труп за его же деньги. Воздух нагревался быстро. Я издали поглядывал на наш автобус, мне хотелось бросить труп и скрыться. Дернулся состав, и в эту провокационную минуту я уже подался к вагону. Но вспомнил, что на мне автомат, что я какой-никакой ополченец, что на мне обязанность доставить героя казака родным... Да и поезд, подержавшись, замер.

У дяди Валеры я перекупил бутылку пива.

— Ну что делать? Где взять машину?

Он был занят своим, он смотрел на меня, но голубые темные глаза его меня не видели, взгляд был заплетен кровавой паутиной.

— Меня с трупом не выпустят! — рассердился я.

— Возьми справку у дежурного на вокзале.

— Какую справку?

— Ну, акт-макт составят, что он попал под колеса. Война, паника — кто будет разбираться, как человека убило?

— А написать, что он погиб от пули эндурца, могут?

— Ну ты пижон, Юрка! — сказал кто-то третий.

Им был Пупон. Дешевая жизнь, дешевый сюжет. Пупон оброс, заплыл мазутой щетиной и ничем не отличался от вокзального завсегдатая.

— Гвардеец, ё мое! — Пупон приобретал меня, ослабил. — Я Светку пытаю: «Где мужик?» — она молчит, как партизанка. Имей в виду, я сам лично отвез ее в роддом. Пока на сохранение.

От этих слов я обмяк. Я не думал, что эта толстая подлая тварь так меня сердечно обрадует. Я стал жаловаться ему на жизнь, на невозможность исполнить долг перед памятью боевого товарища. Я сказал, что есть возможность купить фиктивный акт. Пупон открыл круглые глаза, рассуетился. Я узнал, что он тоже помогает местным, привез фургончик с листовым железом.

— Ты знаешь, не понял, не то на гробы, не то на надгробья. А вот обратно выбраться не могу.

Он забрал у меня документы Вовы-казака, он организовал акт, он выпил с дежурным в милицейском собачнике. Он летал, он подталкивал меня, он подогнал свой фирменный фургончик к автобусу, и мы перетащили труп. «Ты едешь со мной? Черт, в кабине мы не поместимся...» Но я, уже наливаясь презрением и свободой, сказал:

— Мне еще тут надо...

— Ну ты пижон! Но имей в виду, Светка на сохранении, я поместил в хорошую палату. Тело казака-героя доставлю. Ну давай. Береги себя.

Это он говорил уже спиной, поправляя баранью шкуру на сиденье. Его водитель, молодой парень с огромным золотым перстнем на пальце... с квадратным перстнем на безымянном... Пупон пожал мне руку, показал кошачьи клычки, захлопнул дверцу, опустил стекло и опять сунул мне руку. Его водитель, белобрысый, с перстнем на безымянном, улыбнулся из глубины кабины. Серо-серебристый фургон бесшумно снялся. Пупон откинулся на спинку. В коленях у него лежала полевая сумка Вовы-казака.

— Поехали, — сказал дядя Валера. Оказывается, все это время он жил возле меня.

— А поезда ходят? — спросил я. У меня включилась душа, мне стало легко и по-вокзальному тревожно. «Так бы дешево за живых, как за мертвых», — подумал я словами Пупона. С трупом ему подфартило, но смысл его удачи был мне недоступен.

Я не знал, что делать с автоматом. На мне висел его номер. Военная кость — Кожан будет блюсти порядок до тех пор, пока не успокоится в земле.

Локомотив подал голос бычьим подревом. Народ побежал ловить уплывающие ступеньки, но вагоны колыхнулись и стали.

Я не мог сказать дяде Валере, что хочу уехать. Потому что он и заподозрить этого не мог. Мы здесь, на привокзальной площади, оказывается, ждали, здесь был сборный пункт. Машины — легковые, грузовые, автобусы — скатывались с пригорка и парковались на привокзальной площади. Ополченцы, крестьяне, женщины с детьми и грудями скарба. И цыганки с венниками лаврового листа. И молдаване с гигантскими мешками зеленых мандаринов. Господи, как мне хотелось сунуть автомат в заросли пихты и бежать.

И при этом я, как исполнительный солдат-перволеток, вглядывался в каждую прибывшую машину: не появится ли луженое лицо Кожана? не восстанет ли над мелкой суетой красивая фигура Сташа?

Скатился старый салатный «Москвичок». На крыше чемоданы, в разъявленном багажнике ящики. Первыми вышли двое мужчин. Дядя Валера направился к ним. Мужчины говорили между собой, а женщины и дети на заднем сиденье смотрели на дядю Валеру. Дядя Валера почему-то рассердился, я пошел за ним. Мужчины (один, помоложе, боком, постарше — лицо в лицо) встретили его. Старший говорил по-айдорски, младший угрюмо смотрел под ноги. Старший был в фуражке-«аэродроме», он снял ее и взмахивал, подтверждая свои слова. Дядя Валера закричал на него и толкнул в грудь. Молодой не двигался, дядя Валера посмотрел на него разъ-

яранный, плачущий и опять налетел на старшего, толкнул, отталкивая, я слышал только:

— Убивать! Убивать буду!

Дядя Валера заозирался. Мне показалось, что глаза у него стали черными — так выкатился и побелел белок. Он забыл и о мужчинах и обо мне. Он вздрагивал, вертел головой, он вышел на платформу и искал взглядом нечто близкое, неуловимое, он ворочал кулаками в кармане пиджака. Я спросил молодого, он сказал — перевел: отец его видел, как эндурцы надругались над женой и дочкой Валеры.

Я направился было к нему с постыдным чувством соболезнования. Состав рванулся, опять побежали люди, с Валерой столкнулась женщина, он пнул ее сумки ногой. Состав катился медленно, неуверенно. Валера натянул кепочку поглубже, пригнулся и упал боком на рельс. Он успел поерзать, приладить рельс под поясницу и для верности поджал живот. Колеса прокатили без запинки, как по бумаге. Но закричал воздух. Вагоны передали друг другу тупой ужас, и поезд опять затормозил.

Я подошел, думая, что понадобится. Подошли и его односельчане, тоже подумали, что чем-то могут помочь. Но ему не нужна была даже жалость. Он ушел на такой чистой ненависти, что и потом ему было плевать и на обездоленные ноги в рваных вельветках, и на то, что глаза никак не подсыхали. Ни в лице, ни вокруг не было ни кровинки. Колеса пощадил и рубашку, прошли как на цыпочках. И когда уже знакомый мне милиционер и другой знакомый, в штатском, выносили его на платформу, посторонняя помощь не понадобилась. Вторую простыню, накрыть, проводник не дал, сказал, что ему и эту не спишут. «Им жить не хочется, а мне отвечать», — сказал он зевакам.

Автомат я «потерял» и ночью в несколько приемов выбил место на поезд.

.....

Дома пахло запаренными пеленками и срыгнутым молоком. Бабка мстительно развернула передо мной пеленки: мол, эта ничего иного родить не могла. Оранжевый недоносок — без носа, с выпяченной половой щелью, с намертво заросшими глазами. Бабка хотела показать мне еще какое-то свойство этого примата, но я сказал: «Не надо, мать». Я пошел на кухню. Жена стояла у стола, держала в руке чашку с молоком. Она не отставила чашку, в лице у нее была напряженная пустота. И, назло судьбе, она была красивая. Эта красота одаривала ее силой независимости. Военственной немоты. Я взял ее за шею, потянул к себе. Она отвела голову, сказала: «Кто ты? — И настырно продолжая играть: — Кто ты? Я тебя не знаю». Обида прикусила мне горло, и я смеялся как дурак и, чтобы спрятать от нее заплакавшие глаза, прижался к ее спине, окунул лицо в волосы, в детский запах, отбивающий желание быть мужчиной. Но поздно вечером, когда бабка уснула на кухне, а напоенная недоносок-девочка с тяжелым свистом корчилась под насилием воздуха... поздно вечером я, отерпший от нежности, вдруг почувствовал сильное желание жены. Она назойливо смотрела в глаза, лицо у нее припухло, припухли губы, мускусная испарина покрывала кожу. Я попытался погладить ее, но она перехватывала руку, как трусливая девственница, и при этом в полупамяти, целуя, вовлекала в себя...

— А теперь смотри, — сказала она и включила свет.

Хирург-антрополог разрезал маточные пласты, он торопился застать зародыш в момент его тайного перехода из одного эволюционного состояния в другое. Поторопился. Экземпляр не представлял интереса. И хирург навсегда задернул небрежную «молнию» шрима.

— Теперь мне нельзя рожать, — сказала Светка.

— Посмотрим, — сказал я. Поднялся и заглянул в кроватку. Храп и кряхтенье недоноска говорили о том, что он борется.

— Как ты похудел, — сказала радостно Светка. — Ноги стали кривыми.

— Ничего, — ответил я и запустил ладонь под влажный зад уродца. — Красота — дело наживное.



ЕВГ. ХРАМОВ

*

РИСУНОК ПЕРОМ

* *
*

Отодвинь меня, время,
в свой самый заброшенный угол,
В девятнадцатый век,
в середину восьмидесятых,
Где хранится под спудом
истории каменный уголь,
Еще в топку не брошен
на тяжелых совковых лопатах.

Отведи мне пространство
в затишье, в заречье, в заяузье,
В занеглименье, в за...
за какой-нибудь речкой, за ширмой.
Буревестник не реет,
камнем с неба не падает ястреб,
Даже сны не грозят
ни Ягодой, ни Хиросимой.

Солнце русской провинции
медленно ходит по небу.
Первый свой и последний стишок
гимназист сочиняет.
Ставят в печь пироги,
ставят свечку Борису и Глебу.
Уверни фитилек,
что-то лампа коптить начинает..

Возрождение

Холмы голубые Тосканы,
Густой венецийский закат,
И плещут сирены хвостами,
И Данте спускается в ад,

Рождаются Джоттовы фрески
На них еще странно смотреть
И купола Брунеллески
Готовятся к солнцу взлететь.

Какое бескрайнее небо
Открылось пред нами тогда!
Таким человек еще не был,
Как в те золотые года.

И чувства и мысли — все крупно,
Все досыта, вдосталь и власть,
И все человеку доступно:
Нужны только воля и страсть.

А Бог поселяется в каждом,
А небо — рукою достать.
Какая вселенская жажда,
Какая могучая стать!

И в этом сиянье чуть брезжит,
Как слабый рисунок пером,
Голодный студент на Разъезжей
С готовым на все топором.

Песенка о светопреставлении

Из Чеслава Милоша

В день светопреставления
Все было как всегда:
Дельфины в море прыгали,
Спешили поезда,
И солнце встало поутру,
А вечером — звезда.

Зерно клевали голуби,
Гудел тяжелый жук,
Спал под забором пьяница,
Косцы косили луг,
И сплетничали барышни
Про всех своих подруг.

А так как молний не было
И гром не грохотал,
То никому не верилось,
Что этот час настал.
Пока трубе архангела
Не сказано трубить,
То светопреставления
Никак не может быть.

Лишь старикашка седенький
(Наверное, пророк)
Понять происходящее
Любому бы помог.
Стоял он, приговаривал —
Да слушать было лень, —
Что так он и приходит,
Последний самый день.
Все славно, все по-прежнему,
А он последний,
День.



ИНГА ПЕТКЕВИЧ

*

СВОБОДНОЕ ПАДЕНИЕ

Главы из книги

1

Вспоминать о лагере я не люблю и рассказывать не умею. Будто все это случилось в моем предыдущем рождении, когда я не была еще человеком. Да, мы там были как животные в стаде, которое все время куда-то гонят. Я ничего не видела и не воспринимала вокруг, кроме серой спины перед глазами и земли под ногами. С тех пор я не люблю поднимать глаза — бог знает какую гадость увидишь.

Потом в эшелон попал снаряд и меня контузило. Я долго находилась в бреду, то есть совсем в ином мире. Я думала, что умерла, и радовалась этому. Там, в другом мире, было страшно, но интересно. Какие-то странные существа — не люди разговаривали со мной. Это не был допрос в прямом смысле, просто они пытались выяснить, чего я хочу, и выполнить мои желания. Но у меня не было никаких желаний, я определенно ничего не хотела. Я только просила, чтобы меня поскорей похоронили. Мне было стыдно лежать мертвой у всех на виду. Им это не понравилось, и они стали развлекать меня всякими цветными узорами, которые порой превращались в животных и в растения. Животные были милые и красивые, растения же, наоборот, страшные и хищные. Они перевоплощались друг в друга, а рядом со мной все время сидел маленький облезлый лисенок. Он нервно позевывал и лязгал зубами от голода и тоски. Однажды вдруг я поняла, что лисенок — это я, и начала скулить.

Потом я оказалась в маленькой уютной комнате. Это была детская. Возле моей постели на белой тумбочке в толстой фаянсовой кружке стояло молоко. Я выпила его и стала поправляться. Какие-то странные люди ухаживали за мной. Я их видела в перевернутом виде, они зависали надо мной и беззвучно шевелили губами. Я их не слышала и не понимала. До сих пор не знаю, где я была и что со мной было. Я не запомнила там ничего, кроме лисят на обоях.

Воспоминания начинаются с дома Гретхен. Как я туда попала, я не помню, очевидно, меня перенесли во сне. Мне казалось, что я спала несколько месяцев. Гретхен утверждала, что всего две недели.

Итак, моя сознательная жизнь началась в доме Гретхен. Она спасла мне жизнь и, как добрая волшебница, вернула мне человеческий облик, то есть снова превратила меня из животного в человека. Я недаром считаю ее своей матерью, потому что она не только подарила мне жизнь, но еще научила жить в этом мире и быть человеком.

Мы жили в маленьком домике на окраине небольшого университетского города возле швейцарской границы. Дом наш с улицы выглядел заброшенным и нежилым: все окна были наглухо закрыты ставнями, парадная

дверь заколочена досками. Мы грюникали в дом через веранду, которая выходила в небольшой садик, обнесенный железной решеткой. Через этот садик мы попадали на другую улицу. Там в решетке была маленькая калитка, которую при желании можно было перепрыгнуть, но мы каждый вечер запирали ее на большой висячий замок.

Справа наш участок граничил с точно таким же небольшим садиком, в котором находился точно такой же, как у нас, маленький домик, где жили такие же тихие и робкие запуганные войной люди, с которыми мы не знали. Какая-то старинная соседская распря поссорила жильцов дома с моей хозяйкой еще до войны. Дом слева от нас был разрушен, и там никто не жил. Летом я пробиралась туда и лакомилась грушами и яблоками из заброшенного сада. Старуха смотрела на мои вылазки сквозь пальцы, но пользоваться плодами из чужого сада наотрез отказалась. Единственно, чем она не брезговала, это досками и щепками, которые я приносила оттуда. С дровами было туговато.

В первом этаже дома помещалась большая кухня, отделанная кафелем. На кухне была плита, облицованная синими изразцами. Посреди кухни стоял круглый дубовый стол, на котором мы ели. Справа возле окна в сад размещался громадный дубовый буфет, похожий на старинный замок с башенками. Возле буфета была маленькая дверца в комнату для прислуги, где было уютно и даже тепло и где я жила. Сама же старуха жила на кухне и спала там же на деревянном ларе с резной спинкой. В этот ларь она на день складывала все свои спальные принадлежности. Днем она никогда не ложилась.

На втором этаже дома размещалась зала, дверь которой была заперта, и две маленькие комнаты мальчиков. Там было темно и холодно.

Мы жили затворниками.

Поначалу я люто ненавидела эту фашистку и про себя называла ее не иначе как старуха. Напрямую я к ней и вообще никак не обращалась. Я слабо знала немецкий язык, кроме того, после контузии плохо слышала, и старухе все время приходилось надирать свои голосовые связки. Но я упорно отказывалась ее понимать, и общались мы в основном при помощи жестов и мимики. Эти пантомимы выглядели, наверное, очень комично, потому что в первое время, глядя на меня, старуха то и дело иронически хмыкала и пофыркивала.

Как только я начала поправляться, старуха-хозяйка стала приучать меня к труду. Сначала это были всякие мелкие хозяйственные дела и заботы: шитье, штопка, вязание — я не умела ничего, всему меня приходилось обучать заново. Старуха, проявляя удивительное терпение, не только очень быстро обучила меня этим рукодельям, но и привила особый вкус к ним. Еще сидя в постели, я под ее руководством сшила себе целый гардероб. У старухи от сыновей остались красивые детские вещи, многие из которых были мне впору. Но старуха считала, что девочка должна носить платье, и притащила к моей постели множество своих старых нарядов, из которых мы общими усилиями сшили мне несколько великолепных платьев. Особенно удался нам национальный тирольский костюм с множеством бантов, лент и кружев. Я была от него в восторге.

Жаль только, что на девочку я тогда мало походила. Длинноногая и длиннорукая, угловатая, неуклюжая и веснушчатая, я больше была похожа на мальчишку. Даже волосы, отрастая, долго стояли дыбом, и с ними ничего не могли поделаться ни гребенка, ни вазелин, ни даже ночная шапочка, которую старуха надевала на меня специально, чтобы пригладить мою непослушную щетину. Платья сидели на мне как на вешалке, все время почему-то сбивались на сторону, спадали с плеч, и даже упрямая старуха в конце концов вынуждена была признать, что мальчишеский костюм больше мне к лицу.

Бедная Гретхен, она всегда мечтала иметь дочку, а у нее рождались одни мальчики. На втором этаже, в зале, в красивых шкафах размещалось множество всевозможных кукол, такой невероятной красоты, что, если бы

даже Гретхен не запрещала мне к ним прикасаться, я бы все равно никогда не осмелилась это сделать. Гретхен собирала их всю жизнь для своей будущей дочки, а мальчишкам не разрешала их трогать.

— Вот когда ты станешь больше похожа на девочку, — говорила она, — я разрешу тебе поиграть этими куклами, а пока ты и на человека еще мало похожа. — И она с опаской и недоумением поглядывала на меня — уж больно ее удручал мой внешний облик. Но она не позволяла себе унывать и тут же, гордо потрянув головой и твердо поджав губы, цепко хватала меня за руку, выводила прочь из залы, запирала дверь своим ключом, который тут же исчезал в ее бездонном кармане, и тащила меня вниз, на кухню, где нас ждали наши насущные дела и заботы.

— За работу, за работу, — приговаривала она. — Труд делает человека, только труд. Будешь трудиться, станешь умной и красивой.

Она учила меня вязать. Для этого мы распускали старые шерстяные вещи и потом вязали из них теплые носки. Она говорила, что, когда через город идут солдаты, они всегда дают за такие носки что-либо хорошее. Но не успела я полюбить это занятие, как она притащила вниз какой-то чемодан и поставила его на тумбочку возле моей постели.

— Вот это пишущая машинка, — сказала она, — и ты будешь учиться на ней печатать. Это хорошее ремесло, и у тебя всегда будет свой кусок хлеба с маслом. Только надо немного поучиться.

Она открыла крышку, показала мне машинку и долго объясняла назначение рычажков, клавиш и демонстрировала ее в действии. Я же, дикий звереныш, глядела с ужасом на этот хитрый механизм и наотрез отказывалась что-либо понимать. Дело кончилось грандиозной истерикой, я билась на полу и визжала, а хозяйка глотала возле буфета какую-то микстуру из толстой рюмки и тихонько бранилась по-немецки. Потом она дала и мне рюмку микстуры, которая оказалась неожиданно вкусной, и я от удивления перестала орать и попросила еще рюмку. Хозяйка молча убрала склянку в буфет, цепко взяла меня за руку и заново подвела к машинке.

— Вот когда кончится урок, — твердо сказала она, — ты получишь еще одну рюмку этой вкусной гадости. Возьми ручку и тетрадку. Заодно мы будем изучать немецкий язык.

— Я лучше буду вязать! — жалобно взмолилась я. — Я лучше буду шить, штопать, готовить обед, убирать, я что угодно вам сделаю, только не надо машинки...

— Глупости, — строго перебила меня эта неумолимая фашистка. — Вязание — это для идиотов и стариков, а хозяйством мы будем заниматься вместе в свободное от работы время. Сиди и слушай, что я тебе буду объяснять.

Я подчинилась ей только потому, что твердо решила сбежать от нее в ближайшее время. Кончалась война, город заняли американцы. Это были здоровые, веселые люди, и мне вовсе не улыбалось сидеть на кухне у вредной старухи и учиться печатать на машинке. Я была твердо убеждена, что эту машинку мне не освоить, да и вообще мне это в жизни не пригодится. Что я буду делать в жизни, я не знала, но работать я не хотела категорически.

Два раза я сбежала из дома, но была зима, в городе было холодно и голодно и никому не было до меня дела. Однажды меня даже запрятали в лагерь для репатриантов, но там мне не понравилось и я пока вернулась к хозяйке. Старуха не ругалась. Сурово поджав губы, она мыла меня в корыте, стирала завшивевшую одежду. Кормила овсянкой и снова сажала за машинку.

— Мне не нужна глухая, неграмотная рабыня, — говорила она. — Я должна сделать из тебя человека, и я его сделаю. Из упрямого и ленивого грязного дворового щенка я сделаю человека, и ты будешь благодарить меня всю жизнь.

Спорить с ней было бесполезно, и я подчинилась. Но господи, как я ненавидела ее тогда. Так ненавидеть может только одичалый, злобный звереныш. Я мечтала найти где-нибудь мину и подорвать этот зловещий домик

к чертовой матери. Старуха, конечно же, подозревала о моих чувствах, но что самое обидное — они ее ни капли не волновали и не трогали. Она вообще казалась непробиваема ни для каких чувств: непреклонно и методично она делала свое дело и откровенно не нуждалась в моей любви.

Жили мы по расписанию, которое висело на кухне возле старинного умывальника. На толстой ватманской бумаге готическим парадным шрифтом был расписан по минутам наш трудовой день.

Вставали мы ровно в шесть. Полчаса завтракали овсяной кашей с американским джемом и чаем, заваренным на смородиновом листе. Кашу варили с вечера и на ночь накрывали большой пуховой подушкой. Утром она была еще теплая. Однако чай старуха любила пить свежей заварки, и поэтому, если было электричество, его готовили заново на плитке, а вчерашний чай сливали в большой прозрачный графин и потом пили весь день, как целебную воду. Старуха обожала чай из смородинового листа и пила его всю жизнь, для этого в ее маленьком садике за домом росло несколько одичалых кустов черной смородины. Старуха считала, что смородиновый чай лечит все болезни, во всяком случае, у меня от него сразу прошли все кожные заболевания.

За завтраком мы не произносили ни слова, болтать поутру старуха считала крайне вредным. Мы молча съедали свой скудный завтрак и в половине седьмого садились за работу.

Работали мы пять часов подряд с десятиминутными перерывами каждый час. В эти перемены старуха учила меня расслабляться, и эта наука мне потом весьма пригодилась. Работа машинистки очень трудоемкая, и умение расслабляться является, наверное, основным секретом моей удивительной для всех тут работоспособности.

Первый час мы занимались немецким языком и грамматикой, второй я перепечатывала урок на машинке, в одиночестве. Хозяйка на кухне занималась своими делами, но стоило мне перестать печатать, она заглядывала в мою комнату и сердито грозила мне пальцем. Удивительно комичен был этот угрожающий жест, даже меня, измученную, злобную девчонку, он развлекал, и я нарочно иногда переставала печатать, чтобы скрипнула дверь и это озабоченное существо просунуло в щель свою аккуратную головку и, сурово поджав губы, молча погрозило мне пальцем.

В конце второго часа старуха проверяла мою работу с красным карандашом и долго терпеливо объясняла мне мои ошибки. Третий час я должна была читать вслух какую-нибудь книгу, а старуха комментировала и объясняла мне прочитанное. Потом она заводила патефон и ставила пластинку с классической музыкой, обычно это был Моцарт или Бах, и я должна была в течение двух часов работать самостоятельно, то есть перепечатывать на машинке только что прочитанный текст.

Хозяйка уходила из дома по делам, и я в одиночестве наслаждалась свободой и покоем. Я старалась побыстрее напечатать заданный урок, а оставшееся время бродила по дому, разглядывала предметы и шкафы с их содержимым. Я поднималась на второй этаж в комнаты мальчиков и рылась там в их игрушках, которые хранились в небольшой кладовке, аккуратно упакованные в ящиках и чемоданах.

Зала была заперта на ключ, но над дверьми было стеклянное окошко и, если подставить табуретку и влезть на нее, можно было заглянуть в комнату, где все предметы были таинственны и прекрасны, как в заколдованном замке, и лучи солнца, проникая сквозь щели в ставнях, делили пространство на волшебные неправильные отсеки, каждый из которых жил своей самостоятельной жизнью и волновал воображение своей таинственной недоступностью.

Каких только сказок я себе не придумывала, стоя там на табурете и заглядывая в пустую, полутемную комнату. Большею частью я воображала себя младшей сестрой двух прекрасных старших братьев. Например, один, сидя за роялем, играет вальс, а другой, помладше, учит меня танцевать.

Старуха любила хвастать, что оба ее сына прекрасно вальсировали. Особенно младший. Он ушел на фронт незадолго до моего появления в возрасте семнадцати лет и с тех пор пропал без вести. Хозяйка надеялась, что он где-то жив и по окончании войны обязательно найдется.

Звали его Клаус, на фотографиях он был похож на Тома Сойера — лужавая веснушчатая рожица вся светилась затаенным юмором. Я была влюблена в этого мальчика, и это была одна из причин, почему я терпела издевательства старухи и не убежала от нее.

Заглядывая через окошко в полутемную комнату, я воображала себя хошенькой резвой девицей и ощущала на себе его влюбленный взгляд. Я мечтала, что когда он вернется, то будет учить меня танцевать вальс в этой затемненной зале. Но он так никогда и не вернулся.

— Пропал без вести, — загадочным тоном сообщала старуха, и казалось, что ее устраивает такое положение вещей. Она могла не терять надежду, до самой смерти ждать и надеяться.

Я же почему-то очень скоро поняла, что моего принца нет в живых. Груз отрицательного опыта был у меня очень велик, он не позволял мне слишком долго обольщаться мечтами, и, проиграв сюжет моей любви до самого конца, до свадьбы, я похоронила моего суженого в снегах России возле глухой деревушки.

Ровно в двенадцать часов старуха возвращалась домой и проверяла мой урок. В это время она старалась разговаривать со мной по-русски. Эта сумасбродка задалась целью выучить на старости лет русский язык, и я должна была помогать ей. Меня сместило ее немецкое произношение и дикие обороты речи, и она добродушно смеялась вместе со мной.

В половине первого старуха шла готовить обед. Я имела право отдыхать или заниматься своими делами, но я ничего не могла делать от усталости, кроме как вязать носки, только вязание приводило меня в чувство. Я так уставала, что порой мне казалось, что вот-вот упаду и рассыплюсь в прах. Я просто ничего не воображала от какого-то нервного истощения, которое уже граничило с идиотизмом.

Однажды, лежа на кровати лицом к стене, я в маразме разрисовала обои фашистскими знаками. Другой же раз в припадке бешенства схватила в кулак все карандаши и со всех сил волчком закрутила ими по напечатанным страницам. За обои мне крепко попало. Но когда старуха увидела мою разрисованную кругами печатную страницу, она сначала изумленно открыла рот, но потом неожиданно вдруг фыркнула, буквально подавилась смехом и стремительно выскочила прочь. Я испуганно глядела ей вдогонку, ее смех казался мне зловещим, и я думала, что теперь-то она меня уж точно прогонит обратно в лагерь. Но за обедом она весело рассказала мне, что когда она училась печатать, то однажды выкинула точно такой же финт. Тогда впервые я усомнилась, что она такая уж железная и невозмутимая, как казалось мне, злому заморышу. Силы ее были невелики, и уставала она точно так же, как я сама.

Только много лет спустя мне стали понятны некоторые ее действия и поступки, которые тогда меня настораживали и даже пугали. Например, она могла битый час записывать питьевую соду в бутылочку с узким горлышком. Мне, ребенку, было очевидно, что этой содой из флакона потом очень сложно будет пользоваться, но старуха с дьявольским терпением делала эту бессмысленную работу. Или еще: из остатков шерсти она любила вязать крючком маленькие круглые цветочки, которые складывала потом в наволочку. Было неясно, зачем ей так много круглых цветочков. Действия ее носили явно абсурдный и бессмысленный характер, и я долго пребывала в недоумении. И только теперь, подбираясь к ее возрасту, я поняла, что делала она эти явные нелепости тоже от усталости и полного нервного истощения. В то время ей не было еще пятидесяти лет.

В час дня мы садились обедать. На обед был обычно суп из концентратов и второе из картошки, которое старуха готовила очень искусно. Тут была и запеканка, и картофельный пудинг, и блинчики, и даже вареники. Наш скромный обед сервировался просто шикарно, мы пользовались кра-

сивым фаянсовым сервизом, затейливо расписанным всякими башнями, дворцами и замками. Ложка, нож и вилка лежали на такой хрустальной подставочке. Посреди стола стоял хрустальный графин, наполненный смородиновой водой, старуха явно подмешивала туда какую-то настойку, потому что вода эта была очень вкусной. Суп на стол подавался в красивой супнице, на крышке которой было отверстие и оттуда торчала ручка серебряной поварешки с монограммой. Старуха бдительно следила за столом за моими манерами, и, если я нарушала правила хорошего тона, она сурово поджимала губы и стучала ножом по графину, который издавал необыкновенно мелодичный звук. Она учила меня тщательно пережевывать пищу и терпеливо объясняла, что это залог хорошего пищеварения. После еды предлагалось полоскать рот.

Потом мы вместе убирали со стола, мыли посуду и час отдыхали после обеда. Слушали музыку. Я обычно вязала. Старуха же читала вслух учебник русского языка и спрашивала у меня произношение слов.

В три часа мы тщательно одевались и выходили в город. Заходили в церковь. Я имела право оставаться на улице и ожидать там старуху, что обычно и делала. Потом заходили в продуктовый магазин и отоваривали наши карточки. Затем стояли возле кинотеатра, слушали доносившуюся оттуда музыку и продавали наши поделки. Большею частью нам платили натурой — шоколадом, джемом, галетами. Американские солдаты были веселые, беспечные и щедрые. «Молодая нация, — бубнила себе под нос старуха, — дети», — и было непонятно, одобряет она эту нацию или осуждает.

Часов в пять мы возвращались домой и снова работали: повторяли пройденное, потом я печатала под диктовку. С шести до восьми занимались хозяйством. В восемь мы ужинали, пили смородиновый чай с галетами или с джемом — как правило, с теми продуктами, которые нам удалось намять за наши носки и кошельки. После такого ужина всегда очень хотелось есть, и, наверное, поэтому мы выпивали бездну смородинового чая. До девяти часов мы вместе вязали или распускали какую-либо старую кофту или шарф. Старуха анализировала прожитый день и ставила за него отметку. Если за день не было срывов и скандалов, я получала пятерку, старуха хвалила меня и торжественно выдавала кусочек шоколада. Если же в течение дня я провинюсь, старуха ставила мне тройку, однако тут же утешала себя или меня, что тройка тоже неплохая отметка, ее всегда можно исправить. Но шоколад не давала. Она хорошо воспитала двоих детей и свято верила в свои методы воспитания. Потеряв своих сыновей, она тут же принялась воспитывать чужеродного дикого и необузданного ребенка. Почему и зачем она это делала? Я долго ломала себе голову над этим вопросом и не раз спрашивала старуху, и всякий раз она отвечала мне, что верует в Бога и обязана этим заниматься, то есть обязана передавать кому-либо свой опыт, знания и умения.

— Но почему обязана? — спрашивала я. — Кому обязана?

— Это мой долг перед Богом, — отвечала она.

— А что такое долг? — спрашивала я.

— Долг — это то, что мы должны вернуть Господу за то, что он подарил нам жизнь, — объясняла она.

— Бога нет, нет, нет! — взрывалась я.

— Так может думать только бездушный дикарь, — сердилась она.

— Фашисты придумали Бога, фашисты! — надрывалась я. Я не понимала старуху и готовила очередной побег. Наши тихие трудовые будни в маленьком заколоченном домике на краю света бесили меня. У меня было вольное дворовое детство и шпанское воспитание. Я могла стать связной или разведчицей в партизанском отряде, могла закрыть своим телом амбразуру вражеского дзота или броситься с гранатой под танк, но к трудовым будням я была неприспособлена. Я, как все мы, росла героической натурой, способной на подвиг, на жертву, но абсолютно непригодной к нормальной трудовой деятельности. Это мы не проходили.

Провести свою жизнь на задворках Европы в обществе полудохлой фашистки, целый день стуча на машинке, как канцелярская крыса, — нет, не

такой я представляла себе свою жизнь после окончания войны. Я еще не знала тогда, что почти все, кто побывал в немецком плену или даже в оккупации, после войны прямиком отправились в советские лагеря.

Словом, кончалась война. Я готовила свой последний, решающий побег, но тут дикий и даже смешной случай на время спас меня и отсрочил мое возвращение на родину.

Однажды, когда старуха была в церкви, начался воздушный налет. Улица мгновенно опустела, и я тоже уже хотела нырнуть в церковь, но вдруг заметила странное явление: по безлюдной улице с жутким визгом мчался поросенок. Сначала я подумала, что за ним кто-то гонится, но потом поняла, что он просто ранен осколком, поэтому так визжит. Налетов воздушных я в своей жизни видела куда больше, чем живых поросят, поэтому я недолго думая припустила за ним следом и настигла в конце пустынной улицы совсем близко от нашего дома. Я схватила его в охапку и притащила домой. Из ножки поросенка текла кровь, и я взяла кухонное полотенце, чтобы ее остановить. Опрокинув поросенка на пол, я стала его перевязывать. Поросяенок брыкался и визжал так, что я не заметила, как вернулась старуха. Когда я наконец ее увидела, она сидела на пороге кухни и наблюдала за нами с таким ужасом, будто я притащила в дом гремучую змею.

— Что это? — слабым голосом спросила она.

Я сбивчиво объяснила ей, что поросенок ранен, он бежал по улице и я поймала его, чтобы подлечить.

— Ты украла чужого поросенка? Немедленно верни его на место! — приказала она.

Я повторила, что не знаю, чей это поросенок, что он просто раненый бежал по улице... Но старуха не хотела ничего слушать и, возмущаясь моим варварским поступком, тут же помчалась прочь, чтобы немедленно найти хозяев поросенка. Отсутствовала она довольно долго. Я тем временем вытащила из поросенка осколок, залила рану йодом и тщательно перебинтовала ее. Потом я устроила его спать в большой корзине в прихожей, под вешалкой.

Вернулась старуха совершенно обескураженная, хозяйина поросенка ей найти не удалось, и она не знала, что же теперь делать. Целый вечер мы печатали на машинке объявления о найденном поросенке, которые потом развесили по всему городу. Но хозяин так и не объявился. Тогда мы решили взять поросенка на воспитание. Усыновить, что ли, пока не появится его законный владелец.

Но нам совершенно нечем было его кормить, и тут я догадалась и надоумила старуху сходить в воинскую американскую часть, с которой я познакомилась в дни своих побегов, и попросить там для нашего поросенка хоть каких-нибудь помоев с кухни. Старуха долго не соглашалась, но поросенок требовал еды, и мы отправились.

До сих пор я смеюсь, вспоминая наш поход и ту бестолковую беседу, которую мы имели с одним американским негром возле ворот воинской части. Старуха малость знала английский, но все равно ей очень тяжело было объяснить этому сытому верзиле, что мы от него хотим. Русский ребенок, поросенок, слабая фрау — он предложил нам хлеба. Мы гордо отказались и продолжали настаивать на своем. Тогда он радостно заявил нам, что с удовольствием съест нашего поросенка. Старуха от негодования побледнела и долго терпеливо объясняла этому победителю, что поросенок вовсе не для еды, что мы взяли его на время на воспитание, пока не объявится его хозяин. Такой довод нашего верзилу почему-то вдруг жутко насмешил. Он хохотал громко и заразительно. Мы терпеливо ждали, когда он насмеется вдоволь, а потом опять терпеливо доказывали свое. В конце этой дискуссии вокруг нас собралось изрядное количество зрителей, и все они хохотали. Мы чуть не плакали от обиды и возмущения. Я ругалась матом, благо почти никто его тут не понимал. В конце концов нам вынесли полведра хороших помоев. Гордые и счастливые, мы вернулись домой. Несколько дней было чем кормить поросенка.

Потом мы снова отправились на промысел в ту же воинскую часть. За прошедших два дня мы сделались знаменитыми. Поглазеть на нас сбегалось изрядное количество зрителей. Мы терпеливо излагали им свою историю, они хохотали.

Я думаю, что хохотали они в основном от нашего лексикона, эта смесь русского, немецкого и английского, наверное, была довольно забавна, но и сами по себе мы, видимо, представляли колоритную пару. Кроме того, история с поросенком, взятым на воспитание, тоже, наверное, была довольно смешной. А может быть, такой уж жизнерадостный и сытый был этот американский победитель, но хохотали они всякий раз, как мы приходили за поможками.

Сначала старуха обижалась на этот дикий хохот, но потом она привыкла и перестала обращать внимание. За помой мы приносили им наши красивые кисеты и носки.

В тот месяц мы почти не печатали, так много хлопот было у нас с этим поросенком. К тому же по совету тех же американцев мы решили сажать огород. Они же дали нам семена для посадки и немного картошки.

Всю весну мы возились с нашим огородом.

Как я уже говорила, за домом старухи был небольшой садик. Там росло несколько старых плодовых деревьев, которые старуха особенно любила и наотрез отказалась их выпиливать. Зато кусты жасмина, сирени и еще чего-то мы выкорчевали с корнем, оставили только несколько кустов черной смородины на чай. Мы распахали в садике все клумбы и газоны и сделали грядки, на которых посадили свеклу, морковь, укроп, горох, картошку и даже огурцы. Эта возня с огородом очень сблизила нас. Старуха заметно оживилась, стала не такая уж чопорная и суровая и порой рассказывала мне много интересного из своей жизни. Оказывается, она в молодости была довольно богатая, но вышла замуж по любви за непутевого человека, который быстро промотал ее состояние, к тому же рано умер, оставив ее с двумя детьми.

— Если жизнь делается невыносимой, надо убавить требования к ней, — любила говорить эта мудрая женщина. — И богатые люди бывают несчастны. А если уметь работать, то бедным ты никогда не будешь. Только работа делает человека. Конечно, Господь Бог дарует ему жизнь и много замечательных способностей, но без работы человек быстро дичает и превращается в животное, которое только и думает о плотских утехах и поэтому попадает в лапы к дьяволу, который потом помыкает им, как своим слугой. Из подобья Божьего человек превращается в дьявольское подобие и, разумеется, попадает в ад.

Дорвавшись до понятной работы, я с удовольствием слушала старухины туманные разглагольствования. Я была готова пахать землю, корчевать пни, сажать картошку, мне все было в радость, лишь бы не печатать на машинке. Но вредная старуха и здесь не оставляла меня в покое, даже на огороде она заставляла меня спрягать немецкие глаголы и зубрить правила орфографии. До сих пор у меня в ушах звучит ее настырный, въедливый голос: «Их-бин, ду-бист, эр-зи-эс-ист». Ее логически-четкий мозг не знал сомнений, если что-то надо было сделать, она не раздумывая бралась за работу, и тут уже приходилось удивляться, как много успевает за день эта немощная, старая женщина. Чтобы не отставать от нее, мне невольно приходилось подтягиваться и повышать требования к себе. И вот за пять лет жизни у старухи я получила и профессию, и воспитание, и образование, а главное, приобрела навык к работе, который позднее не раз спасал меня от отчаянья, падения и нищеты, а в конце концов, наверное, меня погубит.

Словом, огород, к моему разочарованию, мы вспахали и обработали в рекордно короткий срок. Зато как приятно было потом отдыхать вечером на веранде в обществе тощего поросенка и любоваться своей работой. Жужжали пчелы, порхали бабочки, цвели яблони, пели птицы. Косые ласковые лучи заходящего солнца уютно согревали землю. После дневных трудов и забот мы буквально пьянели от запаха цветов, от солнечного тепла, тишины

и покоя. Две слабосильные, чудом уцелевшие жизни, мы забывали свое горе и войну и потери, каждая клетка в нас дышала и хотела жить вопреки голоду, вопреки рассудку. Я думаю, только в дни народных бедствий, когда рядом ходит смерть, так патологически остро ощущается вкус жизни, ее скромные и такие могучие прелести. Истощенные голодом, войной, два одиноких заброшенных в этом суровом мире существа, мы были так предельно, пронзительно счастливы, что даже тогда мне казалось, что второй раз в жизни такого счастья быть не может... И точно, больше оно не повторилось.

В середине лета мы стали подкапывать картошку, и наш поросенок стал заметно толстеть.

Господи, до чего же в первое время я ненавидела и боялась ее. Она казалась мне злой тиранкой, которой доставляет удовольствие мучить меня и дрессировать.

Позднее она не раз признавалась, что и сама в первое время боялась меня. Да и что, кроме ужаса, мог внушать этой благовоспитанной даме дикий, угрюмый и злой звереныш. У меня сохранилась фотография тех лет: волчий взгляд исподлобья, ожесточенно сжатый рот, рыжеватые волосы стоят дыбом, как щетина. Старуха утверждала, что в болезни я даже кусалась и царапалась, как волчонок. Когда же она застала меня на полу в обнимку с окровавленным поросенком, она уж точно решила, что я взбесилась и надо срочно вызывать врачей, чтобы меня вязали.

Однако к концу первого года обучения и воспитания, когда я малость освоилась с машинкой, особенно после возни с огородом, наши отношения стали налаживаться. Между нами установилось какое-то тихое взаимопонимание, мы стали меньше друг друга бояться, все чаще беседовали по душам, рассказывали друг другу свои жизни, делились бедами.

Летом сорок пятого года, когда я уже почти освоила машинку и почти прижилась у старухи, я познакомилась с одним парнишкой из Белоруссии. Он работал на ферме и раз в неделю привозил в наш квартал молоко. Постепенно мы подружились. Парень был на пять лет старше меня, и звали его Коля Дубрович. Это был красивый и здоровый юноша, простодушный и приветливый. Мало сказать, я боготворила его. Каждое русское слово в его устах было для меня священным, несмотря на сильный акцент.

Иногда я сбегала от старухи, чтобы покататься на Колиной тележке, запряженной маленькой серой лошадкой. Очень странно и тревожно было снова услышать русскую речь, и, наверное, поэтому на меня такое сильное впечатление производили громкие слова о равенстве, братстве, свободе и наоборот — рабстве, несправии, угнетении.

Коля на хозяев не жаловался, они вполне прилично с ним обращались: кормили тем же, что ели сами, не грубили, не били. Даже девицы к нему приставали, даже хозяйская дочь, ведь в Германии тоже мало парней осталось. Вот только вкалывать приходилось с утра до ночи, уж больно немцы люты до работы.

— Прямо не жизнь, а каторга! — сокрушался Коля.

И мы с упоением вспоминали наше вольное дворовое детство, когда можно было целыми днями гонять в футбол, в лапту, в «казаки-разбойники» и никто не заставлял тебя работать. Наша тоска по родине происходила в основном из отвращения к постоянному каторжному труду. Мол, и детство у нас отняли, и родителей, и Родину, поработили, закрепостили... Мы отдавали себе отчет, сознавали, что хозяйские дети работают наравне с нами. Но Коля утверждал, что они работают на себя, а мы работаем на них. Он объяснял мне, что моя старуха хочет выдрессировать меня, чтобы иметь потом покорную рабыню. Смешно, но я верила ему. Мне и в голову не приходил простой довод: зачем рабыню учить грамоте, музыке, рисованию, хорошим манерам. Да и о каком рабстве шла речь, когда уже кончалась война и мы вольны были распоряжаться своей судьбой по своему усмотрению. Коля имел адрес, по которому всегда мог обратиться с просьбой о возвращении на родину. И мы мечтали о нашей могучей Родине, мечтали иступленно, самозабвенно. Да, мечтать нас в детстве научили неплохо.

Наша тележка, весело бренча пустыми бидонами, беспечно катила по прямой, обсаженной тополями немецкой дороге, среди ухоженных, несмотря на войну, бесконечных полей. Светило солнце, пели птицы, стрекотали кузнечики. Полуденный зной, казалось, на глазах залечивал военные язвы раненой земли. Какое-то особое послевоенное безмолвие, вязкая тишина и ленивый покой окутывали землю, как наркоз. Все вокруг будто оцепенело в этом томном целебном мареве, и в глубоком послекризисном сне уже витали миражи мирных будней, счастья и благоденствия.

Мы радостно тряслись в нашей таратайке по волшебному, очарованному ландшафту, и черепичные остроконечные крыши затерянных в зелени ферм казались нам заколдованными замками, где с нетерпением ждали нас, освободителей. Флюгера, жалобно поскрипывая, заманивали нас в свои владения, умоляя спасти от кровожадных людоедов.

И вот однажды на обочине дороги, возле ручья, в тени каштана, нам повстречался старик, похожий на Кота в сапогах. В свободной и живописной позе он отдыхал на зеленой траве, закинув ногу на ногу, и глядел в небо. Его большие красные ботфорты стояли тут же на траве. Мы увидели его одновременно, но, пока мы останавливали тележку, он исчез. На траве валялся только один красный сапог, который он обронил убегая. Мы переглянулись, подхватили сапог и бросились в погоню за котом. Следы привели нас на заброшенную ферму. Дверь дома еще поскрипывала, она не успела захлопнуться за котом, но когда мы добежали до нее, то увидели табличку: «Мины!» Однако в заброшенном саду было так много спелых фруктов. Посовещавшись, мы пришли к выводу, что навряд ли кому-нибудь понадобится минировать сад, и мы наведались туда с большой пользой не только для своих желудков, но еще целую тачку фруктов привезли в город моей Гретхен, чем завалили ее работой на целую неделю и обеспечили себя мармеладом и джемом на всю зиму. И потом, гоняя чай с вареньем, мы то и дело благодарили Котяру Котофеича, Кота в сапогах, который заманил нас в свои владения и так щедро одарил своими сокровищами. Только Гретхен в ужасе возводила глаза к небу и что-то бормотала себе под нос. В ее буржуазном сознании никак не умещалось, как это можно залезать в чужие владения, тем более заминированные.

— Бедные дети, — вздыхала она, — как их искалечила война! — Однако варенье есть не гнушалась.

Мы же только посмеивались. Мы не чувствовали себя жертвами войны и еще не раз потом навевались в заколдованный, то есть заминированный, сад. Чувство опасности атрофировалось в нас вместе с прочими морально-этическими предрассудками. Мы искренне считали заброшенный сад своей законной территорией и резвились в нем, как настоящие дикари-завоеватели. На чужой земле мы чувствовали себя победителями, почти хозяевами и гордились своей могучей родиной и опять вспоминали свое вольное, дворовое детство, проклинали фашистов и мечтали о возвращении домой.

Мы весело катались на своей таратайке по чужой земле, опьяненные своей победой, и бречание бидонов казалось нам звоном литавров, триумфальным победным маршем в нашу честь. Впервые в жизни нам было даровано необъятное, полновесное счастье, и мы дурели от него и мечтали о счастье еще больше. Нам казалось, что мы в преддверье какого-то вселенского блаженства, какого-то неземного рая, который ждет нас буквально за поворотом, стоит сделать шаг — и мы дома... У нас захватывало дух от восторга перед этим волшебным мгновением. И мы взалхб мечтали о нашей сказочной Родине, где нет рабов и хозяев, где детей никто не заставляет работать и все наслаждаются свободой, равенством и братством под ласковым оком нашего родного, горячо любимого, великого отца и друга всех детей и народов, бессмертного Сталина. Господи, как жарко, иступленно и самозабвенно мы умели тогда мечтать.

— Ты представляешь, — горячо возмущался Коля. — Они нас купили, как скотину! Пошли на рынок и купили, будто овцу или курицу. Нас, русских, продавать, как скотину!

Я не знала такого факта, я была больна и не помнила, как меня продавали и покупали, но его возмущение передалось мне, и по возвращении домой я прямо спросила хозяйку, почему она меня купила. Застигнутая врасплох, моя старуха страшно смутилась, побледнела, испуганно залепетала что-то невнятное, а потом вдруг замолчала. Но я твердо стояла на своем и требовала разъяснений.

— Кто тебе это сказал? — горестно прошептала она. — Какие подлые, злые и глупые люди тебе такое сказали?

Я злобно наблюдала за ней, ее беспомощный лепет выдавал ее с головой, выдавал ее тайные замыслы и помыслы в отношении меня. Я раскусила ее, вывела на чистую воду, разоблачила, сорвала маску.

Я бросала ей в лицо горькие, обличительные слова. Она не оправдывалась. Я требовала, чтобы меня вернули на Родину, она не возражала.

— Да, да, — испуганно кивала она. — Я знала, что это случится. Я знала, что ты покинешь меня, но нельзя, нельзя быть такой жестокой. Я не хотела тебе зла, и я его не делала. Почему же ты так меня ненавидишь? Я хотела сделать доброе дело. Мы виноваты перед тобой, и я хотела сделать для тебя доброе дело!

Но я не верила старухе, не жалела ее и не была ей благодарна. Я одержала над ней победу и упивалась этой победой. И она тихо ушла из дома. Я знала, что она пошла в церковь. «Замаливать свои грехи», — усмехнулась я про себя.

Только через несколько дней состоялось наше решительное объяснение. Собственно, объяснения никакого не было. Просто она усадила меня против себя на стул и строгим сухим тоном изложила мне свое решение — «свою волю». Да, она готова отправить меня домой и даже навела кое-какие справки, но она сделает это не раньше чем вылечит мои уши. Так велит ей долг совести, и она выполнит его во что бы то ни стало. В остальном совесть ее передо мной чиста, и она надеется, что я со временем пойму ее старания сделать из меня человека и оценю ее усилия.

И, не слушая никаких возражений, она снова усадила меня за машинку.

Постепенно наша жизнь вошла в прежнюю колею, наши однообразные трудовые будни уже не так угнетали меня. Я привыкла работать и по-своему привязалась к моей хозяйке.

Несколько раз она возила меня в другой, более крупный город и показывала там врачам. Врачи настаивали на операции. Однажды в приемной, где я ждала мою хозяйку, я случайно услышала разговор одной семьи и поняла из него, сколько стоят эти визиты к врачам и во сколько обойдется моя операция. Я слушала очень внимательно и даже осмелилась переспросить незнакомых людей, но я не верила своим ушам, такая это была громадная сумма денег. Откуда их возьмет моя старуха? Я прекрасно знала ее финансовое положение. Мы постоянно экономили каждую копейку, мы почти голодали.

По дороге домой я прямо спросила ее, где она возьмет деньги, чтобы заплатить за мою операцию. Вначале она смутилась, потом рассердилась на мою бестактность, потом вдруг засмеялась озорно и весело.

— А это не твоего ума дело, — сказала она. — Ребенку не положено совать нос в такие дела.

Несколько дней я подозрительно следила за ней, но она больше к этому вопросу не возвращалась. Я же постепенно начала прозревать. Да, она перекупила меня у соседки, которая, в свою очередь, купила меня наверняка не из алчности. Да и сами посудите, какая может быть выгода и польза от грязного, вшивого, злобного, полуглухого, больного заморыша. Прямо скажем, как товар я была никудышной. Купить меня мог только безумец или верующий, сердобольный человек. Особенно если учесть, что на страну надвигался большой голод, все производства стояли или были разрушены, людям самим нечего было есть, а тут еще корми чужого ребенка, который даже спасибо за это не скажет.

Нет, моя старуха и впрямь была блаженная или святая. Она не только выходила меня, выучила, а теперь еще эта дорогушая операция. Может

быть, она хочет таким образом закабалить меня навсегда, чтобы я потом всю жизнь была у нее в долгу и работала на нее, чтобы выплатить долг? Стыдно было задавать этот вопрос. Где-то я уже догадывалась, что мои подозрения неоправданны. И все-таки я спросила. На этот раз старуха не обиделась, а рассердилась:

— А, вот ты до чего додумалась? Поздравляю. Только почему это тебе в голову вечно приходят одни только гадости и гнусности? Я учу тебя добру и разуму, а ты все в лес глядишь. Не волнуйся, отпущу я тебя в твой лес, нагуляешься еще, повоеешь по-волчьи. Я-то знаю, что там на твоей родине творится. Можешь мне поверить. Мне один ваш человек много чего порассказал. Такие же там лагеря и тюрьмы, как у нас были. Только у нас тут все уже кончилось, а у вас продолжается. Да, я не хочу, чтобы ты туда возвращалась, ничего хорошего тебя там не ждет. Но удерживать силой я тебя не стану. Вот сделаешь операцию и поедешь. Даю тебе честное слово. А зачем мне нужна твоя операция? Я обет дала. В церкви... да ты все равно не поймешь.

Коля медлил с отъездом, потому что у него был роман с девушкой-полячкой, которую он очень любил. Меня же старуха все водила к ушному врачу. Она объяснила мне, что в Германии сейчас самые хорошие ушные доктора и никто, кроме немцев, меня не вылечит. К тому времени я привыкла верить ей, и она не обманула меня, но на всю эту канитель с докторами ушел еще год жизни.

Коля тем временем отбыл на Родину, и я горячо завидовала ему. Мы договорились, что он сразу же, как приедет, напишет мне письмо. Я нетерпеливо ждала этого письма, но так никогда и не дождалась. Много позднее мне стало известно, что прямо с вокзала на своей любимой родине Коля был взят под локотки и отправлен в далекую холодную Сибирь, где, разумеется, труд был свободным и бесплатным, на вдохновении и энтузиазме, за ключей проволокой, где надсмотрщики были братьями по крови, а о бесправии, угнетении, порабощении уже нельзя было даже подумать.

После операции, которая прошла удачно, ко мне почти полностью вернулся слух, и мы особенно сблизились с моей Гретхен. Была весна, которая в тех краях начиналась довольно рано.

Почти месяц мы не работали. Жили у ее сестры на озере, ловили там рыбу, варили ее на костре. Народу в этой бывшей дачной местности было мало, и мы прекрасно отдохнули, загорели, окрепли. Там-то и началось наше сближение. Моя старуха помолодела, повеселела и стала вдруг весьма разговорчивой. Дело в том, что, пока я лежала в больнице, кто-то сказал ей, что видел якобы ее младшего сына в госпитале в Америке, отсюда причина ее неожиданного оживления.

Я слушала ее открыв рот, такие умные и занимательные вещи она говорила. Я мало что запомнила, но дело не в этом. Я все больше привязывалась к ней, все больше понимала ее. Мое уважение к ней и доверие к тому времени было полным и безоговорочным, и уже никакие внешние силы не могли бы подорвать его. Я верила ей абсолютно, как уже никогда в жизни не верила ни одному человеку. Ее слова, мысли, чувства, не встречая сопротивления, беспрепятственно проникали прямо в мое сердце. Она не могла солгать, она всегда говорила одну только правду, правду выстраданную, выношенную, скупую, основную правду бытия.

Именно она так доходчиво и популярно объяснила мне тогда трагедию своей нации.

— Мы, немцы, всегда больше всего в жизни ценили порядок, мечтали насадить его в мире любой ценой, пусть даже путем оружия. Мы идеалисты, мы не можем жить в грязи и всегда будем мечтать об идеальном обществе. Почти вся идеалистическая философия создана нами. Даже ваши Маркс и Энгельс были немцами, и они тоже заведут вас в тупик. Нельзя было брать их на вооружение, они идеалисты-утописты и мечтатели, как все наши философы. Мы поверили Гитлеру и пошли за ним только потому,

что ему удалось навести в нашей стране порядок. У нас тут до фюрера Бог знает что творилось: развал, инфляция, голод и разврат. Гитлер национализировал тяжелую промышленность, закрыл публичные дома, дисциплинировал молодежь. Мы не знали, что он сумасшедший. Мы ничего не знали про наши лагеря, как вы ничего не знаете про свои. Я сама разговаривала с одним вашим пленным, он прошел по всем вашим лагерям, там не лучше, чем в наших, даже хуже, потому что мы уничтожали в основном другие нации, а вы уничтожаете своих, причем самых лучших, умных и талантливых. За свои преступления мы получили возмездие, нас судили, проклинали всем миром, а вы даже до этого не дошли. Ваши преступники безнаказанно хозяйничают в вашей стране, и вам еще долго предстоит страдать от них. И никакие союзники уже не освободят вас.

Тогда на озере я дала себе зарок не покидать мою старуху до тех пор, пока не вернется домой ее младший сын.

Незаметно прошел еще год, наполненный большим трудом и маленькими радостями. Я уже свободно печатала на машинке, и даже весьма грамотно. Между делом я научилась шить, вязать, готовить, научилась слушать и понимать серьезную музыку, рисовать и даже немного играть на рояле.

Но главное, научилась работать, работать не напрягаясь, легко, свободно и спокойно, так как в нашей стране уже, наверно, полностью разучились. Здесь работают лихорадочно и бестолково, в панике, авралами и потому очень устают, надрываются, но чаще вовсе не работают, а так, валяют дурака, тянут резину и ничего не умеют делать профессионально.

Старуха между тем уже неплохо говорила по-русски, очень гордилась этим и радовалась, что теперь может в подлинниках читать великую русскую литературу. Как ни странно, она особо почитала Достоевского.

И все-таки существовал некий предел в нашей близости, некая дистанция, которую мы никогда не нарушали. Тогда еще я не могла понять, что дистанция эта исходит от нее, от ее осторожной, логической мудрости. Если бы она захотела и позволила, я могла бы ее полюбить, но ей не нужна была моя любовь. Она была мудра, трезва, чиста и горда. Она делала для меня все возможное. Ей нужна была преданная деятельная дружба, человеческая поддержка и немного благодарности. Сейчас я понимаю, что именно это и называется любовью. Но тогда я была ребенком, русским ребенком, мне сильно не хватало тепла, нежности и ласки. И, узнав, что моя настоящая мать жива, я сильно затосковала по материнской любви.

Грета, моя Гретхен!.. В немецких сказках, которые мы с тобой читали по вечерам, часто встречался сюжет похищения людей всякими гоблинами, феями, троллями и прочими волшебными персонажами. Многие годы человек томится в неволе, рабски служа своему порабителю, чтобы потом вернуться в мир людей одаренным чудесными талантами и добродетелями. Нечто подобное случилось и со мной. Моя строгая фея Гретхен, помню твоё вечно озабоченное, сосредоточенное лицо, сурово поджатые губы, строгий, поверх очков, взгляд, тщательно уложенные плойками седые волосы. Мне казалось, что ты носишь парик, такая аккуратная у тебя была головка. В тебе не было ничего слабого и незащитного, но боже, с какой щемящей нежностью я вспоминаю тебя отсюда. Будто с того света. Любая мелочь может растрогать меня до слез. То как ты, сердито насупившись, вдеваешь нитку в иголку, как ешь, аккуратно и тщательно пережевывая пищу, как озадаченно пыхтишь над моими безграмотными диктовками; или, взгромоздившись на стремянку, как птица на насесте, разглядываешь содержимое многочисленных банок на верхней полке буфета-крепости и чишаешь при этом.

Тебе не было тогда еще и пятидесяти, но мне ты всегда казалась старухой. Горе состарило тебя раньше срока. Горе и работа. Вся жизнь ты спала всего пять часов в стуки, а все остальное время работала. Ты никогда не жаловалась, ты считала, что только в труде твоё спасение, что, стоит тебе перестать работать, ты тут же заболеешь и умрешь.

Горе состарило тебя, и только редкая очаровательная улыбка выдавала твой истинный возраст. Так ребенок улыбается сквозь слезы: нежно, горько и застенчиво, недоверчиво и беспомощно — эта улыбка выдавала не только твой возраст, но еще твою прекрасную женскую душу. Плакать ты не умела.

Как доблестно ты сражалась с моими пороками, болезнями, ленью, злобой и темнотой. Несмотря на мое отчаянное сопротивление, ты сделала из меня человека; но ты же и погубила меня, потому что человек, которого ты создала, мог жить в твоём мире, но не нашем. Ты не могла знать, что добродетели, которые ты с таким трудом прививала мне, на моей родине погубят меня, потому что все человеческое здесь обречено на гибель.

Любила ли ты меня, я не знаю. По-моему, всю свою любовь ты отдала погибшим сыновьям. Ты хранила память и не искала замены им. Лгать в чувствах, вызывать их просто так, по прихоти ты не могла в силу своей исключительной честности и чистоты. Абстрактной же, праздной любви для тебя не существовало. Твоя любовь была деятельна, требовательна, энергична.

— Чтобы полюбить человека, — говорила ты, — надо вложить в него очень много труда, забот и страданий. Только тогда человек может стать тебе близок, дорог и понятен.

Ты не верила в любовь с первого взгляда. Бурные, бестолковые страсти и переживания ты считала досужим вымыслом и брезгливо обходила стороной. При всем том ты была очень доброй женщиной и в случае нужды могла отдать ближнему последнее.

— Ты возвращаешься с войны, тебе положено иметь трофей, — с горькой иронией сказала ты и подарила мне пишущую машинку, на которой я училась печатать, а также целый ворох всевозможного тряпья, который мы вместе нарыли у тебя на чердаке.

Помню, там была черно-бурая лисица, из которой потом мне сделали шапку, была громадная файдешининовая ночная сорочка, из которой мать сшила свое любимое платье, было много детских вещей, которые мы выгодно загнали.

Уже перед самым расставанием ты сняла с пальца и надела мне на руку кольцо с изумрудами. Оно мне показалось невзрачным, но ты сказала, что оно старинное и очень ценное и чтобы я с ним никогда не расставалась. Впоследствии невзрачность этого кольца спасла его от продажи и похищения, никто никогда не подозревал о его истинной ценности.

Провожая меня на родину, ты сказала:

— Если тебе будет плохо — работай. Никогда не теряй навык работы. Только работа спасает нас и делает людьми. Человечество на земле — это посев Божий. Надо уметь отдавать больше, чем потребляешь, тогда жизнь на земле не прекратится. Не надо ничего требовать от людей, надо уметь отдавать, и тогда тебе воздастся сполна... А если будет совсем плохо — возвращайся. Твое место в моем сердце всегда будет свободным. И между прочим... — ты лукаво усмехнулась, — не хотела тебе говорить, но, наверное, надо. Я не только тебя купила, но я тебя усыновила. Если не вернуться мои сыновья, ты останешься единственной наследницей моего крохотного состояния. Домик мой совсем неплох, и в нем отлично можно провести остаток дней своих. Особенно хорошо нянчить в нем внуков... Я так мечтала об этом...

Как часто теперь мне снится этот домик. Будто я добираюсь туда по дорогам войны, среди голода, страха и разрухи, бреду из последних сил, тащу за руку своего хилого ребенка. Кругом мрак, нищета, ужас, но мы едем к своей цели, у нас есть цель... И сразу вдруг изразцовая кухня, резной буфет, тепло, тихо — мы дома.

Неужели никогда нам не добраться туда? Никогда не сбудется этот сон? Как страшно!

2

Голос крови, зов предков, родина! Господи, в какой зловонный коммунальный ад я угодила на твоей священной земле! Здесь все отношения дер

жались на одних чувствах и все поступки диктовались исключительно эмоциями. Никакой логики не было в этой стихии чувств, никаких законов. Бешеные дикие страсти бушевали на коммунальной кухне, где вас запросто могли пришибить за любую мелочь. На бурных эмоциях готовилась пища, стиралось белье, мылись полы. Под настроение влюблялись и разводились. В угаре необузданных страстей судились и рожали порочных детей.

И почти все чувства, которые обрушились на меня в нашей стране, носили алкогольный характер. Дружба и вражда, любовь и ненависть, уважение и презрение, доброта и жестокость, даже отношение к детям — все диктовалось исключительно алкогольными импульсами.

Громадная барская квартира, ныне коммуналка, имела две ванных комнаты, две уборных, два выхода — на черную и парадную лестницу, большую кухню и десять жилых помещений, многие из которых были поделены фанерными перегородками на несколько отсеков, в которых ютилось десятка четыре душ одичалого населения.

Наша обширная зала с лепными потолками и карнизами, с венецианскими окнами, беломраморным камином и узорчатым паркетом была разделена перегородкой на три неравные части. В одной — метров двадцать — размещались мы с матерью, в другой — узкой и длинной — проживал лихой алкаш Петька, а возле дверей был отгорожен маленький аппендикс, что-то вроде нашей на пару с Петькой личной прихожей. Там стоял старинный мраморный умывальник с овальным зеркалом и бронзовыми краниками. Раковина была завалена всякой дрянью, в шкафчике под ней мы держали наше личное помойное ведро, еще там жили клопы. Этот бесхозный шикарный умывальник, как видно, остался тут на память от бывших владельцев квартиры. Он был настолько инороден для нынешних ее жильцов, что на него даже никто никогда не претендовал и даже не подозревал, что это самая ценная и красивая вещь в их убогом быте. Этот изысканный мойдодыр почему-то всегда напоминал мне мою Гретхен, и как же велико было мое разочарование, когда однажды в мое отсутствие эти варвары выбросили его на помойку.

Наш прямой сосед, колоритный уголовничек Петька, к моменту моего возвращения был сожителем матери. Она не особенно это скрывала, но предпочитала не афишировать. Для нее, партийной барыни, это было крупным падением.

В пору моего дворового детства Петька обучил нас красть арбузы на задворках овощного магазина. Подобные романтические уголовники до сих пор пышным цветом произрастают на унавоженной для них почве. Разве что раньше они были чуть более артистичны, бесшабашны, озорны и талантливы. Ныне преступления пошли тупые, нелепые, стрессовые.

За вычетом войны всю свою жизнь Петька провел в лагерях. В первый раз, еще несовершеннолетним, он сел за кражу с железнодорожной насыпи ведра каменного угля. Юный рецидивист получил семь лет. Но в тяжелые для страны военные годы почти весь приклатенный элемент был досрочно освобожден и отправлен на передовую. Подобные отчаянные натуры оголтело бросались вместо собак под танки или прикрывали своим телом амбразуру вражеского дзота. Не сплошал и Петька — на фронте из него получился лихой разведчик.

Но в сорок третьем ему не повезло, он попал в плен, бежал оттуда и по возвращении на родину угодил опять же в лагерь, откуда его неожиданно быстро выпустили, вернули ленинградскую прописку и даже разрешили жить в черте города. «Я — везучий», — хвастался он под пьяную лавочку.

Пластичный, дерзкий и щедрый, он нравился бабам и, по-моему, большей частью жил за их счет. Трепло, балагур и повеса, он бахвалился, что ни одна баба не устоит против него, и, наверное, поэтому приставал ко всем без разбора, даже к полоумной старухе Коксагыз. Я, получившая прививку чистоплотности у немцев, возненавидела его с первого взгляда. В пьяном виде он не обходил меня своим вниманием, но, встречая сопротивление, обижался, обзывая «фашистской подстилкой».

Он работал в нашей жилконторе столяром и слесарем-сантехником, но заставить его работать на свободе было практически невозможно. На свободе ему было дико и неудобно, он не привык к свободе и не умел распоряжаться своей жизнью самостоятельно. Не зная, куда девать себя, свое время и силы, он пил, дебоширил и снова садился.

Петька по-своему любил мою мать, уважал и боялся ее, как начальства. Он искренне хотел ей помочь, принести хоть какую-то пользу. Но работать на свободе не умел, это было выше его сил. Работать для него значило халтурить.

Однажды по пьянке Петька решил отремонтировать нашу комнату. Это была фантазмагория! Ремонт длился месяц и обошелся нам весьма дорого. Мать утверждала, что за такие деньги можно было сделать пять ремонтов. Любой инструмент держался в его руках только два часа в сутки, после утренней похмелки. Эти часы он работал лихорадочно быстро и успевал сделать довольно много. Но потом опять поддавал и портил все сделанное. Он все время вымогал у матери деньги на материалы и тут же их пропивал.

Помимо нас с Петькой в нашей коммуналке проживало или, скорей, было прописано (добрая половина жильцов постоянно где-то пропадала) два колченогих инвалида, один из них вскоре сгорел от водки; три матери-одиночки с ненасытным полчищем младенцев всех возрастов; три тщедушных бывших интеллектуалки (одна из них была помешана на интимной жизни Пушкина и считала себя его потомком), бравый отставник семидесяти лет, исповедующий культ собственного здоровья, шесть алкоголиков (из них трое несовершеннолетних), три старых злых стервы из потомственных ленинградок, полоумная старуха Коксагыз с сыном и невесткой, благообразная старая дама из бывших жильцов квартиры и небольшая еврейская община, которая жила особняком и в коммунальной жизни почти не участвовала.

Ответственным квартиросъемщиком единогласно была избрана моя матушка, которая умела руководить народными массами. Правда, данный коллектив она к народу не причисляла. Под святым понятием «нард» ей всегда мерещилось нечто туманное, грозное и мифическое.

Тетка Липка, Олимпиада Гавриловна, потомственная портниха, была горячей общественнойницей, то есть злостной сплетницей, сплетницей и провокатором. Она вечно мельтешила на кухне и в прихожей возле телефона. Дверь в ее комнату всегда была приоткрыта, чтобы слышать все, что происходит в квартире. Это шустрое, нелепое востроносое существо, нищее и слабоумное, с нелепой претензией на интеллект, почитало себя потомственной ленинградкой.

Электросчетчик был ее роковой страстью, и часто можно было видеть в полутемном коридоре призрачную тень, которая, поднявшись на цыпочки, заморожено следила за мельканием цифр в крохотном оконце или ласково стирала с него пыль чистой тряпочкой. Когда же приходил срок снимать со счетчика показания, тут Липка приходила в умоисступление, она вся трепетала, заикалась, руки тряслись, а мысли путались... Она не была скупердяйкой и жила не хуже других, но из-за каждой копейки шли настоящие сражения, с проклятиями и даже жалобами в суд.

В конце концов эта страсть погубила тетку Липку — в одной электробatalии ей проломили череп.

Главными врагами тетки Липки было семейство Корноуховых: мать — дебелая телка с целым выводком поджарых, кусачих волчат, возрастом от трех до двенадцати лет (потом они, как правило, переселялись в детскую колонию), разномастных — от рыжего до жгуче-черного. Это вечно голодная одичалая стая сама добывала себе пропитание, и поэтому на кухне ни на минуту нельзя было ничего оставить — из супа пропадало мясо, исчезало масло со стола, а также соль, спички, ножи.

Они не только крали все подряд, они могли подложить вам в кастрюлю любую пакость. Одной соседке они подкинули в суп живую мышь, другой — горсть тараканов, а третьей в варенье плеснули керосин. Мне кажет-

ся, что подобные диверсии учиняли не только они, просто на них удобнее было списать. Почему-то отлично помню, как рыдали в отчаянье эти рецидивисты, когда целый таз варенья был спущен в унитаз. Им так не терпелось отведать этого варенья. В отместку они потом взорвали газ в духовке плиты. Никто не пострадал, кроме духовки, которой впредь нельзя было пользоваться.

Питалась эта одичалая стая в основном звериными кормами, которые их мамаша таскала из зоопарка, где она служила, отчего по квартире постоянно гуляли всяческие экзотические терпкие запахи — конины, желудей, чечевицы, потрохов, вонючей рыбы. Громадная кастрюля с похлебкой постоянно красовалась на их кухонном столе, и волчата хлебали из нее холодную бурду тут же на кухне, стоя, впопыхах, — они всегда куда-то спешили.

Старуха Василиса по кличке Коксагыз бродила по квартире и крапа все, что попадало под руку, ночью же выбрасывала наворованное обратно в коридор. По ее громким выкрикам становилось понятно, что она перебрасывает имущество «на ту сторону реки», родственникам, которые погибли еще в гражданскую войну. По словам ее спившегося сына, Василису выперли из колхоза, где она проработала всю свою жизнь, за вражескую агитацию и пропаганду, а именно за злополучный кок-сагыз.

В годы Великих Планов Преобразования Природы директивами свыше было приказано сажать вместо льна и ржи кок-сагыз. Я помню, какой ужас навела на деревне эта ядовитая азиатская культура. И немудрено, что Василиса сразу же узрела в кок-сагызной кампании происки дьявола и наотрез отказалась участвовать в этой затее. Посадить не посадили, но выперли прочь из деревни, к сыну в город.

За свою злополучную жизнь Василиса заработала пенсию в размере семнадцати рублей с копейками, поэтому жила в основном на сдачу стеклотары, то есть винно-водочных бутылок, которые местные алкаши оставляли в парадах и скверах.

Василисин сын — автослесарь, тихий, задумчивый алкаш с мечтательным есенинским взором блекло-голубых вытравленных алкоголем глаз — женился почти каждый месяц, и каждый месяц его вынимали из петли в уборной. Но однажды вынуть не успели, после чего бабка Коксагыз бесследно исчезла, а ее комнату в скором времени заняла мать-одиночка с двенадцатилетней девочкой, которую тут же чуть не изнасиловали волчата.

Еврейская община жила особняком в угловой деленной комнате напротив парадных дверей. Остальные жильцы пользовались черным ходом, благодаря чему прихожая как бы отходила во владение этой общины. Там на их территории у них была своя уборная с раковиной, свой счетчик, свой телефон и своя кухонька с электроплитками. Евреев там было много. Жили они обособленно и тихо, жильцов квартиры такое положение вещей устраивало, и на прихожую никто не претендовал.

Бравый отставник Вознесенский был откровенным антисемитом. Он ненавидел евреев, но, пожалуй, еще больше ненавидел баб. «Бабье вонючее», — цедил он сквозь зубы вдогонку любой своей девице и для пущей убедительности плевал себе на руку и отвешивал ей воображаемый подзатыльник. А когда одна из них отравилась, он радовался — «поживу вместо нее». Ему было за семьдесят, но больше пятидесяти ему никто не давал. Он был помешан на собственном здоровье, занимался рыбной ловлей, а любые болезни выгонял из себя исключительно голодовкой.

Он выдавал себя за крестьянского сына, но писал совершенно грамотно, четким каллиграфическим почерком и не особо скрывал, что перед революцией кончил классическую гимназию, после чего пошел на фронт добровольцем. Значит, уже в первую мировую он был в чине прапорщика.

За свою жизнь он прошел все пять войн, включая даже японскую, имел множество орденов и медалей, однако не выслужился выше капитанского чина и пенсию имел довольно мизерную. На «Ленфильме», где он снимался в массовках и даже эпизодах, он, как правило, изображал крупных сановников, генералов и аристократов. «Падла... быдло... мразь... говно...» — цедил он нам в спину. Мы все боялись его, даже волчата. Поговаривали,

что он стукач, провокатор и доносчик. К нему и в самом деле порой навевались странные настороженные личности с цепким взглядом и вкрадчивыми манерами. Он единственный никогда не делал коммунальных уборок, не выносил помойное ведро и не платил за общественную электроэнергию. Он единственный свободно пользовался коммунальной кухней, не боялся оставлять там кастрюлю с супом, хлеб и соль. Животный ужас, который он внушал волчатам, невозможно было даже как следует объяснить.

На его кухонном столе громоздились горы пустых консервных банок, которые он хранил для червей. По утрам он принимал водные процедуры, для чего грел на плите громадный закоптелый чайник и вместе с ним удалялся в разгромленную ванную. Пока он плескался в ванной или готовил себе пищу на кухне, дверь его комнаты была распахнута настежь — так он проветривал свое помещение. В этом логове царил смрад и мрак запустения, на всех предметах громоздились высокие кучи старых пожелтелых газет, пол был заставлен пустыми банками и бутылками, и смердило оттуда чудовишно.

Однажды я была свидетелем, как один из приبلудных волчат сунул нос в пещеру и тут же был пойман с поличным. Не знаю, каким чутьем наш ящер унюхал диверсию, но он стремительно выскочил из ванной. Громоздкая голая тень метнулась мне наперерез. Я испуганно юркнула в свою комнату, однако успела заметить, как, ухватив за шкурку несчастного пацана, ящер заволок его в свою пещеру и закрыл дверь на ключ. Мне показалось, что жертва при виде голого ящера просто потеряла сознание от ужаса. Сколько я ни прислушивалась, никаких признаков борьбы из пещеры до меня не донеслось. Не исключено, что открытая настежь дверь была своего рода западней, ловушкой для глупых жертв.

На другой день я осторожно наблюдала за ним, и он засек мой пытливый взгляд, подкараулил в коридоре и преградил дорогу. «Видела?» — спросил он. «Видела», — призналась я, почему-то не в силах отвести от нее взгляда. «М...вошка», — процедил он и, сделав из пальцев вилку, ткнул мне в глаза, а лицо его полыхнуло такой лютой яростью, что меня точно ударом тока шарахнуло об стенку, где я и осталась стоять, будто припиленная к ее шершавой поверхности.

Тогда впервые я постигла всю меру его ярости, и злоба эта ужаснула меня, но в то же время почему-то восхитила. Да, он был человеконенавистником, он ненавидел все вокруг — мужиков и баб, кошек и собак, евреев и православных, старых и молодых — ненавистью здоровой, лютой и бодрящей, как крепкий морозец.

Жили там еще две нищие интеллектуалки, две призрачные тени, они редко подавали признаки жизни, ибо были затюканы до полусмерти.

Одна из них, блеклая и обшипанная курица, работала редактором в каком-то издательстве. С вечной папиросой в углу рта, она жила будто во сне, вяло и пассивно, потому что страдала хроническими мигренями. Училка, помешанная на личной жизни Пушкина, говорила преимущественно стихами из классики, жила хаотичной и напряженной внутренней жизнью, поспе всегда что-то теряла и забывала на плите кастрюлю с кофе. Это суматошное и взбалмошное существо всегда было влюблено в какого-то очередного непризнанного гения, которого приглашала к себе на чай, боготворила и грудью защищала от нападков соседей. Однажды один из этих гениев совершенно трезвый вывалился из окна кухни и разбился. Она ходила к нему в больницу, где ее однажды задержали почти на два месяца. Больница была психиатрической. У нее была отличная библиотека, и она давала мне читать хорошие книги.

Буфетчица школьной столовой Капитолина (Капа) жила в образе широкой, размашистой натуры. Подобные натуры до сих пор весьма популярны в нашей стране, но не надо думать, что они делают что-либо полезное ближнему. Напротив, от них нельзя ждать ничего, кроме неприятностей, склок и скандалов. Ни капли не заботясь о завтрашнем дне, они пропивают с кем придется свои и чужие деньги, щедро выставляют на стол все запасы, обрекая семью потом жить впроголодь. Под горячую руку могут по-

дарить первому встречному последнюю рубаху, а также любимые вещи мужа и ребенка. Так же щедро они разбазаривают и свое время, женят, судят, разводят соседей, а тем временем их дети болтаются по дворам беспризорные. Воруют они так же стихийно, безалаберно, почти инстинктивно и почти всегда попадают, но никогда не раскаиваются и не перестают красть. Раньше их беспощадно сажали, но потом вожжи ослабли: весь народ не пересажаешь — нерентабельно.

Крали, крадут и будут красть всегда, пока хозяин не вернет себе средства производства, потому что только у себя воровать бессмысленно. Когда же все валяется где попало, бесхозное, не красть глупо. Мне кажется, что инстинкт частного предпринимательства в нашем народе не вытравлен, не сгинул, а переродился в инстинкт-сорняк — воровство, который расцвел таким пышным цветом, что с ним уже ничего нельзя поделаться и никакие репрессивные меры тут не помогут.

Любопытно отметить, что даже в период культа с его беспощадными кампаниями против воровства, когда за катушку ниток, карман огурцов, вязанку дров сажали всех от мала до велика на чудовищные сроки, наш упрямый народ не только ни капли не перевоспитался, но даже не испугался, а продолжает красть как ни в чем не бывало. Нация обескровела, изнемогла, но красть не отучилась. Значит, страсть к воровству в нас сильнее даже страха смерти. Сталин хотел напугать народ, но он его развратил. А развращенный раб всегда будет красть.

В нашей коммуналке воровством промышляли почти все поголовно. Одна тщила звериный корм из зоопарка, другая детские завтраки в школе, медсестра в больнице крадала постельное белье и посуду, из жилконторы несли раковины, унитазы и стройматериалы, крали овощи, фрукты, игрушки, приборы, мыло, колбасу — словом, крали все.

Липка приносила лоскутки материи, предназначенные для экранов радиоприемников, и стегала из них ватные одеяла.

Однажды на кухню семейка волчат что-то кипятила в громадных баках. Оказывается, они уволокли где-то по случаю рулон дефицитного наждачного материала и потом отмывали шершавое покрытие, чтобы из ткани сделать простыни.

Очередная невестка Василисы работала на заводе, где штампуют пластмассу. Вся ее комната была завалена ярким ширпотребом: вазочки, статуэтки, мильницы, полочки, игрушки, этажерки, люстры, бра, посуда, хлебницы — мы ходили в ее комнату, как в музей. Там особенно поражал воображение какой-то продолговатый розовый предмет, совершенный по форме, но абсолютно непонятного назначения. Он оказался деталью самолета, которую эта баба стибрила в запарке. Посетители удивленно разглядывали экспозицию, им было непонятно, как же она эти громоздкие предметы пронесла через проходную.

Крали стихийно, бестолково, лихорадочно, порой даже бессмысленно.

Только одна тихая семья заматерелых в грехе воров-торгащей крадала профессионально, вкрадчиво, аккуратно и скромно. Они никому не позволяли заглядывать в свою комнату, и только запахи диковинной еды, которые доносились оттуда, изобличали их с головой. Да еще их спесивая красавица дочь, разодетая как павлин, так откровенно презирала всех нас...

Наша буфетчица Капа в процессе своей трудовой деятельности охватила почти все торговые точки нашего квартала. Она работала продавцом в двух магазинах, буфетчицей в бане, в кинотеатре, торговала на улице газированной водой и мороженым и повсюду ухитрялась проворовываться. Но какая-то сильная рука ее неизменно выручала и спасала от возмездия.

Румяная, крашенная блондинка, она была шустра, смазлива и беспринципна, то есть обладала всеми данными, чтобы морочить головы здешним ловеласам и трепать им нервы. Ухажеры осаждали ее, и при желании она могла бы обзавестись приличным мужем, если бы не страдала запоями. В пьяном виде она была дерзка, скандальна и непотребна, несла всякую околесицу про свои любовные подвиги, врала, что в годы войны была партизанкой, а может быть, и вправду была, уж очень сложно было разобраться в этом потоке вздора.

В конце концов она проворовалась окончательно. В своем школьном буфете она изловчилась растратить такую громадную сумму денег, что никакие силы уже не могли спасти ее. На суде она смеялась и, получив большой срок, продолжала смеяться.

— Погуляли! — ликовала она. — Все, что я съела и выпила, от меня уже не отнимешь.

Мне казалось — я схожу с ума. Хоть убей, я уже не могла соответствовать образу жизни моих соплеменников, никогда их мировоззрение не могло совпасть с моим, и в этом смысле они были по-своему правы: немцы сохранили, искалечили и подменили меня, научили трезвости, трудолюбию, чистоплотности, сдержанности, честности.

Но все эти тяжким трудом приобретенные в Германии добродетели здесь автоматически обращались в пороки. Меня подозревали в хитрости, коварстве, скрытности, жадности и яростно боролись с этими мнимыми пороками. «Здесь тебе не Германия», — говорили они по любому поводу.

Но бог с ними, дело не в этом. Не так уж они меня травили и не очень-то могли затравить. Все-таки не с луны я к ним свалилась и не из пансиона благородных девиц. У меня за спиной были ужасы покрепче, и немцы меня кое-чему научили и кое-как закалили, да и подшлифовали — не так-то легко было меня куснуть, зубы скользили об меня и лязгали. Я для них была почти неуязвима, и они знали это и бесились вхолостую. Нет, без помощи моей матушки им меня было бы не достать. Но то-то и оно — моя матушка оказалась их верной союзницей.

Поначалу, беспомощно барахтаясь в этом море страстей, я вполне искренне полагала, что моя мать — женщина невероятного темперамента, больших страстей и великой души. Меня очень угнетала собственная малахольность, бесчувственность, эгоизм. Я страдала от невозможности ответить матери столь же горячими, искренними чувствами — уйти в эту стихию чувств и начисто раствориться в ней. Но постепенно я возненавидела эту привычку жить только чувствами, в основном случайными и низкопробными. Эта привычка являлась следствием всего лишь дурного воспитания, порождением вывихнутой психики и вконец разболтанной нервной системы.

Надреснутый голос матери вибрировал, дрожал и, срываясь на высоких нотах, переходил на крик. Злобный надрыв был в каждом ее жесте и поступке. В ее голове, душе и сердце царил хаос безнадежный и необратимый — все было запущенно, завалено, запутано, как на свалке.

Я не клевету на свою мать и не осуждаю ее. Я пытаюсь разобраться в причинах, благодаря которым я лишилась материнской любви, и ненавижу силы, которые породили эти причины. Две одинокие близкие души, чудом уцелевшие на полигонах войны, подарком судьбы возвращенные друг другу мать и дочь, нам ли было не ценить этого подарка, не благодарить провидение, сохранившее каждой из нас самого близкого человека. Но нет, мы были обречены на вечное пожизненное одиночество.

Всю свою сознательную жизнь моя матушка работала освобожденным партийным секретарем на крупных предприятиях Ленинграда. От природы она была совсем неплохой женщиной: сильная, смелая, красивая — она была рождена для нормальной, здоровой жизни и запросто могла составить счастье мужа и ребенка. На что же она угробила свои силы, на что потратила свою жизнь, кому заложила свою душу и что получила взамен? Бескорыстное служение делу партии, бессмысленная жертва глиняным идолам...

Еще не поздно было опомниться, подлечиться, смириться с поражением и обратить свою душу, открыть свое сердце для единственного существа, кто в ней нуждался. Но об этом не могло быть и речи. Верноподданность моей матушки носила активный, я бы сказала, даже агрессивный характер. Всеми правдами и неправдами она пыталась вколотить в мое сознание идею, что нам выпало счастье родиться и жить в самом справедливом, свободном и безупречном государстве на свете.

— До революции ты была бы прачкой, прислугой, судомойкой и даже проституткой, — патетически вещала она. — Об тебя вытирали бы ноги, тебя бы унижали, травили на чердаках и в подвалах...

— А что теперь? — робко спрашивала я и окидывала удивленным взглядом нашу убогую обстановку. Но тут же увесистая оплеуха пресекала мои провокационные намеки.

Со временем я нашла более веские доводы. Когда мать слишком донимала меня, я отвечала ей, что она всю жизнь была идеологической прислугой, что ни одного раба в мире не покупали только за его подлость, лживость и ни с одной прислугой так плохо не обращались как с ними — партийками. И опять же получала по шее.

Такие примитивные дискуссии вспыхивали по любому поводу, а то и вовсе без повода, и все завершалось ритуальным скандалом.

За какой-нибудь год из подтянутой и энергичной девицы я обратилась в тихую, слабоумную идиотку, заторможенную дебилку и кретинку. Все мои с таким трудом приобретенные добродетели таяли на глазах, все валилось из рук, мысли путались — пассивное, тупое отчаянье парализовало меня. Я перерождалась в сомнамбулу и засыпала буквально на ходу. И когда меня стали тягать в МГБ, это уже не имело принципиального значения — чаша отчаянья была переполнена, в нее уже ничего нельзя было добавить. Это было хуже лагеря, страшнее плена. Моя любезная матушка умела создавать атмосферу, в которой не только невозможно было жить, но главное жить не хотелось.

Разумеется, годы блокады были чудовищным испытанием. Людям, пережившим ее, есть что вспомнить, и старые партийки любили вспоминать. Долгие годы потом, в день снятия блокады, они собирались в своем тесном кругу и от души предавались воспоминаниям. Можно было подумать, что в их многострадальной жизни блокада была кульминационным пунктом и ничего более значительного с ними никогда не происходило. Но скорей всего это единственное, что им позволено было вспоминать. Эти лихие блокадные годы в отличие от других этапных лет мы знаем неплохо.

Голод, холод, ужас, болезни, смерть — партийцы с честью выдержали это суровое испытание.

Благодаря их героической деятельности в городе не было паники, саботажа, диверсий, а главное, не вспыхнуло ни одной эпидемии, и это тоже благодаря партийцам, которые весной подняли полумертвое население и с его помощью вычистили город. Они совершали рейсы по квартирам и выбрасывали за окна все отбросы, нечистоты и трупы, которые накопились там за жуткую зиму. Горы под окнами достигали третьего этажа.

Партийцы-блокадницы с честью выдержали страшное испытание. Благодаря их неустанной бдительности город избежал грабежей и мародерства, не было паники и саботажа. Железная партийная машина работала безупречно, и теперь уже поздно ее упрекать, что она не позволила своим робким подопечным растаскивать продукты из горящих Бадаевских складов — закон по борьбе с мародерством был суровый. И поздно сетовать, что в зиму сорок первого, когда население в основном гибло от холода, партийцы запомнили спустить в низы инструкцию, разрешающую жителям города жечь заборы, сараи и прочий хлам, а дисциплинированное население само не догадалось...

А голодные швеи в модном ателье «Невский, 12» всю блокаду шили наряды для жен высшего партийного руководства...

Но не будем слишком предаваться запоздалым сетованиям и горьким упрекам. Кто нас рассудит?

Ленинград называют городом мужества. Что такое мужество? Это приличное поведение в тяжелых условиях. И действительно, мужества нам не занимать. Кто пережил обычную ленинградскую зиму, уже потенциальный блокадник: он не только подготовлен — ему прямо-таки на роду написано пережить блокаду. Мне говорят о стратегии и тактике войны, но я знаю, что блокада могла случиться только с ленинградцами. Потому что ни один народ, кроме ленинградцев, просто не стал бы ее переживать. Люди, которые по полгода, а то и больше совсем не видят солнца, всегда готовы к бло-

каде, потому что их мирные будни — уже акт мужества и выносливости. Холодно, строго и расчетливо работает их организм, здесь нет места особым страстям и прочим излишествам, жить здесь не данность, а задача. Вы не увидите здесь радостно хохочущей женщины, если, конечно, она не пьяна или же не в истерике. Логика — основная ценность и страсть ленинградцев. Последовательно жить или последовательно умирать в этой жизни. Формы жизни бывают разные, форма смерти едина для всех — тишина, покой и достоинство.

После снятия блокады жизнь матери заметно наладилась. Она работала освобожденным секретарем на шоколадной фабрике, получала пайки, лимиты и прочее. Партийцев тогда сильно подкармливали и баловали — посылки шли со всего мира, даже из Америки, а шоколада было столько, что, по словам матери, даже домработница уже не могла его видеть. Страна еще голодала, но им были созданы особые условия. Подношения, юбилеи, банкеты шли косяком, партийцы на законных основаниях праздновали свою победу и гужевались.

Мать была еще молода и красива, она быстро расцвела. Отца уже не было в живых, и мать внезапно вышла замуж за крупного партийного босса. Квартира — пять комнат — с хрустальной люстрой, коврами, домработницей, личная машина и опять же банкеты, приемы, юбилеи, курорты, поездки...

Но не успели они как следует насладиться благоденствием, как грянуло возмездие. Сталин всегда недолюбливал питерскую колыбель. «А не хотят ли они стать свободным городом?» Сталин прекрасно знал, что не хотят. Но уж больно они вознеслись и возгордились. Пора было ставить их на место.

По делу Попкова, Кузнецова и Вознесенского было много невинно пострадавших, в том числе и мой неведомый отчим, которого, по словам матери, все очень уважали и любили, потому что «он был человеком кристальной чистоты и честности», «он людям много добра сделал! Многие обязаны ему жизнью, он многих спасал и выручал».

Спасал, выручал — это хорошо. Вот только непонятно, от кого они все время спасали невинных людей. Не от себя ли самих?

Конечно же, моя бедная матушка натерпелась страху. К тому же она была беременна... Она знала, что отчима арестуют, но не сделала никаких попыток спасти или припрятать хотя бы часть имущества. Ее парализовал ужас. В блокаду она видела много ужасов, была погребена заживо в подвале разбомбленного дома; попадала под обстрел на Сенном рынке, когда кровь лилась рекой, работала на эвакуационном пункте, где люди лежали вповалку мертвые и живые на ледяном полу и ей надо было их поднимать, отделить живых детей от мертвых матерей... Когда она их водила в баню, ее чуть не съели... Там же, на эвакуационном пункте, она заразилась сыпным тифом — словом, ужасов она нагляделась в жизни предостаточно, но все это было ничто по сравнению с тем грандиозным ужасом, который парализовал ее в дни арестов.

Дом был ведомственный, и забирали почти всех поголовно. Аресты происходили ночью, и лифт гудел до утра. Мать не спала и, прислушиваясь к шуму лифта, дрожала так, что лязгали зубы. Отчим по ночам сидел в своем кабинете, сортировал и жег архивы. Больше всего она боялась, что он застрелится, у него был револьвер.

А пиры и банкеты по инерции все продолжались — все они делали вид, что ничего не происходит. Люди исчезали бесследно, о них никто не вспоминал. На банкетах много пили и даже веселились.

После одного такого банкета мать с отчимом пришли домой навеселе. Ночью она проснулась от кошмара, зажгла свет — отчима рядом не было. В квартире полнейшая тишина, но она уже знала, что они тут. Преодолевая ужас, она встала и пошла к дверям, открыла их и чуть не потеряла сознание — возле дверей спальни стоял часовой с ружьем. Он стоял к ней спиной и смотрел в глубь коридора. Свет горел почему-то только на кухне, и этот факт вдруг показался ей особенно зловещим. Почему-то взбрело в го-

лову, что там пытаются (больше всего в жизни она боялась пыток). Но тут в коридоре появился полностью одетый отчим в сопровождении двух гебистов. Она рванулась к нему, но часовой ружьем преградил ей дорогу.

— Я ни в чем не виноват, — твердо заявил отчим и прошел мимо даже не попрощавшись.

Мать знала, что они не виноваты в шпионаже, изменах и вредительствах, которые им приписывались. Другой вины за собой они не знали никогда...

Когда дверь за отчимом захлопнулась, она потеряла сознание. В ту же ночь у нее был выкидыш. А поутру она вдруг вспомнила о коллекции. Отчим любил собирать большие противотанковые снаряды с цветными боеголовками. Ему дарили снаряды на военных заводах, где он выступал. Разумеется, они были полностью безопасны в быту, но сажали порой и за меньшее...

И вот слабая, большая женщина, истекая кровью, набивает этими снарядами сумку и, полумертвая от страха, пронесит эту сумку через проходную — дом был ведомственный и охранялся.

Целый день до самого вечера она таскается с тяжелой сумкой по улицам любимого города. Выбросить в помойку — люди заметят. Она бродит по набережным, но везде полно народу. Все-таки один снаряд ей удается утопить. Ей кажется, что за ней следят. Из каждого окна, из каждой машины на нее глядят люди... Поздним вечером полумертвую от усталости ноги сами приводят ее обратно к проклятому дому. И тут в забытии изнеможенья она высыпает снаряды под куст в скверике как раз против собственной проходной...

Все ужасы блокады, репрессий и арестов мать излагала этаким ёрническим тоном, наскоро и грубо подкрашивая беспросветный кошмар своей жизни элементами черного юмора. Их поколение любило оживлять трагические этапы своей биографии комическими деталями. Они вообще были великими комедиантами, подлинных своих переживаний они не выдавали никогда. Этот комизм, защитная реакция от любого осмысления, спасал их сознание от жестокой реальности и даже от безумия. Но мне кажется, что они всего лишь подменяли один вид безумия другим его видом, более для них приемлемым и выгодным.

Депрессий в их времена не практиковалось — этот вид безумия был запрещен законом. Как сказал Сталин, «нам такие сумасшедшие не нужны». Они жили в фиктивном мире и сами были фиктивны. Но они породили целое поколение беспомощных депрессантов, бесполой инертных существ, которые вообще не имели никакой привязанности к жизни и жить не хотели.

В больнице мать пролежала больше месяца и чуть не умерла там от перитонита. Навестила ее однажды только домработница, которая и сообщила, что квартира опечатана и с работы мать уволена. Она ждала ареста, но в общей суматохе о ней, как видно, забыли. Словом, по выходе из больницы мать оказалась буквально на улице и пойти ей было некуда. Перебирая в уме адреса своих подруг и сослуживцев, она понимала, что всем им теперь не до нее, и уж коли о ней забыли, то лучше не засвечиваться и не напоминать о себе.

Она брела по улицам спасенного ею города на Васильевский остров, к дому, где мы жили до войны. Ноги сами привели ее туда.

Во время блокады мать жила в своем рабочем кабинете, а ее комната на Васильевском была за ней забронирована. Однажды матери донесли, что ее дом разбомбили. Ну и бог с ним, небрежно отмахнулась она.

И вот идя куда глаза глядят она добралась до этого дома, и вдруг — о чудо! — бомба, оказывается, угодила в соседний флигель, а ее дом стоял целый и невредимый.

Мать поднялась по лестнице и позвонила. Добрая половина жильцов квартиры благополучно пережила блокаду. Они узнали мать и обрадовались ей. Но вот незадача: в ее комнату управдом подселил Петьку, теперь Героя Советского Союза, который был оформлен в жилконторе сантехником. Герой оказался дома и гостеприимно пригласил бывшую хозяйку к столу.

Моя любезная матушка на дух не выносила алкашей, но особо привередничать ей теперь не приходилось, и она скрепя сердце присела на краешек стула. Конечно, в былые времена ей ничего не стоило вышвырнуть с личной жилплощади любого героя, но теперь она и сама жила на птичьих правах, поэтому постаралась уладить конфликт полюбовно. Они удивительно быстро нашли общий язык, и Петька перешел жить в меньший отсек, а большую половину заняла мать.

Партийная карьера матери в одночасье потерпела полное крушение, но документы ее были в полном порядке, и она быстро столковалась с управлением и затаилась в своей норе до лучших времен.

Тут внезапно она вспомнила обо мне и приняла активные меры для моего розыска. Почему-то я убеждена, что, если бы мать не потерпела полного краха, она не стала бы так яростно меня разыскивать. Их партийное сознание было отлично вышколено и четко служило их нуждам, оно вполне искренне умело и забывать, и помнить. Мать прекрасно обошлась бы в своей новой жизни без меня. Кстати, точно таким же образом она поступила в свое время и с моим отцом. Много лет спустя одна из ее драгоценных подруг проговорила мне, что во время блокады отец несколько раз навещал мать. Он сидел тогда в Синявинских болотах, по пояс в воде, много пил и был очень страшный и ревнивый. Он имел основания ревновать, потому что в то время у матери уже был роман с крупным партийным воротилой. Но этот факт она забыла настолько решительно, что, когда я однажды под горячую руку напомнила ей, возмущение ее не знало границ и она так искренне кричала, будто ее опять оклеветали враги. Но один странный визит снова разбередил эту старую рану.

Ординарец отца пришел к нам через год после моего возвращения. Он доложил нам, что отец умер у него на руках. Шальная пуля угодила отцу прямо в лоб. Отец не мучился. Но у меня создалось впечатление, что ординарец чего-то не договаривал. Взгляд его ускользал от нас. В руках у него был длинный футляр для чертежей, его нервные пальцы бегали по трубе футляра. Он рассказал, что до войны хотел стать художником и учился в академии, но теперь рисует исключительно для себя и свои картины никому не показывает, потому что они страшные. В Синявинских болотах он по просьбе отца написал по фотокарточке наш портрет. И вот теперь он пришел, чтобы вручить нам его. Он нерешительно положил футляр на середину стола. Я нетерпеливо потянулась, чтобы немедленно вынуть и посмотреть, но взгляд матери остановил меня. Она сидела на стуле прямая и бледная, как на допросе.

— Это вы приходили в райком после его смерти? — безжизненным тоном спросила она.

— Я, — глухо сознался художник. — Он приказал мне доставить письмо.

— Вы знали содержание письма?

— Нет, не знал.

— Все вы прекрасно знали, — тоном следователя заявила мать.

Взгляд художника в смятении заметался по комнате, но мать властно пресекла замешательство.

— Он что, перед смертью решил угробить меня? — свистящим шепотом спросила она. — Вы представляете, если бы письмо попало в чужие руки...

Мать перехватила мой настороженный взгляд.

— Уходите немедленно! — приказала она художнику.

Художник вскочил, краска стыда залила его уши, он силился что-то сказать, но лишь махнул рукой и бросился прочь из комнаты.

Мать глядела ему вслед пустым взглядом. Я же ничего не могла понять, я еще ничего не знала, но о многом уже догадывалась. Только что у меня на глазах мать проделала ошеломляющий партийный финт, когда из обвиняемой она в мгновение ока превратилась в обвинительницу, из жертвы в палача, из преступницы в праведницу. Это дерзкий и хамский трюк, которым они привыкли обезоруживать любого своего противника, бандитский метод взлома человеческих душ.

Я тогда не знала еще степени ее вины перед отцом, но краска стыда, что внезапно окрасила уши художника, была именно за мать — этот факт был мне очевиден. Мы долго сидели возле стола и молча глядели на футляр. Я видела, что мать взволнована, и то, что она, по своему обыкновению, не беснуется, не кричит и не ругается, озадачивало меня. Я глядела на нее, но она меня не замечала, мысли ее витали где-то далеко. Наконец она нерешительно протянула руку к футляру, потом быстро взглянула на меня. «Можешь посмотреть?», — отрывисто разрешила она, встала и пошла к дверям... Но на пороге остановилась в замешательстве, оглянулась, снова вернулась, решительно взяла футляр, открыла его, развернула пожелтевшую газету военных лет, вынула большой лист ватмана, разглядывать не стала, а лишь потрясла над столом в поисках записки, что ли. На стол выпала фотография, мать мельком на нее взглянула и занялась футляром, но там больше ничего не было, и она ушла из дома заметно успокоенная.

Целый вечер я просидела, разглядывая этот подарок с того света, и впервые отец приблизился ко мне, и между нами возник тот странный контакт, который бывает только между родственниками, то есть людьми одной крови — кровными людьми. В таких контактах есть особая близость, потому что в общении вступают качества и свойства души, которые никаким иным путем, кроме наследного, не могли в твоей душе появиться. Мятёжный дух отца приблизился ко мне, и я поняла, какие именно качества моего характера я получила от него в наследство, а не приобрела на моем тернистом жизненном пути. Это была спесь, гордычество, правдолюбие, непримиримость... и обреченность.

На фотокарточке мы были запечатлены все вместе, на фоне грубо намаляванного черноморского пейзажа с театральной морской далью, в которой парила бутафорская чайка.

Мать плотно сидела на венском стуле с толстым гуттаперчевым пупсом на коленях и улыбалась объективу своим дежурным партийным оскалом.

Отец стоял чуть поодаль, особняком. Он был в полной военной форме, в кителе и галифе. Одной рукой он опирался о длинную деревянную колонку, другая держала фуражку. Его гладко выбритая, безупречно круглая голова будто чуть светилась на фоне искусственного неба. Это живое сияние вокруг бильярдной круглости будто намекало на его мученический конец. Он отрешенно глядел поверх объектива, но его надменное, мятежное и спесивое лицо поражало своей социальной уязвимостью и обреченностью.

Пальма в кадке, как взрыв, торчала между отцом и матерью. Господи, и почему только в России всегда любили пальмы?!

Когда мы легли и потушили свет, мать внезапно сказала:

— Я знала, что он не вернется. Такие не возвращаются.

— А может быть, он пустил себе пулю в лоб? — неожиданно осенило меня.

Мать долго молчала.

— Нет, — будто через силу выдавила она. — Этого быть не могло.

Почему этого не могло быть, она не объяснила.

В это время как раз обнаружилось, что мать тяжело больна. Все мы возлагали большие надежды на операцию и с нетерпением ожидали ее. Благодаря прежним связям матери удалось попасть к прекрасному хирургу. Операция прошла удачно, но, как и следовало ожидать, в наших отношениях мало что изменилось. Правда, матушка заметно присмирела, уже не громыхала посудой и не швырялась предметами, но исподтишка она настороженно следила за мной, и во взгляде этом не было снисхождения. Она явно вынашивала начет меня какие-то новые стратегические планы. Не трудно было заметить, что по-прежнему все во мне ее раздражает. Моя манера есть, спать, ходить, говорить, одеваться, мой облик, вкусы и настроения — все это было ей глубоко враждебно.

Разумеется, она не смирилась с таким положением вещей и не приняла меня в новом качестве. Как верная дочь своей партии, она с энтузиазмом

взялась за мое перевоспитание, и это было самое ужасное. Она была отстранена от руководящей работы; вдохновлять, поднимать и прорабатывать ей было некого, и весь неукротимый пыл дурной энергии обрушился мне на голову. Со всей суровой принципиальностью и непреклонностью она приступила к программе моего перевоспитания.

Воспитывать они не умели никогда, а лишь перевоспитывать. Ей и в голову не приходило, что я уже неплохо воспитана, образована и даже прекрасно обучена профессии, — она этого не замечала, категорически отказывалась замечать. Немецкая система воспитания была ей глубоко враждебна, своей же она не имела никакой, как не имела никакой цели и положительной программы. До сих пор не знаю, какой именно ей хотелось меня видеть, в каком образе и что она преследовала, когда постоянно дергала меня, изводила пустыми придирками, подзатыльниками, склоками, бойкотами, хамской иронией, провокациями и злобой.

— Что тебя там, есть по-человечески не учили? Клюет, как курица! Вилку в руке держать не умеет. Как едят, так и работают! Совсем мне девку испоганили. У всех дети как дети, а тут какая-то мумия замороженная, — причитала она за столом.

Пишу тут полагалось заглатывать жадно, второпях — это называлось есть с аппетитом. Пожрал — и дело с концом, а то размусоливает...

После Гретиной муштры я так уже не умела. Я привыкла тщательно пережевывать пищу, не спешить и не жадничать, привыкла есть на аккуратно сервированном столе.

— Да ты никак нами брезгуешь? Ты у меня эти штучки брось...

Я искренне старалась ей угодить, помочь в быту, я была хорошо вышколена и многое умела делать по хозяйству: шить, стирать, готовить, убирать, — но все я делала, по ее словам, не по-человечески. Ее раздражал этот чужой почерк, чужеродный дух. Моя щепетильность, аккуратность, молчаливость и скрытность были глубоко враждебны ее необузданной, взбалмошной и безалаберной натуре. Она не могла меня любить и знала, что я не люблю ее. На все мои старания угодить ей она только презрительно морщилась и пренебрежительно пожимала плечами. Помню, как я впервые произвела в нашей захламленной, запущенной комнате генеральную уборку, как поразил и уязвил мать этот чужой порядок. Нет, она не была неряхой, она постоянно кичилась своей чистоплотностью, но она не представляла себе, что свалено в углах за комодом и под кроватью, никогда не вытирала дверей, не чистила мебель, не обметала стен и очень редко мыла окна.

Только все это мелочи по сравнению с ее почти маниакальной страстью к авралам и генеральным уборкам, которые сводились в основном к перестановке мебели и перемещении всех предметов в каком-то никому не ведомом порядке.

Мне так никогда и не удалось уяснить для себя цель и смысл этих перестановок, а также эталон гармонии и порядка, который существовал в материнском сознании.

Как всякой бабе, моей матери был враждебен чужой порядок. «Ты опять рылась в моем шкафу!» — раздраженно кричала она, когда я пыталась там разобраться. В этом шкафу царил полный хаос, и, если что-то надо было найти, все содержимое шкафа вываливалось на пол, а затем так же без разбора все запихивалось обратно.

— Я чувствую, ты от меня что-то скрываешь! — Свои пороки она привыкла приписывать другим и, профессионально подозревая людей в лживости и лицемерии, безумно оскорбляла меня и унижала своими подозрениями. На работе приторно любезная с посетителями, она дома вымещала на мне свое раздражение.

Господи! Как травят людей в семье! В концлагерях не придумали еще таких пыток и издевательств.

Она изводила меня постоянно мелкой дерготней и придирками, а доводя до истерики, до иступления, быстренько запихивала в комнату и плотно прикрывала двери, чтобы, не дай бог, не услышали соседи. Мне не хотелось жить, ее же интересовало только мнение соседей.

В это же время она категорически запретила мне упоминать в разговорах Германию и вообще посоветовала забыть, что я там была. Я и рада была бы забыть, но она сама мне постоянно напоминала: «Твои любимые фрицы. твоя драгоценная старуха... Тебе тут не Германия», — но это наедине. А на людях: «Вот доченьку снова обрела, вернулась от тетки из эвакуации». Ее собеседники прекрасно знали, откуда я вернулась.

«Знают, так забудут. Нечего лишний раз напоминать! Слово — серебро, молчание — золото».

Она ни разу не поинтересовалась, как мне жилось в этой Германии, что там со мной происходило, — ее это ни капли не волновало. Она все знала наперед — готовыми заученными штампами, которые не положено, да, наверное, и опасно было нарушать. И даже много позднее, когда я пыталась рассказать ей про немцев что-либо конкретное, она отрицательно трясла головой и демонстративно зажимала уши. Она принципиально не хотела владеть никакой правдивой информацией. Правда для них была опасна, ведь ненароком можно проговориться. Они же не проговаривались никогда.

На мне было клеймо плена, который я должна была проклинать и, в частности, поносить мою хозяйку. Я отмалчивалась. Меня прозвали «фашистской подстилкой», и, наверное, поэтому многие сочли возможным ко мне приставать. Я говорю о собутельниках Петьки...

Наш Петька в подобном окружении деградировал на глазах. Из бравого героя он стремительно перерождался в жалкого ханурика. Скорость, с которой он опускался на дно, была просто невероятной. Может быть, на фронтах войны он израсходовал весь запас своих добродетелей, а может, эти добродетели были такого рода, что проявлялись только в экстремальных ситуациях. Он был способен закрыть своим телом амбразуру дзота, но в мирных буднях не мог защитить даже обиженного ребенка.

Он вернулся с войны героем-победителем, но никто не воздал ему должную меру почестей, никому не было до него дела, и он озлился на мир и мстил ему за несправедливость. С сильными мира сего он сражаться не мог, поэтому выбирал жертву послабее.

Он был нечист на руку и то и дело попадался с поличным, но каждый раз, когда его прихватывали, всеильные покровители спасали его от законного возмездия. В нашей жилконторе он уже не раз попадался на всякого рода мошенничествах и вымогательствах, но все ему сходило с рук.

Нагло и беззастенчиво, буквально у меня на глазах, он украл у меня сначала лисью шапку, потом столовый серебряный прибор, а в довершение единственное мое достояние — пишущую машинку, которую я привезла из Германии. На мой робкий протест он нагло заявил, что я могу жаловаться куда угодно — при моем сомнительном прошлом я все равно ничего не добьюсь.

В нашей комнате появилась приживалка. В блокаду она была секретаршей моего таинственного отчима, за что несправедливо пострадала. Теперь мать вытащила ее откуда-то и временно поселила у нас за шкафом.

Это было вымороченное, насквозь фальшивое существо, востроносое и юркое, которое без всяких на то оснований рядилось в форму старой аристократки: носило на груди камеею и морочило людям голову своими переживаниями. На самом деле это была форменная приживалка, которая жила при матери в пору ее короткого благоденствия и уже тогда люто завидовала ей и путалась в ее личных делах. Таким образом, их связывали общие воспоминания.

Теперь мать полюбила вспоминать свое бывшее величие и не стеснялась хвастаться богатством, которым владела. К моему удивлению, она тоже стала корчить из себя барыню-аристократку. Это было бы смешно, если бы не было так печально. Взбаламутив всю страну, физически истребив все классы вплоть до крестьянства, они сами мечтали стать барями — другого идеала, эталона жизни они для себя не создали. Они боролись с частной ответственностью, только чтобы присвоить ее себе — сесть в барские кресла.

Скрывая все на свете — свое происхождение и прошлое, мою Германию и даже собственную зарплату, — мать почему-то не считала нужным скрывать свои частнособственнические инстинкты (может быть, ей никто не сказал, что это надо скрывать) и беззастенчиво хвасталась даже на коммунальной кухне своей прошлой шикарной жизнью: хвасталась поездками, курортами, пайками, коврами и хрусталем, которыми она владела. Приживалка энергично поддакивала, смакуя подробности и детали.

В нашей нищей коммуналке в те годы еще никому не пришло в голову гордиться своим богатством. Торгаши тщательно скрывали его, остальной гольтьбе хвастаться было нечем, и только наши партийки корчили из себя барынь. Это были первые симптомы нарождающегося класса — жлобья. Не торгоши, а партийцы породили этот гнусный класс. Но они не сознавали этого, они ни в чем не отдавали себе отчета, они уже привыкли гордиться даже собственными пороками.

Я получила воспитание в буржуазной Германии, там меня научили ценить и беречь собственность и в то же время не думать о ней никогда. «Вещи нас переживут. Никогда не надо думать о вещах и предметах. Беречь — надо, но думать — нет», — говорила Гретхен.

Здесь все жили собственностью и говорили только о ней: «мой», «моя», «мое» буквально не сходило с их языка. Моя жилплощадь, моя кастрюля, мои чашки, тарелки... Кто взял мои спички... Мою зеленую тряпку, мою бутылку — и так весь день напролет. Эти нищие люди все время с пеной у рта обсуждали свои покупки, свои способы стирки белья и рецепты приготовления пищи — и у каждого все было самое лучшее.

Приживалка Тася (Таисия Сергеевна) полностью отравила нашу жизнь. Я отлично видела, что матери она в тягость, что она сама не знает, как избавиться от этой стервы, но я не имела права протестовать. Всякую критику мать принимала на свой счет, а я в ее доме вообще не имела никаких прав.

Эта Тася закончила когда-то педагогические курсы и поэтому считалась большим авторитетом в области педагогики. Она с радостью подключилась к программе моего перевоспитания. К этому времени наши отношения с матерью окончательно разладились, мы совсем перестали доверять друг другу. За каждым словом мерещился подвох, каждый жест раздражал — между нами была пропасть, и Тася взялась наводить мосты.

Поначалу они долго шушукались за шкафом. Мать жаловалась и обвиняла меня в скрытности, неискренности и злобности.

— Я чувствую, я нутром чувствую ее фальшивость, — шептала она. — Я чувствую, она от меня что-то скрывает... У меня душа не на месте, я чувствую, она меня не только ни капли не любит, но даже не уважает!

«Чувствую... Чувствую...» — где надо было малость пошевелить мозгами, они руководствовались исключительно чувствами. Но и чувства их почему-то всегда были самые низменные, подозрительные и недоброжелательные. Разум же находился просто в эмбриональном состоянии.

Я не помню, чтобы Грета обучала меня логическому мышлению. Наверное, этому не обучают. Дети учатся мыслить через контакт с мыслящими людьми. Грета муштровала меня без дерготни, без криков и понуканий. Она умела воспитывать профессионально и обладала профессиональным терпением. Кроме того, Грета умела ценить чужую индивидуальность, она старалась приспособиться к чужой натуре, а не ломать и курочить ее. Здесь с индивидуальностью всегда боролись принципиально.

Выслушав все материнские доводы, наша Тася стала подбираться ко мне. Ее особый подход заключался в разговорах по душам. То есть она умела влезать в душу и растревать ее.

Поначалу она водила меня в театры, музеи, в результате чего я расчувствовалась и раскололась, высказав некоторые свои претензии и жалобы. Тася горячо поддержала меня, согласилась, что мать всегда была вспльщивой особой, часто несправедливой, но у нее любящее сердце и она хочет найти со мной общий язык. Я отвечала, что сомневаюсь в материнской

любви. Когда я поняла, что все наши разговоры тут же передаются матери, я стала сдержаннее.

Постепенно общение с Тасей стало мне в тягость. Уж слишком много она темнила и недоговаривала, слишком была ограничена своей партийной идеологией. Ее восприятие мира четко разделялось на черное и белое, горячее и холодное, оттенков для нее не существовало; люди были или «кристально честные, незапятнанные и возвышенные», или, наоборот, «подлые, гнусные твари». Ее метод воспитания заключался в пустой изматывающей трепотне. Их работа всегда сводилась к трепотне.

Грета никогда не изводила меня пустой болтовней, не влезала ко мне в душу. Она настойчиво требовала конкретной, ежедневной работы — на трепотню у нас не оставалось ни сил, ни времени.

Но уже близился час Тасино падения. Споткнулась она об Петьку, который возненавидел ее с первого взгляда и иначе как шваброй, мымрой или шестеркой не величал. Эти сиделые, бывалые алкаши, кстати сказать, весьма прозорливы.

Петька раскусил Тасю с самого начала, но некоторое время побаивался ее и держал нейтралитет. Тася же по глупости ничего не замечала и даже по-своему подлизывалась к Петьке и заигрывала с ним — она любила входить в доверие к людям. Но тут ее номер не прошел. Заметив свое поражение, Тася насторожилась и стала наводить справки и собирать мнения. Я лично не могла дать ей почти никакой новой информации; ну, пьет, ну, дебоширит, матерится — это знали все.

Характер отношений между Петькой и моей матушкой для меня навсегда остался загадкой. Соседи утверждали, что незадолго до моего возвращения мать сильно помогла Петьке, спасла его от верной посадки. Мать выдавала его за дальнего родственника. Петька же был предан ей как собака и, несмотря на свое nepотребство, часто был ей полезен. Мать относилась к Петьке снисходительно и терпимо, по-моему, она была малость привязана к нему. Что именно их связывало, не берусь судить.

Итак, в конце концов провокатор Тася нас всех стравила и мы все переругались. Скандал был длительный и обширный. На свет вылезло множество сплетен, наговоров, клеветы. Все долго и бестолково вопили: «Он сказал... она сказала... оно сказало... Да ничего я такого не говорил, ты сама сказала...»

Потом Петька приволок донос, который наша Тася настряпала на него в соответствующую организацию. В доносе говорилось, что Петька с его моральным обликом и судимостями недостоин проживать в черте города-героя, что он порочит высокое звание советского человека и место ему на сто первом километре, если не дальше.

Петька перехватил донос через знакомую машинистку. Кроме того, в какой-то пивной он познакомился с сыном нашей Таси и тот окончательно открыл ему глаза на подлинное обличье этой стервы. Оказывается, подобные доносы она писала даже на собственного сына, жену которого чуть было не лишила материнства, опозорила на весь дом и довела до психушки, в результате чего сын запил, был списан из армии и однажды чуть не уколошил мамочку утюгом. Поэтому Тася боится жить дома и склочничает на стороне.

Мы отрезвели, матушка всплакнула, и мы благополучно избавились от нашей приживалки.

Вот только с этого времени меня стали тягать в МГБ, как изредка тягают до сих пор. Я думаю, тут не обошлось без Тасино вмешательства. В конце концов, обо мне могли и не вспомнить — не до каждого доходили руки. Моя матушка, разумеется, доносов не писала — не тот характер, да и Петька, на которого я некоторое время грешила, не промышлял этим, хотя бы потому, что вообще ненавидел писать. Он мог ляпнуть что-нибудь под пьяную лавочку своим сомнительным дружкам — не более. Мне же было доподлинно известно, что на меня пришла обширная телега. Поразмыслив, я пришла к выводу, что состряпала ее не иначе как Тася. Она была уже настолько ничтожна, что могла проявить себя и заявить о себе только доносами подобно-

го рода. Связь с такой мощной и страшной организацией, как МГБ, возвышала ее в собственных глазах.

Эту историю стоит рассказать — она показательна для нашего государства с его истовыми заботами о благе трудящихся.

Дело в том, что наш Петька был родом из деревни и всю жизнь подспудно тосковал по земле, природе и сельскому хозяйству. И тут ему вдруг крупно подфартило. У матери на работе стали распределять садовые участки, ей удалось получить шесть соток болотистой земли по Финляндской железной дороге. Вокруг пустовали хорошие земли, но под эти общественные сады почему-то всегда выделялись топкие болота. Однако народ так соскучился по нормальному, естественному делу, что даже эти всегда плохие участки было очень трудно получить.

Существовал строгий регламент, кодекс прав и обязанностей для этих новых землевладельцев. На клочках земли положено было сажать определенное количество деревьев и кустов; разрешалось построить летнюю временную хибарку, в которой почему-то запрещалось ставить печку. Однако новые землевладельцы постепенно нарушали эти правила и законы: кое-кто заводил кроликов и строил им сараюшку, другой пристраивал к хибарке маленькую верандочку, третий ставил печку — все это строго воспрещалось. Кем? почему? — неизвестно. Но люди, дорвавшись до разумной, полезной для себя деятельности, постоянно забывали про запреты. Все свои свободные выходные дни они, как муравьи, тащили на свои убогие участки всякие доски, толь и прочие стройматериалы и в поте лица трудились, надстраивали и улучшали свои жилища.

Петьку будто подменили. Не пил, наверное, целый год. В нашей жилконторе на обширных проходных дворах валялось множество никому не нужных досок, дверей и прочей дряни. Петька все это заботливо складывал в какую-то сараюху, а затем брал машину и увозил на свой участок. Он умел плотничать, и скоро его усадьба стала расти и хорошеть. Петька не жалея труда украсил свой домик красивыми ажурными наличниками, построил высокое крыльцо-веранду, развел голубых кроликов, посадил клубнику. Наверное, впервые он стал походить на человека, подобрел, повеселел и даже поумнел. В его жизни появилась цель и смысл.

Но однажды весной приехал бульдозер и стал крушить его частные владения. Петька, видите ли, нарушил какие-то параграфы, построил слишком замысловатое крыльцо, поставил печурку и сараюшку для кроликов.

Кому, какой сытой сволочи с даровыми дачами и машинами вздумалось отдать такой приказ, кому помешала эта убогая мечта верноподданного алкаша, воплощенная в старых досках на болотной кочке, этот жалкий картонный домик, детская забава, за которую с такой страстью, как за соломинку, он ухватился?

Словом, Петька не вынес позора и надругательства над своей мечтой: бульдозериста он побил, а бульдозер утопил в реке.

Очевидцы рассказывали потом, как наш герой-разведчик прыгнул с крыши своего дома на кабину свирепо рычащего и крушащего все вокруг бульдозера, как вылетел из кабины и плюхнулся об землю незадачливый водитель, а сам агрегат, захваченный нашим героем, помчался напрямик к реке и, собрав вокруг себя достаточное количество ликующих зрителей, сиганул с высокого бережка прямо в воду.

Потрясенные зрители решили, что Петька погиб вместе с агрегатом, но, к счастью, он вскоре выплыл в камышах. В руках у него была бутылка розового вина, в простонародье — «фауст», которое он спас из затонувшего бульдозера и уделал, сидя там же в камышах, в окружении восторженных почитателей.

Подоспевший водитель бульдозера умолял его отдать хотя бы «фауст», но Петька, злобно огрызаясь, пил из горла до тех пор, пока не свалился за-мертво. Бульдозерист рассердился и пошел докладывать по инстанциям о гибели машины, а зрители подобрали бесчувственное тело героя и спрятали

его. Несколько дней весь поселок поил своего заступника и скрывал его от милиции.

Потом он, разумеется, получил большой срок и сгинул в лагерях, завещав матери отвоеванные владения.

Вот тебе и собственность по-совдеповски.

3

В семнадцать лет я пошла работать в нашу жилконтору машинисткой. Я плохо знала правила русской грамматики и на машинке с русским шрифтом поначалу могла печатать только двумя пальцами, но и этого было вполне достаточно. Низкий уровень требовательности к себе и окружающим развратил людей, нищенские зарплаты обесмыслили труд. На службе люди занимались чем угодно, только не делом. Словом, работать здесь после Гретиной муштры для меня не стоило труда. Тем более что по штату нам было положено две машинистки, и скоро ко мне присоединили девушку Катю. Работы едва хватало на меня одну, но это никого не волновало. Если по штату положено десять, то оформят и десять, лишь бы не сокращать штаты.

Бойкая девица Катя очень скверно печатала на машинке, зато прекрасно ориентировалась в нашей реальности. Она учила меня жизни, и я слушалась ее. Опасаясь, как бы нам не навалили лишней работы, она зорко следила, чтобы я не печатала слишком быстро. Заметив, что безделье меня удручает, она посоветовала мне поступить учиться и на службе выполнять домашние задания.

— Все так делают, — говорила она. — Какой дурак станет тут за пятьдесят рублей вкалывать на полную катушку.

Я последовала ее совету и поступила сразу в седьмой класс вечерней школы. На работе хватало времени для занятий, и, к своему удивлению, я очень быстро освоилась со школьной программой. До войны я окончила всего два класса средней школы, но пропущенные годы почему-то совсем не ощущались. Как видно, обучение тут было такое же формальное, как работа. Я отлично окончила седьмой класс и в дальнейшем незаметно для себя среднюю школу.

Семья моя продолжала лютовать. Отчаянье, в котором я вечно пребывала, постепенно измотало меня, и я начала заметно опускаться. Например, когда Петька пропил мою немецкую машинку, я не только не возмущалась, но даже не сделала попытки ее вернуть, а это было возможно, потому что Петька всучил машинку одной знакомой бухгалтерше почти даром. Эта женщина предлагала мне выкупить машинку, но я уже пребывала в какой-то тупой апатии и так и не удосужилась это сделать. Да и денег постоянно не было ни копейки. Кроме того, в то время моя напарница Катя стала брать меня в свою компанию. Господи, как мало в Германии было чувств, настроений и состояний. Работа очищала весь организм, и отдых после нее казался блаженством. Здесь отдых был еще страшнее, чем безделье...

Уф, больше не могу оглядываться на этот содом. Того и гляди, превратиться в соляной столб.

Конечно, очень хотелось бы вычеркнуть эту мерзость из моей жизни. Вычеркнуть и забыть — этого искусства нам не занимать. Защитные свойства нашего бронированного сознания надежно страхуют нас от перегрузок, иначе мы все бы давно превратились в соляные столбы.

Долгие годы я ни разу не оглядывалась и не задумывалась о своем прошлом. Но постепенно я убедилась и пришла к выводу, что все мои злоключения не злой рок, не коварная судьба и даже не случайные недоразумения, а железный порядок вещей. Поэтому считаю необходимым оглянуться и разобраться в самом постыдном этапе моей жизни.

Юность, как видно, вообще самая уязвимая, болезненная и позорная пора в биографии наших женщин.

В свободное время я бродила по улицам, с надеждой заглядывая в лица прохожих. Неужели никто из парней не обратит на меня внимания, неуже-

ли я хуже всех? И обращали, но всегда с определенными намерениями. Моя судьба, душа и громадные запасы неистраченной любви никого не волновали — в этих добродетелях никто не нуждался.

Иногда меня приглашали в компании, но там царило все то же пьянство и разврат. Я там была лишняя, и от меня спешили избавиться.

В одном они преуспели: им почти удалось убедить меня, что мое целомудрие стоит между мной и жизнью. Сначала надо стать как все, потом привыкнешь — и все образуется. Они внушали мне эту пагубную идею, но случая долго не представлялось, а на серьезное отношение ко мне никто не претендовал.

Когда мне исполнилось восемнадцать лет, меня начали таскать в МГБ.

С этого времени началась история моего затяжного свободного падения. Долгие годы, как в ночном кошмаре, я падала в бездонный колодец, где из мрака холодно и жутко наблюдали за моим падением дикие монстры. И никто никогда не только не помог мне, но даже не посочувствовал. Много раз я брыкалась о дно колодца, но в силу молодости не разбивалась в лепешку, а мячиком подпрыгивала вверх, чтобы снова падать в головокружительный провал... За эти годы мысль о самоубийстве никогда не покидала меня, и удерживало от него только изумление перед моей чудовишной судьбой и желание постичь, что же все это значит, что со всеми нами происходит. Да еще, грешным делом, как это ни смешно, я мечтала отомстить и отыграться.

Конечно, порой мне встречались и хорошие люди, но все они были до того измотаны, что сами с трудом держались на ногах.

Итак, падение началось с момента, когда меня стали тягать в МГБ, как периодически тягают до сих пор.

Иногда за мной даже присылается машина, но большей частью мой начальник по месту работы или в первом отделе получают телефонограмму, куда и когда я должна явиться. Иногда местом встречи является номер в гостинице или явочная квартира, другой раз — кабинет в Большом доме. Повесток в последнее время они не присылают.

Я думаю, что именно они научили нашу бюрократическую машину не оставлять компрометирующих их документов. Все самые подлые и скользкие вопросы решаются исключительно телефонограммами: «К нам поступил сигнал...» — такого-то попридержаться, исключить, уволить... Эта терминология сама себя изобличает. Слово «сигнал» произносится многозначительным, внушительным, подобострастным тоном, порой даже таинственным шепотом, будто сигнал этот был свыше, от каких-то потусторонних сил. Требовать в таких случаях разъяснений, надлежащую бумагу, повестку, распоряжение, приказ глупо и наивно. Вам даже не скажут, откуда поступил такой сигнал, каким путем — по почте или по телефону, будто приняли его и впрямь телепатическим способом, будто это знаменье какое-то. В чем причина сигнала, промежуточная инстанция и сама подчас не знает, но после получения его ваши дела вдруг сильно пошатнутся: вы не получите долгожданной квартиры, путевки, командировки. И если даже вас оклеветали или с кем-то перепутали, оправдываться вы не в силах, потому что даже ваше начальство не знает, перед кем вам надо оправдываться и в чем, собственно, вы провинились. Вам остается только тихо сходить с ума.

Итак, если вам предлагается, пусть совсем в необязательной форме, явиться куда-либо для беседы, вы обязательно пойдете. Вы вполне могли бы игнорировать подобное неофициальное приглашение, но тогда вас замучают сомнения, подозрения, мнительность. Вы пойдете, чтобы прояснить для себя ситуацию, узнать, зачем вас вызывают, понять, чего от вас хотят. Но вы никогда ничего не поймете и не узнаете. Вам зададут массу бытовых, необязательных вопросов, поговорят о погоде, о политике, о литературе, о семье, службе, о ваших знакомых... И вы уйдете еще в большем недоумении и смятении, чем до начала визита. Потом вы не будете спать ночей, тща-

тельно анализируя каждое слово в поисках цели и смысла этого вызова, и опять же будете сходиться с ума.

Постепенно я начала привыкать к этим таинственным вызовам. Конечно, вряд ли человек может привыкнуть к допросам: если даже невинного человека допрашивают, ему невольно приходится оправдываться, а человек, который оправдывается, невольно чувствует себя виновным, потому что он уже не просто человек, он — обвиняемый и подсудимый. А если обвиняемому к тому же не предъявлено никаких обвинений и его долго изводят бесконечными бессмысленными вопросами, он в смятении может признаться в чем угодно, подписать любую провокационную бумагу, только чтобы избавиться от неопределенности и понять наконец свое истинное положение в этом мире.

Времена культа с его ночными пытками и допросами давно миновали, но о них все еще предпочитают работать поздним вечером, ближе к ночи. Конечно, это можно объяснить занятостью подсудимых в дневное время, но нет, они не обладают такой щепетильностью: если им понадобится человек, они не постесняются достать его и выхватить откуда угодно, не то что с рабочего места. Нет, я думаю, что они так любят ночное время, потому что ночью человек более уязвим, тревожен, беспомощен перед лицом черных сил. Конечно, выгоднее всего выхватить человека из постели, тепленького, трепетного, обалделого, — тогда он в чем угодно признается и таких сказок нарасскажет, что не только одно дело можно сострять, а целый отдел завалить работой на квартал вперед. Может быть, в более серьезных случаях они и до сих пор выхватывают людей из постели, но меня лично приглашают в вечернее время. Правда, этот допрос или собеседование длится так долго, что, когда наконец отпускают, на улице ночь.

Иной раз меня подвозили домой на служебной машине, но в основном я шла пешком. И вот эти прогулки по ночному пустынному городу были, пожалуй, хуже всего. Если на допросе я еще как-то держалась, отвечала, порой даже огрызалась и сопротивлялась, негодовала и требовала, то после допроса, в результате его, была выжата, как лимон.

До сих пор не могу определить природу этой пустоты, этого тупого, холодного отчаянья, которое я несла в себе после каждого допроса. Я не знаю, с чем сравнить подобное самочувствие, разве что с коллективным изнасилованием, которого мне еще не довелось испытать. Именно тогда я возненавидела этот мертворожденный город, этот музей-застенок, эту дьявольскую колыбель безумной ненавистью Евгения из «Медного всадника». Я брела под морозящим дождем по пустынным набережным, мостам, и каждый раз мне казалось, что я не дойду; казалось, сама смерть бредет по пятам и тянет в мертвую невинскую воду. Я была совершенно убитой, ни одной живой клетки во мне не оставалось; и, если на пути возникала машина, я не ускоряла шага, даже перед лицом смерти я не могла бы его ускорить...

Я брела через Литейный мост и думала о тех несчастных, которые так же глухой ночью брели с допросов, если, конечно, их отпускали. Но и те, кому удавалось вырваться из зловещих стен, вряд ли чувствовали особый подъем и радость освобождения, скорей всего, они уже ничего не могли чувствовать: ни одна форма жизни уже не могла доставить им никакого удовольствия, потому что там их будто кастрировали, удалив все органы восприятия жизни, все человеческое и оставив только беспомощный, животный кусок мяса с самыми низкими звериными инстинктами вроде смертельного ужаса перед произволом сильных мира сего, перед кровожадным диким зверем, которому они брошены на растерзание. Точно так же, как я, они брели темной, гнилой ночью через весь этот мертвый город и ненавидели его отчаянной, лютой ненавистью раба, заживо погребенного в каменном мешке.

Я брела по набережной, а слева во мгле маячил зловещий призрак дьявольского крейсера.

— Чтоб тебя... чтоб тебя... чтоб! — как заклинание, твердила я, преимущественно матом.

И на этом отрезке пути мертвая пустота внутри меня внезапно заполнялась дикой звериной яростью. Мне хотелось, чтобы на меня напал маньяк или преступник, чтобы было кому вцепиться в глотку, рвать зубами, кусать и рычать в кроватке поединке, пока тебя не укокошат. Только такой смертельный бой мог принести облегчение, освободить мой организм и очистить его от скверны гиблого опыта.

Зачем же они меня тягали и что их интересовало? В основном, разумеется, Германия: как я там жила, чем занималась, с кем общалась. Любую мелочь, деталь, подробность моей жизни у Греты: быт, мысли, нравы, церковь, огород, поросенок, операция — все им надо было знать досконально подробно, обстоятельно. Прекрасно зная, что я не могла их видеть, много расспрашивали о сыновьях Гретхен, особенно о младшем, отчего у меня невольно закралось подозрение, уж не скрывают ли они его в каких-нибудь своих тайных закромах. Но выяснить это, разумеется, я не могла. Задавать вопросы и проявлять инициативу там было не положено, такое право они оставляли только за собой.

Моя нынешняя жизнь их не особенно интересовала, они и сами ее неплохо знали и не раз поражали меня своей осведомленностью о самых потаенных и мелких событиях моей биографии.

О матери почему-то отзывались с почтением, как видно, в свое время она им хорошо послужила.

Короче говоря, их в основном интересовала Германия, и мне кажется, что у них были кое-какие виды насчет меня. Так, например, именно они натолкнули меня на мысль возобновить связь с моей Гретой и написать ей письмо. Сама я до этого никогда бы не додумалась. Мне казалось это настолько нереальным, будто я жила на другой планете. Но они не только натолкнули, они прямо-таки навязали мне эту мысль, почти приказали написать в Германию вежливое, благодарное письмо, что я и сделала, до сих пор им за это благодарна. Этой возобновленной связью я питаюсь до сих пор, она вернула меня к жизни и надеждам.

Все было точно как в том анекдоте про еврея, которого вызвали в КГБ, доказали, что у него есть брат в Израиле, вручили бумагу, ручку и заставили написать письмо. «Милый Абрам, — начал еврей, — наконец-то я нашел время и место написать тебе...»

Словом, мне думается, что вначале они хотели меня где-то употребить и куда-то приспособить, но в дальнейшем я не оправдала их надежд, что-то в моем образе разочаровало их или отпугнуло.

Один случай совершенно сбил меня с толку и надолго лишил покоя.

Собеседование на этот раз проходило в гостинице «Европейская». Были там особые номера, специально для того предназначенные. Помню, что в холле я уловила немецкую речь, и мне еще подумалось, не хотят ли меня приспособить для работы с этими немцами. Пожалуй, я бы пошла на такую работу. Но дальнейшая беседа с одним холеным, вальяжным бугаем начисто лишила меня этой надежды. Все было как всегда: изматывающие дурацкие вопросы, очередная пробежка-проверка по всем клавишам моей биографии. Затяжная нудная гамма на три — пять часов (боже, как они надоели!). Иногда во время таких бесед я думала о том, что мне было бы намного легче, если бы за мной и правда числилось какое-либо преступление. Тогда бы пришлось отвечать на строго конкретные, деловые вопросы или не отвечать на них. Это был бы настоящий, честный допрос-экзамен, ответ на вытянутый билет, потом несколько добавочных вопросов — и моя участь была бы решена. А тут гоняют несколько часов по всей жизненной программе и оставляют потом в неопределенности, смятении и тоске. Хорошо еще, что в этой чертовой гостинице обычно давали коньяк, можно было хоть чем-то подкрепить свои силы.

На этот раз на закуску был лимон и хорошие конфеты, которые, к сожалению, в этой обстановке никогда не лезли мне в глотку, а ведь я очень люблю такие конфеты. От коньяка меня разморило и клонило в сон, поэтому отвечала я крайне вяло и невнятно, так что моему следователю скоро

надоело со мной возиться и он собрался меня выпроводить. Я была уже одета и стояла в дверях, но вдруг он пригласил меня в комнату и предложил пятнадцать рублей. Я очень удивилась и отказалась. Он настаивал и даже сказал, что это будет мне компенсацией за беспокойство.

— Господи! — досадливо и нетерпеливо проворчал он. — Купите своей маме конфет или себе букет цветов, пусть это будет вам подарком к Женскому дню. — И он сделал попытку засунуть деньги в мою сумочку.

— От вас? — переспросила я обалдело.

Я так растерялась, что, наверное, впервые сбросила с лица ту защитную маску, которую привыкла носить в их присутствии. Я всегда общалась с ними в образе такой блаженной идиоточки, безответной канцелярской мышки с поджатými лапками. Именно для них я выработала себе такую защитную маску и потом прикрывалась ею все жизнь: по-моему, она самая выгодная в этой стране. Постепенно маска приросла к лицу, но, когда у меня вырвалось предательское «от вас?», я почти фыркнула ему в физиономию и, кажется, невольно выдала свое истинное лицо, хоть какое оно у меня на самом деле, я и сама не представляю. Маску представляю, а лицо — нет.

Он будто бы ничего не заметил и еще настойчивее продолжал всовывать мне деньги...

И когда я в очередной раз вынула их из кармана и бросила на стол, то вдруг с удивлением обнаружила, что там вовсе не пятнадцать, а только тринадцать рублей. Я обратила внимание на этот факт, и он без малейшего смущения объяснил, что два рубля потратил на закуску к коньяку. Меня очень удивила подобная разнарядка: значит, коньяк государственный, а закуску вынь из собственного кармана? Вопрос мой задел его своей прямолинейностью, и он грозно нахмурился. Задавать вопросы здесь не положено, поэтому он не удостоил меня ответом, а лишь жестом предложил покинуть помещение, что я поспешно исполнила. Но он пошел следом, зачем-то проводил до самого турникета и там, ловко засунув мне деньги в карман, втолкнул меня в турникет и крутанул его так, что я невольно вылетела на улицу. Рваться обратно было бессмысленно. Если даже швейцар пропустит меня в гостиницу в столь поздний час, то вряд ли я найду в номере моего бугая. А если даже и найду, то кто знает, какую еще подлость он мне преподнесет. Кроме того, силы внезапно покинули меня. Они всегда покидали меня все сразу, будто воздух из шара.

Трамваи еще ходили, и этот факт меня весьма утешил.

Но на другой день начались кошмары. Деньги не давали мне покоя, они буквально жгли руки. Мне казалось, что это начало конца, моя первая крупная оплошность, после которой неизбежно последует полное закабаление. Впервые у меня в руках было вещественное доказательство и х заинтересованности во мне. Что им надо? Что они потребуют от меня за эти жалкие тринадцать рублей, ведь они государственные, значит, за них надо будет отчитываться. Может быть, от моего лица они захотят учинить какую-либо пакость моей Гретхен? Это предположение просто убивало меня.

Советоваться с кем-либо было не только бессмысленно, но и опасно. При одном упоминании данных органов на тебя же первую ляжет тень подозрения в причастности к ним, в прямом с ними сотрудничестве. Так уж устроено наше подлое общество, где каждый всегда подозревает ближнего в доносах и стукачестве.

Но деньги не давали мне покоя. Запечатать в конверт и послать в Большой дом на имя этого человека? Или отнести в первый отдел? Или всучить швейцару в гостинице? Варианты — один глупее другого.

Но однажды ночью меня вдруг осенило. Эти жалкие тринадцать рублей были всего лишь тестом в их программе изучения меня. Просто в моем деле открытым оставался вопрос: беру ли я деньги? Возможно ли меня подкупить? Очередной идиотский тест в какой-либо их идиотской отчетности. Позднее, когда я сошлась с этим бугаем, он мне по пьянке хвастался, что их заведение является научно-исследовательским институтом по работе с

интеллигенцией — для всей страны. Я догадалась об этом на собственном опыте, без его подсказки, чем до сих пор втайне горжусь. Я сама догадалась, что являюсь у них чем-то вроде подопытного кролика, на котором производятся подлые опыты. Чем-то вроде представителя определенного типа населения.

Они не учли одного: что не только они меня изучают, но и я понемногу изучаю их и делаю свои выводы.

Но чего стоили эти знания?! Не все виды знаний полезны для души человека. Меня мои знания убивали. В двадцать лет я навсегда перестала смеяться и радоваться жизни. Я гибла от гнева, отвращения и ненависти ко всему миру.

Это сделали они. Только они могли затмить для человека весь мир. Как черная радиоактивная туча, они заражали организм страхом, беспомощностью перед вселенской подлостью, травили унижением, ложью, жестокостью — изощренно насильовали его природу. Они отравили, испоганили, изнасиловали меня куда раньше, чем сделали это физически. И когда в виде очередного теста мне было предложено спать с одним из них, я даже особо не удивилась. Я только вяло подумала, что хорошо еще, не со всеми, а с кем спать в этой помойной яме, не имеет никакого значения.

Но я опять несколько поторопилась. Вначале был инцидент с Колей.

Однажды, когда меня изводили очередными беседами и особо настырно расспрашивали о Гретхен, я, чтобы отвлечь их внимание, стала рассказывать о Коле. Я поведала, какой это был горячий патриот, как он любил свою родину, как агитировал меня возвратиться, а в конце впрямую спросила, куда он подевался.

Мне, разумеется, ничего не ответили — они никогда не отвечают на заданные вопросы, но через некоторое время Коля возник передо мной собственной персоной. Направляя его ко мне, они, наверное, сами не подозревали, в каком тот находится качестве и состоянии, а может быть, просто хотели дать мне наглядный урок. Это был совершенно опустившийся, спившийся бродяга-попрошайка неопределенного возраста. Я долго отказывалась признать в нем Колю. Он начисто потерял человеческий облик и полностью забыл Германию, или его заставили о ней забыть. Во всяком случае, он ни разу не проговорился о ней даже в пьяном бреде. Вскоре он снова сел за бродяжничество, и я вздохнула с облегчением. Коля уже не мог жить на свободе. В минуты просветления он вспоминал только лагерь и хотел туда вернуться. Там был его дом, там о нем заботились и подкармливали, там он был кому-то нужен, там была его среда, коллектив, в котором он имел свое маленькое место.

Итак, надо опускаться на следующую ступень моей адской лестницы.

Однажды ночью, когда я притащилась домой с очередного допроса, он ждал меня на площадке моей лестницы. Я не хотела его узнавать и прошла было мимо, но он преградил мне дорогу и зачем-то сунул под нос свою красную книжицу. Я взяла ее в руки и тупо прочитала имя, отчество и фамилию. Мы только что расстались у него в номере в той же гостинице, где я всучила ему обратно эти злополучные деньги. Стараясь проникнуть в мои тайные помыслы, он долго озадаченно разглядывал меня. Неожиданное сопротивление этакой пигалицы не на шутку озадачило его. После ритуального гостиничного коньяка в глазах его вспыхнуло откровенное вожделение, и, когда он все-таки меня выпустил, я даже удивилась. Теперь же, в тусклом свете ночной лестницы впервые разглядывая документ, эту визитную карточку черта, его пропуск в ад, я уже была готовенькой, тепленькой жертвой: глотай кто хочешь.

— Отец-то был Григорий. — Очевидно, я подумала вслух, потому что он грубо выхватил у меня свой билет.

— Вы арестованы, — сухо заявил он. — Поедете со мной.

— А ордер на арест у вас есть?

— А в ухо не хочешь? — И он взял меня под локоток.

Мне было уже все равно. Меня уже на самом деле не было и не могло быть. Мне даже понравилось, что не надо возвращаться домой в постылую коммуналку. Словом, я безропотно села в машину, машинально отметила, что она казенная, и слабо удивилась, почему он не взял меня еще в гостинице: зачем был нужен этот дикий финт? Но голова уже не работала, и я решила обдумать этот вопрос потом, на досуге. Я заторможенно разглядывала его и вяло удивилась про себя, что раньше совсем не разглядела и даже не знала, как он выглядит. Он показался мне красивым, и отсвет детских, романтических иллюзий полыхнул во мне, и где-то на задворках сознания мелькнула робкая надежда на любовь с ее преобразующей, обновляющей силой. А когда он обнял меня одной рукой и привлек к себе, я даже вспыхнула от смущения и застенчивости.

Но тут машина вырвалась на набережную, и передо мной возник призрак зловещего крейсера, я по привычке матюгнулась, а мой любезный, мгновенно угадав адресат, слегка съездил меня по физиономии. И тут внезапно передо мной воплотился тот долгожданный маньяк, которому я давно мечтала вцепиться в глотку. И я вцепилась ему в глотку. Машина чуть не врезалась в парапет. Он был самбист. Они там все самбисты, им специально преподают эти дисциплины, чтобы умели бить человека грамотно, без риска получить сдачи и безнаказанно насиловать м...вошек вроде меня. Мой самбист не только легко скрутил меня в бараний рог, но для пущей важности еще изнасиловал тут же в машине, после чего вытряхнул из нее под зад коленкой. На прощанье мне, правда, удалось плюнуть ему в руку.

Так начался этот производственный роман с идеологической подоплекой. Так он протекал на всем своем протяжении. Нас ничего не связывало, кроме слепой животной ненависти, но самое страшное, что не только его устраивал такой характер отношений, но и я сама ничего не имела против. То есть акт величайшей человеческой близости и доверия у нас превратился в акт животной ненависти и вражды.

Он искренне боялся, что однажды я придушу его подушкой, отравлю или пырну ножом. Он был трус, но именно страх и мое отчаянное сопротивление питали его страсть.

Однако именно он пробудил во мне женщину, и я ненавидела себя в первую очередь за эту биологическую зависимость. Я мечтала избавиться от этой проклятой страсти и понимала, что избавить меня от нее может только смерть. Я мечтала, чтобы он попал под машину, отравился водкой, сгорел, утонул, сгинул. Если бы он летел в пропасть, я не протянула бы ему руку, никогда бы не протянула. Порой я даже мечтала, чтобы он меня наконец уколошил.

Дело к тому приближалось, на мне уже не было живого места, но тут, на мое счастье или несчастье, я забеременела, и он, утратив ко мне всякий интерес, тихо слинял.

Он отсутствовал два года, и два года меня никуда не тягали.

Первое время я даже ждала его вызова или визита: по-своему я тосковала по нему.

Он был красив. До сих пор мне кажется, что все красивые мужики работают там. Но тех, кто точно там работает, я узнаю всегда и повсюду. В этом смысле я могла бы работать в контрразведке, для меня все они мечены.

Во-первых, это сытость, животная сытость самодовольного самца, вкрадчивая издевательская насмешка во взгляде. Неподвижные, настороженные затылки.

Но главное, пожалуй, — сытость: это в нашей стране большая редкость.

Правда, это может быть еще торгаш-спекулянт, но только в том случае, если он совмещает обе эти профессии. Ведь своим кадрам они позволяют фарцевать и спекулировать и тем самым разлагают их настолько, что потом ничего не остается, как самим же их сажать. Ведь ворюга никогда не знает меры, и, если ему разрешить красть немного, он неизбежно проворуется по-крупному. Еще одно качество выдает их с головой. При всей похоти, при безличности, которая гарантирует им неузнаваемость, они не умеют менять сам почерк своей жизни и не умеют приспосабливаться к окружающей

среде. Кажется, парадокс: разведчики-шпионы-контрразведчики — и вдруг такая беспомощность в вопросах мимикрии. То-то и оно, они — не профессионалы. Они торгуют только своей подлостью и, продавшись, все себе позволяют, как будто продали душу дьяволу и он гарантирует им неприкосновенность и неуязвимость. Только в торге с дьяволом имеет место душа, а здесь души нет изначально: таким образом, торгуют тут даже не совестью, а ее отсутствием, то есть подлостью. А подлость, как известно, дьявол не покупает, у него ее и так предостаточно, поэтому за нее он ничего не дает; никакой гарантии, что эта подлость однажды не будет наказана. Поэтому они часто попадают с поличным, проворовываются и бывают преданы.

Но я, кажется, запуталась. Все это громкие слова. Все мы тут стоим друг друга. Да, узнаем друг друга в лицо, но не шарахаемся, не клеймим позором, не презираем, не стыдимся. Нет классов, нет общества, нет общественного мнения. Что изменится, если одинокая, забитая поблядушка откажет стукачу или даже следователю, станет его стыдить, перевоспитывать или даст пощечину? Ну, во-первых, он с ходу ответит ей пощечиной да еще изнасилует, к тому же это будет полной глупостью, и она этого никогда не сделает, потому что ее сопротивление изначально бессмысленно: за ней ведь никто и ничто не стоит, а за ним — целый Большой дом. Потом я не раз слышала вполне интеллигентскую оговорку: «А что такого, там ведь тоже люди работают». И дело тут вовсе не в страхе перед этими органами, а в общем обоюдном падении, безнаказанности палачей и беззащитности жертв перед лицом произвола. Ведь при огромном количестве жертв не было до сих пор ни одного суда над палачами, не было и не будет, пока существует эта власть.

Меня даже в некотором роде устраивало, что мой любовник оттуда. Я не рассчитывала на его помощь, не такой это был человек, чтобы кому-то вдруг помогать. Устраивала меня причастность, да, именно причастность к большой и грозной подлости, за которой можно спрятаться такой мелочи, как я.

Дни всенародной скорби по случаю смерти Сталина я провалялась в грязной больнице, куда залетела с криминальным абортom, который мне сделала старая алкоголичка ночью в кочегарке, где она служила истопником.

Явился он через полтора года в новом качестве — ярым антисемитом. Тогда только начиналось такое поветрие, и он, при его удивительной восприимчивости ко всему дурному, сразу же подхватил это опасное социальное и психическое заболевание. Но скорей всего, они сами путем таких ревностных проповедников насаждали в народе этот антисемитизм.

Мой негодяй всегда был сугубо партийным человеком, но мало ему было коммунистической партии и партии гебистов, он решил еще стать славянофилом. Правда, славянофильским это новое его вероисповедание тоже не назовешь, потому что славянофилы, кажется, обязаны были любить свою землю и родину с ее народом. Эти же уже ничего не могли любить, они способны были только ненавидеть: евреев, интеллигентов, ученых — словом, все образованные слои населения. Поэтому их новую партию можно было бы назвать только антисемитской, но никак не славянофильской. И когда они в своей истовой программе апеллировали к народу, то это тоже было большой натяжкой, потому что русскому населению, особенно в нынешний его запойный период, дела не было как до евреев, так и до славянофилов.

Цельми днями он изводил меня всякими глупыми сомнениями в моем происхождении.

— Ну и жидовские у тебя замашки! — это насчет моей аккуратности.

— Меня воспитывали в Германии.

В Германии к моменту моего там пребывания евреев практически не осталось, этот факт был ему хорошо известен и обычно ставился в заслугу Гитлеру...

— И все-таки ты — жидовка.

— Нет.

- Неужели не жидовка?
- Нет, я русская.
- Ну почему, почему ты русская?
- Да по крови.

Последний довод сражал его наповал. Почему-то ему так никогда не отвечали.

— Перестань ругаться хотя бы дома, — увещевала я его. — Ведь здесь нет евреев и они тебя не слышат.

Но он злобно и тупо продолжал бубнить что-то себе под нос.

— Берегись, — говорила я, — им ты все равно ничего не сделаешь, а сам точно сойдешь с ума и загрохочешь в больницу.

Он договаривался до того, что жида повернули революцию не в ту сторону, создали лагеря и развалили народное хозяйство. Советскую власть он не трогал, потому что считал, что, если бы не евреи, они бы при помощи своей партии возродили Империю.

— Но империя держалась на трех китах: православии, самодержавии и народности. Чем бы вы заменили этих китов, неужели одним антисемитизмом?

Однажды я придумала более остроумный довод:

— Жаль, что ты не еврей, очень жаль! — сказала я, лежа с ним в постели.

— Почему? — Он сразу же схватил мою жирную наживку.

— Потому что, если бы ты был евреем, — сказала я, — ты бы позорил их, а не нас.

Он взвился как пружина, схватил свой пугач и пальнул. В меня он, к счастью или к несчастью, не попал, но вонь и грохота было так много, что в дверь стали ломиться соседи. Он вышел на лестницу и быстро там все уладил — как видно, показал свои документы.

Зато когда он заснул, я открыла форточку и выбросила его пугач за окно. Там был пустырь с глубокими сугробами. «Пусть теперь поползает и поищет», — злорадно подумала я, засыпая.

Правда, наутро, получив хорошую взбучку, мне пришлось ползать по грязному снегу вместе с ним, пока мы не нашли этот злосчастный пугач.

— Хорошо еще, что я не застрелилась, — сказала я. — Очень хотелось сделать тебе такой подарочек.

Он злобно на меня покосился, но тогда я впервые заметила, что он боится меня. Боится, ненавидит и ничего не может со мной поделать. У него была масса баб красивее и умнее меня, и все они его любили, но были не нужны — именно потому, что любили. Любви он не выносил ни в каком виде, она ему ничего не давала. Его организм давно мог питаться одной только ненавистью.

Он ненавидел меня и мечтал от меня избавиться. Я мечтала о том же самом, но избавиться нас друг от друга могла только смерть. И в этом не было ничего рокового, одна житейская подлость и взаимное паразитирование.

Не помню, сколько длился этот период нашего существования, кажется, все междувластие вплоть до Хрущева.

Исчез он опять, как только я забеременела. Я, конечно, предохранялась, но наша отечественная профилактика такая же халтура, как все остальное.

— При нашей системе производства нельзя доверять ни одному механизму или прибору, — сказала я ему на прощанье. — Когда начнется война, ваши ракеты взорвутся на месте или полетят не в ту сторону.

Разумеется, я получила по шее и, чтобы отомстить ему, заявила, что намерена рожать и надеюсь, что ребенок будет не в отца. Я знала, что подобное заявление отпугнет его надолго. Я хотела подольше отдохнуть без него, оглядеться и подумать. На горьком опыте я поняла, какая система отношений связывает здесь мужчину и женщину, и не особо стремилась замуж.

Я благополучно сделала аборт в том же грязном абортарии и занялась квартирным вопросом — специально пошла работать на строительство, по-

тому что там были льготы с жилплощадью. Тут как раз подросли две оканчивавшие Греты, и я получила возможность внести первый взнос за однокомнатную кооперативную квартиру. При соответствующем нажиме одного моего покровителя мне почти сразу же дали квартиру, и я тут же в нее въехала.

Тогда как раз бушевала кампания по борьбе с излишествами, в результате которой квартиры стали похожи на табакерки, но моя была просто великолепной: с большой прихожей, кухней и лоджией, которую знакомые работники превратили в великолепную веранду.

Став хозяйкой квартиры, я почувствовала себя в жизни гораздо увереннее. В моей стройконторе мне неплохо платили. Грета одевала меня, но мне почему-то всегда было стыдно принимать ее подачки, поэтому я изо всех сил старалась отблагодарить ее. В те времена в антикварных лавках было еще много красивых безделушек, и стоили они совсем недорого. Мы никак не могли разбазарить наследство наших бывших хозяев. Грета просто обожала эти безделушки и не раз писала мне, что у них они стоят очень дорого, поэтому чтобы я не стеснялась и требовала от нее все, что мне надо. Этот товарообмен помог мне окончательно встать на ноги, приодеться и почувствовать себя женщиной.

Присланная Гретой косметика и парфюмерия могли сделать красавицей любую уродку. Особой уродкой я не была, но с помощью этой косметики мне удавалось иногда быть красавицей, и, когда мой негодяй снова возник, он поначалу просто не узнал меня.

Он явился, как всегда, поздно вечером и, стоя в дверях, долго разглядывал меня, будто что-то оценивая и прикидывая. Конечно, не узнал он меня только в первое мгновение, а потом разглядывал, ожидая, пока я его пригласю войти. Но он никогда не нуждался в приглашениях, чтобы войти в любое помещение, просто он был мертвецки пьян.

В прихожей у меня стояло трюмо. Оно отражало наши безумные лица — жалкое зрелище полного банкротства человеческой души, ее падения, опустошения.

— Что может быть отвратительнее пары, соединенной одной ненавистью! Поллюйся, на что мы похожи. Неужели ради этого мы родились на свет? А ведь от природы мы красивые, здоровые люди. Во что мы себя превратили! — сказала я.

Приступ ярости исказил его правильные черты, и коротким ударом кулака он врезал по отражению.

Зеркало разбилось.

— Кто-то из нас скоро умрет, — сказала я.

— Мечтаешь меня похоронить?

— Плакать не буду.

И все-таки я его не выгнала. Наверное, потому, что знала — он все равно не уйдет, а лишь станет драться и буянить.

Я оставила его у себя и стала понемногу выпивать вместе с ним.

Это был самый мирный период наших взаимоотношений.

Алкоголь приглушил нашу обоюдную вражду.

В новом качестве, приодетую и раскрашенную, меня не стыдно было показать друзьям и коллегам, можно было взять с собой в ресторан, на банкет, на званый ужин, где я неизменно пользовалась успехом. Моя ненависть придавала мне значительность и какой-то шарм — меня считали таинственной особой, и многие его друзья ко мне клеились. Но я держалась своего негодяя и только раз для страховки переспала с его начальником — он мог пригодиться.

Надо сказать, мне даже нравилось проводить время в их обществе, нравилось находиться в окружении здоровых, красивых, спокойных и уверенных в себе молодых людей. Среди всех слоев нашего общества они больше всех походили на мужчин или, скорей, на сытых хищных зверей. Среди них особо выделялись международники, те, что устраивают перевороты во всяких африканских и азиатских колониях, словом, занимаются своим прямым делом, а не пытаются и не насилуют маленьких машинисток.

Эти международники приезжали на родину погулять с удалым размахом купцов или, может быть, даже гусар, потому что их выправка, манеры, лоск среди нашего серого окружения выглядели почти аристократическими. Они были намного моложе, здоровее, сильнее, а потому добрее и щедрее своих здешних коллег, и невольно приходило на ум, что мужику необходим риск и опасность, чтобы сохранить свою спортивную форму.

Порой я искренне любовалась этими свободными, естественными, сильными хищниками и с удовольствием обменяла бы моего суженого на одного из них, только боялась осложнений и неприятностей: им ничего не стоило растоптать и уничтожить меня. У них имелись свои представления о чести, дружбе, взаимопомощи, и они не раз разговаривали со мной по душам о плачевном состоянии моего негодяя. Многих из них связывала дружба еще со студенческой скамьи, многие вместе кончали университет и вполне искренне были привязаны друг к другу. Они предлагали мне поддержку и даже пытались устроить меня на очень хорошую работу, но я не прошла засекречивания, потому что была в плену.

В этот тихий алкогольный период мой хахаль много раз предлагал жениться. Я не отказывалась, но про себя знала, что брак наш невозможен. Ничего, кроме зла, нас никогда не связывало, и некоторые вещи женщины не прощают никогда. То есть прощать им ничего не стоит, они забывают и горе, и унижения, но вот полюбить такого человека, то есть довериться ему, они уже не в силах.

Он спивался у меня на глазах, может быть, даже отчасти благодаря мне. В свое оправдание могу сказать, что сама чуть было не спилась с ним заодно. Я не могла его спасти, все, что я могла для него сделать, — это только погибнуть вместе с ним. Его падение было тяжелым и безнадежным, он падал и тянул меня за собой.

Всю жизнь он рвался в бой. С детства мечтал стать десантником, но не пропустила врачебная комиссия. Агрессивные инстинкты бурлили в нем вхолостую и, не находя выхода, обрушивались на слабых баб, жидов и антисоветчиков.

В условиях честного боя он мог стать профессиональным воином — сильным, смелым, беспощадным к врагам, презирающим слабого противника и великодушным к побежденным. Мог стать прямым наследником суровых добродетелей Спарты, этой школы мужества, честности, выносливости и справедливости.

Инстинкт убийцы в крови у мужиков, он завещан им многими поколениями воинов, и поэтому глупо требовать от них кротости, смирения и гуманности. Но вот честности, мужества и справедливости они не должны терять, иначе превращаются в гнусных, трусливых маньяков, подлых палачей-извращенцев. У нас инстинкт воина переродился в уголовно-преступный инстинкт палача: вместо рыцарской дуэли — избиение безоружного врага в камере пыток, вместо упоения в бою — коварное нападение из-за угла, всей шайкой на одного.

Мой бандюга был рожден воином, а стал гнусным палачом. Он и ко мне-то привязался только за то, что я оказывала ему сопротивление. Я почти сознательно приняла вызов и стала ему врагом. Он любил во мне врага, пусть не столь сильного, как ему требовалось, зато превосходящего его в коварстве, неукротимости и беспощадности.

Он присвоил себе собственного врага и мечтал обратить свою добычу в жертву. Он мечтал покорить меня сам и только поэтому не предавал и не отдавал на растерзание властям, хотя прекрасно знал мое социальное лицо и мою ненависть к ему подобным.

Он мечтал победить и даже убить меня, но погиб почему-то сам. Я не считаю, что я его погубила. Нет, его погубили собственные преступные инстинкты, с которыми он не мог совладать. Он погиб, как скорпион, который порой обращает свое смертоносное жало против себя.

Но вот когда кончился наш беспощадный поединок и смерть поставила точку в данном сюжете, лишив меня моего законного врага и противника, я, как ни странно, не почувствовала свободы и не радовалась своему избав-

лению. Как видно, я тоже питалась этой ненавистью и этой враждой. Это была моя реальность, и, когда она рухнула, подо мной возникла пустота, в которую я тотчас же стала падать.

В канун 40-й годовщины нашей революции, когда все мы чуть не захлебнулись в ликовании и водке, он сгорел в собственной постели от сигареты.

Я не пошла на его похороны. И все-таки я плакала. Разумеется, не по нему, а по себе. С опытом, которым он наградил меня, жить было почти невозможно. Он заразил меня отвращением почти ко всем формам жизни. С таким опытом не живут, а борются с жизнью.

И я стала бороться.

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ НОВЫЙ РОМАН ДАНИИЛА ГРАНИНА «БЕГСТВО В РОССИЮ»

*

«Если бы существовал справочник по шпионам, то Клаусу Фуксу я бы отвел в нем первое место: шпион-доброволец, идейный шпион-физик, которому денег за эту работу не платили и который ощутимо помог нашим атомщикам.

Встретились мы с ним в Дрездене. Он прибыл туда из английской тюрьмы, приговоренный к пожизненному заключению. Через несколько лет его обменяли на и х н е г о шпиона. Он стал работать как физик в одном из институтов и жил довольно замкнуто, женат он был, кстати, на русской.

Я представлял себе Клауса Фукса типичным ученым, малопрактичным, поглощенным своими занятиями, так оно, наверное, и было, но шпионская работа тоже наложила свой отпечаток. Он держался весьма светски и в то же время настороже, в ресторане садился так, чтобы видеть зал и чтобы его не видели. Когда мы ехали в машине, а вел он машину мастерски, Фукс все время следил в зеркальце, кто следует за нами. Я спросил — зачем, он признался, что привык остерегаться; это была одна из приобретенных на всю жизнь привычек.

О Клаусе Фуксе следовало бы написать интереснейшее исследование. Сюжет его жизни отличает не только бескорыстие, но и научный склад мышления, исследовательский подход к шпионской работе. Самоучка, он в одиночку, без всяких раций, шифров, явок осуществлял передачу ценных материалов. Ученый-шпион. Причем крупный физик и крупный шпион. Ученый-герой. Герой не мысли, а действия.

Одно время меня привлекала и судьба известного физика Бруно Понтекорво, бежавшего к нам, бывшего соратника Энрико Ферми. Великолепный экспериментатор, он по достоинству стал действительным членом Академии наук СССР. То, что он мне рассказывал, достаточно серьезно. Не для шпионского романа, а про то, как возникают и гибнут иллюзии.

Может, эти две судьбы своеобразно отозвались в образе моего героя. Вернее, моих героев, которые почти неразделимы, как сиамские близнецы...»

МИХАИЛ СИНЕЛЬНИКОВ

*

ХОДИЛ ПАРОХОД

Памяти родителей

Старение империи совпало
Со старостью родителей... В те дни
Среди берегового краснотала
Бродили, взявшись за руки, они.
Совсем седые шли от сада к саду.
И Петроград и первые года,
Все пятилетки, молодость, блокаду
Сносила в ночь арычная вода.
Да, в Азии, довольно, впрочем, средней,
Пришлось дожить, от прошлого вдали...
И это был их разговор последний
О мальчике, который полон бредней
И резок и оторван от земли.
Теперь их вечер, горькая отрада
Прогулок поздних стали милы мне...
А это было время листопада
И Книги Царств, открытой в тишине.

Антропология

Кипит половецкий иль киевский стяг,
Хохлы и кипчаки
Неистово спорят о старых костях,
Копаясь во мраке.

Никто не пресытился сбором улик,
К обломку — осколок...
На череп налепливать глиняный лик
Пришел антрополог.

Глаза туповатые смотрят хитро,
И веки чугуны.
Подобные членам Политбюро,
Являются гунны.

Анна Кукушкина

«Анна Кукушкина» был пароход.
Ходил по Оке.
Плещет, гуляет, кукует, гудёт...
Гул вдалеке.

Эта Кукушкина тетка была
Бабки моей.
Вновь поднимаются колокола
Старых церквей.

Кто я, откуда? Стою, как слепой,
В мареве смут.
Колокол грядет — пестрой толпой
Все оживут.

Хищный кочевник, верткий
шинкарь,
Жук от сохи,

Жар пепелища, чадная гарь,
Кровь и грехи.

Жмых, продрозверстка, озимь,
трава,
Нэп, умолот...

Нет, не устану черпать слова
В топи болот.

Все расплывается в повести лет
Памятью зим.
Выпить ли яду, купить ли билет
В Ерусалим...

Сплю в самолете, стою под стрехой
Волей судьбы,
Ноздри мне колет кислый, сухой
Запах избы.

Хлеборезы

Хлеборезы прошедшей эпохи,
Подвелась вам сегодня черта.
Были вы хороши или плохи,
Все же нынешним вы не чета.

Лестно каждому быть хлеборезом,
Но ведь в те еще, в те времена
Вашим стершимся старым железом
Вся вселенная разделена.

Вы, душою почти что владея,
Тайну жизни постигли вполне,

И материей стала идея
В атакующей небо стране.

Забирая свое без утайки,
Раскаляя источенный меч,
От блокадной и лагерной пайки
Успевали вы что-то отсечь.

В мире вашем безжалостно-резком
Не явился бы, может быть, я...
Вы одним невесомым довеском
Подарили мне боль бытия.

* *
*

Сыпучее золото глядя,
Целую — они не мертвы —
Те давние, первые пряди
С кудрявой твоей головы.

И вижу цветущие травы,
Растений твержу имена...
Там зелень по берегу Влтавы,
Как детство, чиста и нежна.

Цветет, запропала Европа
В лугах, огородах, полях,
И горбится у микроскопа
Богемский генетик-монах.

Какой же нам жребий подброшен,
Где завязь тонка и слаба?
Меж белых и черных горошин
Теряется наша судьба.

Я волос держу невесомый,
Пока шелестят, как листва,
За всем, что несут хромосомы,
Пристрастья мои и слова...

Все эти поступки некстати,
Мечты, и метанья, и сны,
И ты в госпитальном халате
У серой больничной стены.

АНДРЕЙ СЕРГЕЕВ

*

ИЗГНАНИЕ БЕСОВ

Рассказики

ДЕНЬГИ

Мы жили дружной коммуной в боковой комнатухе Юсуповского дворца и занимались социологией.

Человечество бесилось с жиру. Каждый год сносилось и отстраивалось заново по пол-Ленинграда — единственно по той причине, по какой дамы меняют наряды.

Несколько лет назад мы были свидетелями полного отмирания бумажных денег. Бригада художников Гознака во главе с Ю. Васильевым лихорадочно печатала кредитки — то рембрандтовски строгие, то ажурные, как кружева, то ни на что не похожие сюрреалистические и абстрактные купюры. Все было напрасно: никто их не брал.

С темпами, свойственными веку, вышла из обращения и жалкая нынешняя мелочь. Ее заменили прекрасные тяжелые старинные рубли. Позапрошлой осенью вошла в моду антика, что было пресечено кровавым вмешательством государства: при современной технике Грецию и Рим чеканили в любой подворотне.

И в один прекрасный день Витька Мохов по прозвищу Карл Маркс собрал нас всех и неожиданно спросил:

— Что, парни, может существовать общество без денежного обращения?

— Нет! — хором ответили мы, и эхо гулко прокатилось по нашим пустым желудкам.

— Так вот, тенденции развития неизбежно приведут к тому, что в обращении в качестве последнего средства останется одна-единственная монета-уникум. Однако, не располагая достаточной статистикой, я не могу сказать, какая именно...

Витькиным словам было суждено сбыться через неделю. Это был латунный рубль, который партизан Ковпак сделал сам для себя.

Легко представить, с какой скоростью он переходил из рук в руки, обслуживая трехсотмиллионное население. Все были довольны, а рубль, истираясь, буквально таял на глазах.

Общество стояло на грани катастрофы...

1956.

СТАРАЯ НОВАЯ МОСКВА

— Кремлевскую стену еще при Ленине построили. Против левых эсеров. И Спасскую башню тоже. Еще кино было «Кремлевские куранты». Там один все старается, чтобы они гимн Советского Союза играли. А Верховный Совет, дворцы и палаты — при Сталине. Украшательство. Архитектурные излишества.

— Церкви там старинные вроде?

— Какие старинные! Были бы старинные, их бы живо снесли. Под метлу. В Москве ни одного старого дома не осталось! Тоже при Сталине построили.

— Зачем Сталину церкви?

— А для культа личности. Для иностранцев.

— А на Красной площади Василий Блаженный?

— Тоже при Сталине. Покрасили его, правда, при Хрущеве. При Хрущеве еще на месте арсенала Дворец съездов отгрохали. Там тогда по воскресеньям кино бесплатно показывали. Сталин, тот всех боялся, арсенал в Кремле устроил. А Хрущев арсенал снес, все хотел показать, что ему-то бояться нечего...

1965.

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА ОБ УПОРЯДОЧЕНИИ НАИМЕНОВАНИЙ ИСТОРИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ СТРАНЫ

С целью расширения и углубления социалистических преобразований упорядочить наименования исторических центров страны, в связи с чем с 7 ноября с. г.:

столице нашей родины городу Москве как историческому центру, наиболее тесно связанному с расцветом политического творчества основателя советского государства Владимира Ильича Ленина, — присваивается наименование Ленинград;

городу Ленинграду как исторически новому образованию, имеющему целью исполнение интернационалистского долга и оказание братской помощи народам Европы, а также в память о свержении царского самодержавия, — присваивается наименование Новгород;

бывшей столице Владимирского княжества, а ныне образцовому центру ленинского труда и дисциплины городу Владимиру в честь Владимира Ильича Ленина, — присваивается новое наименование Владимир;

городу Киеву с целью упрочения его значения как исторического центра всех славянских народов и против украинских буржуазных националистов, — присваивается наименование Москва;

городу Новгороду как старейшему историческому центру Древней Руси и матери городов русских, прусских, польских, литовских, латышских, эстонских, финских, шведских, норвежских, датских, голландских и других, — присваивается наименование Киев.

Председатель Президиума Верховного Совета

Секретарь Президиума Верховного Совета

Ленинград, Кремль.

7 ноября с. г.

1980.

ПРЕКРАСНАЯ ФРАНЦИЯ

Ясновидящий Кукушкен не советовал генералу Ауе лететь на Мартиники.

И вот теперь Кукушкен стоял на панихиде в Доме инвалидов и с огорчением видел, что в урну якобы с прахом разбившегося генерала чья-то бесчувственная рука натрусила горелой обивки от самолетного кресла.

Сопровождая выспренние слова дидактическими телодвижениями, президент де Голль произносил длинную самовлюбленную речь. Кукушкен понимал, как досадно президенту, что гибель генерала нельзя приписать проискам американцев или хотя бы англичан.

«Не пушу их в Общий рынок, — думал де Голль. — Пусть себе хуже сделаю, а не пушу!»

«А ведь и правда хуже сделает, — понял Кукушкен. — Если только не помрет вовремя. — Кукушкен привычно сосредоточился. — Съедят его евреи». — Кукушкену стало неловко от неуместного профессионализма, и он устоялся в пол.

Плита, на которой он стоял, была стесана снизу на дюйм. На стесанной поверхности ее когда-то было выбито: «Здесь гниет зловонная туша контессы Де Ноай, любовницы последнего Капета. Прохожий, плюнь на эту могилу. Патриоты XI аррондисмана».

Кукушкен горестно вздохнул и под косыми взглядами присутствующих протиснулся на другое место. Теперь под ногами не было никакой надписи. Зато справа и чуть впереди он увидел сквозь сияющие новые сапоги сбитые в кровь ноги советского военного атташе. Лицо атташе изображало неподдельное страдание.

«Все разбейтесь, сделайте одолжение!» — прочитал Кукушкен мысли представителя Великобритании. Зато американский атташе был светел лицом и чуть ли не радостен.

«Вот славный парень был! — думал американец про усопшего. — Как мы с ним здорово пили! Умеют это французы. Жаль, что на такую дрянную фирму работал!»

Кукушкен повернулся и стал пробираться к выходу. Стоявший в почетном карауле за урной кофейный господин с Мартиники смотрел на уходящего с ненавистью. Кукушкен спиной чувствовал, что кофейный господин думает:

«Черт бы тебя побрал! В кой век раз помянут Мартинику, так ты нос воротить! Метрополия...»

1962.

ВОЕННАЯ МУЗЫКА

Капеллу собрали за месяц до фестиваля народной музыки. На первой же репетиции бас Фюлеп безобразно сфальшивил. Когда капеллу погнали на рентген, доктор Шпиц легко обнаружил, что Фюлеп тайно залечивает колит. Фронтовые товарищи с позором изгнали дезертира.

Репетиции шли. Поскольку ни один из участников не мог протянуть более восьмитака, партитура была расписана со скрупулезной точностью. Зияние, образовавшееся после удаления Фюлепа, было поистине вопиющим. За двадцать дней до открытия маэстро фон Галустьян скрепя сердце пригласил на вакантное место фройляйн Магду Позен, давно добивавшуюся этой чести. Капелла роптала, ветераны говорили о фронтовом товариществе и окопном братстве, но все понимали, что поделаться уже ничего нельзя.

За неделю до фестиваля доктор Шпиц посадил капеллу на усиленную зондердиету, исключив из рациона белый хлеб и введя в него консервированную болгарскую фасоль в томате.

В день открытия перед культурхалле собралась невиданная толпа. Несчастные спрашивали друг у друга, нет ли лишнего билетика, и не достаивали друг друга ответом. Важно шествовала на концерт столица. Весело неслись Штирия и Каринтия. Чинно шагали баварцы в охотничьих шляпах с перышком. Соря деньгами, двигались американцы. Рассказывают, что на концерт без билета прошел один рискованный советский турист, пожертвовавший всей своей скудной валютой на проезд от Вены и обратно. Словом, вся Австрия с соседями и гостями была в этот вечер в Линце. И это несмотря на то, что поблизости в Граце для отвлечения публики гастролировал хор Александра. И никто не обращал внимания на нескольких мрачных немолодых субъектов, обреченно стоявших в углу с плакатами: «Дружный бойкот реваншистскому сборищу!», «Мир победит войну!» и «Янки, прочь из Вьетнама!».

Как шел концерт — не важно. Все ждали заключительного номера. И наконец вислоухий детина, позвякивая голосовыми связками, как связкой ключей, зычно возвестил:

— Музыка двух мировых войн! Выступает объединенная австро-германская фурилкапелле под управлением Зигфрида фон Галустьяна!

Занавес пополз вверх, и восторженные зрители, допущенные не ближе десятиго ряда партера, увидели фронтowych товарищей, которые возлежали на черных шезлонгах без сидений. На фраках поблескивали ордена и медали. На груди дирижера лоснился цинковый знак за Крым.

— Зиг хайль! — крикнул кто-то из ложи.

— Баба! — охнула галерка, увидев элегантную Магду Позен.

— Марш Радецкого! — выкрикнул вислоухий детина.

Дирижер поднял палочку. Капелла натужилась. И вдруг дробь невидимого барабана рассыпалась в напряженной тишине. Звуки военных флейт и труб заметались по сцене. Бас Магды Позен и фагот одноногого ландштурмиста зычно вплетались в общую гармонию. То тут, то там глухо ударял контрабас...

— Вена вир марширен! — объявил детина. И тут зал не выдержал. Звучи песни, которая была песней молодости большинства присутствующих, воскресила в памяти веселые отчаянные годы, когда они с шутками шли по Варшаве, Парижу, Афинам, Риму, когда блеск легких подвигов затмевал все на свете. Пели тирольцы и баварцы, пела Штирия, Каринтия и Северный Рейн—Вестфалия. Подпевали ничего не подозревавшие американцы. Подпевал даже рискованный советский турист — тем более что песня напоминала ему не то Блантера, не то Мокроусова...

Стоит ли говорить о дружном возмущении газет, о дипломатических нотах, клеймивших реваншистскую вылазку. Это и правда была реваншистская вылазка. Но это также событие и, как всякое событие, несомненно заслуживает благосклонного внимания художественной литературы.

1966.

ТЕЛЕГА-ДЕРЕВО

Он убил его. Он убил его, как всякий русский может убить китайца. И вот его вели на казнь. Вернее, не вели, а вел безоружный конвойный китаец, все время путавший хорошо утопанные безлюдные улицы и переулки дачного поселка. Наконец китаец увидел за полотном железной дороги название станции и кивнул головой.

Мимо них прошли две пожилые женщины с кошелками. Одна говорила:

— ...и написано: от десяти сорока часов до восемнадцати сорока часов...

Надо было спуститься с насыпи на полотно, и китаец сказал:

— Иди вперед.

В голосе его слышалось сочувствие. Русский пошел вперед, но китаец, плохо координировавший движения, сбегая, опередил его и первым пересек полотно, спотыкаясь ногами обо все рельсы.

«Ишь, телега-дерево, — подумал русский, — спотыкается», — и сам споткнулся правой ногой о последний рельс. Внутри его что-то оборвалось.

«Господи, спаси, Господи, пронеси, Господи, избави», — быстро заговорил он про себя, взбираясь на противоположный скат, но душа была ленива и молитвы не получалось.

Перед ними была поляна с тремя виселицами из телеграфных столбов. Слева на сосне виднелось облупленное объявление, на котором можно было разобрать только:

«...от 10.40 часов до 18.40 часов...»

Кругом не было ни души.

«Бежать!» — мелькнуло в сознании. Но бежать не хотелось.

И вот он висел, отделенный от всех тонкой красной полоской на шее. Лицо его было гладко выбрито. На ябу чернея царापина.

1957.

СОБ. ИНФ.

Вопреки распространенному мнению, Колумб не открывал Америки. К западу от Канарских островов его шхуны «Пинта», «Нинья» и «Санта-Мария» попали в зону действия известной магнитной аномалии. В силу этого дальнейший путь Колумба пролегал не к Америке, но к Гренландии. Рассказы его моряков о тропических лесах следует приписать стрессовому состоянию, вызванному недостатком витамина С. Однако сообщения о голых туземцах не надо считать вымыслом: доказано, что при определенных условиях эскимосы могут оставаться на сильном морозе без одежды по пять и более часов. Известный норвежский путешественник Хер Туйердал, повторивший путь Колумба от Палоса до Гренландии на базальтовом плоту, утверждает, что открытие Америки и проникновение в Новый Свет европейских поселенцев относится к концу восемнадцатого — началу девятнадцатого века. Он полагает также, что Соединенные Штаты могли быть основаны не ранее чем в семидесятые годы прошлого века.

1964.

ЛАТИНОАМЕРИКАНСКИЙ МОНОЛОГ

Лавры, лавры тебе, Каррера, освободитель Гватемалы.

Лавры, дважды лавры тебе, Артигас, освободитель Восточного Уругвая.

Лавры, трижды лавры тебе, О'Хиггинс, освободитель Чили.

Лавры, четырежды лавры тебе, Сан-Мартин, освободитель Аргентины.

Лавры, пять раз тебе лавры, Идальго, скромнейший провозгласитель свободы Мексики.

Лавры, шесть раз тебе лавры, Дуарте, освободитель от негров, создатель Доминиканской Республики.

Лавры, семь раз лавры тебе, божественный Боливар, освободитель семи республик.

Но я скажу лишь одно слово, одно лишь слово: лавры, стократно лавры тебе, наш возлюбленный Сукре, освободитель родины.

Я люблюсь — не я, почему я один? — мы все любимся твоим благородным индейским профилем.

Мы, коренные жители континента, любимся твоей — своей — красотой. Твоей — своей — силой. Твоим — своим — мужеством. Твоим — своим — гением.

Высокие духом, как ты, как мы, рождаются только в горах — в Андах, в Альпах.

Мне сказали, что в Альпах был герой Вильгельм Телль, освободитель Швейцарии. Думаю, ты превзошел Телля. Ибо Швейцария — маленькая страна на краю Европы. А нам, сынам Сукре, Господь и природа дали место в самой середине земли.

Мне сказали, мне было неловко слушать, что Срединной страной китайцы считают Китай, прилепившийся к тесным Желтым морям.

Мне было стыдно слушать эти слова. Ибо посередине земли — мы. Середина земли в каждом звуке нашего наименования. И мы глядим в океан, в распахнутый мир.

В нашем гербе гора, океан, пароход. Символы высоты, бескрайности и всемирной отзывчивости. Мы думаем обо всем человечестве и говорим всему человечеству.

Скажите — вот вы, нет, лучше вы, нет, лучше вы все скажите: кто в мире не слышал наш голос? Кто в мире не слышал «Голос Анд»? Кто не слышал слово спасения?

Колумбия? Восточный Уругвай? Янки?

Даже русские в мрачной России, где снег не только на горных вершинах, но и на полях и на пастбищах, — даже русские слушают «Голос Анд».

Ради русских к нам с края света, из дальней Канады, приезжает несравненный Яков Соленко, и русские затаив дыхание слушают его пение, слушают «Голос Анд», слушают Голос Господа.

Ибо Богу было угодно, чтобы наш голос стал Его Голосом.

Голос Господа, «Голос Анд» всемогущ.

Общеизвестно, что третья мировая война давно назрела. Поджигатели готовы развязать ее даже сию минуту. Но смотрите — смотрите — смотрите — ее нет! Ее нет уже сто — что я сказал? — сто пятьдесят лет! В мире мир. И причиной тому — я, вы, мы, наш благодатный голос. Смолкни на миг «Голос Анд», и на юг с пением «Таракана» ринутся орды захватчиков. Но голос не умолкает, и реваншисты бессильно в своем кругу поют мерзкого «Таракана», отвратительную «Кукарачу». Стоя по правую руку Господа, мы сознаем свою силу и с презрением позволяем им тайно мечтать о Великой Мексике в границах империи Итурбиду. Наш голос вечно хранит мир в западном полушарии и во всем мире.

Лавры, тысячекратно лавры мне, ему, ему и ему, и ему, и всем сынам Сукре, палабра.

Я счастлив, что я эквадорец.

1984.

ТОВАРИЩ ФУЛЬХЕНСИО

Если в приверженцах какого-либо учения видеть не фанатиков, ослепленных целью, но обычных людей, более всего поглощенных повседневными заботами и увлечениями, то придется признать, что Куба при диктатуре Фульхенсио Батисты была настоящим раем для коммунистов. Они получали деньги и указания из Кремля, деньги безбоязненно тратили на свои личные надобности, указания исполняли про форма, шеголяя революционными фразами и послушно голосуя за благодетеля на международных форумах, но к власти не рвались, предпочитая ей тихое процветание под сенью необременительного режима. Видя это, Батиста не только не притеснял их, но даже делился с ними некоторыми внешними атрибутами власти, возвышая членов коммунистической партии до министерского ранга.

Москва радовалась успехам кубинских братьев, а те так привыкли мысленно благословлять Батисту, что на XIX съезде ВКП(б), намереваясь провозгласить здравицу товарищу Сталину, Съенфуэгос невольно воскликнул:

— Да здравствует товарищ Фульхенсио!

За исключением пишущего эти строки, вряд ли кто из присутствовавших заметил его оплошность, ибо под влиянием общего энтузиазма как испаноязычные гости, так и советские переводчики в сознании соединили благое пожелание с верным его воплощением.

Известно, что никакой статус-кво не бывает вечен, и с течением времени на Кубе Батиста всем опротивел. В отличие от своего доминиканского аналога Леонидаса Трухильо, удерживавшегося у кормила поистине мафусалилов век, Батиста не обладал ни львиной свирепостью, ни счастливой наружностью, ни изящными манерами. Если доминиканцу не стоило труда переименовать столицу из Санто-Доминго в Трухильевск, то Гавана ни при каких обстоятельствах не превратилась бы в Сьюдад-Батиста, ибо приземистый толстобокый Фульхенсио, справедливо опасаясь насмешек, не посмел даже воздвигнуть себе конную статую, которую уже изготовил для него известный венгерский скульптор Кишфалуди-Штробл.

Радость Москвы, революционные лозунги и мнимые успехи кубинских коммунистов вкупе с одряхлением диктатора не на шутку встревожили Вашингтон, и поэтому, когда Кастро поднял мятеж, Соединенные Штаты поддержали его как движение, направленное против возможной и нежелательной революции, и тем самым вместо мнимой опасности приобрели реальную, ибо для успеха своего предприятия Кастро вынужден был объявить себя истинным марксистом, т. е. лицом более радикальных воззрений, чем

весь кубинский истеблишмент от диктатора до коммунистов. Кремль увидел в кастроатах, не признававших его авторитета и откровенно занимавшихся вымогательством, силу, ослабляющую позиции заокеанского соперника, и предоставил им щедрую помощь, которая все более и более отдаляла Кубу от американского материка.

Мог ли что-нибудь предпринять Вашингтон, когда Соединенные Штаты еще переживали те блаженные времена, в которые слава бессмертных братьев Маркс намного превосходила известность их темного лондонского однофамильца? И могли ли американские государственные деятели — а среди них было немало людей трезвых и дальновидных, — могли ли они, воспитанные в понятиях джентльменской добропорядочности, отказаться от данного слова и прийти на помощь к расплывшемуся по швам Батисте и тем более — обреченным на физическое уничтожение коммунистам? Читатель сам даст верный ответ на эти вопросы, особенно если учтет что антидемократические устремления Батисты никогда не казались американцам привлекательными.

Телезрители обоих полушарий помнят, как перед расстрелом Сьенфуэ-гос со скорбной улыбкой промолвил:

— Товарищ Фульхенсио...

1984

БЕТХОВЕН

Бетховену дали однокомнатную квартиру со встроенным роялем на первом этаже тысячеквартирного блока окнами на Карлмарксалее. Гудки машин и хрип транзисторов не беспокоили глухого музыканта, зато летними вечерами гуляющие могли в открытое окно слушать «Лунную сонату» или что-нибудь столь же успокоительное. Во избежание недоразумений под окном прибили мемориальную доску: «Здесь живет великий немецкий композитор Людвиг Бетховен (1770—1827—1968—)».

Эксперимент удался на славу, тем более что Бетховен не нашел общего языка с гражданами ГДР и, следовательно, не мог вести среди них враждебную пропаганду.

Скрытые микрофоны и телекамеры круглосуточно регистрировали отправления воскрешенного маэстро. Контейнер под унитазом давал ценнейшую пищу для размышлений. Наконец параметры гения были установлены, и электронно-вычислительная «Кама» стала производить 1,32 симфонии, или 4,75 сюиты, или 5,20 сонаты, или 146 багателей в смену. Произведения в порядке очередности приписывались активистам и осведомителям из народной консерватории. Бетховен тем временем что-то кропал вручную, но никто не обращал на него внимания. Когда он вторично умер, Ульбрихт прислал роту солдат для воздания воинских почестей.

«Нойес Дойчланд» взалхлеб восхищалась новой немецкой классикой, а западные газеты нехотя писали об унылых эпигонах, которых невозможно отличить друг от друга. Арт Бухвальд даже договорился до того, что вся гедеэровская музыка сочинена компьютером по-видимому устаревшей конструкции.

1965.

ВОРОШИЛОВ

Я спешил по аллее, окаймленной высокими кустами таволги, и чуть не столкнулся с Ворошиловым. Я не сразу сообразил, что это он, и сделал было шаг вперед, но вовремя спохватился и поздоровался. Я избегаю встреч с официальными лицами, но с Ворошиловым я недавно виделся в одном доме и не поздороваться с ним значило бы обидеть этого седого старого человека. Он протянул мне руку — небольшую, почти квадратную, с короткими пальцами и жесткую, как мозоль — и вдруг наискосок подался ко мне и поцеловал меня в угол левой щеки туда, откуда начинаются губы. Я

остолбенел, но через мгновение вспомнил, что на официальных церемониях Ворошилов ежедневно жмет руки и целует людей — не то в щеку, не то в губы. И поцелуй, которым он наградил меня, был машинален и ничего не значил.

1955.

КУРОЕДОВ

Шло богослужение.

В задней части храма за деревянным магазинным барьером стоял председатель Комитета по делам православной церкви Куроедов и тщательно избегал случайных взглядов молящихся.

Вслед за шефом я прошел за барьер, шеф опередил меня и скрылся за боковой дверью. Прячась за стекла пенсне, Куроедов принялся меня разглядывать. У него были седоватые волосы, по-школьному стриженные под бокс; к низу белого бабьего личика сбегали тонкие глубокие морщины; стирания гимнастерка подпоясана узким кавказским ремешком с висюлькой; на ногах штатские брюки в полоску и начищенные детские полуботинки.

Он старался не глядеть мне в глаза, но я изобразил на лице такое счастье, такое восхищение, что он не выдержал:

— Не католик? И то благо. Помолиться пришли? Я вот теперь Богу почти не молюсь, только человекам. Уповаю, может, кто за меня помолится...

1966.

чем не является, при том что томность издания отрицательно отражается на последующих контингентах.

Так, из читателей «Войны и мира» I том прочитал 61 проц., II том¹ — 48 проц., III том — 41 проц., IV том — 39 проц. Обратим внимание на симптоматический разрыв (13 проц.) между I и II томами, демонстрирующий психологический барьер томности, равно как ничтожную разницу в показателях (2 проц.) III и IV томов. Видимо, в последнем случае далеко зашедший читатель решаетея проделать путь до финиша.

Но как быть с детерминантом № 1 — с 39 проц. читателей, не дочитавших до конца I том упомянутого издания? Неужели вина за это ложится только на них? Тем более что в обследованной группе 47 проц. составляют лица с незаконченным и законченным высшим образованием, в том числе несколько носителей ученых степеней? По какому же пра пра пра пра пра пра

1977.

¹ Здесь и ниже — данные по томам, прочитанным изолированно, так и вкупе с предшествующими. (При м. ред.)

ГОСТЕПРИИМНАЯ БАЛТИКА

К курортному сезону в Паланге готовятся с осени. В беседе с нашим корреспондентом председатель Палангского горсовета тов. Ш. Микунис рассказал:

— Следующее лето будет жарким — 129 солнечных дней за период с первого июня по тридцать первое августа. Эту и другие точные цифры мы получили на новой советской электронно-вычислительной машине «Кама». Мы постараемся достойно принять очень дорогих гостей. Их будет 106 472 человека. По одному месяцу проведут на курорте 76 201 человек, по

два — 28 890. По три месяца будут гостить у нас 1281 человек. Интересно отметить, что из этих 1281 человек — 1280 московские пенсионеры. За тот же период утонут в море 147 человек, в том числе мужчин 32, женщин 19, детей и стариков 96. По национальному составу утонувшие распределяются следующим образом: на первом месте русские (42 человека), на втором евреи (41 человек), на третьем латыши (29 человек). Советуем соблюдать особую осторожность нашим гостям с Кавказа: из 32 азербайджанцев навеки останутся в волнах 27. Зато литовцам бояться особенно нечего — на их долю приходится всего одна утопленница, семилетняя девочка с дефектом речи. Политический облик утопленников будет таков: членов КПСС — 80, комсомольцев — 2, беспартийных — 57, агентов иностранной державы — 1. По понятным причинам имена утонувших заранее опубликованы не будут.

1967.

ОТОВСЮДУ

Учащиеся третьего ремесленного училища города Соликамска готовят к Шестому всемирному фестивалю молодежи и студентов в Москве интересный подарок — настольные часы из пластилина.

1955.

СТРАННЫЙ ПОСТУПОК

Директор магазина «Изотопы» некий Барышников пытался похитить знамена московских профтехучилищ, стоявшие в гардеробе нового здания ЦДЛ, что на улице Герцена, во время проходившей там учительской читательской конференции, причем подверг радиоактивному заражению латунный наконечник древка 613-й школы Шкирятовского района.

Задержанный не мог дать никакого объяснения своему поступку.

Старший следователь московской городской прокуратуры тов. Беглов, учитывая отличную производственную характеристику и профессиональное заболевание Барышникова, а также невозможность сбыта красных знамен, высказал предположение, что они были похищены под влиянием минутной слабости.

1965.

ЯКИР

С командных высот нам бросили нужный лозунг: даешь ГНЗ! Он понятен всем командирам и комиссарам, за него идет в бой каждый червоноармеец. Мы провели совместные маневры трех округов и рапортуем наверх: есть ГНЗ!

Граница на замке, но враг не дремлет. На маневрах мы впервые в истории успешно применили массированное использование воздушных десантов и танковых соединений. Каков будет наш ответ, если это применение использует панская Польша или боярская Румыния? Наш ответ: сегодня на замке граница, завтра — вся республика.

Начнем с центра. Товарищ Скрыпник правильно предложил наименовать его районом сплошного ПВХО СРУ. Столица Радянської України будет на замке через три месяца. Для этого потребуются четыре мероприятия:

1. Переселение населения с верхних этажей домов на нижние, желательно в подвалы и полуподвалы.

2. Размещение на верхних этажах и крышах свыше четырехэтажных домов артиллерийских и пулеметных гнезд для огня по аэропланам, парашютистам и городу.

3. Сознательное приобретение всеми гражданами противогазов Зелинского—Куманта последнего образца. Обратить внимание резиновой про-

мышленности на производство масок для дошкольников и лиц грудного возраста.

4. Ударная ликвидация в черте города всех зеленых насаждений как мешающих быстрой дегазации.

Товарищ Косиор напомнил о ПТО СРУ. Есть, товарищ Косиор! Намечены два мероприятия:

1. По периметру внешнего обвода укрепрайона в радиусе не менее 25 километров разместить в лесистых зонах на удалении не более 25 километров друг от друга железобетонные огневые точки с вращающимися бронебашнями.

В бронебашнях установить луч смерти инженера Цериовича. Обеспечивает полное уничтожение танков и живой силы на расстоянии свыше 25 километров. Близлежащие села и города в целях маскировки не эвакуировать.

2. Там же построить не менее пятидесяти насосных станций для полного заболачивания предполья на максимальную глубину.

Товарищи Чубарь и Петровский улыбаются. Верно улыбаетесь, товарищи! Часть насосных станций мы соединим с городской канализацией — пусть враг понюхает, как пахнет его смерть!

1974.

ФИНИЦСПЕКТОР О ПОЭЗИИ

— Декларация... поэзия, точка... та же добыча радия, ра-ди-я... в грамм добыча, в год труды... Грамм в год... Радий, радий... «Рабкрин», «Рабовладение», «Радек», «Радий», да... радий: 120 тысяч американских долларов за грамм... Так... Са-мо-об-ло-же-ни-е... из расчета ста двадцати тысяч американских долларов в год...

1972.

СЕКРЕТОРНАЯ

На станции Секреторная никто их не встретил. Сталин легко спрыгнул с подножки и кошачьей походкой направился к станционному зданию. Он успел убедиться, что там нет ни начальника, ни кассира, ни телеграфиста, а Ворошилов еще спиной вперед тяжело выползал из вагона, вцепившись обеими руками в древко правого поручня и беспомощно перебирая ступеньки короткими ногами. Плечи ему оттягивал огромный круглый мешок.

— Никого, — сказал Сталин.

— Никого, — пусто отозвался Ворошилов и вдруг прибавил: — Ты как хочешь, а я пойду.

— Куда? — удивился Сталин.

— На завод. К немцу, — и заверил: — Примет, у него забастовка.

Сталин долго стоял на перроне, глядя, как с одной стороны по пыльному шляху удалялась паукообразная из-за мешка фигура главнокомандующего, а с другой — прямоугольные очертания уменьшавшегося поезда.

1970.

ФАКИРОД

Войдя в тесноватое помещение лавочки «Факирод и сын», вы обычно видели в глубине налево, за дощатым прилавком, заострившиеся черты всегда небритого выхошего человека с костлявыми ладонями и плечами. Это и был сам Иван Исаевич Факирод, неожиданно тощий колбасник, паук и ворон здешних мест, выходец из кантонистов.

Иногда же за прилавком не было никого, зато направо, под аквариумом с золотыми шемаханскими рыбками, служившими для привлечения покупателей, вы вдруг замечали отвислый тучный живот и ноги, похожие на ко-

лонны. И вам на минуту казалось, что аквариум покоится не на тонких железных ножках, а на этих двух слоновьих ногах, одетых в серые полосатые брюки. Однако и на сей раз это был тот же Иван Исаевич Факирод, сам залюбавшийся своими же рыбками и застигнутый вами в редкую минуту задумчивости.

Ибо неожиданной его худобе в лице, груди и руках соответствовала еще более неожиданная тучность, даже отечность всего, располагавшегося у него ниже пояса.

Сын его, Гавриил Факирод, получавший образование в прогимназии, попытался как-то объяснить данный феномен стоячим образом жизни, за что был нещадно высечен и три дня не пускаем в дом.

Рыбки ловили ртами протухлый воздух. Николай Гаврилович зашел в лавочку и спросил фунт чайной.

1957.

ИЗ ВЕЛЬТМАНА

Фекал Иваныч был мирной башкирин. Фамилию его я вряд ли слышал более одного раза и теперь не припомню, а это особенно огорчительно, ибо именно ему я обязан своим спасением и жизнью.

В 188* году я по роду своих занятий должен был объехать верхом всю Голодную степь. Цели моего путешествия я точно не знал, да и когда впоследствии осведомлялся о ней в Петербурге, то неизменно встречал лишь многозначительное пожимание плечами или туманные рассуждения о материях столь возвышенных, что простому смертному о них лучше и не задумываться.

Поездка моя была однообразна и утомительна, и, может быть, о ней не стоило бы рассказывать столь подробно, если бы не то обстоятельство, что на всех этапах пути моим попутчиком странным образом оказывался кандидат ***ских наук Тригорев, с которым я незадолго до того познакомился в Пишпеке.

Трагедия разыгралась одиннадцатого августа. Добрейший Фекал Иваныч поднял меня ни свет ни заря. Губы его дрожали, с кончиков пальцев капала кровь.

— Вставай, бачка, — говорил он. — Тиригори тебя убила — ай-яй-яй.

Я приподнялся на кошме и увидел пустое место в том углу юрты, где располагался на ночлег мой непрощенный спутник. Напрягши слух, я различил слабый стук удаляющихся копыт.

— Бир манат, — сказал Фекал Иваныч.

Мне нечем было отблагодарить славного туземца, и я с немалым сожалением отдал ему сопутствовавший мне во всех скитаниях по морю житейскому эмалевый портрет моего деда — известного реформатора времен Александра Благословенного графа Алексея Андреевича Аракчеева.

1965.

КОНТРОВЕРЗА

Как известно, Маркс обозвал Герцена царским шпионом, а Герцен обозвал Маркса плюгавым мерзавцем.

Замечательно, что этот обмен репликами не имел какой-либо политической подоплеки.

В Марксе говорила досада ущемленного собственника, в Герцене — сознание сексуального превосходства.

Речь идет о малоизученном и психологически не вполне объяснимом романе Герцена с женой Маркса.

Поистине непонятно, что нашел Герцен в перезрелой матроне с шестью дочерьми. Так же непонятно, что нашла бывшая аристократка в прижимистом неопрятном варваре. Разве что ее дворянскую чувствительность до глубины души оскорблял цветущий фурункулез мужа.

Перед историком в неожиданном свете предстает идеальная Елена Демут, сыгравшая роль сводни. Елена Демут усердно служила Марксу многие годы и даже родила ему сына, Карла-младшего, и не получила за это ни гроша вознаграждения. Можно предположить, что ею двигала месть, а может быть, она прельстилась на широкие посулы и небольшие подачки русского барина.

1986.

ТРИ ГЕРМАНИИ

Когда баварцы расколошматили пруссаков под Штутцем и вступили в Берлин, не было на свете людей несчастней, чем венские классики.

Сообразив, что темный Берлин не будет долее выгодным противовесом просвещенной Вене, Брамс с чемоданчиком убежал предупредить ленивого Шумана.

— Вена погибла. Теперь нам тут нечего делать. Наша столица — Мюнхен, — выпалил он.

Слова его доходили до слабоумного Шумана добрую четверть часа, столько же понадобилось ему, чтобы оценить их справедливость. Еще минут десять Брамс собирал в дорогу хозяйские вещи и ноты, так как Шуман все время путался под ногами. Когда они вышли на улицу, было уже поздно.

Весь Мюнхенский тракт насколько хватал глаз был запружен напуганными композиторами. Впереди всех неся, бросив семью, Моцарт. За ним поступью гриммовского скорохода мерно вышагивал счастливый Глюк. Пронырливый Малер бодро толкал перед собой тачку с имуществом. Впрягшись в телегу, упрямый Бетховен с ненавистью тащил партитуру Девятой симфонии. Добрый Гайдн нес на закорках больного Шуберта.

А в дальней дали, там, где небо сходилось с землей, Вагнер уже раздавал пограничникам золотые дукаты, чтобы те не впускали в Баварию конкурентов.

Весело улыбался в Лондоне предусмотрительный Гендель, а в Берлине Бисмарк брел под конвоем на виселицу — но и ему было легче, чем Брамсу и Шуману.

1972.

ДВОРОВЫЙ МАЛЬЧИК

Молодой Шереметев зазвал Николая Павловича в Останкино и повел себя, как диндон де ля фарс.

Государь объявил, что завтра же вернется в Москву а пока никого не желает видеть.

Государь не привык к одиночеству и томился за утренним кофе. Глядя в окно, он заметил, что из-за Артемиды с колчаном и стрелами на него смотрит дворовый мальчик.

Николай Павлович любил детей и властным манием руки призвал нежданного соглядата.

— Сей будет мой сотрапезник! — громко сказал он и спросил. — Ты любишь своего царя?

Мальчик кивнул.

— Тебя как звать?

— Андрюня.

— Не Андрюня — Андрей, — исправил Николай Павлович. — Век будешь помнить, как пил кофий с царем!

Николай Павлович жестоко ошибся в госте. Дворовый Андрей, уже после кончины Николая Павловича, убил его сына и преемника императора Александра Второго.

1982.

КОСТЮШКО

Генералиссимус Суворов познакомился с Костюшкой во время девятого польского бунта. При штурме Праги щуплый человечек поймал трех казаков за пики и попытался вонзить острия себе в сердце.

— Отставить! — крикнул Суворов.

Казаки приволокли человечка.

— Помилуй Бог, да это Костюшко! — Суворов запел петухом. — Гей, чудо-богатыри, согласны служить под таким героем?

Как всегда, казаки были согласны.

— А ты — ты хочешь быть их есаулом?

Костюшко не захотел:

— Нех пан пулководец пустит меня до Америци.

Суворов никогда никому не отказывал.

Вскоре Костюшко познакомился с генералом Вашингтоном.

1982.

КУРГАНОВ

— Светон, добрая душа, — говорили о нем, когда утром он гнал гусей по мосту, и то же самое говорили о нем, когда вечером он совершал обратный путь в бричке с плисовым верхом, ибо это была ИСТИННА.

1975.

СТАРИННЫЙ АНЕКДОТ

Некий человек, вынося вазу, узрел в бариновом дерме золотую иглицу и, паки удивившись, вопрошал:

— Како возможно, прияв сию иглицу, издать ее не оцарапамшись?

— Дурак, — ответствовал барин, — это от камзола.

1963.

АБСОЛЮТ

— Почто не шевельнешься? — спросили убитого.

Оный не удостоил ответом.

1962.



ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

Д. С. ЛИХАЧЕВ

*

НЕЛЬЗЯ УЙТИ ОТ САМИХ СЕБЯ...

Историческое самосознание и культура России

Эти заметки возникали по разному поводу. Иногда как отклик, как реплика в невольном споре с автором очередной статьи (каких немало ныне в печати), содержащей те или иные примитивные суждения о России, ее прошлом. Как правило, плохо зная историю страны, авторы подобных статей неверно судят о ее настоящем и крайне произвольны в своих прогнозах на будущее.

Подчас мои суждения связаны с кругом моего чтения, с раздумьями о некоторых этапах отечественной истории. В своих заметках я никак не претендую на то, чтобы расставить все по своим местам. Кому-то эти записи могут показаться достаточно субъективными. Но не спешите с выводами о позиции автора. Я не проповедую национализм, хотя и пишу с искренней болью по родной для меня и любимой России.

Я просто за *нормальный* взгляд на Россию в масштабах ее истории. Читатель, думается, в конце концов поймет, в чем суть такого «нормального взгляда», в каких чертах национального русского характера скрыты истинные причины нашей нынешней трагической ситуации.

Итак, прежде всего несколько мыслей о том, какое значение для России имеет ее географическое положение.

I

Евразия или Скандославия? О том, что для Русской земли (особенно в первые века ее исторического бытия) гораздо больше значило ее положение между Севером и Югом, и о том, что ей гораздо больше подходит определение Скандославии, чем Евразии, так как от Азии она, как ни странно, получила чрезвычайно мало, об этом я уже говорил в своем вступительном слове на Византийском конгрессе в Москве в 1989 году.

Отрицать значение воспринятого из Византии и Болгарии христианства в самом широком аспекте их воздействия означает становиться на крайние позиции вульгарного «исторического материализма». И речь идет не просто о смягчении нравов под влиянием христианства (мы по себе сейчас хорошо знаем, к чему в области общественной нравственности приводит атеизм как официальное мировоззрение), а о самом направлении государственной жизни, о междукняжеских отношениях и об объединении Руси.

Обычно русскую культуру характеризуют как промежуточную между Европой и Азией, между Западом и Востоком, но это пограничное положение видится, только если смотреть на Русь с Запада. На самом же деле влияние азиатских кочевых народов было в оседлой Руси ничтожно. Византийская культура дала Руси ее духовно-христианский характер, а Скандинавия в основном — военно-дружинное устройство.

В возникновении русской культуры решающую роль сыграли Византия и Скандинавия, если не считать собственной ее народной, языческой культуры. Через все гигантское многонациональное пространство Восточно-Ев-

ропейской равнины протянулись токи двух крайне несхожих влияний, которые и сыграли определяющее значение в создании культуры Руси. Юг и Север, а не Восток и Запад, Византия и Скандинавия, а не Азия и Европа.

В самом деле: обращение к заветам христианской любви сказывалось на Руси не только в личной жизни, что в полной мере трудно учитываемо, но и в политической. Приведу только один пример. Ярослав Мудрый начинает свое политическое завещание сыновьям следующими словами: «Се аз отхожу света сего, сынове мои; имейте в себе любовь, понеже вы есте братья единого отца и матери. Да аще будете в любви межю собою, Бог будет в вас, и покорить вы противныя под вы, и будете мирно живуще; аще ли будете ненавидно живуще, в распрях и которающесея (враждую. — *Д. Л.*), то погыбнете сами и погубите землю отец своих и дед своих, иже налезоса трудом своим великим; но пребывайте мирно, послушающе брат брата». Эти заветы Ярослава Мудрого, а затем Владимира Мономаха и его старшего сына Мстислава были сопряжены с установлениями взаимоотношений князей между собой и правопорядком, наследования княжествами.

Гораздо сложнее, чем духовное влияние Византии с Юга, было значение для государственного строя Руси Скандинавского Севера. Политический строй Руси в XI — XIII веках представлял собой, по аргументированному мнению В. И. Сергеевича, смешанную власть князей и народного веча, существенно ограничивавшего на Руси права князей¹. Княжеско-вечевой строй Руси сложился из соединения северо-германской организации княжеских дружин с исконно существовавшим на Руси вечевым укладом.

Говоря о шведском государственном влиянии, мы должны помнить о том, что еще в XIX веке писал немецкий исследователь К. Леманн: «Шведский строй в начале тринадцатого века (следовательно, спустя три века после призвания варягов. — *Д. Л.*) еще не достиг государственно-правового понятия «государства». «Riki» или «Konungsriki», о котором во многих местах говорит древнейшая запись вестготского права, является суммой отдельных государств, которые связаны друг с другом только личностью короля. Над этими «отдельными государствами», «областями» нет никакого более высокого государственно-правового единства, ни самостоятельного единства, ни единства, происходящего из областей посредством избрания или рождения. Внезапно они стоят один рядом с другим, если не обращать внимания на королей. Каждая область имеет свое собственное право, свой собственный административный строй. Принадлежащий к одной из прочих областей является иностранцем в том же смысле, как принадлежащий к другому государству»².

Единство Руси было с самого начала русской государственности, с X века, гораздо более реальным, чем единство шведского государственного строя. И в этом несомненно сыграло свою роль христианство, пришедшее с Юга, ибо Скандинавский Север еще долго оставался языческим. Призванные из Швеции конунги Рюрик, Синеус и Трувор (если таковые действительно существовали) могли научить русских по преимуществу военному делу, организации дружин. Княжеский же строй в значительной мере поддерживался на Руси собственными государственными и общественными традициями: вечевыми установлениями и земскими обычаями. Именно они имели значение в период зависимости от татар-завоевателей, ударивших главным образом по князьям и княжеским установлениям.

Итак, в Скандинавии государственная организация существенно отставала от той, которая существовала на Руси, где междукняжеские отношения сложились в основном при Владимире Мономахе и его старшем сыне Мстиславе, а затем продолжали меняться под влиянием внутренних потребностей в XII и XIII веках.

¹ Сергеевич В. И. Вече и князь. Русское государственное устройство и управление во времена князей Рюриковичей. Исторические очерки. М. 1867.

² Lehmann, K. Der Königsfreide der Nordgermanen. Leipzig. 1886. S. 7 (см.: А. Пресняков. Княжое право в древней Руси. М. 1993, стр. 61).

Когда в результате нашествия Батыя, явившегося чрезвычайным бедствием для Руси (что бы ни писали о нем евразийцы, подчинявшие факты своей концепции), был разгромлен княжеско-дружинный строй русской государственности, опорой народа остался только его общинно-государственный быт (так думал и крупнейший украинский историк М. С. Грушевский).

Традиции государственности и народ. Отвечая на вопрос о значении Скандинавии для установления на Руси определенных форм государственной власти, мы подошли и к вопросу о роли демократических традиций в русской исторической жизни. Общим местом в суждениях о России стало утверждение, что в России не было традиций демократии, традиций нормальной государственной власти, мало-мальски учитывающей интересы народа. Еще один предрассудок! Не будем приводить всех фактов, опровергающих это избитое мнение. Пунктирно наметим только то, что говорит против...

Договор 945 года между русскими и греками заключается словами «и от всякая княжья и от всех людий Руския земля», а «люди Руской земли» — это не только славяне, но на равных основаниях финно-угорские племена — чудь, меря, весь и прочие.

Князья сходились на княжеские собрания — «снемы». Князь начинал свой день, совещаясь со старшей дружиной — «боярами думающими». Княжеская дума — постоянный совет при князе. Князь не предпринимал дела, «не поведав мужем лепшим думы своея», «не сгадав с мужми своими».

Следует учитывать также издавнее существование законодательства — Русской Правды. Первый же Судебник был издан уже в 1497 году, что значительно раньше, чем аналогичные акты у других народов.

Абсолютная монархия. Как ни странно, но абсолютизм появился в России вместе с влиянием Западной Европы при Петре Великом. Именно с Петра прекратили собираться выборные учреждения, прекратила свое существование и Боярская дума, имевшая власть не соглашаться с государем. Под документами Боярской думы наряду с обычной формулой «Великий государь говорил, а бояре приговорили» можно встретить и такие формулировки: «Великий государь говорил, а бояре не приговорили». Патриарх в своих решениях часто расходился с царем. Многочисленные примеры тому можно встретить в период правления царя Алексея Михайловича и патриаршества Никона. И Алексей Михайлович вовсе не был бездеятельным и безвольным человеком. Скорее наоборот. Конфликты царя и патриарха достигали драматических ситуаций. Не случайно Петр, воспользовавшись удобным случаем, упразднил патриаршество и заменил патриаршее управление коллегиальными решениями Синода. Петр был прав в одном: легче подчинить себе чиновничье большинство, чем одну сильную личность. Это мы знаем и по нашему времени. Может существовать гениальный и популярный полководец, но не может быть гениального и популярного генерального штаба. В науке великие открытия, сделанные одним человеком, почти всегда встречали сопротивление большинства ученых. За примерами ходить недалеко: Коперник, Галилей, Эйнштейн.

Впрочем, это не значит, что я отдаю предпочтение монархии. Пишу это на всякий случай во избежание возможных недоразумений. Я отдаю предпочтение сильной индивидуальности, а это нечто совсем другое.

Теория «московского империализма» — «Москва — Третий Рим». Странно думать, что в еще не подчинившемся Москве Пскове старец небольшого Елеазарова монастыря создал концепцию агрессивного московского империализма. Между тем давно указан смысл и источник этих кратких слов о Москве как Третьем Риме и раскрыта подлинная концепция происхождения ее великокняжеской власти — «Сказание о князьях владимирских».

Император, по византийским представлениям, был протектором Церкви, при этом единственным в мире. Ясно, что после падения Константинополя в 1453 году, в обстановке отсутствия императора, русской Церкви необходим был другой протектор. Он и был определен старцем Филофеем в

лице московского государя. Другого православного монарха в мире не существовало. Выбор Москвы в качестве преемницы Константинополя как нового Царьграда явился естественным следствием представлений о Церкви. Почему же потребовалось целых полвека, чтобы прийти к подобной мысли, и почему Москва в XVI веке не приняла этой идеи, заказывая отставному митрополиту Спиридону совсем другую концепцию — «Сказание о князьях владимирских», преемниками которых были московские государя, носившие титул «владимирских»?

Дело объясняется просто. Константинополь впал в ересь, присоединившись к Флорентийской унии с католической церковью, а признавать себя вторым Константинополем Москва не хотела. Поэтому и была создана концепция о происхождении князей владимирских непосредственно из Первого Рима от Августа кесаря³.

Только в XVII веке концепция Москвы как Третьего Рима приобрела несвойственный ей вначале расширительный смысл, и уж совсем глобальное значение получили в XIX и XX веках несколько фраз Филофея в его посланиях к Ивану III. Гипнозу одностороннего политического и исторического понимания идеи Москвы как Третьего Рима были подвержены Гоголь, Константин Леонтьев, Данилевский, Владимир Соловьев, Юрий Самарин, Вячеслав Иванов, Бердяев, Карташев, С. Булгаков, Николай Федоров, Флоровский и тысячи, тысячи других. Меньше всего представлял себе огромность своей идеи сам ее «автор» — старец Филофей.

Православные народы Малой Азии и Балканского полуострова, оказавшиеся в подчинении мусульман, до падения Константинополя признавали себя подданными императора. Это подчинение было чисто умозрительное, тем не менее оно существовало, пока существовал византийский император. Существовали эти предания и в России. Они исследованы в прекрасном труде Платона Соколова «Русский архиерей из Византии и право его назначения до начала XV века» (Киев, 1913), оставшемся малоизвестным из-за последовавших за выходом этой книги событий.

Крепостное право. Говорят и пишут, будто крепостное право сформировало характер русских, но при этом не учитывают, что вся северная половина Российской империи никогда не знала крепостного права и что крепостное право в центральной его части водворяется сравнительно поздно. Раньше России крепостное право формируется в прибалтийских и прикарпатских странах. Юрьев день, позволявший крестьянам уходить от своего помещика, сдерживал жестокость крепостной зависимости, пока не был упразднен. Крепостное право в России отменено раньше, чем в Польше и в Румынии, раньше, чем отменили рабство в Соединенных Штатах Америки. Жестокость крепостного права в Польше усиливалась и национальной рознью. Крепостные крестьяне в Польше были по преимуществу белорусы и украинцы.

Полное освобождение крестьян в России подготавливалось уже при Александре I, когда были введены ограничения крепостного права. В 1803 году провозглашается закон о вольных хлебопашцах, а еще до этого император Павел I указом 1797 года установил высшую норму крестьянского труда в пользу помещиков — три дня в неделю.

Если обратиться к другим фактам, то нельзя обойти вниманием организацию Крестьянского банка в 1882 году для субсидирования покупки земли крестьянами.

То же и в рабочем законодательстве. Целый ряд законов был принят в пользу рабочих при Александре III: ограничение фабричных работ малолетних в 1882 году — раньше, чем аналогичные законы приняли в других странах, ограничение ночных работ подростков и женщин в 1885 году и законы, регулирующие фабричный труд рабочих в целом, — 1886 — 1897 годы.

Мне могут возразить: но ведь есть и противоположные факты — отрицательных действий правительства. Да, особенно в революционное время 1905 и последующих годов, однако, как это ни парадоксально, положитель-

³ Дмитриева Р. П. Сказание о князьях владимирских. Л. 1955.

ные явления в своем идейном значении только усиливаются, когда за них приходится бороться. Значит, народ добивался улучшения своего существования и боролся за свою личную свободу.

«Тюрьма народов». Очень часто приходится читать и слышать, что царская Россия была «тюрьмой народов». Но никто при этом не упоминает, что в России сохранялись религии и вероисповедания — католическое и лютеранское, а также ислам, буддизм, иудаизм.

Как многократно отмечалось, в России сохранялось обычное право и привычные народам гражданские права. В Царстве Польском продолжал действовать кодекс Наполеона, в Полтавской и Черниговской губерниях — Литовский статут, в Прибалтийских губерниях — Магдебургское городское право, местные законы действовали на Кавказе, в Средней Азии и Сибири. Конституция — в Финляндии, где еще Александр I организовал четырехсловный Сейм.

И опять приходится сказать: да, имелись и факты национального угнетения, но это не означает, что надо закрывать глаза на то, что национальная вражда не достигала размеров нынешней или что значительная часть российского дворянства была татарского и грузинского происхождения.

Для русских другие нации всегда представляли особую притягательную силу. Притягательные силы к другим народам, особенно слабым, малочисленным, помогли России сохранить на своих пространствах около двухсот народов. Согласитесь — это немало. Но этот же «магнит» постоянно отталкивал главным образом жизнедеятельные народы — поляков, евреев. В поле силовых линий, притягивавших и отталкивавших от русских другие народы, оказались втянуты даже Достоевский и Пушкин. Первый подчеркивал в русских их всечеловечность, а вместе с тем в противоречии с этим своим убеждением нередко срывался в бытовой антисемитизм. Второй, заявляя, что к памятнику его придет всякий живущий в России народ («...всяк сущий в ней язык, и гордый внук славян, и финн, и ныне дикой тунгус, и друг степей калмык»), написал стихотворение «Клеветникам России», в котором «волнения Литвы» (то есть в терминологии того времени — Польши) против России счел спором славян между собой, в который не должны вмешиваться другие народы.

Отрыв России от Европы. Была ли Россия в течение семисот лет своего существования до Петра оторвана от Европы? Да, была, но не в такой мере, в которой это провозглашалось самим создателем подобного мифа Петром Великим. Миф этот потребовался Петру для прорыва в Северную Европу. Однако еще до татарского нашествия у России существовали интенсивные отношения со странами южной и северной Европы. Новгород входил в Ганзейский союз. В Новгороде был готский вымол, у готландцев в Новгороде имела своя церковь. А еще до того «путь из Варяг в Греки» в IX — XI веках был главным путем торговли стран Балтики со странами Средиземноморья. С 1558 по 1581 год Русское государство владело Нарвой, куда, минуя Ревель и другие порты, приезжали для торговли не только англичане и голландцы, но и французы, шотландцы, немцы.

В XVII веке основное население Нарвы оставалось русским, русские не только вели обширную торговлю, но занимались и литературой, о чем свидетельствует опубликованный мною «Плач о реке Нарове 1665 г.», в котором жители Нарвы жалуются на притеснения со стороны шведов⁴.

Англичанин Джайльс Флетчер в своем сочинении о России («О государстве Русском». СПб. 1906) пишет, что когда Нарва была русской, то через таможеню ежегодно проходило до 100 судов с русским льном и пенькой.

Культурная отсталость. Распространено мнение, что русский народ крайне некультурен. Что это значит? Действительно, поведение русских в

⁴ Лихачев Д. С., «Плач о реке Нарове 1665 г.» («Труды Отдела древнерусской литературы». М.—Л. 1948. Т. VI).

своей стране и за рубежом «заставляет желать лучшего». Попадают в «загранки» далеко не выдающиеся представители нации. Это известно. Известно и то, что чиновники, а особенно взяточники, на протяжении 75 лет большевистской власти считались наиболее надежными и «политически грамотными». Однако русская культура, насчитывающая тысячу лет своего существования, бесспорно, я бы сказал, «выше среднего». Достаточно назвать несколько имен: в науке — Ломоносов, Лобачевский, Менделеев, В. Вернадский, в музыке — Глинка, Мусоргский, Чайковский, Скрябин, Рахманинов, Прокофьев, Шостакович, в литературе — Державин, Карамзин, Пушкин, Гоголь, Достоевский, Толстой, Чехов, Блок, Булгаков, в архитектуре — Воронихин, Баженов, Стасов, Старов, Штакеншнейдер... Стоит ли перечислять все области и давать примерный список их представителей? Говорят — нет философии. Да, того типа, что в Германии, мало, но русского типа вполне достаточно — Чаадаев, Данилевский, Н. Федоров, Вл. Соловьев, С. Булгаков, Франк, Бердяев.

А русский язык — его классической поры — XIX века? Разве не свидетельствует он сам по себе о высоком интеллектуальном уровне русской культуры?

Откуда все это могло бы взяться, не будь появление всех ученых, музыкантов, писателей, художников и архитекторов подготовлено состоянием культуры на ее высших уровнях?

Говорят также, что Россия была страной чуть ли не сплошной неграмотности. Это не совсем точно. Статистические данные, собранные академиком А. И. Соболевским по подписям под документами XV — XVII веков, свидетельствуют о высокой грамотности русского народа. Первоначально этим данным не поверили, но их подтвердили и открытые А. В. Арциховским новгородские берестяные грамоты, писанные простыми ремесленниками и крестьянами.

В XVIII — XIX веках русский Север, не знавший крепостного права, был почти сплошь грамотным, и в крестьянских семьях до последней войны существовали большие библиотеки рукописных книг, остатки которых удается сейчас собирать.

В официальных переписях XIX — XX веков старообрядцев обычно записывали неграмотными, так как они отказывались читать печатные книги, а старообрядцы на Севере и на Урале, да и в ряде других районов России составляли основную часть коренного населения.

Исследования Марины Михайловны Громыко и ее учеников показали, что объем знаний крестьян по земледелию, рыболовству, охоте, русской истории, воспринятой через фольклор, был весьма обширен. Просто существуют разные типы культуры. И культура русского крестьянства, конечно, была не университетской. Университетская культура появилась в России поздно, но в XIX и XX веках быстро достигла высокого уровня, особенно в том, что касалось филологии, истории, востоковедения⁵.

II

Так что же произошло с Россией? Почему огромная по численности и великая по своей культуре страна оказалась в таком трагическом положении? Десятки миллионов расстрелянных и замученных, умерших от голода и погибших в «победоносной» войне. Страна героев, мучеников и... тюремных надсмотрщиков. Почему?

И опять идут поиски особой «миссии» России. На этот раз наиболее распространенной идеей становится старая, но «перевернутая» идея: Россия выполняет свою миссию — предостеречь мир от гибельности искусственных

⁵ В XIX веке Россия сделалась крупнейшей библиотечной державой. Кроме императорской Публичной библиотеки в Петербурге, занимавшей третье место в мире по числу книг, библиотек Академии наук, Румянцевской, Киевского университета, духовных академий в Петербурге, Казани, Киеве, библиотек университетов, высших учебных заведений, военных корпусов, гимназий и реальных училищ существовали великолепные частные библиотеки, особенно усадебные, благодаря которым в провинции, а иногда и в деревенских условиях, воспитывались замечательные писатели и ученые.

государственных и общественных образований, показать несбыточность и даже катастрофичность социализма, надеждами на который жили «передовые» люди, особенно в XIX веке. Это невероятно! Я отказываюсь верить даже в одну сотую, одну тысячную долю благодетельности такой «миссии».

Никакой особой миссии у России нет и не было!

Судьба нации принципиально не отличается от судьбы человека. Если человек приходит в мир со свободной волей, может выбирать сам свою судьбу, может стать на сторону добра или зла, сам отвечает за себя и сам себя судит за свой выбор, обрекая на чрезвычайные страдания или на счастье признания — нет, не собой, а Высшим Судьей своей причастности к добру (я намеренно выбираю осторожные выражения, ибо никто не знает точно как происходит этот суд), то и любая нация точно так же отвечает за свою судьбу. И не надо ни на кого сваливать вину за свою «несчастность» — ни на коварных соседей или завоевателей, ни на случайности, ибо и случайности далеко не случайны, но не потому, что существует какая-то «судьба», рок или миссия, а в силу того, что у случайностей есть конкретные причины..

Одна из основных причин многих случайностей — национальный характер русских. Он далеко не един. В нем скрещиваются не только разные черты, но черты в «едином регистре»: религиозность с крайним безбожием, бескорыстие со скопидомством, практицизм с полной беспомощностью перед внешними обстоятельствами, гостеприимство с человеконенавистничеством национальное самооплевывание с шовинизмом, неумение воевать с внезапно проявляющимися великолепными чертами боевой стойкости.

«Бесмысленный и беспощадный» — сказал Пушкин о русском бунте, но в моменты бунта эти черты обращены прежде всего на самих себя, на бунтующих, жертвующих жизнью ради скудной по содержанию и малопонятной по выражению идеи.

Широк, очень широк русский человек — я бы сузил его, заявляет Иван Карамазов у Достоевского.

Совершенно правы те, кто говорит о склонности русских к крайностям во всем. Причины этого требуют особого разговора. Скажу только, что они вполне конкретны и не требуют веры в судьбу и «миссию». Центристские позиции тяжелы, а то и просто невыносимы для русского человека.

Это предпочтение крайностей во всем в сочетании с крайним же легковерием, которое вызывало и вызывает до сих пор появление в русской истории десятков самозванцев, привело и к победе большевиков. Большевики победили отчасти потому, что они (по представлениям толпы) хотели больших перемен, чем меньшевики, которые якобы предлагали их значительно меньше. Такого рода доводы, не отраженные в документах (газетах, листовках, лозунгах), я тем не менее запомнил совершенно отчетливо. Это было уже на моей памяти.

Несчастье русских — в их легковерии. Это не легкомыслие, отнюдь нет. Иногда легковерие выступает в форме доверчивости, тогда оно связано с добротой, отзывчивостью, гостеприимством (даже в знаменитом, ныне исчезнувшем, хлебосольстве). То есть это одна из обратных сторон того ряда, в который обычно выстраиваются положительные и отрицательные черты в контрдансе национального характера. А иногда легковерие ведет к построению легких планов экономического и государственного спасения (Никита Хрущев верил в свиноводство, затем в кролиководство, потом поклонялся кукурузе, и это очень типично для русского простолюдина).

Русские часто сами смеются над собственным легковерием: все делаем на авось и небось, надеемся, что «кривая вывезет». Эти словечки и выражения, отлично характеризующие типично русское поведение даже в критических ситуациях, не переводимы ни на один язык. Тут вовсе не проявление легкомыслия в практических вопросах, так его толковать нельзя, — это вера в судьбу в форме недоверия к себе и вера в свою предназначенность.

Стремление уйти от государственной «опеки» навстречу опасностям в степи или в лесах, в Сибирь, искать счастливого Беловодья и в этих поисках угодить на Аляску, даже переселиться в Японию.

Иногда это вера в иностранцев, а иногда поиски в этих же иностранцах виновников всех несчастий. Несомненно, что в карьере многих «своих» иностранцев сыграло роль именно то обстоятельство, что они были нерусскими — грузинами, чеченцами, татарами и т. п.

Драма русского легковерия усугубляется и тем, что русский ум отнюдь не связан повседневными заботами, он стремится осмыслить историю и свою жизнь, все происходящее в мире, в самом глубоком смысле. Русский крестьянин, сидя на завалинке своего дома, рассуждает с друзьями о политике и русской судьбе — судьбе России. Это обычное явление, а не исключение!

Русские готовы рисковать самым драгоценным, они азартны в выполнении своих предположений и идей. Они готовы голодать, страдать, даже идти на самоожжение (как сотнями сжигали себя староверы) ради своей веры, своих убеждений, ради идеи. И это имело место не только в прошлом — это есть и сейчас. (Разве не верили избиратели в явно несбыточные обещания Жириновского, ныне заседающего в Госдуме?)

Нам, русским, необходимо наконец обрести право и силу самим отвечать за свое настоящее, самим решать свою политику — и в области культуры, и в области экономики, и в области государственного права, — опираясь на реальные факты, на реальные традиции, а не на различного рода предрассудки, связанные с русской историей, на мифы о всемирно-исторической «миссии» русского народа и на его якобы обреченность в силу мифических представлений о каком-то особенно тяжелом наследстве рабства, которого не было, крепостного права, которое было у многих, на якобы отсутствие «демократических традиций», которые на самом деле у нас были, на якобы отсутствие деловых качеств, которых было сверхдостаточно (одно освоение Сибири чего стоит), и т. д. и т. п. У нас была история не хуже и не лучше, чем у других народов.

Нам самим надо отвечать за наше нынешнее положение, мы в ответе перед временем и не должны сваливать все на своих достойных всяческого уважения и почитания предков, но при этом, конечно, должны учитывать тяжелые последствия коммунистической диктатуры.

Мы свободны — и именно поэтому ответственны. Хуже всего все валить на судьбу, на авось и небось, надеяться на «кривую». Не вывезет нас «кривая»!

Мы не соглашаемся с мифами о русской истории и русской культуре, созданными в основном еще при Петре, которому необходимо было оттолкнуться от русских традиций, чтобы двигаться в нужном ему направлении. Но означает ли это, что мы должны успокоиться и считать, что мы пребываем в «нормальном положении»?

Нет, нет и нет! Тысячелетние культурные традиции ко многому обязывают. Мы должны, нам крайне необходимо продолжать оставаться великой державой, но не только по своей обширности и многолюдству, а в силу той великой культуры, которой должны быть достойны и которую не случайно, когда хотят ее унижить, противопоставляют культуре всей Европы, всех западных стран. Не одной какой-либо стране, а именно всем странам. Это часто делается произвольно, но подобное противопоставление само по себе уже указывает на то, что Россию можно ставить рядом с Европой.

Если мы сохраним нашу культуру и все то, что способствует ее развитию, — библиотеки, музеи, архивы, школы, университеты, периодику (особенно типичные для России «толстые» журналы), — если сохраним неиспорченным наш богатейший язык, литературу, музыкальное образование, научные институты, то мы безусловно будем занимать ведущее место на Севере Европы и Азии.

И, размышляя о нашей культуре, нашей истории, мы не можем уйти от памяти, как не можем уйти от самих себя. Ведь культура сильна традициями, памятью о прошлом. И важно, чтобы она сохраняла то, что ее достойно.



ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ

Б. ЕКИМОВ



В ДОРОГЕ

Мой знакомый, Федор Иванович Акимов, долгие годы проживший на хуторе Большая Голубая, как-то вспомнил:

— В молодости, бывало, доберешься от своего хутора до Клетского грейдера, глядишь — машины идут. Думаешь: счастливые люди тут живут, куда хотят, туда и едут. В Голубинку ли, в Калач, в Клетскую... И даже в Волгоград можно попасть. А у нас... В нашей глухомани помри все — и никто не узнает.

Несколько лет назад снежной зимой на Калиновом Колодце обвалилась кошара. Поставленная кое-как, она не выдержала тяжелых снегов и рухнула, хороня под собой овечью отару. Сколько-то овец осталось, их угнали на центральную усадьбу дозимовывать. Туда же ушли и чабаны.

А на Калиновом Колодце до весны пировали лисы и волки, обжираясь падалью. Порою туда приезжали охотники, устраивали засады. Добыча всегда была.

Весною приехали на Калинов совхозные рабочие, чтобы разобрать завал. И обнаружилось, что зимою не всех уцелевших овец забрали. Какие-то остались, отрезанные, под обломками. Они и выбраться не смогли, и волки их не достали. И что самое удивительное: несколько голов дожили до весны. Они грызли камыш, которым утеплена была крыша. А потом — шерсть...

Когда еду глухую осенью ли, зимой и от асфальта, от грейдера ли уходит разбитая, снегом занесенная дорога, вспоминаю Калинов. Думаю: может, и здесь где-то, в конце пути, от мира отрезанный, кто-то ждет спасенья. Дождется ли, весна далеко...

Но к делу. Лето 1993 года. Алексеевский район.



«Бесхозяйственность, расташиловка и прямое воровство глубоко укоренились. Пока не поймут, что воровать у самого себя нельзя, рассчитывать на улучшение оснований нет», — прочитал я два дня назад и выписал в блокнот строки из выступления в районной газете главного агронома комитета по сельскому хозяйству района. О колхозах он писал и колхозниках.

А нынче ранним утром собирался я уезжать с хутора после короткого гостеванья, ждали меня в станице Дурновской.

Поднялся я вместе с хозяевами, до зари. Они управлялись по хозяйству, коров доили, потом выгоняли скотину к стаду, а я собирался в дорогу.

Сели завтракать: дымились горячие щи, шкворчала в жаровне картошка с мясом, блинцы, яички, молоко — завтрак был основательный, крестьянский. Хозяевам моим до обеда еще работать и работать, летний день долог, а меня неизвестно куда Бог припутит. Так что ели не церемонясь. Тем более что на этом хуторе, в этом доме знают меня не первый год.

Хозяин оставлять меня одного не хотел: редко виделись, поговорить охота, — но жена и мать его торопили: «Поезжай. Съезди быстрее да вернешься». Я сначала не понял, а потом спохватился: «Поезжай. Я не уеду, дождусь». Он поднялся, через минуту за стеной рыкнул, отъезжая, мотоцикл. Хозяин мой торопился не на работу, туда было рано, да и припозднись он, напарники поняли бы его, о городском госте они знали. Спешил он поутру на свою ферму по делу, которое отлагательств не терпело.

Через короткое время он вернулся, сел к столу, и потекли прежние разговоры. А жена с матерью оставили нас. Я знал, что пошли они кормить свиней. Хозяин

Продолжение. Начало см. «Новый мир» № 1, 3 с. г.

мой привез в люльке мотоцикла несколько ведер каши, какую готовят на свиноферме для колхозных свиней. Он не воровал, он просто брал эту кашу, как все другие, кто работал на свиноферме. Делали они это ежедневно, всегда. Так уж положено.

Теперь лето, месяц — июль. А нынешней же зимою в этом доме я гостевал и заметил, что приезжает хозяин с работы, со свинофермы, после утренней кормежки и уборки, вечерней, — корова встречает его нетерпеливым мычанием. Из теплого стойла через крепкие стены услышит рокот подъехавшего мотоцикла и давай мычать. Объяснялось все просто: понравился корове силос, беремья которого каждый раз привозил хозяин.

Напомню слова, с которых начал: «...расташиловка и прямое воровство глубоко укоренились». Очень глубоко. Когда одна из свинок этой же фермы ушла на пенсию, то как ни в чем не бывало следующим же утром явилась с двумя объемистыми ведрами за кашей. Ее пыталась остановить заведующая фермой: «Ты чего пришла? Ты же теперь не работаешь!» «Я на эту ферму жизнь поклала, — ответила молодая пенсионерка. — Имею право». И свое «право» она утвердила: после нескольких скандалов махнули на нее рукой: бери и отвязись, не от себя отрываем.

Несколько лет назад, когда еще главной властью в районе был райком партии и сверху приказывали бороться с несунами и расташиловкой, с этого хутора поступил сигнал: у Степаныча, который живет от свинофермы неподалеку и трудится на ней, на личном подворье много свиней, чем он их кормит — понятно. Разбираться с сигналом приехал сам первый секретарь райкома. Подъехал он ко двору, Степаныча вызвал, спрашивает:

— Свины есть?

— Конечно.

— Веди. Показывай.

Степаныч повел, показал закут, где сытно похрюкивали несколько боровов. Секретарь открыл было рот, чтобы начать воспитательные речи, но хозяин остановил его и похвалился:

— У меня еще есть. Пойдем, покажу. — И повел к другому закуту, где тоже хрюкали.

— Для чего ты мне этих-то показал? — недоуменно спросил секретарь. — Тебя и за тех надо наказывать. Ты же их с колхозной фермы кормишь.

— Конечно, — ответил простодушный Степаныч, — имею право. Я на колхоз жизнь поклал. С двенадцати лет начал работать, скотину пасть. Да не так, как теперь, — пешком пасли, не на лошади. День-деньской бегаешь, все пятки отобьешь. С двенадцати лет, голодный, раздетый. Джуреков желудевых мать в сумку покладет... До морозов — босой. По утрам иней, бело. Глядишь, где корова навалит, бежишь, становишься в тепленькое, ноги греешь... Пастухом, скотником, свиномаром. А в войну... А после войны.

Степаныч пел и пел. Первый секретарь послушал его недолго, повернулся молчком и уехал. Во-первых, он был характера мягкого, из учителей, во-вторых, сельский: он знал — «положено».

За четырьестя верст от этого хутора пришлось мне присутствовать нынешним же летом при нешуточном разговоре, когда колхозные доярки требовали прибавки к зарплате. В колхозах нынче с деньгами туго, и начальство пыталось доярок урезать.

— Пусть зарплата невеликая, — соглашались с доярками. — Но вы прибавьте то, что тянете: два раза в день, после утренней дойки и после вечерней, по три литра молока несете и по сумке дробленки, а в той сумке не меньше ведра. Прибавляйте это к зарплате — и получится...

Негодующий всеобщий крик был ответом, в нем лишь одно можно было разобрат: «Это положено! Это нельзя считать!»

Так повелось. Так положено. «Хороший бригадир ли, председатель отвернется, когда увидит, что тащат, — объясняла мне старая колхозница в давние еще времена. — Он же знает, это для жизни».

Хороший председатель знает, что свиномарка до трети опороса себе заберет, но сначала их вырастит там же на свиноферме, ведь от матки поросят на второй день не отнимешь. Как говорил один добрый человек: «Пусть лучше у людей растет, чем в колхозе сдохнет».

Нынче из статьи в статью кочуют слова Карамзина, короткие, но выразительные: «Воруют!» Сказано о России, о народе ее. Вот и мои речи словно о том же. Но не совсем о том. Напомню слова старой колхозницы: «Это для жизни». Давайте поговорим о жизни.

* * *

На хутор приехал я в полдень и поспел к работе: сено привезли ко двору, скирдовали, взялся я за вилы. Хозяину, моему старому знакомцу, перевалило за сорок. Две дочери у него. Одна помощница сено подгребаёт, другая ещё забава и баловница. Старики, отец с матерью, хворые — болеют. Но отец тоже не утерпел, сено потрясает. Жена на скирду — раскладывает, топчет. День солнечный, веселый. И работа веселая. Как не радоваться: нынче сено будет в скирду. Конечно, две тележки тракторные — это маловато для двух коров да телят, для коз. Но еще, даст Бог, подкосится, да соломой колхоз поможет, просняной да гречишной, пусть и ячменной — все пойдет зимой. Главное есть — вот он, скирд, растет на глазах. Таскаем за навильником навильник, подаем. Сено всякое: пыреистое, с луговым разнотравьем; займищное, с лесных полей; зеленое, по-доброму высохшее на солнце, пахучее, и темное, полежавшее под дождем.

— Лило? — спрашиваю я.

— Сам видишь, — отвечает хозяин.

Нынче сено давалось тяжко. Лето дождливое. Косили с мукой. Положишь траву, она чуть подсохнет — дождь пошел. Перевернул, протряс, вроде обвнулось — снова полил. Подсохло, в копны сложили, а тут ливень. Снова раскидывай и суши. И так день за днем. В колхозах весь первый укос, считай, пропал: люцерна, эспарцет. Свалили, намокло, стали ворочать раз и другой, осыпались листы, остались лишь черные будылки. Словом, погноили. Это еще аукнется нынешней зимой. Осенью будет дешевое мясо, а потом... Но это в колхозах, там вечно не слава Богу, а потом кто-то поможет: государство, район, область. А своей корове надежда лишь на хозяина. Оттого он мучается, порой криком кричит, но косит и косит, косит и сушит, не больно надежное, как нынче, сено солью щедро пересыпает. Надеяться не на что и не на кого.

Последнюю зарплату получили в колхозе в прошлом месяце, в июне, но она была за март. Хозяин мой получил 8 тысяч. За апрель начислили 10 тысяч, за май — 8 тысяч, сейчас середина июля. Когда деньги дадут, неизвестно. Жена, хуторской почтальон, получает 10 тысяч. Хлеб нынче стоит 25 за буханку, рис — 320 рублей за килограмм, сахар — 550, пряники — 1000, конфеты «Золотой ключик» — 1500. Дочки просят, куда денешься. Молоко свое, сало, яйца, картошка и прочее. Но и это с неба не падает. А деньги все равно нужны, девчонок одеть-обуть, самим одеться. Старшей купили спортивный костюм за 7,5 тысячи. Почти за столько же, за 8 тысяч, сдали зимой быка, кормили его, считай, два года, а потом мучались, не знали, куда его деть: кооперация не принимает, приезжие «купцы» из Москвы берут лишь свинину. А бык сено жрет. Насилу сдали в откормсовхоз почти за бесплатно, за спортивный костюм. 210 килограммов по 41 рублю! Куда как доходно...

Правда, свинью в апреле сдали уже за 60 тысяч. На это и живут. Старшая дочь просит магнитофон, самый простенький стоит 60 тысяч, младшей подай велосипед, в райцентре они есть, по 25—30 тысяч. Не по карману такие покупки.

Сено сложили, покумекали, как лучше его сберечь: приклячить ли жердями, придавить гнетом? Поглядели на небо: солнце, высокие облака. Пусть оседет. И отправились в летнюю кухню обедать.

Дело свершилось великое, бутылка — на стол. Разговоры пошли, как косилось да как сушилось. Хозяин мой ростом невелик, телом худ, по-летнему, по-крестьянски, черен, словно галка. Болеет он желудком, язвенник.

— Нынче думал — и не откошусь, — признается он. — Время подходит, а у меня так прихватило: махнешь косой — боль, махнешь — боль. Я и ремнем солдатским и платком подвязывал. Нет мочи. Спасибо объявилась бабка на соседнем хуторе. Прогнали их, из Киргизии. Люди хвалят. Я к ней кинулся. Она как поглядела, враз определила: ты, говорит, один в семье работник, без очереди тебя полечу. До двух раз к ней ездил, хорошо лечит: за руки меня возьмет крепко, аж у самой руки синеют. И глядит в глаза. А потом такие катышки дает, чтобы глотать. И мне полегчало, слава Богу, почти откосился. Может, съездишь к ней?

Он знает, что у меня зимой объявилась та же болезнь.

— Съезди, хорошая бабка. Экстрасенс. Глядит и руками водит.

— Поглядим... — уклончиво говорю я.

К экстрасенсам относиться я весьма скептически. Но хозяина моего переубедить не буду. У меня неплохая больница, лекарства заграничные помогли добыть. А что у него? Жена рожала, он ее за триста с лишним верст в город возил, ближе не-

где. Мать лежала тоже в больнице областной. Отец нынешней зимой в районную попал. Спал там в шапке-ушанке. Еле выбрался. Это сельская медицина. Спасибо Алану Владимировичу да Кашпировскому, они проторили дорогу. И теперь в какой райцентр ли, а теперь уж и хутор ни приедешь, везде афиши висят: «От всех болезней!» Экстрасенс, белый колдун, черный колдун. Пантелеймон — шаман Чукотки. Этим летом из Дурновки я сам по телефону по просьбе хуторских баб до райцентра дозванивался: будет ли завтра на стадионе Пантелеймон с Чукотки? Сообщили, что будет. Спасибо ему. И той бабке Пантелеймонихе, какая моего хозяина выручила, по виду поняв, что он «один в семье работник». Теперь он откосился, доволен. Тем более по рюмке выпили, разговор пошел. Сейчас он везде одинаковый: цены, всеобщий развал, когда этому конец будет...

Хозяйка, нас покормив, сбегала на почту и принесла сумку с газетами да письмами. Прежде эта сумка была неподъемной, нынешний год полегчала. Мало стали выписывать газет да журналов, дорого. Но все же выписывают. «Советская Россия» — самая читаемая. Говорят, в ней — правда.

Хозяйские девочки понесли по хутору письма да газетную «правду»: старшая — на велосипеде, младшая — вприпрыжку; хозяйка подалась на огород: полоть да гонять жука колорадского; мы же по хутору пошли вольными казаками.

Встретили Соловьева, фермера, я о нем прежде рассказывал. Валентин Степанович, бывший колхозный руководитель, вместе с двумя родственниками самостоятельно хозяйствует уже третий год. Нынче к своей земле, 120 гектарам, набрал он еще 100 из пенсионных паев. Но все равно на троих земли мало. И надо бы заняться мясным скотом, чтобы не сидеть сложа руки, когда нет работы в поле. Но дело опять в земле, в попасах. А еще в кредитах, которых нет. А что до сил и желания, так этого хватает. На этом и расстались. Подъехал трактор с возом сена. Соловьев рассчитывался с пенсионерами, которые ему землю отдали, по договору: сейчас сено, дрова, позднее зерно, подсолнечное масло, гречку.

А что до земли, то ее просят все новые хозяева. Кого ни встретишь, сначала валят беды: дорогая техника, дорогое горючее, нет кредитов, палки в колеса ставят. Спросишь: «Земли надо?» Сразу глаза загораются: «Где?» В моем Калачевском районе нынче, в 1993 году, около 250 хозяев работают самостоятельно. Спросил я у руководителя земельного комитета: «Сколько человек из них просят еще земли?» «Все», — ответил он коротко.

Направлялись мы в конец хутора, но мимо Филипповича не прошли. Ему шестьдесят семь лет, он словно сухой дрючок, говорлив, когда есть с кем. Огород — дурачий. Одной картошки полгектара. Пусть земля трактором пахалась, но сажалось, пололось, подгребалось — все руками: лопатой и мотыгой. Теперь одолевает колорадский жук. Полгектара стоит зеленой картошки. Каждый куст надо нагнувшись осмотреть, полосатую тварь найти, раздавить, красных личинок тоже, да еще и желтые яички, завтрашний расплод на нижней стороне листвы. Каждый куст, один за другим. Полгектара.

— Жука много? — спрашиваю.

— Кипит... Милия. А яду нет. Лишь в городе. Тыща стоит. Какой-то ядучий. Гутарят, ложку на ведро — и все кругом дохнет на сорок дней. Либо брешут. Мне бы такого. А то третий день ползаю на коленках.

— Почему на коленках?

— Спина не гнется, на коленках ловчее.

Поговорили и разошлись, каждый по своим делам. Мы — на своих двоих к свиноферме; Филиппович — на коленках от куста к кусту, «так ловчее».

А на свиноферме, где нынче с утра, заменив моего хозяина, работал его напарник, дела уже кончились. «По правилам арифметики» — эту формулу я слышал прежде. Она проста: два ведра в руки, а в ведра наваливай из котла каши побольше и таскай, корми свиней. Семь раз по два ведра — это четырнадцать, три раза по два ведра дробленки — это двадцать, два ряда клеток, в которых свиньи, почистить. Пятнадцать умножить на два получается тридцать. Вытри лоб, а чтобы охладиться, запрягай лошадь и грузи силос ли, зеленку, что есть.

Нынче арифметика стала пожиже, потому что от прошлогодних 1500 свиней осталось 150 голов. Часть продали, чтобы зарплату зимнюю заплатить, много за зиму разокрали. Сторож прятался, чтобы не тронули его. Сам председатель по ночам приезжал. Но разве укараулишь.

От фермы, от невеселой ее «арифметики», отправились восвояси. День стоял солнечный, с высокими белыми облаками. Хутор был пуст. Люди «убивались» на сене. Третий день не было дождя. А снова его обещали. Хозяин мой остался на гум-

не сено очесать да сверху прикрыть, чтобы при дожде не затекло. Я же отправился на речку дорожную пыль да сенную труху смыть.

Речка возле хутора неширокая, быстрая, имя носит славное — Бузулук. Сегодня она пустынна, даже ребятишек нет, все в делах. Искупался я, поплавав в чистой воде. Уходить не хотелось.

Солнце уже клонилось к вечеру, к маковкам старых верб. Донный песок был светел, а вода темнела. Синие стрекозы бесшумно реяли над водой, временами садясь на листья кувшинок, лилий. Розовато-белые и желтые цветы уже закрывались, смыкая лепестки. Скоро они опустятся в воду до завтрашнего утра. На краю хутора два огромных вековых тополя шумели листвою. Ласточки-береговушки сновали рядом. Веяло духом пресной воды, зелени, свежего сена. Мир и покой. Но думалось не о вечном — о бренном, о жизни, которая рядом текла, об ее «арифметике».

Полторы сотни свиней осталось на ферме. Не сегодня, так завтра и им конец. И если это случится, то чем будет жить мой знакомец? Сейчас хоть своих свиней держит, кормит их от колхозного. Он на это «имеет право» хотя бы потому, что работает на колхозной ферме практически бесплатно: 8 да 10 тысяч рублей апрельских да майских, до сих пор не полученных, — что они нынче, в июле ли, в августе (если дадут), при инфляции в 20 да 30 процентов в месяц. Чем его укоришь, когда он всем нам живой укор. Худой не по-доброму. Широким солдатским ремнем подтянулся, чтобы язва не так болела, и день за днем косит — ранним утром, потом в жару, потом ночью, в комарье, считай, не спит. Спасибо мудрая бабка его не столько вылечила, сколько напомнила: ты один в семье работник. Реви — но коси. Без коровы не обойдешься: дочки да старики, да сам еще живой. Так что коси. И ты, Филиппович, ползи на коленках, чтобы спина не болела, день за днем по своей картошке, пока живой, пока не ткнешься головой в борозду.

В мире тишь и покой. Ласточек посвист. Легкий ропот вербы. По бревенчатому мосту через Бузулук везут из займища сено. В займище нынче зелено, цветут луга. Озера лежат — вода не шелохнется в вечерней тиши. По малиновой от заката глади плывет; словно зеленый корабль, просторный остров с белыми березовыми парусами. Это озеро называется Большое Бабинское. Там не один плавучий остров, а несколько. Твердая земля на них, зеленая трава, кусты, высокие деревья. По-местному эти острова называются коблы. Они могут подолгу стоять возле берега, и не всякий поймет, что это остров. Причалят и стоят, будто приросли. А потом вдруг, при ветре, поплыли. Озеро большое, плывут и плывут, словно зеленые корабли.

А возле Строкального озера в прошлом году осадил меня лисята. Ехал я не спеша по дороге на хутор Исаков. Слева — озеро, тополя да вербы по берегу, справа песчаные бугры, густо заросшие талами. Оттуда, с бугра, на дорогу выбежали два лисенка. Завидев машину, они не прочь побежали, а кинулись к ней. Я остановился, выключил мотор и вышел. Лисята чуть не под ноги мне совались. И с одной и с другой стороны забегут и глядят. Мамаша их с сильным тьяканьем носилась по бугру, призывая. А им на мамкины приказы наплевать. Разглядывают и меня и машину, кружат возле колес. Еще не порьжевшие, в темном меху, веселые лисенята.

* * *

Нынешний год выбирался я с хутора другой дорогой: не займищем, боясь там увязнуть, а верхом, мимо хуторов Ольховский да Кочкаринский. В первый даже хотел заехать, но потом передумал. На тамошней ферме два свинарника. В одном работает семья Донсковых, в другом — Ахромеевы. На «новых формах хозяйствования» они обжигались не раз. Еще в 1990 году Донсков заключал с колхозом договор на «аренду». Все было просто на бумаге: колхоз дает две тысячи поросят, обеспечивает кормами, ветеринарным обслуживанием; Донсковы работают, получая небольшой аванс, а в конце года — полный расчет за полученную свинину. Гладко было на бумаге, а в жизни все пошло наперекосяк. Поросят завезли, а корма для них пришлось выбивать в правлении с криком. Чуть не каждый день ездил Донсков к председателю, к другим «спецам». А те от него двумя руками отмахивались: «Ты на аренде, думай сам». Хотя в договоре ясно было записано: «Колхоз обеспечивает кормами». У свиней начались болезни, падеж, а ветеринары не кажут носу, ответ тот же: «Арендатор, думай сам». Так и билась Донсковы весь год. Не работа, а мука. Свиней все же вырастили и деньги по тем временам получили неплохие. Но на следующий год договор заключать отказались.

В ту пору, когда Донсков мучался на «аренде», была на нее мода, очередной «подъем сельского хозяйства». Новый редактор нашей областной газеты, как гово-

рится, лично поехал, чтобы «передовой опыт» Донскова в газете отобразить. Съездил, поглядел. Случилось мне в эти дни зайти к нему. Он сидит невеселый, спрашивает меня:

— Разве это жизнь? Разве можно так? Себя гробит, детей. Света белого не видят. С утра до ночи свинарник, свинарник... Корма добывает, мыкается. Ночами у свиней. Разве жизнь это?

Что я мог ответить ему? Лишь пожать плечами: мол, всюду жизнь.

Такая вот она разная, наша жизнь. Словно живем хоть и на одной планете, но в разных веках. И континент один, и страна, и разделяют порой всего лишь сотня ли, тысяча километров. Но века разные. В одном — лишь прищурься и погляди, как мудрая машина, подчиняясь воле твоей, даже не на Земле, а на Луне и вовсе в космической дали сделает, что прикажешь ей: направо пойдет и налево, словно в волшебной сказке. Но тут же рядом, в том же времени, но в веке другом: накладывай в ведра кашу — и бегом! Тридцать умножить на два получится шестьдесят. Вытри лоб и пятнадцать клеток, в два ряда, чисти мотыгой да лопатой. А у Донскова их не пятнадцать, а много более: две тысячи голов, аренда. Корыто, навозом полное, бечевку через плечо — потянул на волю. Упрись, опрокинь, тяни назад и отдыхай, пока корыто пустое. А неподъемные молочные фляги у доярок и тоже корыто с навозом, мотыги, с дробленкой мешки на загорбке. Разбитые коровники, свинарники, зимние ледяные сквозняки. Да разве перечтешь все, им привычное, а для нового глаза — страшное. И можно понять и простить машинистку, которая, перелечатав рассказ «Тарасов» ли, «Сено-солома», спрашивает с горечью: «Неужели это правда?» Или когда почтенная московская писательница, тоже прочитав, пожимает плечами: «Вроде крепостное право...» Милые городские женщины, от машинисток редакционных до докторов физико-математических наук, — вам простимо. Но вот когда Михаил Сергеевич, будучи президентом страны, попал, если помнится, в Красноярском крае на колхозную ферму к дояркам, а потом всенародно охал: «Отсталость... Ручной труд... Позор...» Или наш областной руководитель тоже всенародно, на пленуме, чуть не навзрыд: «На ферме я был... Корытами навоз... Вручную...» Они ведь не городские барышни, не физики, не математики, спрятанные от жизни за «проходной». Они зубы проели на руководстве селом. А теперь, к седым волосам, Бог на ферму занес. А может, просто жили прижмурившись. Это хуже. «Слепые поводыри слепых».

А что до работяги Донскова, то, отмучившись, а потом отдышавшись, он ведь снова в аренду полез в 1992 году. И слезно просил лишь об одном: «Дайте нам возможность работать! Мы хотим именно заработать, а не урвать куш! Дайте поработать!» Крестьянской наивности, вере, долготерпенью не устаешь удивляться. Нет! К Донскову я нынче не поеду. Чего без толку себе и ему душу травить. Поеду я лучше в Дурновский, к Мазиным. К Галине Федоровне, к Владимиру Яковлевичу. Там всегда мне рады.

Владимира Яковлевича Мазина я застал уже за двором, в седле мотоцикла.

— Ключ на всегдашнем месте, — на ходу сказал он мне. — Харчи в холодильнике. Галина в городе, будет к вечеру. Я к обеду надбегу.

Ключ от дома у Мазиных уже не первый год «на всегдашнем месте», чтобы и жданные, и нежданные гости у порога не торчали. А знакомых у них немало. Владимир Яковлевич — хороший, опытный агроном, с недавних пор районный депутат, хуторской атаман. Бороду он носил несколько лет, нынче побрился. Галина Федорова директорствует в известной на всю область дурновской восьмилетней школе.

Вошел я в дом, помыслил и решил, не упуская доброй погоды, ехать в Вихляевку да Клейменовку транспортом, сердцу милым, — велосипедным. Нашел в доме двухколесного конька, подкачал ему шины, примкнул дом и подался.

Станица Дурновская (это по-старинному, нынче уж — хутор) тянется вдоль Бузулука по берегу высокому. За речкой, за быстрой ее водой, на многие километры раскинулся край зеленый, займищный. Там просторные луга — Ярыженский, Дурновский, Вихляевский, Мартыновский; там озера, из них самое большое — Ильмень, а малых не счесть; там речки текут Паника и Лесная Паника; там Мартыновский лес и Летник — дубы да березы; там Большие да Малые Городбища, Татарские валы, Проран; там милые сердцу хутора, хлебные поля, полевые дороги, по которым хожено-перехожено в золотую летнюю пору, зимой, в весенние разливы, когда Бузулук играет, ярится, а потом заливает свои луга: ни пройти, ни проехать.

Нынче июль, позднее, холодное лето. Но третий день стоит словно у доброго Бога вымоленный: солнечный, с высокими белыми облаками, с теплым ветром — для сена лучше не надо. Дорога моя — по займищу, перелесками и лугами, где тра-

ва нынче, словно в сказке, многоцветным пахучим ковром: белая кашка качается, словно малые облачка под ветром плывут, желтый донник, пахучая медуница, золотистый звездчатый зверобой, стройный аржанец, легкая овсяница, мышинный горошек в розовом да белом цвету — море трав колыхнется незнакомых и знакомых. Сладкий цветочный дух плывет над землей и томится под солнцем. Чуешь мед его на губах, и невольно тянет шагнуть от дороги и пойти ли, поплыть, купаясь в душистом маре, словно иная тварь: золотая пчела ли, тяжелый шмель, что с гудом переходит с цветка на цветок, голубая хрупкая стрекоза, невесомая бабочка, радужное — разноцветье пестрит в глазах, неумолчный звон стоит над лугами.

В тенистой дубраве продышишься — и снова в луга. Легкая волна ветра донесет горячий хмельной дух подсыхающих трав, скошенные, они томятся под солнцем, источая последнюю цветковую сладость и горький сок.

Но мало скошенного. Облака, томится жара, видно, дождь недалеко.

Снова прохлада, живительный дух сосняка. Песчаная дорога течет к Вихляевке, тихому селенью, забытому людьми и Богом. На окраине ее — полуразваленные колхозные фермы, давно уж без скотьего мыка. Над хутором сомкнулись тишина и зелень. Ни людей, ни детского крика. Тонут крыши старых домов в одичавших садах. На базах, во дворах конопля да крапива тянет к небу острые пики, словно орда татарская на долгом постое. Не селенье — зеленое кладбище. По улице, по разбитым колеям с зеленой водой, с трудом пробираюсь. И вот он наконец, асфальт, — вековая мечта вихляевская, черный, новенький, еще не обкатанный и пахучий. Сколько лет о нем говорено-переговорено, писано-переписано... Вот и пришел наконец, опоздав на десять ли, на двадцать лет. Теперь эта дорога на кладбище, к старым людям, да еще к райцентровским дачникам, которые, здешние дома за бесценок скупив, хорошо если посадят картошку, а то и просто наезжают в месяц раз к целительной хуторской тишине.

Старая женщина, бабушка, сидит у двора.

— С новой дорогой вас, — поздравляю я. — С асфальтом.

— Пропади он пропадом, — ругается она. — Машины всю ночь гудят, голову поразбили. Едут всякие ашаулы, замков не наставишься. Тянут все...

Еще в прошлом году, когда дорога лишь подбиралась к хутору, жаловался старый учитель Павел Михайлович Соснин: «Тянут. Два насоса один за другим из колдодца выгашили. Чем теперь огород поливать?»

Старая женщина, старый учитель... Старая память.

Вроде недавно все было: средняя школа, Дом культуры, медпункт, почта, три магазина, людная улица, детвора. Потом все помаленьку отмирало. Восьмилетней стала школа, потом начальной, а потом вовсе закрылась: некого учить. Навсегда запырились магазины. Дом культуры затих. А потом, за последний год-другой, все разломали: школу разбили вдрызг, выломали рамы; теперь появились ученики, но ютятся в бывшем медпункте; Дом культуры тоже не пощадили — во все стороны щепки летят; на почте сумели украсть единственный на весь хутор телефон. И кому в радость асфальтовая дорога? Только лишь мне. Прежде по колдобинам пробирался, на вездеходе «Нива» посреди хутора застрял, нынче на велосипеде качу, как говорят, легкой ногой, через хутор, мимо Ильмень-озера, где плывут степенно гордые лебеди — два белых красавца и семеро черных еще птенцов, — мимо пустой земли, где стоял хутор Туба, а за ним раньше были табачные да овощные плантации на низинах. И наконец, Клейменовский, хутор, считай, родной, в котором прежде жила подолгу, а ныне — лишь на косьбу да на провед.

Елена Федотьевна, мать Лелька, как всегда, на леваде, не в дому. Нынче она колготится, как и все добрые люди, у сеного скирда.

— Дожди одолели. Боюсь, затечет — и попреет. На выгоне кошу, возу, докладываю. Не в силах, мой сынок...

Передо мной не выгон, а левада. Скошенная деляна люцерны в зеленых валах лежит.

— А это кто свалил? — спрашиваю я.

— Я косила, кто же еще. Такая погода. Никто не едет. Начну, думаю...

— Да, — только и смог сказать я, зная о нездоровье матери Лельки.

А тут заурчала у двора машина: прибыл зять Федотьевны, Василий Макаркин. Еще не здороваясь, издала угладел он скошенное и спросил у меня:

— Ты, что ли, повалил?

— Она, — показал я на мать Лельку.

Василий аж закричал в досаде, стал головой крутить.

— Сказал же тебе: приеду и кошку.

— Мой сынок, — оправдывалась мать, — такое ведро стоит, думаю, может... Чую, в силах... Попробую, может... Так, помаленьку...

Поговорили с Василием. Он в отпуске, «отдыхает»: неделю сено косил («Не косьба — казня, льет и льет»), три дня картошку пробивал («Трава — стеной, дожди, она прет и прет»), два дня «жука колорадского морил», эту неделю в квартире ремонт. В понедельник на работу, к колхозной скотине. Макаркин — ветврач.

— Тогда я поехал, — скоро распрощался он. — Нынче обои клеим. Подсохнет, ты перевернешь, послезавтра приеду и сложим.

А я прошелся по хутору, в бригадную контору завернул.

Клейменовский хутор живой, не чета иным. Но тоже... Клуб — разоренный. Старая кузня коптит, словно и нет ей срока. А вот старые люди понемногу выживают. Ушел дед Архип. На пенсии да в болезнях Тарасов, Холюша, кум Николай, Солонич теперь в райцентре. — все работяги, на них хутор стоял, теперь дрогнул. Недаром, когда хвалил я хлеба и говорил: «Дала бы погода убрать», мать Лелька добавила:

— Да механизаторы не запили бы. Отец да сын Кузнецовы — это работяги, Андрей Клейменов придерживается, а другие... — махнула она рукой, — не Шляпужки, не Тарасовы, таких уж нет работяг.

На уборке хлеба «не запили бы»... В другом краю области, в другом колхозе, собирались давать зарплату. Председатель противился: «Запьют». «Взрослые люди... Уборка... — уговаривали его бригадиры. — Бабы ждут денег». Председатель сдался, «взрослые люди» запили. Что им уборка, этим «взрослым» людям...

В бригадной конторе народу было негусто: ветврач, продавщица. Терзали они телефон. Шумели в трубку: «Але!.. Але!» Из трубки явственно гремела музыка. Как и в прошлом году, когда три дня подряд пытался я дозвониться до райцентра, а из трубки лишь музыка да музыка, да чисто так. Зато радио говорило «по-немецки», как мать Лелька объясняла: «Наше радио все боле по-немецки бельмекает: не пойми, не разбери, часов не проверишь». Вот и нынче оно то урчало, то пищало. Ветврач его выключил в сердцах.

— Раньше было кому пожалиться, — вздохнул он. — В райком: мол, наведите порядок. А нынче встретишь начальника связи, он и рта не даст раскрыть, еще издали шумит: «Людей нет! Провода нет!» «А вы ведь опять цену повысили». «И еще повысим, — подтверждает он. — А людей нет, провода нет. Да еще и столбы пилят».

Не верится, но чистая правда: валят столбы и увозят, целыми линиями. Электрические еще побаиваются, а линии связи сносят. Что чеховский злоумышленник, он лишь гаечки отворачивал. Нынешние работают посерьезней: снимут десяток столбов, увезут, а ты алекай через пустое поле...

В Дурновскую станицу, к Мазиным, вернулся я вечером, хозяева были дома; но Владимир Яковлевич снова спешил, торопясь еще раз объехать свои поля. В его арендном звене ли, бригаде 25 механизаторов, 3200 гектаров земли, а нынешняя головная боль, как и у всех, — сено. Колхозное сено, корма, а значит, зимовка. Прежде в колхозе было 5 тысяч голов скота, и кормов вечно не хватало. Пришло время свободы: райком не командует. Хочешь — значит, уменьшай поголовье. Уменьшили в пять раз. Не вдвое, а впятеро! Земли осталось столько же и люди те же. И все равно кормов не хватает. Почему?

Едем полями. Вот скошенный, в валах, эспарцет. Уже просохший. Но ни людей, ни машин не видно. А вот уже в копнах доброе сено. Вокруг безлюдье. Седьмой час летнего погожего дня, того самого, который год кормит. Но кончился рабочий день, и с кнутом рядом — никого. Вот и разъехались по домам колхозные работники. Свое сено к подворью будут ночь напролет возить и в скирды класть, а потом еще и укроют от дождя. Возили и возят, ночи не спят, потому что погожих дней нынче раз-два и обчелся. А колхозное жди дождя, который уже недалеко: мглой обступает со всех сторон.

Приехали на гумно. И там ни души. Недовершенный скирд, свезенное сено и сваленное. Уже черное, прихваченное дождями. Снова мокнуть ему. «Нынче пуд сена что пуд меда», — говорили старые люди. И я это видел и чуял сегодня, когда ехал цветущими лугами. Но пропал, считай, по всей области первый укос люцерны. И это все пропадет. Черными будылками будут скотину кормить. А то и соломой. Трудная будет зимовка.

На гумне останавливаемся, гул мотоцикла смолкает.

— Не мое, — горько роняет Мазин.

И это не просто слова, рисовка ли передо мной, это правда, им выстраданная. Владимиру Яковлевичу за сорок. Работал он агрономом, главным агрономом, управляющим, не раз звали его председателемствовать. Одним из первых в области ушел он в аренду, и не в угоду моде. Человеку неглупому, грамотному агроному разве сладко всю жизнь с кнутом стоять? В аренде он увидел выход для колхоза, для земли, для себя.

3200 гектаров земли взяли 25 человек. С колхозом заключили договор: платят за технику, горючее, удобрения, сдают готовую продукцию, производят расчет. В звене одного лишнего человека, Владимир Яковлевич сам в кабину трактора полез. Тогдашний первый секретарь обкома партии Калашников, приехав как-то на поле, заподозрил маскарад, когда из трактора вылез пропыленный агроном-звеньевой. Но потом понял, что это не игра для начальства. Проговорили они тогда на поле два часа. Калашников пригласил членов арендного звена приехать в обком договорить. Ездили пять человек. Три часа шел разговор. Об аренде, ее сегодняшних достоинствах, недостатках, о завтрашнем дне.

За два года людей в арендном звене уменьшилось вдвое: избавлялись от нерадивых. Количество земли осталось то же, а отдача от нее повышалась. Росли заработки. Все будто хорошо. Но недаром говорят, что дорогу осилит идущий. Сказав «а», нужно говорить «б». А именно: закреплять чувство хозяина. Нужно было дать право на выкуп техники, чтобы она стала личной, своей. Нужно было заводить звену собственный банковский счет, как и положено настоящему хозяину: плати за горючее, удобрения, за услуги мастерской, зернотока так, как платишь в своем личном хозяйстве. И нужно было от лишних людей избавляться по-прежнему, уже не от явных лодырей, которых убрали, а от скрытых, которые понимали, что в большом стаде всегда можно отлежаться и даже в арендном звене работать не в полную силу. Мазин это чувствовал, видел, но в пору ту сверху все же главенствовал «социалистический выбор» и разговоры о выкупе техники встречали, мягко говоря, прохладно. А снизу шумела молва о «бешеных» арендаторских заработках; колхозное руководство и районное скептически спрашивало: «А остальных людей куда девать? Какие в машинскую аренду не подойдут?» И в самом деле, куда этих лодырей, полулодырей, придурков-«краснодеревщиков»? Даже сейчас ответ неясен. Тогда тем более. А тут еще банковский счет собственный, считай, личный. А своим денежкам мы хозяева всегда недурные. И что достанется с этого счета колхозной конторе, районному комитету сельского хозяйства, областным начальникам, министерству? Ведь не Божиим промыслом они живут. Вот так все вместе, снизу и доверху, Мазина остановили. И сегодня он там же, где и начал, у того же разбитого корыта: 25 человек вместо 13. И сидит вот, вздыхает: «Не свое... Свое сено будут ночь напролет возить. А колхозное...»

Колхозное мы поглядели и возвратились домой. Там ждали нас домашние дела и заботы. Хозяйство у Мазиных, как и у всех жителей сельских, очень немалое: свиньи, птица, пчелы и, конечно, огород, в котором нынче пришла пора помидоры подвязывать да пасынковать. Вместе с родителями работали взрослые уже сыновья. Старший — студент пединститута, младший — без пяти минут студент сельхоза. Огород у Мазиных образцовый. Галина Федоровна не только директор школы, но и биолог. На пришкольном участке в теплицах растут лучшие в области сорта помидоров, перца, капусты, полученные от областной сортоиспытательной станции для проверки. Рассадой школьники снабжают не только своих станичников, но и целые колхозы. Огород Мазиных именно такой, каким и должен быть у семьи биолога, агронома и будущего агронома...

К сумеркам помидорные ряды стояли словно на параде — шпалерами, аккуратно подвязанные. К тому времени поспела и банька, за ней поздний ужин, а потом долгие, за полночь, разговоры о делах сельских.

Семья Мазиных, на мой взгляд, — редкий тепер в России островок сельской интеллигенции, которая, в отличие от городской, не только мудра, но и практична в делах житейских. У Мазиных прекрасная библиотека, допоздна горит свет в их доме. Но сильны они не только книжной премудростью. Дурновская школа, где много лет директором Галина Федоровна, — одна из лучших в области. Сюда, несмотря на дальность, едут за опытом и на практику ученые пединститута, преподаватели и студенты из областного же педагогического лица.

Звено Владимира Яковлевича тоже на виду, в своем деле он специалист авторитетный.

В делах обыденных: дом и подворье, у Мазиных есть чему поучиться. Скотина и птица — в добротных стенах, а не в каких-нибудь покосившихся катухах. Дом, а ря-

дом, под одной крышей, баня, летняя кухня, кладовые, мастерская — все сделано удобно, как говорится, с умом, своими руками. О сыновьях тоже худого никто не скажет. У Мазиных не только и не столько слова, но и дела, что для села ли, хутора очень важно. Потому что и дед Щукарь порою неглупые вещи говорил. Но это — пустая говóря, какой много нынче. А вот речи Яковлевича, как зовут его в округе, послушать не грех.

Нынче он говорит с горечью, много курит.

— Аренда не пошла еще и потому, что характеры разные: у председателя, агронома, работника — у каждого свое «я». Помирить их должен закон о земле, чтобы производственные отношения определялись законом, а не моим ли, твоим характером. Ты говоришь про павловскую ферму, я ее знаю. Две тысячи было свиней — пятнадцать человек obsługi. Сто пятьдесят осталось — те же пятнадцать человек. Свинина дорогая, невыгодно, нерентабельно. Но может один человек и тысячу и полтысячи голов откормить. Это жизнью доказано.

На здешней свиноферме в ту пору, когда работал Мазин главным агрономом, такое было. Уговорил Мазин хорошего работника, прежде крепко пившего, но завязавшего, взяться за свиней на аренде. Правда, уговаривать больше пришлось жену, и даже расписку написал, что если не заработают арендаторы, как агроном обещает, то из своего кармана заплатит. Два года работал человек на аренде. Все было: отличные привесы, заработок. Восстал народ на колхозном правлении: «Воруется! Догляду нет, он ворует!» Напрасно зывал Мазин: «Если ворует, поймите! Накажите, вычтите, заставьте честно работать!» «Воруется! — был ответ. — Не может быть, чтобы не воровал! Прикрыть лавочку!» Аренду прикрыли. Свинина опять стала убыточной.

— А нынче вовсе свобода, — говорит Мазин. — Агроном человек лишний, он может советовать: «Надо бы удобрения, надо бы обработать гербицидами...» «Не надо!» — кричат. «Надо бы...» «Не надо! Дорого!!» «А выйдет дороже: амброзия уже пожаром пошла. Земля работает на истощение. Это все равно что не кормить человека, а требовать с него работы. Он ведь все равно упадет».

Мы говорили и слушали. И вот за темным стеклом окна зашуршало. Вышли на веранду. По крыше сеется дождь, неторопливый, как видно, долгий. Послушали, вздохнули разом. Мне сразу привиделся просторный луг в займище, который вчера косили; люцерна на огороде у матери Лельки, зеленые валы ее; а еще — завтрашняя дорога, раскисшая и разбитая. У Мазина вздыхать было больше причин.

Пошли мы спать. Конечно, не спалось мне. Не мог разом окончиться разговор, который веду я давно с тем же Мазиным, бывая здесь то зимой, то летом. Какие-то фразы Мазина вертелись в голове, обрастая иным, подходящим:

«Как зайцы мечемся: абы как на работе, абы как дома»... Трактористы, которые бросили нынче работу по-светлому, оставив сено мокнуть под дождем, они ведь не отдыхать подались, не телевизор глядеть. Им надо свое сено возить, для своей скотины, которая семью кормит. И тут им ни ночь, ни даже дождь не помеха;

«Работают, чтобы красть»... То сено, подсохшее, добрый, едовый эспарцет, над каким мы с Мазиным вздыхали, оно скорее всего не намокло, успев до дождя перекочевать в какой-нибудь сенокос, под крышу. Дело вполне естественное. Об этом говорено-переговорено;

«Нужно, чтобы хороший работник получал в десять раз больше лодыря и жил в десять раз лучше. А теперь они одинаково воруют»;

и самое главное: «Не мое! Не мое — и все тут!»... Вроде бы у самого Мазина звено арендное, работают неплохо. Но вот недавно поставили на трактор одному из механизаторов новый двигатель, цена ему, считай, миллион. Проехал трактор пятьсот метров и стал. Заклинило новый движок. Пробку картера «хозяин» не затянул, она от вибрации выпала, масло ушло. Двигателю конец. И в звене никаких особых страстей: ладно, мол, с кем не бывает... А было бы «мое»?

Не спалось мне. Мазин тоже поднялся, пошел на кухню курить. Трогать его я не стал. Для меня все эти разговоры, раздумья, конечно, несладки. Но уеду — развееется. А для Мазина это жизнь. Нелепая, горькая в своей ежедневности, но его жизнь, которую уже не переиначишь.

Два года назад Мазин сделал попытку вырваться из нее. Он хотел взять землю. Все обдумал, столкнулся с одним из хороших механизаторов, и решили они взять 600 гектаров земли. Не вышло. На хуторском собрании народ им в земле отказал. (А против воли хуторян он не пошел: «Мне с ними жить». Хотя мог бы.) Устроили на правлении колхоза, где окончательно этот вопрос решался, невеселую игру. Никто не знал, с чем он пришел на правление. Главные специалисты держали ушки на

макушке, понимая, что уход такого человека, как Мазин, — сигнал тревоги нештучный.

Кто проморгает, может остаться на бобах. Недаром отказали ему хуторяне: «Помещиком хочет стать. Землю заберет, технику — всем завладеет, а мы останемся...» И когда во время заседания правления стал писать Мазин бумагу, которую тут же углядели: «Прошу выделить...» — один за другим стали исчезать из председательского кабинета главный агроном, главный инженер, главный зоотехник. Они возвращались через короткое время с наспех написанными заявлениями. И если бы уперся в ту пору Мазин и вышел — следом ушли бы многие, колхозу, видимо, пришел бы конец... Но Мазин, свою бумагу дописав, подал ее председателю. У того в усмешке дрогнули губы, и он прочитал вслух:

— «Прошу выделить воз ржаной соломы для мочки яблок...»

Остался Мазин в колхозе, в звене.

В наших беседах он, конечно, всего не договаривал. Я рассказывал о Гришине, Штепо, Шестеренко, других удачливых фермерах. Он знал больше меня. Он понимал все. А мое дело — лишь догадываться, что там, в душе человеческой...

Впрямую мне Мазин не сказал и не скажет, не тот человек. Но брошенное вскользь: «А звено?.. А школа?.. Животноводство рухнет... В хозяйствах других говорили мне откровеннее: «Уйду я, все брошу — а что с ними будет?» И указывали на людей, колхозников рядовых, не способных уже самостоятельно, без кнута иль указки работать. И полуспившихся, и от роду таких. «Вот доведу до ума всю социалку и уйду», — обещал в другом месте другой руководитель. «Жалко бросать, — вторил им третий. — Такое хозяйство развалится». А хозяйство действительно могучее, одно из лучших в стране.

Мазину трудно из души вынуть и выбросить ответственность за все хозяйство, за всех людей. За школу, к примеру, в которую он вложил много забот и труда. И не только потому, что там директорствует его жена, а потому что там его сыновья и дети его товарищей. А значит, это его заботы. Идея образцового сельскохозяйственного двора школы, не хуже западных, тех, что на телеэкране. Разве можно эту мечту отбросить? Пусть сейчас ей не время. Но именно нынче школа была бы нишей, если бы не звено Мазина, а точнее, не энергия и самоотверженность самого Владимира Яковлевича. Полторы сотни гектаров школьной земли: ячмень, горох, горчица, техника, кредиты, люди, выгодный сбыт — все бы разом рухнуло, уйди Мазин в самостоятельные хозяйства, потому что на первых порах у него хватило бы времени только на свое: свои кредиты, своя техника, своя земля.

Для колхоза, для хутора, конечно, выгодно, что Мазин остался. А для него? Недаром он говорит: «Нужно, чтобы хороший работник жил в десять раз лучше, чем лодырь». Конечно, Мазин не бедствует, живя, как и все, подворьем. Но даже легкой автомобилем, показатель сельского благополучия, теперь ему не под силу. И он латает свой старенький. Несколько лет назад, еще при старых порядках, дал им обком на арендное звено два автомобиля. Владимир Яковлевич, организатор звена и его руководитель, конечно, себе не взял, сказав: «Давайте по-честному: кинем жребий». Кинули. Повезло не ему...

Дождь сеялся ночь напролет. Утром не разведрилось. Хугорская округа тонула в мороси, хугорская дорога — в просторных лужах да бездонных колеях. Мазин во дворе прогрел тяжелый свой мотоцикл, точнее, колхозный, положенный ему как транспортное средство. Дали его нынешней весной, не пешком же бригадиру по полям мотаться. На хуторе «догадались»: Мазин на школьный урожай себе мотоцикл купил, а еще «сигареты дорогие курит» — словом, нажился.

Пророки в своем отечестве не в чести. Это истина древняя. Радетелям та же цена. Хотя труды их и порой немалые жертвы далеко не напрасны. Кто оценит их? Одна надежда — на Бога...

Уезжал я из хутора в дождь. Выбрался на асфальт. До Филонова рукой подать. Но что мне райцентр... Разговоры про беспредел, про московские козни. Хотелось поехать к Гришину — до него не доберешься. Можно бы во 2-ю Березовку, новый «экспериментальный центр». Колхоз там реорганизовали, разделив на «кооперативы с полной самостоятельностью». И теперь друг на друга с вилами идут.

Но нынче, в пору дождливую, скучную, что-то не хотелось мне съезжать с асфальта и соваться в грязь дорожную и житейскую. Поехали-ка домой, ведь уже больше недели в дороге. Асфальтом, московскою доброй трассой, за сотней верст сотня, пусть по дождю, не спеша, но доедем. И всюду почти на полтысячи верст мокла под дождем кошенина. В рядах, валках, кучах, сгребенное. А то и на гумнах

возле ферм, свезенное, но в скирды не сложенное. Сено мокло, чернело. Люцерна, эспарцет. Луговое да сеяное разнотравье. Тяжелая будет для скотины зимовка.

В придорожных хуторах в хозяйских дворах стояли сенные скирды, прикрытые целлофановой пленкой, толем, а то и брезентом. Что им дождь...

* * *

Хутор Большой Набатов лежит в просторной долине вдоль речки с красивым названием — Голубая. Охраняют хутор справа и слева Городская гора да Львовичева, Белобочка да Лысенский курган, Прощальный да Кораблев. Впереди, немного отступив от крайних домов, синее батюшка тихий Дон. За ним в займищных густых уремах среди вербовой, тополевой, дубовой гушины прячутся тихие озера: Бурунистое, Песчаненькое, Большие да Малые Клешни, Синие Талы.

От центра областного, города Волгограда, до Большого Набатова полторы сотни километров, до районного, Калача-на-Дону, — шестьдесят, до центральной усадьбы совхоза, станицы Голубинской, — менее тридцати, но уже без асфальта, колдобина на колдобине. Слава Богу, что сухо. Недолго я поплутал, взяв левее от Дона, но скоро выбрался к долине речки Голубой. Справа вдали Большой Набатов, рядом, под горою, — Евлампиевский, он же Горюшкины. Там лучшие из всей округи груши. Они и сейчас стоят, вековые, могучие дулины. По весне цветут, в свою пору светят желтыми душистыми плодами, потом устилают ими землю. Некому собирать их и есть. На хуторе никого из наших людей не осталось, лишь пришлые, чеченцы, двести семьи сменяют друг друга. Чуть далее — хутор Осиновский в вишневой да терновой гушине. Там нынче лишь одна старая, больная женщина. Уходить не хочет. Еще дальше — хутор Большая Голубая, где когда-то стояло пять мельниц-водянок. Ныне и он на последнем вздохе. Сорок три километра от центральной усадьбы, без асфальта. От хутора Тепленький остались лишь дикие сады, да развалины, да красивое имя. Эти имена греют горькую память: Березов, Каменно-Бродский, Липо-Лебедёвский, Липов Лог, Зоричев, Еруслань... Сколько их...

Дорога моя — в Большой Набатов, но уж коли случилось так, проедем через Евлампиевский, спустившись с горы. Тем более слышал я и в местных газетах читал, что поселились на хуторе новые люди: Лысенко, Караваев. Первый зерном занимается, второй — коневодством.

Нынче осень. Ударили первые утренники, и как-то разом, пожухнув, опала листва. Груши стоят голые, по хутору далеко все видать. На въезде рядом с дорогой — павшая лошадь, терзает ее три собаки. Слева — убогий домишко, на веревке сохнет белье. Разоренный двор, забора и признака нет, про другое не говорю. Это временные, чеченцы ли, даргинцы, азербайджанцы — словом, пришлый народ и, повторю, временный, взяли свое и ушли. Вот другой дом, на вид поприветливее, с забором; у двора — хозяева, говорят: «Уезжаем домой, в Грозный. А сюда приедут другие, тоже из Грозного». И тоже на время, добавлю я. Чуть далее живут Магомадовы. Вот и все.

Посреди хутора у дома заброшенного грудится техника: тракторы, сеялки. Там же кучи старых досок и бревен. Это хозяйство Караваева, коневода. Земли у него больше 300 гектаров. Несколько лошадей бродят под горою. Хозяев нет. Бывает вроде какой-то работник. Но редко. Самого Караваева я часто в райцентре встречаю.

Неподалеку тоже признаки жизни: техника, тележка с просом. За речкою гудит комбайн, видно, хлеб убирает. А ведь конец октября. Добрые люди в июле уборку закончили. Давно посеяли, озимь кустится. Здесь — уборка. Это фермер. Кажется, Лысенко.

Никого не хочу укорять. Как говорится, чужую беду рукой разведу. Но не сказать не могу. Ведь и земля есть, и техника, и кредиты получены немалые. А результат: дохлая лошадь у дороги. Переверну присловье: строить — не ломать.

Лет десять, наверное, назад приехал я на этот хутор впервые. Тогда здесь закрыли школу. Она стояла под горою, у хутора на виду. Потом ее сожгли. Закрыли школу, а хутор был живой. Вон там, у колодца, который потом завалили, говорили мне хуторские бабы: «Никого нас не будет здесь через год-другой». Не верилось. Больно уж хутор был хорош. Большие казачьи дома-курени — с низами, «галдерями». Просторные огороды, левяды, в плетневой огороже. Возле речки луг, за речкою — хлебные поля. Даже не верится, что все это было.

Для тех, кто не верит, не знает, как погибают хутора ли, села, пример, как говорится, наглядный — хутор Большой Набатов, он рядом, в пяти верстах. Дорога — лугом, над речкою.

Большой Набатов еще живет. Он умирает трудно, как все могучее. Но умирает. Из людей, которые здесь родились и крестились, остались лишь пенсионеры: Вьючнов Василий Андреевич, 1910 года рождения; Жармелов Фома Тимофеевич, 1918 года рождения; жена его Евдокия Ивановна; другие под стать им — Арькова Акулина Яковлевна, Одининцева Ольга Игнатьевна, Евсеев Иван Григорьевич, Пристанкова...

Когда-то большенабатовский колхоз имени Буденного известен был на всю область. Хутор людный: 300 семей. «Тут улица, там улица... Как в городе...» — вспоминают старые люди. 5 полеводческих бригад. Из них одна молодежная. Птицеферма с гусями, утками да курами, молочнотоварная... Овечьи гурты... На конеферме одних маток было до 500. Все это в прошлом: тяжелый труд, палочки-трудодни, то копейные, то вовсе пустые, когда вместо хлеба давали 200 ли, 300 граммов куколи. Куколь — черные семена сорняка вьюнка, какой при молотье в хлеб попадал. Потом на току его отделяли. Зерно сдавали государству, куколь оставляли колхозному трудовому народу. Его запаривали и ели. Он был едovie желудей, вязового листа, лебеды, речных ракушек-перловиц и прочего, чем кормился колхозный народ. Ведь хлеба-то начали досыта есть лишь году в 1954-м ли, 1955-м.

Но работали — на фермах, в полеводческих бригадах, плохо ли, хорошо, но кормили страну, сами кормились, детей растили. И наконец, отработав свой немереный стаж, ушли на пенсию. Началась новая жизнь. Длится она и поныне.

В последние годы с экрана телевизора, газетных страниц, с трибун, доказывая нужность свою, народ разный, от президентов до милиционеров и шахтеров, кивает на Запад, где платят президентам и полицейским поболее, и предлагает на тех равняться. Доводы звучат убедительно. Появляются все новые «Форосы», роскошные и надежно охраняемые особняки, «мерседесы» и прочее. Догнать и перегнать Америку хотят все. Но могут лишь сильные мира сего.

А набатовские старики... Да только ли набатовские. Там и здесь, глядя на их немудреное житье, вспоминаю я старость иную. Стоит в глазах венгерская деревенька, дом и двор тамошнего бригадира, куда вошли мы передохнуть после долгой дороги. Не дом я вспоминаю, не убранство его, не цветник, а обыкновенные качели во дворе. Когда отворил я калитку и вошел во двор, на тех качелях качалась теща колхозного бригадира, милая пожилая женщина в светлом платье, в седых кудельках, в туфельках. «Пирожка! — позвала она дочь. — К нам гости!»

Скажи, мой читатель, мой невидимый собеседник, где ты видел такое селенье у нас в стране? Я уж не буду кивать на Америку, где под Филадельфией, на окраине Джорджтауна, и день и другой приходил я в уютный городок пенсионеров. Там зелень и тишина, милые домики, хорошая обслуга, цветы. И не миллионеры там живут, а, как говорят, простые американские люди. Мой коллега там же, в США, неделю прожил во Флориде, гостя в пансионате у бывшей медицинской сестры. Мы встретились в Нью-Йорке перед отлетом, и он взахлеб рассказывал о плавательном бассейне, теннисном корте. Но Бог с ним, этим кортом, — читатель мой, мне качели покоя не дают, обыкновенные качели во дворе венгерского сельского дома. Туда-сюда... Качи-качи... Старушка на них. В седых кудельках, в светлом платье...

Арькова Акулина Яковлевна, набатовская колхозница с немереным стажем, с тяжелыми, разбитыми руками, сидит возле меня, горбится, рассказывает с усмешкой:

— Пролегала я две недели в больнице на центральной усадьбе. Врач домой выписывает, говорит: «Свинину не ешь». «Откель у меня свинина?» «Колбасу тебе тоже нельзя». «Колбасы нам, слава Богу, два ли, три года не возили». «И яиц тебе нельзя». «Кур перевела давно. Чем кормить? Добывать уж не в силах». Врач поглядел, говорит: «А вот сливочное масло можно». А я уж забыла, какое оно и напогляд.

Малая хатка Акулины Яковлевны стоит рядом с хуторским магазином. Но что в том холодном, нетопленном магазине? Лишь длинные пустые полки по стенам. Он кажется огромным, пустой, и оттого еще более холодным. А на дворе лишь октябрь. Что тут будет зимой? Знаю точно, что тепла не будет, потому что нужен новый водяной котел, а сельпо — нищее, у совхоза больше 100 миллионов рублей долгу. До магазина ли ему? Так что спасибо за хлеб, который еще возят. Он, батюшка, главная еда Акулины Яковлевны. Какое-никакое хозяйство держать она не в силах. «Изработалась», — признается честно. Я вижу: все верно, она изработалась за долгие-долгие годы. Теперь вот сидит в малой хатке своей. Что здесь? Постель, да икона, да сундук со смертной одеждой — вот и весь нажиток за сямьдесят лет труда. В своих заметках я не раз еще буду подчеркивать: нажиток... За тридцать лет колхозного труда, за пятьдесят, за сто.

— Своего не будешь иметь, собирайся — и на попов баз, на кладбище, — указывает Фома Тимофесвич Жармелов перстом на хуторской погост.

— Работаем, трудимся, вот и живем, — вторит ему Василий Андреевич Вьючнов, ему нынче восемьдесят четыре года. — Ноги не идут, а надо. Реву, но иду работать.

Просторные левады, подворья, где хрюкают свиньи, гребутся куры да плещутся в луже утки. Овечки да козы — в степи, на попасе. И все это — труды и труды. Копать и полоть, поливать, чистить, сено косить, возить дрова. А ведь годы немалые: семьдесят, восемьдесят...

Где-то дети — далеко ли, близко. Приезжают налетом. У них свои заботы. А хозяйство, которому отдана жизнь (раньше колхоз имени Буденного, теперь — «Голубинский»), — какая от него помощь своим ветеранам? Тут ответ один: никакой. Вспахать ли огород, сено привезти, дрова. На себе не потянешь. Не поможет тебе управляющий, а директор и вовсе. Кланяйся трактористу, готовь бутылку ли, две. А водку нынче на хутор редко привозят. И стоит она — две тысячи рубликов. Вот и приходится расплачиваться овечкой ли, козой. А по-другому никак. Бутылка, бутылка, бутылка... Горсть зерна, что выдают пенсионерам, что от нее проку? Двух курят прокормить? Надо? Привезут. Но готовь за бутылкой бутылку. Принимай да побаивайся. Ведь ворованное. Поймают — будешь отвечать.

Восьмидесятилетняя Евлаша не стала было свинью держать, мочи нет. За год в хуторской магазин не привезли ни жиринки. Снова пришлось свинью заводить в восемьдесят лет. Какая уж тут Америка, какая Европа, какие качелики. Как сказал Василий Андреевич: «Ноги не идут, а надо. Реву, но иду работать». Это по-нашему.

Когда Акулина Яковлевна рассказывала о больнице, о советах доктора, то нет-нет да и прикладывала руку к иссохшей груди.

— Болит? — спросил я.

Она кивнула. Хотя о чем было спрашивать, погляди — и увидишь.

— Лекарства надо пить, — посоветовал я.

Собеседница лишь вздохнула в ответ.

Фельдшерский пункт на хуторе третий год уже на замке. Дай мне Бог ошибиться, но, какжется, этой зимой он рухнет, а к лету его растащат. А ведь дом еще хороший, старинный, как на Дону говорят, круглый, казачий дом. Прежде ему каждый год делали небольшой ремонт: подмазывали фундамент, красили, доску-другую прибавляли. И он стоял, приглядный, уютный. Старый Вьючнов последнюю фельдшерницу вспоминает добром. Она делала ему уколы, после которых он чувал себя здоровым: «Буравлем ходил». Нынче, когда «прихватит что-то внутри», он лечится... Рука не поднимается, да и читателя жаль, так что умолчу я, чем лечится восьмидесятичетырехлетний Василий Андреевич, когда у него прихватит «что-то внутри».

— Хочешь — болей, хочешь — нет, — говорит Фома Жармелов. — В ту весну я без сознания больше суток лежал. Приезжали, сказали — вроде инфаркт. Трогать нельзя. Больше не трогают.

— Те годы таблетки возили, — вспоминает его жена. — Много было таблеток: от головы, от кашля. А последний раз, тот еще год, привезли лишь зеленку. Хочешь — лечись ей, хочешь — курей мажь для отметки.

Не станичным, с центральной усадьбы, докторам мой укор. Что они могут сделать, имея единственную машинешку для всех забот? А дороги от станицы Голубинской к пяти ее хуторам далекие и нелегкие, там и метра асфальта нет. И что хутора... Уже станица чувствует новые времена: собираются закрывать как нерентабельную аптеку.

А в Большом Набатове у фельдшерского дома осыпается обмазка фундамента и, что самое главное, исчез столб, который поддерживал кровлю веранды. Теперь эта кровля висит. Ляжет снег, она рухнет и потянет за собой всю крышу дома. А тогда дом растянут в два счета. К лету останется лишь обглоданный остов. Вот он, рядом, живой пример: хуторской клуб. За год-другой от него лишь кирпичные стены остались: ни потолка, ни сцены, ни окон, ни дверей. А здание хуторской почты? В прошлом году приезжал — стояло. Не успели закрыть — остался лишь фундамент. В Евлампиевском магазин еще недавно работал, теперь — разбили. А школу там сожгли давно. Хорошая была школа. Любил я там летом на ступенях посидеть. Сидишь, весь хутор видать и всю округу. Закрыли ее — и хутору конец.

Большой Набатов умирает от такой же беды. Ни почты теперь, ни медицины. А началось все со школы.

Николай Николаевич Семерников, управляющий совхозным отделением в Большом Набатове, еще молод, но работает в этом хуторе десять лет. Сначала агро-

номом, теперь — в нынешней своей должности. А школа будто бы к полеводству да животноводству отношения не имеет. Но это будто бы. Семерников же знает и чувствует не первый год на собственной шкуре, что имеет отношение. Нет в хуторе работников для фермы и для поля, и новых, даже беженцев, сюда не заманишь, потому что с семи лет детишки должны на целую неделю отправляться из родительского гнезда на центральную усадьбу, в тамошний интернат, в котором доброго мало. Нынче осенью там не топят, и спят ребята под тремя одеялами.

— Уж как мы просили, — говорит Николай Николаевич, — сделайте нам начальную школу. Старая стоит. Давайте отремонтируем. Нет, говорят в районе, санэпидстанция не примет. И ведь деньги тогда были, не то что сейчас. Ну давайте, говорю, в клубе (он еще целый был), там тепло. Немного переделаем, и получится школа и квартира для учительницы. А мне районо толкует: окна низкие, света будет мало, ребенок будет нагибаться к парте и искривит себе позвоночник. Заботники... А то, что наши ребята в распутицу да в снега по месяцу то из школы не могут домой попасть, то в школу не доберутся... Мелюзга — и без матери. Какие родители это будут терпеть? А теперь и вовсе конец, никому не надо.

Это уж точно. Какая там школа, когда столб у фельдшерского пункта некому поставить. Совхоз в долгах. Сельсовет нищий. Его председатель, узнав, что я еду по хуторам, просил меня прихватить его на свои владения посмотреть. У него даже лошади нет. Главврач района, выслушав мой рассказ, мне же и пожаловался: «Те больницы и фельдшерские пункты, что работают, пора закрывать. Денег — одни долги. За лекарства, за питание, за освещение и прочее платить нечем».

Осень. Россия. Хутор Большой Набатов. Не нынче, так завтра пойдут дожди, развезет дороги. Ни проехать тогда, ни пройти. До станичной больницы, до школы лежат нелегкие версты. Автобусы сюда не забирались отродясь. Прежде добирались до станицы и райцентра водой, по Дону, рейсовым катером. Отменили его два года назад по причине нынче обычной — нерентабельность. По той же причине отменили прежде делавшую два рейса в неделю, по вторникам и пятницам, совхозную машину со скамейками. На ней успевали к автобусам — районному и городскому. Теперь же при нужде даже на центральную усадьбу совхоза можно добраться лишь с оказией, случайно. А потом в станице снова искать такую же. Ночевать там, коли не сыщешь. И снова искать. Да и всякая ли попутка сгодится малышу-первокласснику или старому человеку: железный кузов самосвала, тракторная тележка?

Про хуторскую медицину, торговлю, почту, школу, точнее про их отсутствие, я сказал. Осталось добавить немного: два телевизора и холодильник в доме Жармеловых который год не работают, та же песня у Вьючных, про Евлашу да Кулю и говорить нечего. В годы прежние была слабая надежда на колесивший по району фургон «Бытовые услуги». Нынче «услуги» кончились. Районной «бытовки» не существует. А значит, и надежда ушла.

С газетами на хуторе, считай, все распрощались. Во-первых, не по карману, во-вторых, почта закрылась и привозить газеты будут раз в месяц скопом, половину растеряв. Радио понемногу смолкает, но старый Вьючнов умеет его «ремонтировать»: кулаком стучать по репродуктору или дрючком провода шевелить. Тогда оно «чисточко загутарит».

Когда приезжаешь на хутор, то каждого для беседы невольно отрываешь от дел: один в огороде, другой на печурке кашу варит свиньям — все в заботах. А потому в конце разговора обычно просишь прощения за то, что от дел оторвал, и слышишь в ответ: «Тебе спасибо за то, что приехал, поговорил, послушал нас. Мы от людей отвыкли». И правда ведь, в магазине не постоишь, там холод, клуб разорили, редкие праздники: Первой да 7 ноября, День Победы, когда собирали всех, поздравляли, — все это кончилось. В опустевшем хуторе там и здесь едва теплится жизнь. Каждая в своем углу. В основном старики.

Сельские старики, на мой взгляд, нынче единственная опора деревенского мира. Не будь их — половина нашей земли стояла бы в бурьяне по пояс. Во-первых, потому что работают они до последнего вздоха. Тетя Нюра моя плакала в последний год жизни: «Работать не могу... Возьму лопатку, а руки не держат... Хочу работать, а не могу». Покойный дед Архип из Клейменовки за день до смерти все же выполз из хаты, с тоскою смотрел на огород, спрашивал: «Как там, картошку заволочили? В два следа? Иль поленились?»

Приедешь на хутор, вроде и неживой он, одни старики копошатся. Но картошка стоит стеной в делянках умеренных, лук топырится, цветут помидоры, арбузные плети устилают землю. Живы старики, и к ним, выбирая время, глядишь, надведут из райцентра да города молодые — кто помочь, а кто и забрать выращенное. Ведь

цены на базарах растут. А здесь — картошка, капуста и прочая зелень бесплатная, да еще и сальцо деревенское и мясо. Детишек можно отправить к старикам из душевного городского лета. Особенно теперь, когда закрылись бесплатные пионерские лагеря. Да и самим приехать, вольным воздухом подышать и подкормиться. Профсоюз теперь не подмога. Пока сельские старики живут на своей земле, все это возможно. И как тяжело они расстаются с ней, пусть даже ненадолго, на зимовку, в городские квартиры, к детям, где, по их словам, люди «бьются один об одного», где «вода горчей полына, я ее проглотить не могу», где «в клетке сидишь на этом этаже и плачешь».

Одним некуда уйти, другие никуда не пойдут, потому что здесь их родная земля, родные могилы. Они живут. И горькое их житье не только просто укор нашему государству, а еще — наглядный пример молодым, полным сил, которые ищут и пока не могут найти себе пристанища. У одних нет работы в городе, у других — жилья, третьих стронуло с места тревожное время. Таких нынче много. Приезжайте в Большой Набатов! — зову я их. Работы хватит по горло, на долгую жизнь. Но жить будете без медицины и почты, без школы, дорог, без надежного транспорта, телефона, телевизора и прочей «сложной» для хутора техники. Забудете, какие наглядывают конфеты ли, колбаса. Единственное, что пока обещаю, — магазинный хлеб. Но может быть, завтра не будет и его, как в Евлампиевке, где пекут уже свой. Но будет — работа, работа и работа: с лопатой, вилами, мотыгой, на своем ли, на колхозном базу. Без выходных и отпусков (ведь скотину и на день не оставишь), с пяти утра до полуночи.

Такая вот наглядная и доходчивая агитация свое дело сделала. Погас огонь в хуторах Большая да Малая Осиновка, Липов Лог, Тепленький... Считать их можно долго: Малый Набатов, Лучка, Картули, Екимовский... Это лишь те, что рядом, рукой подать. Евлампиевский, Большой Набатов... Сомкнется над округой кладбищенская тишина.

— Озимых мы нынче не посеяли, — говорит управляющий. — А от них — хлеб Кормов мало. Гурты мясного скота надо с хутора убирать. Нет ни кормов, ни людей. Работать не с кем. Остались лишь пьяницы да чечены. Над пьяницами надо с кнутом стоять, и то они через пень-колоду делают, на уме одно: чего бы пропить. А у чечен свои гурты больше совхозных, на них все корма идут, какие мы заготовим. Людей нет, и никто сюда не приедет из добрых работников. Одни лишь дачники, горе мое. Раньше в магазин вино привезут, два-три дня пьянка — и шабаш, кончилось, до следующего привоза я спокоен. А нынче в любой день, хоть среди ночи, иди к дачникам. У них — хоть залейся. Наши пьяницы им в первую очередь отвезут совхозное сено, силос, дробленку, зерно — все, что те им прикажут.

Те, кого управляющий называет дачниками, — люди разные: местные и пришлые, молодые и крепкие пенсионеры. Никто из них в совхозе не работает. Но держат скотину, хозяйствуя на себя.

— Помощи от них никакой, — жалуется управляющий. — В горячую пору скирдовать никто не пошел. А чуть что, ко мне идут: воды нет, принимай меры, управляющий. И тянут, тянут... Нынче опять семь голов третий день ищем. А рядом, у соседей, трактор украли на этой неделе. Быка за голову зацепили прямо с база и волоком тянули до двора. С емкостей замки сбили, солярку слили в бочки. И хорониться не думали, следы-то явственные. Сколько скотины своей находил в чеченских гуртах. Наша порода — абердины, наши метки. Участкового привозил, в райцентр ездили, к начальнику милиции. Бесполезно. «Погодите, погодите...» — один ответ.

Управляющий — мужик молодой, с агрономическим образованием и опытом. Не дорабатывать ему, как иным совхозным спецам, до пенсии, а жить и жить, и потому я спрашиваю:

— Вы что, не видите, что совхоз в долгах по уши? Он же с ними никогда не расплатится! Чего вы ждете? Какой манны небесной?

— Все я вижу, — отвечает он, — а вот что делать, не знаю. Наверное, надо было уйти в фермеры. Но землю сейчас дают самую плохую. А если бы всем расходиться, досталась бы хорошая. Сверху бы, из Москвы, сказали твердо. А то крутят то в одну сторону, то в другую. Уйти бы, на себя работать, а не с пьяницами кохаться. Не будет совхоза — они погибнут, и все. А по-нынешнему все равно проку не будет.

— А по какому же будет? — спросил я. — Вот у вас тут фермеры появились, на ваших землях...

— Это горе горькое, — ответил молодой управляющий. — Они сроду земли не видали и не знали ее. Поезжайте и поглядите.

Ездил не раз. Глядел. И в прошлом году и в нынешнем. Особенно памятна поездка в конце лета. Тогда, теплым августовским днем, в пору уборочную, ехали мы из Калача на хутор Большая Голубая не асфальтом и грейдером, а сделав добрый крюк, дорогами полевыми. У кургана Хорошего свернули влево и покатали вниз через Липологовскую балку, где когда-то хутор стоял, а оттуда через бугор на Осиновку, краем ее, а потом вовсе дорогой неезженной к просторной долине Голубой речки.

Эти полевые дороги и земли — на гранях соседних районов: справа Калачевский, слева Суровикинский. Справа — совхоз «Голубинский», слева — «Логовский». Вернее, когда-то совхозные земли, а нынче не разберешь... В «Логовском» от 11 тысяч гектаров к лету осталось лишь 3,5 тысячи. Совхоз «Голубинский» недавно был целым государством в 70 тысяч гектаров, сейчас наберет ли половину. В «Логовском» землю фермеры разобрали. «Голубинский» отдавал свое направо и налево. В 1992 году, следуя необходимости ли, моде, здесь хозяйствовало чуть не два десятка организаций: корабель и нефтяники, железнодорожники и строители, агроснаб и райпо, больница и дом отдыха — всех не перечтешь. Не от хорошей жизни отдавал «Голубинский» свои земли: сроду он с ними не справлялся. До «белых мух» убирали, пахали, гноили, потом скотину морили голодом. Причин было много, и все объективные: край далекий, отрезанный рекой, нет хорошей дороги, нет жилья. Потом появился мост, асфальт, жилье, земли вдвое меньше стало, а значит, нагрузки в работе. Но все осталось по-прежнему.

Вот и сейчас едем дорогой полевой: справа поля и слева поля, справа осот и слева осот, белые, седые его головки. Порой из машины выходим, пытаемся разобраться: что же тут сеяли? Ячмень ли, просо, а может, все это — падалица? Единственное хорошее поле — перед Липологовской балкой. Здесь, у фермера Горячева, озимки получили почти по 30 центнеров с гектара. Хотя особо удивляться нечему. Год выдался благодатный. Хорошие хозяева по 50 центнеров получили. Но для этих краев 30 центнеров — небывалый рекорд. Для них привычной жиденский ячменишко, какой и встречал нас порою то слева, то справа.

Вчера — совхоз «Голубинский» ли, «Логовский», нынче — земли Горячева, Найденнова, Бударина, Боброва, Старовойтова, Кузнецова, Пономарева... Их уж точно не перечтешь. На одной земле голубинской полсотни числится, не считая хозяев крупных — Гидростроя да Водстроя. Но глядеть на эти поля радости мало. У кого-то лучше, у кого-то хуже, а в общем, тот же совхоз «Голубинский» далеко не добрых его времен. То, что было построено в пору совхозную, совсем недавно (кошары, добротные полевые станы, стригальные пункты в Осиновке да на Большой Голубой), растаскается, ломается, а иногo и вовсе нет, словно провалилось сквозь землю. А ведь строили трудно. Совхоз не богатый, хутора далекие. Строили трудно — погублено в одночасье, словно перед концом света. Но ведь жизни еще не конец. И хозяин не навсe ушел с этой земли. Кто-то ведь да придет? Но кто?

На мой взгляд, те люди, что нынче заволокли голубинские земли, — народ временный, за очень редким исключением. Коренных голубян-земледельцев среди них мало, больше городских, из райцентра. Кто-то решил легкую деньгу зашибить, кому-то банковский кредит нужен; или завтра указ выйдет, и можно будет эту сотню гектаров продать. Один кое-как царапает землю, другой — ждет указа. Какая уж тут агротехника... Взбодренный нынешними дождями, сорняк стоит, словно гвардия на параде.

Картина нерадостная, какая и прежде была, если не хуже. В недавние еще годы один из секретарей райкома в сердцах обещал продать собственную легковую машину, купить на вырученные деньги атомную бомбу и кинуть ее на совхоз «Голубинский». После этого Калачевский район сразу выйдет в передовые.

Времена новые. Много новых порядков и хозяев. Но на голубинских землях и нынче до ноября будут хлеб убирать. По 2—3 центнера в конце уборки наскребать будут с гектара. У добрых людей, напомним, по 30, по 50. И дело не только в нерадивости хозяев новых и старых. Ведь эти земли приличных урожаев никогда не давали. Поговорите со стариками, и они скажут, что хлеб здесь сеяли лишь себя. А настоящий доход получали на откорме крупного рогатого скота. Земли много — паси и паси. А осенью продавай. Ежегодная Никольская осенняя ярмарка в станице Голубинской проходила на Солонцах, там, где нынче заброшенные плантации. Рассказывали мне об этой ярмарке В. А. Рукосуев, старинный голубянин, и В. А. Вьючнов из Большого Набатова. Тот и другой помнят «красного купца» Чертихина. Из Царицына, Ростова, Москвы приезжали сюда за скотом.

В областном архиве, просматривая дела раскулаченных этой округи, читал и читал я: «арендовал участки земли, занимался торговлей скотом», «снял участки для

отгула скота», «арендовал до 150 га, занимался отгулом».. После коллективизации на этих землях располагался огромный совхоз «Красный скотовод» с центром на Фомин-колодце. В 1937 — 1938 годах руководство совхоза арестовали, совхоз расформировали. Все больше и больше запахивалось земель. А уж целинная горячка и вовсе попасы на нет свела. Перепахивали все подряд, выворачивая наружу мел. Получили за «целину» ордена и стали гонять комбайны по тощим полям, сбирая урожай скудный, но выполняя «наказ Родины»: «Хлеб — любой ценой!» А хороший хлеб на этих бедных землях бывает один раз в сто лет.

Пришли новые времена. Но что принесли они этой земле? Пока лишь горячку фермеризации. Умеешь ты, не умеешь пахать, коренной хлебороб или горожанин, который трактор лишь в кино видел, но глотка хорошая, настойчивость есть — не мытьем, так катаньем получишь землю.

История с первым в районе фермером Федоровым весьма показательна. Человек городской, в сельских делах абсолютно неумелый — это было видно с первого взгляда, — 300 гектаров земли он все же получил. Речи в его защиту звучали с трибун сессии облсовета, райсовета. Тех, кто не хотел ему землю давать, величали врагами аграрной политики. Землю Федоров получил, взял под нее банковский кредит, на этом завершив хлеборобскую деятельность. 300 гектаров земли зарастали бурьяном, пока их не отобрали.

Но отсутствие четкой перспективы в аграрной политике и боязнь руководителей районов прослыть саботажниками аграрной реформы делали свое дело. Свободная земля в задонской стороне раздавалась налево и направо. У хозяев вовсе нерадивых изымалась и порой передавалась таким же.

Мы и ехали-то в Большую Голубую, чтобы показать новому хозяину его земли. А этот «новый хозяин» был не лучше старого. Всю дорогу шли разговоры лишь о кредите, который банком обещан.

Посмотрели мы поле, сплошь заросшее осотом. Думаю, при новом хозяине этой земле не станет легче.

Так за что же я ратую, укоряя земельный комитет, хуля новых, еще неопытных хозяев? За возврат к совхозу «Голубинский» с 70 тысячами «нищих» гектаров? Нет. Твержу я о том же, о чем и ранее: в стране отсутствует четкая, грамотная аграрная политика. Она заменена лозунгами и сиюминутными нуждами. Не новым толпам «желающих» нужно отдавать землю, а тем людям, которые успели за прошедшие два-три года доказать делами (состоянием земли, урожаем), что они на земле хозяева рачительные.

В начале сентября в Калаче прошло очередное заседание земельной комиссии. На свободные 300 гектаров земли претендовали несколько человек. Досталась она работникам совхоза. «Пусть попробуют, — сказали мне. — У них преимущественное право». А я думаю, что преимущественное право было не у них, вполне возможно, хороших людей и работников, а у Штепо, Олейникова, которые по 40—50 центнеров со своей земли получили. И тогда уже в следующем году эти 300 гектаров начали бы работать. А в ближайшие годы для государства с этой земли пошла бы весомая налоговая отдача. А теперь «пусть попробуют».

Когда я говорил об этом в Калаче, мне возразили, что существуют законы, их надо исполнять, поступи комиссия иначе — прокуратура и суд восстановили бы справедливость. Какая уж тут справедливость, если к земле не пускают хозяина, а поют прежние песни о всеобщем равенстве, когда справа — осот, слева — тоже осот. Но социальная справедливость торжествует.

В Задонье, на землях совхоза «Голубинский», вчерашних и нынешних, за лето побывал я не раз. В конце октября, в последнюю неделю перед ненастьем, дважды там был. Люблю я этот просторный, пустеющий край: степь и степь, крутые холмы, пологие балки, синяя донская вода под обрывом. Но нынче вела меня и другая забота.

В середине октября районные власти решили подвести итог колхозному труду. Собрались руководители администрации, Совета, комитета по сельскому хозяйству, банка. Вопрос один: финансовое состояние коллективных хозяйств. Какие доходы имеем, закончив уборку и сдачу продукции? Какие результаты ожидаются к 1 января 1994 года? Что будем делать в 1994 году? Ответ давали руководители колхозов вместе с экономистами.

Отчет оказался очень неутешительным: все хозяйства района придут к 1 января с пустым карманом. (Лишь «Волго-Дон» получит доход, но теоретический, так как денег ему не заплатят его должники.) С 1 января 1994 года все хозяйства начнут жить в долг. А район наш, Калачевский, один из лучших в области по всем показателям. Такие вот результаты. Причин много, они всем известны. Но легче от этого кому?

Самое тяжелое положение у «Голубинского»: на 1 октября долгов примерно 80 миллионов, на 1 января их будет 250 миллионов. Доходов не предвидится до следующей уборки урожая, когда долги вырастут, по самым скромным подсчетам, уже до 1,5 миллиарда.

Послушали руководителя хозяйства, пожурили его, посетовали на тяжелые времена, решили просить «область» предоставить «Голубинскому» отсрочку по кредитам на 121 миллион. Хозяйствуйте, мол, дальше. Неделю спустя приехали районные руководители в совхоз ли, колхоз — поди пойми теперь, как их называть. И разговор пошел не только и не столько с директором, сколько с главными специалистами: агрономами, зоотехниками, механиками, экономистами.

Сначала говорил Ю. Ю. Барабанов, директор. Рассуждал он реально:

— Долгов много. А впереди просвета не видно. Зайдем еще и еще, до следующей уборки урожая. Долги будут расти. А чем отдавать? В животноводство надо вложить двести миллионов. Ожидаемая прибыль — сто миллионов. На каждую овцу расходует пять тысяч рублей, доход получаем — тысячу. Просвета нет. Если сейчас начать ликвидацию хозяйства, то, продав все животноводство, остатки зерна, можно будет что-то выделит каждому работнику на имущественный пай — за прежние годы нажиток. Если дележ будет следующим летом, то уже и делить будет нечего. Все имущество уйдет на покрытие долгов. Руки друг другу пожмем и разойдемся.

Приезд районного начальства для разговора серьезного был известен заранее. Просили главных спецов подготовиться, прикинуть в цифрах и доложить. Поэтому главный агроном начал читать по писаному:

— «Должны повысить урожайность... Ввести новые сорта... Расширить... Паровать... Ожидаемый доход... Должны получить миллиард сто миллионов рублей...»

Сказки все это были, такие привычные сказки для взрослых людей, опытных, сединой убеленных. Признаюсь, что слушать такие речи мне было страшновато. Все словно десять, двадцать лет назад. Но времена новые все же подпирают, и потому спросили:

— А что же вам в этом году помешало «повышать», «расширять», «паровать»? Ведь год был, каких сто лет не будет. Люди по сорок—пятьдесят центнеров получили, а вы, как всегда, десять. А ведь вам отказа ни в чем не было. И опять нынче вы озимку не посеяли, значит, никакого зерна не будет. А вы нам басни тачаете...

Страсти накалялись, началась обычная колхозная планерка.

— Доруководились... От ста коров — тридцать телят выхода. Они у вас что, через два года на третий лишь телятся?

— Они на наших кормах не то что телиться — давно подохнуть должны. Ни люцерны, ни соломы нет.

— Нет, они все же телятся. Даже в райцентре ваши телята, абердины, приметные, их ни у кого больше нет. Разворовывают!

— Конечно. Мы платим скотнику за теленка тысячу шестьсот рублей, бутылка водки — две тысячи. Ему поллитру поставь — он этого теленка не в райцентр, а еще дальше утянет.

— Надо контролировать, вас вон сколько. Каждому по ферме, контроль и контроль. Раздачу кормов, отел. Работать разучились. Вам люди доверили. А у вас выход ягнят какой? А настриг шерсти?

— По полгода не кормим скотину. А требуем отдачи. Это не медведи.

— Кормите, организуйте. Возьмите по ферме и живите там... Сейте сорго. Займитесь подсолнухом... Пришлем специалистов. Будем жать и жать. Заставим работать!

Сидел я, слушал старые-престарые речи. Ведь тех же районных руководителей их же собственным вопросом можно было донять: а кто вам в начале этого, того ли года мешал «жать и жать», «прислать», «заставить»? Никто не мешал. И сколько помню, все жмут и жмут, а в «Голубинском» все те же 7—10 центнеров с гектара, все тот же падеж овцы, все те же комариные привесы.

Словно остановилось время. Но это лишь кажется, оно течет. И горе обманутым или себя обманувшим. Кто их спасет?..

На следующий день после разговора в совхозной дирекции ранним утром приехал я на хутор Малооголубинский. Лежит он в тесном распадке меж холмами, крайними домами спускаясь к берегу Дона. На взгорье — новая контора, новый магазин. В конторе — народ, как всегда, после утреннего наряда: бригадир животноводов, зоотехник, механизаторы. Вопросы я задавал прямые:

— Знаете ли вы финансовое положение своего хозяйства? Как думаете дальше жить? Колхозом? Самостоятельно?

— Знаем, что в долгах... Переживаем... А что будет? — стали отвечать все разом, невпопад и впопад.

— Вы разогнать нас хотите! Ну разгоните, возьмем по пятнадцать гектаров да по тракторному колесу — и что? Нас ведь кто-нибудь купит, и пойдем к нему в работники.

— Мы выросли в колхозе. Как без него, не знаем.

— И сейчас не жизнь. Получаем по восемь—десять тысяч, скотники по пятнадцать—двадцать. И тех по два—три месяца не дожدهшься. Разве можно так жить? Спасибо все свое: мясо, картошка, овощи. Но это все — труд.

— Начальство хочет всю скотину порезать, все убыточное. А случись завтра засуха, она ведь и по три года подряд бывала. Выживали на мясе и шерсти. А если все порежем — чем жить?

— Но ведь оно и вправду убыточное. По пятьдесят ягнят на сто овцематок получаете. А ведь получают по сто тридцать—сто пятьдесят, — сказал я.

Поднялся галдеж:

— Кошары разбитые... Холод, сквозняк... Они померзли там! Сроду кормов нет!

Ругали начальство, новые времена, московских правителей. Кто-то о выборах спрашивал, о новой конституции.

Оставив вместо себя для допросов молодого моего спутника, я вышел из конторки. Спорить не хотелось. У каждого своя правда. В кошарах холод и сквозняк? Утеплите их, побитые окна заделайте. В домашних стойлах не дует? В тепле стоит скотина? А ведь руки одни и те же, но дома — «мое», а в колхозе — «не мое». И что говорить о кошарах, ягнятах, когда колхозная контора, совсем новая, разбита вдребезг. Большая комната уже без полов и кое-где стекол нет. Сбились в одну, тесную, но холодную, и это по осени. Придут холода, что будет?.. И о каких толковать выборах, конституции? Все это пустое. Государственная дума не придет твою кошару утеплять, чтобы ягнята не померзли. Или твой дом, чтоб у тебя под носом, не дай Бог, не примерзло.

Скучно на все это смотреть, скажу я вам...

Во времена прежние, давние и не очень, когда поедешь по хуторам в зимнюю пору, по осени, насмотришься на голодную скотину по брюхо в грязи — тошно становилось. Но было у меня одно лекарство: доехать до поселка Волгодонской, свернуть влево, к скотным базам, выйти из машины. И сразу на сердце теплело. Вот она, на выгонах и под крышей, сытая, ухоженная скотина. Черно-пестрая порода, без примеси, одна в одну. Бычки лобастые, с живыми глазами, из розовых ноздрей — струйки горячего пара. Чистая, блестящая шерсть, какая бывает у кормленной, доброй скотины, у доброго же хозяина. Это — совхоз «Волго-Дон» Калачевского района. Директор — Виктор Иванович Штепо, дважды Герой.

Нынче время иное. Год 1993-й, время перемен. Почти на треть везде снизилось поголовье скота, надоя, привесы. Животноводство в развале.

Совхоз «Волго-Дон», сменив, как и все иные хозяйства, вывеску, остался тем же высокопроизводительным сельскохозяйственным предприятием. Как и в прежние годы, он имеет 8 тысяч голов крупного рогатого скота, большое молочное стадо с удоем в 5 тысяч литров. Урожайность — 40 центнеров пшеницы с гектара, 500 центнеров — овощи. Показатели — лучшие в области, одни из лучших в стране. Это хозяйство по мощности, интенсивности, производительности сродни тем европейским и американским образцам, которым мы завидуем.

Сколько было примеров, когда вчерашний лидер, передовик, потеряв руководителя ли, высокого покровителя, тут же гаснет. В «Волго-Доне» теперь директором не дважды Герой Штепо и времена нынче суровые, но хозяйство не рухнуло и не пошло под уклон. «Волго-Дон» был и остается трудягой и добрым хозяином, хотя нынешние бури не обошли его.

Разговор весьма показательный.

— Поздравь, я телочку купил! — обрадовал одного из руководителей совхоза, Н. Н. Самарского, совхозный же пенсионер.

Самарский поскукчел и спросил нового хозяина:

— А косу ты купил?

— Нет.

— Надо бы сначала косу, сена заготовить, а потом о телочке думать.

Этих хозяйских телочек да бычков, свиной появилось в «Волго-Доне» за последний год очень немало, почти треть от общесовхозного. Трещат хозяйские скотные

дворы. И не крестьянская жадность тому виной. Вчера большинство работников «Волго-Дона», отработав нелегкую смену, стремились к отдыху. Ведь нагрузки в хозяйстве большие: по 300 голов на скотника, по 100 коров на доярку. После такого трудового дня спина и руки отдыха просят. Но если вчера мужики, отработав, на рыбалку спешили, то нынче — к своей скотине.

Из разговора в совхозной поликлинике:

— Не могу сейчас дочку на консультацию в город отвезти. Денег нет. Может, вот получим, вроде обещали...

В 1992 году средний заработок работника «Волго-Дона» — 8—10 тысяч рублей, овощевода ли, доярки. Да еще задержка с выдачей на два-три месяца. Детские босоножки в местном магазине 6 тысяч, рядом у торговца детский же летний костюмчик 15—20 тысяч. Вот и приходится вместо отдыха братья за лопату да вилы. Удачно продашь бычка — 100—200 тысяч, годовой заработок.

«Волго-Дон» каждый месяц производит 800 тонн молока, 100 тонн мяса, овощами весь областной центр может прокормить. И кормит. Но деньги за свою продукцию получить вовремя и сполна не может. Еще за прошлый год с ним за овощи не рассчитались. Что осталось от тех бумажных миллионов при нашей инфляции? По прикидкам, год 1993-й совхоз закончит с прибылью в три четверти миллиарда. Но эти деньги опять будут липовыми, их ему не отдадут. А липовыми деньгами не выдашь зарплату, на них не купишь технику. Уже три года в «Волго-Доне» не покупали автомобили, скоро будет не на чем молоко возить. Зарплату людям не платишь — значит, сквозь пальцы смотри, как они растаскивают совхозные корма по своим подворьям. И если так дело пойдет, то уже через год-другой скотина хозяйская съест скотину совхозную, как в «Голубинском» и во многих других. И совхоз рухнет.

Украсть у человека 50 рублей — это воровство. Уголовный кодекс карает. Годами не отдавать «Волго-Дону» сотни миллионов за произведенное мясо, молоко, овощи — это «неплатеж». При таких порядках «Волго-Дон», конечно же, развалится.

Выписка из газеты: «В этом году Литва будет иметь в 3 раза меньше мяса, чем 4 года назад, — сообщил литовский премьер-министр. — Причина: провал экономической реформы на селе... Опустение животноводческих комплексов, почти половина которых находится в заброшенном состоянии».

В один из летних дней, возвращаясь из «Волго-Дона», заехал я к Н. Н. Хлиманенко, бывшему скотнику совхоза «Маяк», а нынче, третий уже год, самостоятельному хозяину, у которого на семью в семь человек — 127 гектаров земли. Мечта Николая Николаевича — иметь 50 коров, механизированную молочную ферму, молодняк. Сам он человек работающий и опытный, в подмогу — пятеро детей, которые рядом. Два сына и две дочери уже взрослые. Но мечта пока остается лишь мечтой, в лучшем случае в этом году будет проект да колышки. А те полтора десятка голов, которые держал Хлиманенко, понемногу со двора уходят. Потому что вручную, на пупке, долго не продержишься, надорвешься. Хлиманенко единственный в Калачевском районе из 250 новых хозяев хотел бы заняться животноводством. Хотел бы... В светлом, как говорили, будущем. Дай Бог его мечтам исполниться. Но «пока поспеют каньши, не останется бабкиной и души». В нынешнем дне кормит нас «Волго-Дон», об этом надо помнить. А таких совхозов в стране — единицы. Одной руки хватит, чтобы их посчитать. И может быть, это одна из новых форм хозяйствования на земле. Недаром я ездил сюда в годы прошлые, чтобы душу согреть. Езжу и сейчас. Хотя нет уже в совхозе Виктора Ивановича Штепо, бывшего директора, его прогнали, как это у нас в нынешнюю пору умеют делать: митингами, криком, взації. У Виктора Ивановича сейчас своя земля. Он хозяин отменный. Лучший в районе. Это мнение не только мое, но агрономов сельхозуправления. О Викторе Ивановиче Штепо стоит поговорить отдельно. Рядом с ним — бывшие волгодонцы Олейников, Колесниченко, тот и другой агрономы. Хозяева настоящие. Но их пока единицы.

Чуть подальше, на землях колхоза «Мариновский», — Ляпин и Чичеров, о которых я писал в прежних заметках. Бывший главный экономист колхоза, бывший звеньевой механизаторов. Земли у них было немного, и они справились с ней, получив хороший урожай пшеницы. В зерноводстве у хороших хозяев особых проблем нет, лишь работай. А с овощами сложнее. У колхозных овощеводов по всей стране проблемы одни и те же, и о них вся страна знает, от Москвы и до окраин. Еще вчера ведь было такое: начинается прополка овощей, а с нею — совещания в обкомах, райкомах; готовятся постановления, разнарядки — и красные «икарусы» друг за другом мчатся по сельским дорогам, развозя городских помощников, а потом собирая их; а в августе — вовсе пожар, теперь уж «до белых мух»; студенты и школьники про

учебу забывают, заводы, городские учреждения впору закрывать; с утра до ночи колонны автобусов мчатся из города; бензина, денег, людей — затрат никто не считает. «Заказывай больше народа!»

Такая уборка овощей и картофеля для нас настолько в плоть и кровь вошла, что был я поражен, попав в осеннюю пору в сельские районы Италии, Германии. Идет уборка картофеля, а в полях — тишина и покой: не видать веренищ автобусов, людских толп, взмыленных начальников. Потихоньку ползет комбайн или трактор с копалкой, волочит за собой тележку, в которую клубни сыпаются. Наполнилась тележка — он другую прицепил. Признаюсь, что ни Эйфелева башня, ни статуя Свободы не поразили меня так, как уборка картофеля в западном мире. А мы ведь и нынче убираем так или почти так, как в прошлом. Лишь без обкомов, с другим начальством.

Чичеров и Ляпин прожили прежний свой век при колхозных порядках и потому овощей побаивались, но все же посадили 9 гектаров помидоров, 2 гектара моркови, немного лука. И оказалось: с овощами работать можно. Обработку вели машинами, на прополку наняли школьников из своего села, хорошо им платили. А с уборкой и вовсе легко получилось. В райцентре договорились с одним из небольших заводиков, арендовали у него автобус и сообщили, что желающие каждое утро могут ехать к ним на плантацию. Оплата по желанию овощами по цене втрое дешевле, чем в магазинной продаже. И тот небольшой автобус, что каждое утро уходил из райцентра, был полон. Случалось, заказывали 20 работников, приезжало втрое больше. «Лезут, не могу выгнать», — оправдывался водитель. По выходным работало до 150 человек. Приезжали на своих машинах даже из областного центра. Так что с уборкой проблем не было. Можно было вдвое и втрое больше сажать.

Но площадь под овощами в нынешнем году сократили в пять раз. Проблема — реализация. Продали 120 тонн помидоров; 70 тонн, уже собранных, готовых к отправке, так и погребло: отправлять было некому. Торговля помидоры не брала. А если и брала, то торговала плохо. Отвезли в магазин 2,5 тонны, там продавали неделю, говорили: «Не берут». Привезли на своей машине те же 2,5 тонны, встали рядом с магазином и продали по той же цене за два часа. Люди спрашивали: «Когда еще привезете?» Но возить и самим продавать было некогда. Пришлось площадь под помидорами уменьшать.

В год нынешний у Чичерова с Ляпиным стало больше земли на 150 гектаров. Взяли ее в аренду. Купили еще один трактор, комбайн. Купили и просторный крытый ангар, куда будут сыпать зерно, ставить технику. Рядом с вагончиком, первым приютом, на пустоши возле Ванюковой балки поднимается первый дом. По задуманному их будет здесь три, чтобы жить на своей земле, а не дежурить по очереди всю зиму в вагончике да не мотать утром и вечером долгие километры к селу.

Все складывается у Чичерова с Ляпиным по-доброму. Ушли с конторских насыженных мест их жены, чтобы не разрываться, а стать хозяйками дому и в работе помощницами. Их уход с прежней работы — показатель уверенности. Помню, весной жаловался мне один из фермеров: «Говорю жене: уходи из конторы. Она свое: подожди, пусть пройдет референдум, подожди, поглядим...» Взрослые сыновья Ляпина работают вместе с отцом. Юрий окончил зимой фермерские курсы при сельхозинституте. Валерий — студент, будущий агроном. Его знания в хозяйстве будут нужны. В планах семенное производство. Думают заняться картофелем на поливных землях.

— Будем прикидывать, пробовать, — говорит Ляпин. — Чтобы все уметь и тогда заниматься тем, что выгодно, что приносит доход.

Зачастую новых хозяев обвиняет молва в стремлении «сорвать вершки», быстро обогатиться. Вспоминаю упрек бригадира из Клейменовки: «Накупили себе машин, женам — бархатных платьев». У Ляпина с Чичеровым не увидел я ни того, ни другого. И, как сказали они, на личное потребление много не берут. Не бедствуют, в необходимом себе не отказывают, но основные доходы идут на производство. И мечтают не о заморских курортах, про которые телевизор трубит, а о нормальном отпуске, чтобы «хоть месяц дома посидеть и отдохнуть». Потому что много работы. И ответственность.

— Раньше как было, — вспоминает Ляпин совхозную жизнь. — Пришел утром, тебе сказали, что делать. Сделал, не сделал, к вечеру — домой. И голова не болит, в долгах совхоз или в шелках. В долгах — значит, спишут или еще дадут. (Прямо в «Голубинский» совхоз попал, хоть и далеко от него.) А нынче нам надеяться не на кого. Лишь на себя — на свою голову да на свои руки.

На стан к Ляпину и Чичерову я приехал из колхозной конторы, где шла обычная утренняя планерка. И как в любом хуторе ли, селе шел там разговор «по-крупному», с укорами и упреками: «Кто за вас думать будет? Не хотите головой работать — давайте руками! В субботу-воскресенье чтоб не вылезали! Кровь из носа, а дайте воду!» Не зря потом директор сказал, провожая меня к Чичерову с Ляпиным: «Я им завидую».

В истоке Ванюковой балки, у новых хозяев, ясный день поднимается нешумно. Слышится птичий пересвист. Ветер шуршит по непаши в высоких травах. Анатолий Григорьевич Ляпин улыбчив, приветен. Прошлогодную бородку он сбрил и помолодел, глядится чуть не впору взрослым своим сыновьям. Мира им, здоровья и доброй работы.

А наш путь к Виктору Николаевичу Амплееву, звеньевому арендного звена колхоза «Мариновский». Поля его соседствуют с землей Чичерова и Ляпина. Но нынче звеньевой в селе, возле своего дома, где стоят рядом комбайны и тракторы — техника амплеевского звена. 1000 гектаров земли, из них половина орошаемой, на семерых механизаторов, в подмогу им 12 тракторов, 5 комбайнов, 12 дождевалок и грузовик. В подмогу, но и в нагрузку, потому что весь технический уход и ремонт делается своими руками.

С Амплеевым встречались мы в прошлом году. О нем я рассказывал: недавний казахстанский житель; новые времена, межнациональные розни привели его с братом в село Мариновка. Получили жилье, начали работать. В прошлом году я спрашивал Амплеева о фермерстве. Уйти в новую жизнь Виктор Николаевич тогда не решился. С одной стороны, страшась неопределенности в стране, зыбкости фермерского бытия, с другой — не хотел в трудную минуту бросить хозяйство, которое хорошо его приняло. И вот новая встреча год спустя. Мы сидим в доме Амплеевых, сюда же — как без нее! — собралась детвора: сыновья-школьники да милая Олечка.

— Помощники? — спрашиваю я.

— А как же, — отвечает отец. — Скотина, поливка. Одного навозу с базов тонн двадцать выгребли. На огород его — тоже работа.

Детишки у Амплеева милые, и сам он молод и крепок. Тяжкий воз, что он тянет, по силам ему. В половине пятого — подъем. Скотину напоить, накормить, в стадо отправить. Две коровы, телка, бычки, свиньи да птица. Управился — ступай на колхозную работу, которая не бывает легкой и короткой. Она до ночи, тем более у звеньевского. И сколько в той работе часов, пятнадцать ли, восемнадцать, никакой рабочий табель не скажет. Сколько надо. А надо много, когда на семерых — 1000 гектаров, половина с поливом. А земля у Амплеева — это не степь с пахучей польной да чабором, какие сами растут, а 200 гектаров пшеницы, столько же ячменя, 100 гектаров картофеля да 200 — кукуруза да пары. С весны и до поздней осени паши, боронуй, сей, культивируй — одно за другим. За последние два месяца в звене Амплеева было три выходных дня. И то из-за дождей. Все остальное — работа. А что до прошлогодного разговора о фермерстве, то нынче Амплеев более категоричен:

— Конечно, у Чичерова с Ляпиным дело идет. Я им завидую. Люди они работающие, но и получают по труду. А у нас — копейки. А ведь работаем, нас никто не укорит. И сердце у меня за землю, за урожай болит не меньше. Но из колхоза меня не пустят по-доброму. Я с директором говорил, он сказал: отпусти тебя — значит, всех надо распускать. С голыми руками я ведь не пойду. А землю, на которой я работаю, и технику мне не дадут. Теперь мы работаем и вроде получаем неплохо, но в завтрашнем дне уверенности нет. Ну получил я сто, двести тысяч рублей. Во-первых, мне их обязательно на месяц-другой задержат, а значит, третью часть заберет инфляция. Остальное на прожить нашей братии, — обвел он добрым взглядом своих детей. — Три года здесь работаю день и ночь, в поле и дома, но даже задрипаный «Запорожец» не в состоянии купить. На одну-две зарплаты не купишь. Деньги копить — они пропадут. Один раз уже накопил на машину, десять тысяч на сберкнижке, — посмеялся он. — Теперь ученый... Ладно, были бы живы и здоровы.

На том и кончился разговор. Ребятишкам пора было бежать на речку, а их отцу — к работе: комбайнам осталось недолго ждать, скоро уборка. А мой последний разговор с директором ли, председателем колхоза (как теперь величать?), словом, с Михаилом Николаевичем, давним моим знакомым.

И в прошлом году и в нынешнем говорит он:

— Впереди — туман. Что будет, не знаю. На мой взгляд, нужен союз кооперативов, фермеров, выросших из аренды. Но моя задача — строить. Совхоз новый, не успели мы многого сделать. А при любой организации будет нужна мастерская для

ремонта техники, которой пока нет, нужны дороги, животноводческие помещения, крытые тока. Этим и стараюсь заниматься. И ежедневная текучка. Сейчас с водой плохо в детском садике. Заведующая пойдет не к фермеру, хотя их дети тоже там, а ко мне. Рожать ли, хоронить — не в сельсовет, а ко мне. Так и живем.

После недолгого разговора я уехал. А в дороге пытался представить себя на месте директора и решить: отпускать Амплеева в свободные хозяева или придержать под колхозным крылом? Резоны простые: лучшее звено, лучшие механизаторы, о 1000 гектарах голова не болит. У другого звена не пошли 200 гектаров полива: не могли запустить поливалки, помучались и бросили, отказались наотрез. Передали Амплееву, у него — пошло. Чичерова с Ляпиным нельзя было держать, время было другое: даешь фермеров! Отпустил хорошего звеньевое и техникой не обидел. Но отпусти теперь Амплеева со звеном да техникой — с чем останешься? И с кем? Землю отдай с поливом — куда девать животноводство? Кто коров да свиней накормит? Ни один фермер в районе животноводством заниматься не хочет. Оно убыточное. Но как и прежде (хоть и высокие это слова, но верные): «Надо кормить народ». Значит, держать убыточное животноводство. А без Амплеева полив опять не пойдет. Куда же его отпускать? Будем тянуть вместе и животноводство убыточное и «социалку»: детсад, дороги, водопровод, школу и прочее. Нельзя Амплеева отпускать в вольные хлебопашцы.

А Чичеров с Ляпиным, они не такие уж и свободные: захочет директор — и расторгнет договор на аренду земли, заберет ее, оставив лишь жалкий клочок земельного пая. Захочет — откажет в мастерской, в заправке, во всей службе.

Аренде Амплеева тоже цена невысока: сверху у нее лозунг «работай, не обижу», а снизу «отдай мое!». Но — факт очевиднейший, кричащий! — Чичеров с Ляпиным богатеют: их тракторы, автомобили, комбайны, другая техника, новые дома, ангар, пшеница и ячмень, что спеют на поле, — это уже личный нажиток, он растет с каждым годом. И один из домов, что поднимутся у Ванюковой балки, предназначен работнику, в котором уже теперь они чувствуют нужду. У Амплеева — лишь руки да теоретический, а скорее мифический имущественный пай. Мифический потому, что у хозяйства 100 миллионов рублей долга. Чичеров с Ляпиным из этого хомута вывернулись, покинув хозяйство, на Амплееве теперь этот долг висит. И отдавать нечем.

Так вот я рассуждал в дороге. Не знаю, верно ли.

Всех нас — Чичерова, Ляпина, Амплеева, всех, на земле работающих и живущих, рассудит лишь время, которое теперь, в жарком июльском дне, словно спешит, торопится. На глазах наливается, спеет пшеница. Вот она золотится на холмистой донской земле, в жарком полудне — наша нужда и богатство. А что до Амплеева, его судьбы, то таких очень много...

Осенью, в конце сентября, на хуторе Камыши колхоза «Россия» стали мы подсчитывать трудовой стаж семьи Великановых. Глава ее Александр Иосифович работает механизатором, хлеборобом вот уже тридцать лет. Ныне он бригадир полеводства. Жена его Раиса Алексеевна в колхозе всю жизнь. Сыновья Александр и Алексей, шофер и механик, — добросовестные и умелые работники. Поднимается на ноги уже третье поколение Великановых — внуки: Сергей, Иван, Рая. Но разговор нынче о старших. Семья Великановых (все вместе — отец, мать, сыновья) отдала колхозному производству около ста лет. Подчеркнем, что они труженики добросовестные и умелые. Но что в итоге? Каков нажиток?

На просторной великановской усадьбе сливаются левадами два гнезда: дом, где живут родители и младший сын с семьей, и дом старшего сына, Александра. Отцовское гнездо для двух семей тесновато, тем более что строено давно. Думали летнюю кухню расширить да утеплить и старшим уйти жить в нее, оставив молодых в доме. Но нынешние цены на стройматериалы обращают эту задумку в мечту, вряд ли осуществимую. Есть в семье легковая машина, купленная давно. Старший сын хотел себе машину купить, но не смог, осилив лишь мотоцикл. Плата за него — не колхозный заработок, а подворье. Откормил трех быков, удачно продал и успел купить мотоцикл. Сейчас бы уже не смог.

Нажиток семьи Великановых не больно заметен, хотя отработали они, повторю, сто полновесных трудовых лет. А нынче они и вовсе вряд ли разбогатеют. Месячная зарплата 20 — 30 тысяч рублей. Разве это деньги, когда женские сапоги — 100 тысяч? Выжить помогает личное подворье: коровы, свиньи, птица, огород да еще близость райцентра, на базаре которого все это можно продать. Но это дополнительный труд, полностью ручной. За долгий, с рассвета, а вернее с темна до темна, нелегкий

рабочий день хорошо, если найдется свободный час для телевизора. Но и этот час для женщин праздным не будет. Гляди и пряди пряжу, гляди и орудий спицами, вяжи пуховый платок, тоже на продажу, на прожитье. Завидна ли такая жизнь, достойна ли? И впереди у Великановых, как и у всего колхоза, светлого не видно. Четыре года не обновляли машинно-тракторный парк. Это уже сказывается на производстве: затягиваются сроки пахоты, сева, уборки, а значит, растут потери. По меньшей мере нужно покупать 4 трактора, 4 комбайна, 4 автомобиля. А на какие доходы?

Животноводство убыточно, зерна маловато, получили от его продажи 110 миллионов рублей, это лишь на два месяца людям зарплату платить. До конца года что-то выручат от молока, мяса, остатков зерна, но все это уйдет на запчасти, горючее, налоги, удобрения. А может и не хватить. Так что придется брать краткосрочный кредит миллионов на 200 и долгосрочный на полмиллиарда. Иначе не выжить. А взяв кредит, его придется отдавать с немалыми процентами. Колхоз «Россия» вступает на новый для него путь — жизнь взаимности.

На подворье у Великановых, в полях, на бригадном стане разговоры я вел разные, но все об одном: о земле, о жизни.

— Это ваша земля? — спрашивал я, указывая на поля и поля. — Вы считаете ее своей?

— Конечно, наша, — твердо отвечал Александр Иосифович. — Тридцать лет на ней работаю.

— Почему же она вас так скудно кормит? Почему, лишь собрав урожай, собираетесь вы лезть в долги? Может быть, лучше взять землю и начать хозяйствовать самостоятельно? Ведь примеры тому есть. Тем более вашей семье умения и опыта хлеборобского не занимать.

— Земли у нас нет, — в один голос отвечали отец и сын Великановы. — А на паях в пятнадцать гектаров толку не будет. Тем более нынче высокие цены на технику, колхоз ее не может осилить, а один человек что сделает? Так что надо держаться вместе.

О том же несколько ранее говорил мне председатель колхоза В. Ф. Попов. Он опытный руководитель, бывал за границей, видел, как работают на земле англичане и немцы, тамошним порядкам завидует. Колхозную систему производства он считает отжившей, неработоспособной. Но переход к новой, западной видит длинным, в десять — пятнадцать лет.

— У нас в колхозе нет земли, — говорит он. — Пай в пятнадцать гектаров для зерноводства несерьезен. А дать желающим по сто гектаров значит обездолжить других. Кто будет заботиться о пенсионерах? Кто будет содержать детский сад, Дом культуры, школу, дороги, отопление? Государство не берет это на свои плечи. Да и психологически наши люди не готовы стать самостоятельными хозяевами.

К словам председателя можно относиться по-разному: сочувственно ли, скептически. Но за три года земельной реформы на хуторах колхоза ни одного серьезного хозяина не объявилось. «Выходцы» были — не было проку. Но и колхоз даже прежних своих показателей удержать не может, он во всем катится вниз: в надоях, поголовье, урожаях. Причин тому много. А может быть, лишь одна-единственная: новая жизнь. И никуда от нее не денешься.

* * *

О новой жизни и речь. Район Суровикинский, хутор — Епифанов ли, Епифановский. На картах его пока не сыскать. Но он существует. И когда поднимутся новые пять домов, которые начинает строить Анатолий Степанович Епифанов, присоединившись к тем четырем, что есть уже, то хочешь не хочешь, а имя придется давать новому селенью.

От хутора Камыши, от Великановых, ехал я, а из головы не шел несложный и горький подсчет: сто трудовых лет отдала земле семья Великановых — а что получила за свои труды? И вспомнился прошлогодний разговор с Ни солаем Степановичем Епифановым, когда он сказал с гордостью и болью: «Двадцать лет проработал в колхозе, ничего не имел, кроме мозолей. Один год на себя потрудились — купил две машины». Эту гордость надо понять, ведь легковая машина у нас, особенно на селе, — показатель благосостояния. «Он машину имеет» — этим все сказано.

О братьях-близнецах Епифановых я немного рассказывал, обещая вернуться к ним. Прошел год. Что изменилось, что нового на земле Епифановых? Николай Степанович, как и прежде, занимается молочным животноводством. У него нынче 60 дойных коров. За прошлый, 1992 год получил он молока 160 тонн. Все первым

сортом. Еще имеет 60 голов мясного скота, 25 лошадей. Добавилось и земли, 98 гектаров. И там, где два года назад была пустая степь, стоят капитальный коровник, телятник, зерносклад, силосохранилище, новый дом, поднимаются стены своей машиноремонтной мастерской с теплой стоянкой для техники. В планах — строительство птицефермы для зятя, который будет заниматься товарным яйцом. Есть договор на аренду земли с соседним колхозом, присмотрена хорошая порода скота в Палласовском районе — казахская белоголовая, 150 голов. Надо взять ее, заниматься мясным скотоводством. Кроме своей семьи в хозяйство пришлось нанять трех работников: доярку и двух скотников. Но главное — труды собственные в «убыточном» для колхозов животноводстве. Епифанову оно приносит доход.

Усадьба другого Епифанова, Анатолия Степановича, и вовсе впечатляет. Прошлым летом кипела здесь стройка. Нынче потише. В кирпичной конюшне, в ее денниках, стоят лошади. Скаковые, участники и призеры российских и международных соревнований. Тренируют их в огромном крытом манеже, который рядом. При конюшне зерносклад. Идет отделка в новом доме хозяина.

Лошадей у Анатолия Степановича почти две сотни, 100 голов мясного скота, 100 свиней. Опять то же «убыточное» в колхозах мясо Епифанову приносит доход. Пришлось в этом году купить еще 2 трактора и комбайн «Дон», ведь земли у Анатолия Степановича почти 350 гектаров, из них 300 пашни. Впереди новые стройки, ведь конезаводу Епифанова от роду лишь три года. Нужны еще одна конюшня, скаковое поле, гостиница, чтобы конники съезжались не только на соревнования, но могли жить и тренироваться. Нынешней осенью на первом в России частном конезаводе Епифанова прошли областные соревнования. Надеюсь, что впереди — российские и международные.

Трудно поверить, но еще два года назад здесь было пустое поле. Братья Епифановы пришли сюда, отрезав прежнюю жизнь. Это было очень непросто вчерашнему конюху и скотнику. Анатолий Степанович в свое время собственный дом заложил, чтобы получить ссуду на выкуп лошадей. И нынешнее их бытие, не мед, а труды и тяготы. Кипела стройка в прошлом году, строятся и теперь. Но вместе с этим пашется земля, сеется и убирается хлеб, по полтонны молока отправляет каждый день Николай Степанович на завод, 100 тонн мяса получил Анатолий Степанович, он растит и тренирует лошадей. Хозяйства братьев расширяются. И все это — земли, постройки, скот, техника — собственность Епифановых, которая по наследству перейдет от отцов к детям. Это не теоретические паи да дивиденды колхозной семьи Великановых. Хотя Великановы трудятся, наверное, не меньше.

У Епифановых те же трудности, что и у колхозов. Но уверенность в завтрашнем дне большая. Хотя бы потому, что они лучше хозяйствуют. В совхозе, из которого они вышли, в октябре еще хлеб не весь убрали, еще пашут и сеют, надеясь на авось. У Епифановых озимая пшеница взошла и кустится. Сена заготовлено вдосталь. А когда зашел разговор о том, можно ли сейчас выходить из колхоза при таких ценах на технику и горючее, при всеобщей неразберихе, Николай Степанович сказал: «Можно. Трудно, но можно. Надо иметь желание».

При нашем разговоре присутствовал еще один Епифанов — Александр Степанович, старший брат, бригадир животноводства колхоза «Суворикинское». Он добавил: «Можно, если ты — Анатолий или Николай Епифанов», имея в виду мощную энергию братьев во всех делах. С этим доводом нельзя не согласиться. Одно дело, когда хозяйствует самостоятельно вчерашний секретарь обкома, директор совхоза, главный экономист, у них немалый хозяйственный опыт, образование. У вчерашних колхозных скотников Епифановых — восемь классов хуторской школы. Но справились, одолев все премудрости и препоны. Хотя многое непривычное их еще ждет впереди.

Когда год назад я написал о Епифановых в районной да областных газетах, то получил несколько негодующих писем. «Расхваливаете Епифановых, — укоряли меня. — Они, дескать, умеют трудиться. Им — землю. Но для всех 300 миллионов советских граждан земли не хватит. Что же им делать? В батраки идти?» Батраками мои читатели быть не желали.

И вдруг этим летом одна из областных газет поместила небольшую заметку в спортивном отделе. Там говорилось о соревнованиях конников и сообщалось, что победу одержал «батрак из хозяйства Епифанова». Газету заметили, и попала она в руки работников А. С. Епифанова, которых у него нынче 12, что совершенно естественно для большого хозяйства. Газетная заметка людей взбудоражила, оскорбила. К тому же кто-то «объяснил» им, что написал заметку сам хозяин. А значит, он их батраками считает. Работники Епифанова отказались выходить на работу. Басто-

вали целый день. С трудом, но удалось Анатолию Степановичу доказать, что всему виной чужая глупость. Пришлось ехать за сто пятьдесят верст в областной центр, в газету, требовать объяснений и опровержений.

На следующий день работа в хозяйстве пошла своим чередом, но один из работников все же уволился, не желая быть батраком. Такая вот психология: хозяевами быть не готовы, но и работниками у Епифановых — тоже. Можно ли это понять? Считаю, что можно и нужно. Все мы вчерашние советские люди, воспитанные одними идеями: коммунизм, всеобщее равенство, братство. С детских лет мы запомнили, что «владыкой мира будет труд», «гордое имя — рабочий», «кто был никем, тот станет всем», «мир — хижинам, война — дворцам».

И слово «батрак», в начале века стоявшее вне политики и по словарю Даля означающее лишь наемного работника, «особенно в деревне для полевых работ», постепенно обрело острую политическую и социальную значимость. А ведь еще в 20-е годы наемный работник в пору сенокоса, уборки хлебов — явление рядовое. Сосед мой, ныне покойный Кузьмич, вспоминал, что каждый год косить хлеб его отец нанимал двух человек, обычно из России приходивших в эту пору на заработки. Семья была небогатая, с шестью малыми детьми. В уборку выгоднее было нанять людей, заплатив им, но не потерять урожай. Большая же Советская Энциклопедия внятно разъясняет, что «батраки — наемные рабочие в капиталистическом сельском хозяйстве. Батраки работали по 12 — 14 часов, жили в хлебах, амбарах, землянках». Батрачкой ли, работницей была с тринадцати лет моя покойная тетя Нюра. Умерла моя бабушка рано, оставив деда-вдовца с четырьмя детьми. Тетя Нюра — старшая. Когда началась уборка хлебов, пришла Кочмариха, владелица земель, скота. «Твоя мать у меня хорошо работала, — сказала она. — Иди и ты. Платить буду, как всем. Старайся». Тринадцатилетняя жница всю жатву проработала рядом с другими, рядом с Кочмарихой. Когда уборка закончилась, Кочмариха похвалила: «Молодец. Будешь у меня работать, подрастешь, я тебя в хорошую семью замуж отдам».

Позднее, когда Кочмариху раскулачили, а батраков отменили, тетя Нюра работала на пароходе официанткой, прачкой и уборщицей одновременно, спала в сутки три — четыре часа. Но была уже не батрачкой, а членом профсоюза. За жизнь ей пришлось много и тяжело работать. Однажды послали ее от артели на сельхозработы сено косить. Косить нужно было на залитой водой земле и таскать накошенное по воде на берег, там раскладывать и сушить. Работа тяжелая, но пообещали дать копну сена для своей коровы. Две недели тетя Нюра косила по пояс мокрая, среди комарья. «Кошу, таскаю, раскладываю, сушу. Увозят мое сено и увозят. Так и не дали ничего. Уж так я плакала, так горько плакала... Так мне было обидно...» Обиду не утишили годы. А ведь была она тогда не батрачкой — полноправным членом артели, а значит, «хозяйкой».

Знаю, что найдутся люди, которые приведут примеры прямо противоположные. Вот строки из письма: «Мою свекровушку мать с 7 лет отдала на хутор Липолебедевский в няньки. Там до 19 лет она и жила, пока не подошла пора выходить замуж. Ну и чем же наградили ее хозяева под венец? Сшили ей сатиновую розовую кофту и голубую с лентами юбку. Это за 12 лет труда и труда». Наверное, было и такое. И человеческая мудрость не в том, чтобы проклинать или славить времена прошлые, правильной будет горького не повторить, доброго не утерять. Называется это — опыт человеческий. Надо понять, что все мы у царя ли, у Бога в работниках. Лишь «цари» разные. У одного — директор, у другого — редактор, у третьего — Епифанов, который хозяйствует, расширяет дело и, как всякий хозяин, рискует однажды потерять все от засухи ли, эпидемии, пожара, перемены политики наверху. Он и работает не меньше, а больше других. Недаром сказала женщина-штукатур из тех, что Епифанову дом строят: «Я здешней хозяйке не завидую».

За многие тысячи верст, в стране с порядками иными, рассказывал нам работник: «Прежде я имел землю, занимался зерном. В одну из засух разорился. Больше рисковать не хочу. Сейчас есть работа, жилье, дочь учится. На плечах нет груза ответственности. Я сплю спокойно, а думает пусть хозяин».

Пусть думают Чичеров, Штепо, Епифановы. Они — хозяева. Им богатеть, им разоряться. Наше дело и право — выбрать себе хозяина и работу.

В хозяйстве А. С. Епифанова разговариваю с В. М. Бекешевым. Прежде он работал в колхозе «Рассвет». Когда ушел к Епифанову, тот стал платить ему втрое больше. Но дело не только в этом.

— Здесь лучше работать, — говорит Вячеслав Михайлович. — В колхозе десять хозяев. Председатель скажет одно, агроном — другое, а бригадир кричит: пошли они

на х..., делай, что я велю! У меня к хозяину претензий нет. Он любит лошадей, и я с трех лет в седле. Но затеял все он и весь воз на нем. А про батраков в газете написал человек глупый. А может, хочет разжечь вражду.

Последняя мысль горька. Как просто окрестить человека батраком ли, совком, продажным писакой, дерьмократом... Каких только кличек друг для друга мы не придумали. Одна ядовитей другой. Опыт же человеческий учит: не судите, да не судимы будете, не ищи соринки в чужом глазу, не рой другому яму... Ведь у всех у нас одна земля, одна родина, один короткий человеческий век; оборвать ли, сократить его можно, а продлить нельзя.

А возвращаясь к работникам Епифановых, скажу, что Николай Степанович установил им зарплату не выше совхозной, но зато полностью обрабатывает за свой счет их земельный пай и берет на содержание их личную скотину. Анатолий Степанович своим работникам начал строить жилье. Куплено пять домов. В двух к Новому году должны справить новоселье. Все это — новая жизнь, от которой не отмахнешься. Принимай ее, не принимай, а она есть. Целый хутор. Пока безымянный. Но это дело, как говорят, наживное.

* * *

Всякий раз, бывая в Задонье, в краях голубинских, стараюсь я завернуть на Городище, еще зовут его Стенькин курган. На этот раз, хоть и торопил меня вечер, тоже свернул с дороги, стал петлять, объезжая пашню да лесистые балки. Скоро выbralся, оставил машину.

Вечер подступал ветренный и ненастный. Низкие тучи, вот-вот морось пойдет. Но, как всегда, на Городище, сделав шаг-другой, о погоде да времени забываешь. Могучий курган словно поднял тебя высоко-высоко. Далеко внизу — донская вода. За Доном — огромная, на десятки верст пойма с займищным лесом на берегу, с просторными луговинами, с желтыми даже в ненастье песками. И дальше земля и земля. До самого неба.

Осень. Займище почти облетело. Оно лежит черное, с седой индевелой остью, словно зимняя выкуневшая волчья шкура. Стылая, впрозелень донская вода. И на многие, многие версты — ни души. Лишь ветер да шелест сухой травы под ногами. Душа не вмещает, не может вместить этого простора и высоты.

И вдруг вспоминаю мальчонку из малолюбинской начальной школы. Заглянул я туда нынче ненадолго, устав от галдежа в конторе. В школу зашел, поздоровался с учительницей Галиной Михайловной, с ребяташками. Самый юный школьник, шестилетний Володя, успел мне показать, как он умеет делать уголок, подъем переворотом. Славный парнишка, шестилетний, а уже учится в третьем классе. Он вспомнился мне здесь, на кургане. И подумалось: неужели вот этот веселый умница, живой непоседа, неужели и он повторит судьбу своих хуторян-земляков и если не убежит куда-нибудь, то сопьется и будет в разбитой кошаре отбирать у голодных овец последний корм, дробленку ли, сено, чтобы свезти их заезжому ли чеченцу или дачнику и променять на бутылку вонючего самогона? Избавь его, Господи, от такой судьбы... Избавь и сохрани.

* * *

И последнее. Уезжал я из Калача ранним утром. Утром же услышал по радио сообщение о президентском указе про землю. Не утерпел, зашел к районным властям. Было семь часов. По радио снова про указ говорили.

— Слышал? — спросили меня.

— Слышал, по радио.

— Вот и мы по радио...

— Ну и чего? — спросил я.

Молчание да вздохи были мне ответом: поживем, мол, увидим. Что ж, поживем...

Сентябрь — ноябрь 1993

(Окончание следует)



ПУБЛИЦИСТИКА

ЮЛИЯ ЛАТЫНИНА

*

ДЕМОКРАТИЯ И СВОБОДА

1

Почти две с половиной тысячи лет назад Аристотель, классифицируя политические режимы, выделил шесть способов государственного устройства — три «правильных» и три «неправильных». Тремя правильными способами государственного устройства он назвал монархию, при которой власть принадлежит одному человеку, аристократию, при которой власть принадлежит немногим, и политию, при которой власть принадлежит всему народу. «Неправильными» — тиранию, олигархию и демократию. При правильной форме правления те, кому принадлежит власть, действуют для общей выгоды, при неправильной — для собственного блага.

Любой режим античной и средневековой Европы мог быть описан в этих шести категориях, что и делали историки, философы и богословы — от Полибия до Фомы Аквинского, — не сходясь разве что в конкретных наименованиях. Например, Аристотель различал «политию» и «демократию», Платон, создавший прототип аристотелевской классификации, различал демократию «плохую» и «хорошую», Полибий — демократию и охлократию.

В течение многих столетий история была постоянна и предсказуема. Царства возвышались и упивались богатством, и капризы богов или фортуны посылали им завистников и врагов.

Цари властвовали над протяженными пространствами. Демократия или олигархия процветали в пределах городов-государств. Разраставшиеся города-государства начинали управляться единолично, император, как субъект власти, замещал народ.

Пятьсот лет назад, на пороге нового времени, Никколо Макиавелли насмешливо заметил, что на самом деле режимов не шесть, а три. И одно и то же называется демократией или охлократией в зависимости от того, говорят о нем друзья или враги этого режима.

Классификация Аристотеля по-прежнему оставалась действенной, но изменился моральный климат: этическая оценка режима, столь характерная для античности, и этическая оценка личности правителя, столь характерная для средневековья, была выкинута из политических уравнений.

Народовластие по-прежнему входило в число всем известных форм правления и не вызывало у королей решительно никакого беспокойства. Короли и императоры поощряли коммуны, заключали союзы с республиками и охотно финансировали при случае народные восстания за границей.

Прошло еще два-три столетия — и классификация Аристотеля перестала отвечать какой-либо реальности. Самоуправляющиеся города — полисы, коммуны, республики с их режимом прямого народовластия, к которому только и относился термин Аристотеля, — исчезли.

Мощь государства в Европе непрерывно росла, и вместе с ней росла свобода индивида. Появились режимы представительного правления, не имевшие ни малейшего филологического права на то, чтобы именоваться демократиями, потому что демократией в античности назывался только тот режим, при котором народ непосредственно принимает участие в управлении государством. (Цицерон, например, просто противопоставлял выборное правительство оптиматов и прямую демократию). В политическом лексиконе появились новые слова: «национальное государство», «правовое государство», «свобода личности», «права человека».

И в то же время продолжало оставаться очевидным: государство всегда будет злом для отдельного человека и благом для общества в целом. Основной задачей демократии стало не защитить права народа от посягательств олигархов, которые, бу-

дучи неравны с народом в имущественном отношении, желают сделать народ неравным также и в политическом отношении, но защитить свободу, под которой разумеется суверенное право личности на защиту от власти, опирающейся на насилие, и от массы, опирающейся на свое право большинства.

Что такое демократия сейчас? Исполнение воли большинства, как то говорил Руссо? Но тогда приходится считать сентябрьские убийства 1792 года в Париже или еврейские погромы демократической процедурой. Что, кстати, и делали защитники террора и черносотенцы.

Что такое демократия? Представительное правление, при котором народ сам избирает своих депутатов в парламент?

Но ведь весь смысл представительного правления — именно в том, чтобы народ не сам управлял государством. История выборов — это история предвыборных махинаций. Если бы народ действительно голосовал за кого хотел, а не за предварительно одобренных истеблишментом кандидатов, если бы он пользовался хоть тенью того могущества, которым пользовалась афинская чернь времен Пелопоннесской войны, то выборы были бы периодической государственной катастрофой.

Недоверие к диктатору опирается на очень здоровое соображение: один человек не в силах вынести правильное решение.

Вернее всего будет сказать, что современная демократия есть уважение к правам меньшинства. Это идея законности оппозиции, которая возникла очень недавно и которой в политической мысли предыдущих эпох нет места: должность лидера оппозиции представлялась таким же нонсенсом, как должность официального отравителя короля.

Но что делать, если оппозиция, как это случилось в нашей стране, сама не знает правил демократической игры и не подозревает о существовании слова «компромисс»? Если в государстве все еще не существует посреднических структур между государством и обществом в виде реальных развитых политических партий и объединений, которые являются гарантом современной демократии? Если интересы народа и поведение политиков весьма далеки от тех образцов, по которым живут США или Англия, и слишком близки к тем образцам, по которым жили Афины или Флоренция?

Простая причина, побуждающая меня взяться за эту статью, заключается в том, что мы можем творить будущее, не опираясь ни на какие аналогии с прошлым, но умозаключение о будущем возможно только по аналогии с прошлым.

Знание о будущем в какой-то мере доступно лишь одному роду людей: политикам. Доступно постольку, поскольку будущее страны является частью их личных и не всегда исполняющихся планов. Прогнозы всех прочих обитателей земного шара в основном построены по принципу знаменитого врачебного диагноза: «Больной или выживет, или умрет». Они справедливы, но банальны.

Именно такого рода прогнозы вот уже несколько лет безошибочно предсказывают России — кризисные ситуации, тяжелое экономическое положение, умеренно-авторитарное правление и постепенный переход к рыночной экономике, создавая у публики и у автора неправомерное чувство компетентности, и при этом он полностью обходит в своих предсказаниях все, что касается не хронических болезней, а, наоборот, тех кратковременных катастроф, которые и определяют течение большого времени.

Но наши знания о прошлом широко открыты каждому, кто пожелает.

Власть по природе своей парадоксальна, но ни с какой формой власти в истории не связано столько парадоксов, сколько с властью народа — демократией.

Почему современной демократии — немногим более двухсот лет, а слову — две с половиной тысячи?

Почему мы, собственно, называем демократией режим, которого не знала античность и который она ни при каких обстоятельствах демократией бы не назвала?

Почему возникновение цивилизации, то есть государства, повсеместно сопровождалось умиранием примитивного равенства и демократии?

Почему античные и средневековые историки единодушно подозревали народо-властие в том, что это — одна из самых несовершенных форм правления?

Неужели не существовало никаких других механизмов контроля, кроме «власти народа»?

Участвовал ли народ в управлении государством на Востоке, и если да, то не компрометирует ли это идею «власти народа»?

И хороша ли она, власть народа, или, как говорил Макиавелли, в истории нет ничего истинного самого по себе, но все — в зависимости от обстоятельств?

2

Президент Саддам Хусейн мог бы с полным основанием провозгласить Ирак родиной демократии, ибо первые города-государства, в управлении которых участвовало народное собрание, появились именно в Месопотамии еще пять тысяч лет назад. Собственно, это и были первые города планеты и первые ее государства. Возникла новая, принципиально иная форма человеческого общежития, по превосходному описанию Гордона Чайлда — «место сосредоточения людей, извлекающих средства к существованию не непосредственно из охоты, рыболовства или сельского хозяйства, а из ремесла, торговли и других занятий». Институты власти и торговли, антагонизм между которыми, пожалуй, более реален, чем пресловутый антагонизм между буржуазией и пролетариатом, родились одновременно.

Знаменитый шумеролог С. Крамер, правда, немного преувеличивал, называя «собрание мужчин города Урука», описанное в поэме о Гильгамеше, «первым парламентом», ибо, строго говоря, парламент есть форма представительного, а не прямого народоправства, а именно представительные органы правления зародились в истории человечества совсем недавно: в средневековье.

Разумеется, не все шумерские города имели народные собрания. Некоторые управлялись царями безо всякой оглядки на мнение граждан. Некоторые управлялись тиранами. Некоторые тираны, как Урукагина, захватив власть у предыдущих тиранов, утверждали, что они «искоренили рабство и водворили свободу».

Как и большинство других политических режимов, ранние городские демократии возникли не из экономической, а из военной необходимости. Они зарождались там, где основной войска продолжало оставаться вооруженное пешее ополчение свободных людей. Быть гражданином и принимать участие в народном собрании и означало быть воином. Как только над свободным народом возвышалась группа привилегированных воинов (всадники или люди на колесницах, имевшие вооружение, слишком дорогое для простого человека), строй начинал приближаться к аристократическому или феодальному. Как только правитель города набирал свое личное войско из лично обязанных ему людей, купленных им рабов или просто наемников, он превращался в тирана.

Воины, которым государство выдает дотацию и провиант, селит на специальных, выделенных им землях, служат военным основанием бюрократической империи.

Словом, классическая Эллада не обладала монополией на демократическую форму правления, и в том же V—IV веках до н. э., когда Платон и Аристотель создавали свою классификацию политических режимов, индус Панини различал государства под властью одного правителя (*rāja-adhina*) и под властью городского собрания — ганы (*gana-adhina*).

Слово «демократия» стало широко распространенным к концу V века до н. э. Оно обозначало афинский образ правления в устах консервативных писателей, по крайней мере настороженно к нему настроенных. Таким образом, первоначально это слово (как и, скажем, слова «круглоголовые» или «санкюлоты») носило несколько осуждающий оттенок в отличие от слова «исономия» — равенство перед законом, каковым и обозначался правовой режим, установленный в Афинах Клисфеном. Зато — в отличие от нынешнего его словоупотребления — оно обладало совершенно определенным содержанием. Демократия означала форму правления, существующую лишь внутри города-государства, когда носителем законодательной власти является народное собрание, в котором участвуют все, даже самые бедные граждане полиса. Всякие ограничения, связанные с имущественным цензом, превращали данный политический режим в олигархию или аристократию.

Собственно, основным конфликтом, раздиравшим на части Элладу, стал конфликт между демократическими Афинами и олигархической Спартой. Между тем с современной точки зрения оба государства являются демократическими.

Разбирая этот спор, мы обнаружим, что крупнейшие философы и историки — Платон и Аристотель, Фукидид и Ксенофонт — во-первых, жили в Афинах. Во-вторых, отдавали предпочтение Спарте.

Итак, с одной стороны, идеал свободы — как центральное понятие культуры, столь необычное для окрестных культур, ставивших на первое место идеал славы, чести, служения роду или Богу, — родился именно при демократии. С другой стороны, для многих мыслителей свобода как понятие и демократия как политический порядок оказались несовместимы.

И хотя Спарта не выдвинула мыслителей, в должной мере способных восславить ее собственное государственное устройство, странно было бы думать, что неприязнь очевидцев и свидетелей Афинской демократии не имела под собой веских оснований.

Нельзя не признать, что история Афин представляла собой не только цепь блестящих культурных успехов, но и цепь политических и экономических катастроф. Если в современном правовом государстве свобода означает стабильность, то при господстве черни и особенно господстве силы свобода и стабильность были несовместимы.

Говоря о безрассудствах афинского народа, обычно вспоминают казнь Сократа. От этой казни, однако, политического ущерба не вышло.

Политическая история афинской демократии — это история систематических изгнаний или судов над победоносными полководцами. Мильтиад, победитель при Маратоне, приговорен к штрафу и умер в тюрьме, Фемистокл осужден дважды, Аристид изгнан на всякий случай, Кимон, который заключил мир, ознаменовавший собой высшую точку морского могущества Афин, также был изгнан судом.

Словом, ничто так не способствовало катастрофическому положению Афин в Пелопоннесской войне и утрате ими гегемонии в Элладе, как афинская демократия.

За все время существования Афинской демократии не было ни одного сколь-нибудь выдающегося политического деятеля, не считая Перикла, который бы не был осужден на смерть или изгнание.

Зависть народа была, казалось, неизбежной спутницей прямой демократии.

Полководец Эпаминонд восстановил в Фивах демократию, разбил при Левктрах повелевавших всей Элладой спартанцев, восстановил свободу Мессении и сделал Фивы — в первый и последний раз — гегемоном всей Эллады. Наградой освободителю Фив стало судебное преследование: воюя со Спартой, Эпаминонд удержал власть беотарха на четыре месяца дольше положенного срока, что грозило ему смертью. Впрочем, народ помиловал своего освободителя, хотя впоследствии отомстил ему, поручив следить за мощением городских улиц, — а это была самая презренная в Фивах должность.

Античная демократия не означала свободу всех партий и уважение к оппозиции. Демократия означала нечто очень конкретное: победу демократической партии над олигархической.

Фукидид оставил нам знаменитое описание того, как водворена была демократия на Керкире:

«Узнав о подходе аттических кораблей... демократы... принялись убивать в городе тех из своих противников, кого удалось отыскать и схватить. Своих противников, согласившихся служить на кораблях, они заставили сойти на берег и перебили их всех. Затем, тайно вступив в святилище Геры, они убедили около пятидесяти находившихся там молящих выйти, чтобы предстать перед судом, и осудили всех на смерть. Однако большая часть молящих не согласилась выйти. Когда они увидели, что происходит с другими, то стали убивать друг друга на самом священном участке. Некоторые повесились на деревьях, а другие покончили с собой кто как мог. В течение семи дней... демократы продолжали избиение тех сограждан, которых они считали врагами, обвиняя их в покушении на демократию, в действительности же некоторые были убиты из-за личной вражды, а иные — даже своими должниками из-за денег, данных... в долг». Бойня на Керкире «произвела ужасное впечатление, особенно потому, что подобное ожесточение проявилось впервые. Действительно, впоследствии весь эллинский мир был потрясён борьбой партий. В каждом городе вожди народной партии призывали на помощь афинян, а главарь олигархов — лакедемонян...»

Фукидид в высшей степени пессимистично относился к самой возможности справедливого правления во времена гражданских раздоров.

«Действительно, у главарей обеих городских партий на устах красивые слова: «равноправие для всех» или «умеренная аристократия». Они утверждают, что борются за благо государства, в действительности же ведут лишь борьбу между собой за господство. Всячески стараясь при этом одолеть друг друга, они совершали низкие преступления, но в своей мстительности они заходили еще дальше, руководствуясь при этом не справедливостью или благом государства, а лишь выгодой той или иной партии. Достигнув власти путем нечестного голосования или насильем, они готовы в каждый момент утолить свою ненависть к противникам. Благочестие и страх перед богами были для обеих партий лишь пустым звуком, и те, кто совершал под прикрытием громких фраз какие-либо бесчестные деяния, слыли даже более

доблестными. Умеренные граждане, не принадлежавшие ни к какой партии, становились жертвами обеих, потому что держались в стороне от политической борьбы, или вызывали ненависть к себе уже самим своим существованием... И как раз люди менее развитые и менее образованные большей частью и одерживали верх в этой борьбе. Ведь, сознавая собственную неполноценность и опасаясь, что в силу духовного превосходства и большей ловкости противников попадут в ловушку, они смело прибегали к насилию... Многие из этих злодеяний возникли впервые на Керкире. Одни были вызваны местью правителям, которые управляли неразумно... другие порождало стремление избавиться от привычной бедности и незаконными способами овладеть добром своих сограждан».

Итак, еще раз подчеркнем: демократия в античности не была формой правления, при которой обеспечивается мирное сосуществование правящей и оппозиционной партий: это было просто правление партии демократов, а попросту говоря, толпы, которая «того, кто ей потакает, влечет к гибели вместе с собой, а того, кто не хочет ей угождать, обрекает на гибель еще раньше» (Плутарх).

Результаты недолгого века демократии лучше всех подытожил, пожалуй, писавший после ее заката Полибий: возрастание Афин и Фив было неправильно, цветущее состояние их непродолжительно и расцвет Афин был связан с Фемистоклом и Периклом, так же как расцвет Фив — с Эпаминондом и Пелопидом. Демократия противоречила сама себе, достигая расцвета лишь тогда, когда только по форме была демократией, а по сути — единоличным правлением.

Однако еще неустойчивей, чем положение политика, было в античных демократиях положение человека имущего.

Как это отчетливо сформулировал Аристотель, афинские бедняки, «будучи равны в одном отношении, а именно, поскольку дело идет о свободе... полагают, что, благодаря этому, они равны во всех отношениях».

Граждане из фратрии трех оболлов скоро отвыкли от всякого производственного труда и начали смотреть на судейское жалованье как на главный источник пропитания. Дежеж стал основным социальным институтом демократических Афин. «Афиняне выходят из народного собрания не как из политического товарищества, но как из заседания промышленного товарищества, на котором состоялось распределение чистого дохода», — замечает Эсхин в своей речи против Ктесифона. «Эти люди, — утверждает Исократ, — должны прямо-таки жить на выдачи за участие в судах и народных собраниях. Нужда же обращает их в слепых приверженцев агитаторов и сикофантов, которые всегда опираются при своем преследовании богатых на интересы этой... массы и потому желали бы, чтобы ее удел — отсутствие собственности, в котором коренится их могущество, стал как можно более распространенным явлением».

Афины первыми столкнулись с проблемой, которая в течение почти двадцати пяти веков казалась сторонникам народовластия почти неразрешимой: если власть в государстве принадлежит большинству и если это большинство нищих, то государство неизбежно развивается не в сторону рынка, а в сторону распределительной экономики, хотя бы и включающей в себя теорикон, плату за участие в суде присяжных и систему полупринудительных литургий.

Там, где такая эволюция не происходила мирным путем, у народа всегда находился честолюбивый вождь. Как заметил Полибий, везде, где «масса приучена демагогами пользоваться чужим добром и где она возлагает все свои упования на жизнь на чужой счет, при демократическом строе дело легко доходит до убийств, изгнаний и раздела земель, коль скоро масса находит... вожака».

Тиран хочет господства, а народ хочет передела земли и прощения долгов. Логика класса при этом движет только низами, политиком же движет логика власти. Филомел, один из самых богатых и знатных людей Фокиды, захватывая в ней власть в 356 году, начинает с избиваний и изгнания богатей. Тимофан, один из самых богатых людей Коринфа, пытается стать тираном, «привлекая к себе бедняков и снабжая их полным вооружением и держа при себе самых подлых людей».

Эвфрон, недавний сторонник олигархии, захватив власть в Сикионе, начинает непрерывные гонения на знатных и богатых граждан. Речь идет не только о том, чтобы пополнить свою казну, но о том, чтобы, раздав деньги своим сторонникам и народу, сделать народ соучастником собственных преступлений и надежным сторожем своей власти. По замечанию Э. Фролова, «избивая или изгоняя аристократов и освобождая на волю и зачисляя в состав граждан их рабов, Эвфрон мог осуществлять желательную для себя трансформацию основного сословия: из граждан — в подданных».

Везде в греческом мире тирания складывается из трех компонентов: лидер, который руководствуется только логикой власти и считает, что опасно зависеть от законов, но еще опасней — от убеждений; вооруженные и организованные приверженцы лидера, люди из братрии профессиональных заговорщиков; и, наконец, беднейший народ, приученный залезать в карманы, в которых что-то имеется.

Существуют три вопроса, которые должно разрешить демократическое правительство:

как остановить людей, уравненных в правах, от попытки дележа имущества?
как обеспечить не только свободу, но и стабильность?

как обеспечить возможность принимать быстрые, а стало быть, единоличные решения в момент кризиса или войны, не подвергая, однако, опасности общественное устройство во время мира?

Греческая демократия не сумела разрешить этих вопросов и показала, что в государстве, где народ беден, власть большинства не является гарантией гражданского согласия и ни в коей мере не создает то, что в современной политической практике именуется правовым государством.

Чем больше народ ощущает себя хозяином государства — тем ближе экономическая стагнация, связанная с системой полупринудительных литургий, или политическая катастрофа, связанная с потакающей чаяниям народа тиранией.

3

Отворачиваясь от демократии, мыслители пытались обнаружить более совершенную государственную форму, обеспечивающую безопасность граждан и стабильность государства.

Прообразом такой государственности для Платона стала Спарта — не столько потому, что в ней была аристократическая форма правления, сколько потому, что там существовало разделение властей.

Речь шла, естественно, не о разделении власти законодательной, исполнительной и судебной — до Монтеスキе еще оставалось двадцать четыре века, — а о сочетании в одном государстве монархии (власть царей), аристократии (эфоры) и полноправных граждан.

Именно эту, не совсем применимую к Спарте, модель (число полноправных граждан в Спарте все-таки было сильно ограничено) использовал Полибий, объясняя государственное устройство Рима и причины, по которым Рим покорил весь мир. Так же, как и Платон, историк Полибий придерживается теории неумолимого взаимопревращения всех шести форм власти: монарх, первоначально заботящийся о благе подданных, становится постепенно тираном. Приближенные его, восстав, вырывают из рук его власть и устанавливают законное аристократическое правление. Постепенно аристократия вырождается в олигархию, народ восстает против олигархов и учреждает демократию. Первоначально в государстве господствует стремление к общему благу и равенство. Но, увы, скоро берет верх подлинная натура толпы, которая «легкомысленна и преисполнена нечестивых вожделий, неразумных стремлений и духа насилия...». После этого государство «украсит себя благороднейшим именем свободного народного правления, а на деле станет наихудшим из государств, охлократией».

Выходом из вечного круговорота политических катастроф является смешанная форма правления. Римская республика характеризуется смешением властей и их взаимным контролем: власть консулов соответствует царской власти, сенат представляет аристократию, плебс также пользуется огромным влиянием.

Категории эти, предложенные современником римского могущества, описывают Рим намного лучше, чем любые современные категории.

Различие исторической судьбы Эллады и Рима заложено уже в разнице между словами «демократия» и «республика» — словами, которые сейчас часто употребляются как синонимы. Если греческое слово «демократия» означало одну из форм правления, возможных в государстве, то латинское «res publica» — «общее достояние» — выступало скорее как синоним государства вообще.

Другое существенное различие между механизмами власти в Элладе и Риме вполне отражено в статусе двух понятий: «тиран» и «диктатор».

В Греции тирания была не легитимной властью, преступившей закон. В Риме диктатура являлась властью вполне законной. Диктатор в экстремальной для государства ситуации назначался сенатом. Народ на шесть месяцев передавал всю полноту власти одному человеку. Политическая философия, стоявшая за всем этим,

гласила: если в экстремальной ситуации не передать власть одному человеку законным путем, он захватит ее незаконным. Единоначалие в момент кризиса позволило Риму одержать победу в Союзнической войне и в Пунических войнах и обрести власть над миром. Отсутствие соответствующего института отдало Грецию в руки демагогов и тиранов. (Напомним, что вплоть до середины XIX века слова «диктатура» и «тирания» сохраняли в европейской традиции свое — соответствующее — нейтральное и уничтожительное значение.)

Другим обстоятельством, обусловившим закат Эллады и возвышение Рима, было бессилие эллинских полисов перед рвущимися к власти вожаками толпы и беспощадная расправа римских сенаторов с теми, кто заигрывал с народом.

Когда Марк Манлий, спаситель Капитолия, вздумал выкупать должников и заступаться за народ, так что «уже не только речи, но и дела Марка Манлия, направленные по видимости к пользе народной, обнаруживали со всей очевидностью, что он замыслил», он был приговорен к смерти и сброшен с той самой Тарпейской скалы, на которой оборонял город от галлов. Погибли и Спурий Кассий, и Спурий Меллий, и оба Гракха — все, кто, действуя подобно эллинским тиранам раздавали свое добро народу и звали его делить чужое.

Возвращаясь к классическому делению государств на монархические, аристократические и демократические, нельзя не заметить, что оно подходит только для классификации городов-государств.

Территориальные же государства всегда оказываются царствами или империями (так Рим, переросший размеры полиса, превращается в империю), и действующие в них механизмы ограничения власти — принципиально другие: как правило, произвол царя ограничивается произволом его же знатнейших подданных, с одной стороны, и религией — с другой.

Наглядно подтверждавшееся убеждение, что республиканская форма правления возможна лишь в ограниченном пространстве города, а протяженное пространство требует монархии, зародилось еще в античности и было, казалось, подтверждено всем ходом человеческой истории, фактически вплоть до образования Соединенных Штатов Америки (не считая маленькой Швейцарии).

Замкнутость, присущая прямому народовластию, и сравнительная неразвитость структуры государственного управления в древних царствах привели к парадоксальному результату. Демократия как способ городского самоуправления и монархия как способ управления протяженным пространством не противостояли, а дополняли друг друга. Завоеванные персами греческие города Малой Азии сохранили свое самоуправление точно так же, как его сохранили ганы и сангхи Северной Индии, вошедшие в державу Маурьев. Со временем персидские наместники Малой Азии с увлечением втянулись в борьбу олигархической и демократической партий, поддерживая ту или другую в зависимости от обстоятельств и не подозревая, что знатному вельможе следует опасаться народа, требующего свободы.

Городское самоуправление стало неперменной чертой эллинистических государств, стремившихся выстроить свою экономику на началах крепости государства.

Примерно такого же рода трансформация произошла в поздней Римской империи. Императоры, запретив самоуправление в Риме, сделали из него орудие контроля над провинциями. Муниципальная община продолжала сохранять большинство привилегий самостоятельного государства: право сбора налогов, заботы о народе, устройства школ, развлечений. Правда, сбор налогов был уже не правом, а обязанностью. Состоятельные провинциалы были фактически приписаны к сословию декурионов. Сочетание городского самоуправления и имперского деспотизма превратило их в бесплатных чиновников, своим имуществом отвечающих за правильный сбор налогов, жалованья же не получающих. Люди среднего достатка, обеспечивающие стабильность государства, стремительно исчезали. Закон 326 года объявил, что если человек, назначенный к исполнению муниципальной магистратуры, бежит, его надлежит разыскать, если не найдут, отнять у него имущество и отдать другому, заменившему его дуумвиру. Разысканный же наказывался тем, «что он будет обязан целых два года нести тягости дуумвирата».

В сущности, история поздней Римской империи повторяет историю эллинистических государств: начиная с эпохи домината «Рим стал опирающимся на литургии государством по эллинистически-египетскому образцу» (М. Вебер).

Парадоксально, но факт — если в Греции мы видели, как полисная демократия все дальше уводит полис от капитализма, то в поздней Римской империи мы видим, как муниципальное самоуправление становится идеальным орудием деспотизма.

Народовластие существовало не только в Элладе. Но вот что было выдуманно греками и унаследовано всей европейской цивилизацией — это свобода как понятие, свобода как термин.

Свобода как основополагающая ценность культуры действительно не имела параллелей в западном мире, где центральное место долго продолжали занимать другие ценности: слава, честь, солидарность с родом, верность, сыновнее почтение, справедливость и т. д.

Все государства мира издавали свои указы во имя блага народа. История не зафиксировала еще ни одного указа, начинающегося словами «во имя зла и несчастья народа...». Но указы во имя свободы народа действительно издавала лишь одна, весьма ограниченная группа государств.

Орландо Паттерсон в своем недавно вышедшем капитальном труде «Свобода и становление культуры Запада», сличая место, занимаемое категорией свободы в традиционных обществах, скажем, у африканских имбангала, отмечает: состояние раба презирается именно потому, что раб — маргинальное существо, выключенное из круга привычных социальных связей, в то время как свободный человек — это человек, входящий в клан, группу, линидж. «Свобода была лишь пассивным аспектом вещей несравненно более важных, составлявших настоящую сердцевину жизни, — а именно — принадлежности к определенному линиджу. Поэтому, в то время как каждый имбангала с гордостью сказал бы, что он — или она — не раб и не вольноотпущенник, никто из них, спрошенный о вещах, которые составляют суть человеческого существования, и не подумал бы упомянуть свободу».

Собственно, то же мы видим и в Древнем Египте, где само слово «*pmh*», обозначающее в переносном значении освобождение раба, буквально значит «осиротеть».

Освобождение от клана, от зависимости от сородичей и их поддержки — словом, все, что имплицитно содержится в современном словоупотреблении слова «свобода», в огромном большинстве известных истории культур рассматривалось как величайшее несчастье, могущее выпасть на долю человека.

Если физическое основание свободы было заложено Клизфеном, заменившим прежний, родовой, принцип организации Аттики территориальным признаком организации по демам, то идея ее выросла и понятийно окрепла прежде всего в греко-персидских войнах, в противопоставлении бедной, но свободной Греции богатой, но поработанной Персии и в бесконечной междоусобной вражде. «Слово это, — заявлял Исократ, — посеянное среди эллинов, уничтожило и наше и спартанское владычество над Элладой». Иначе говоря, сделало невозможным объединение Греции, но не предотвратило ее завоевания сначала македонянами, а затем римлянами.

Вскоре выяснилось: ни одно основополагающее понятие культуры не подвержено искажению так, как понятие «свобода» (разве что еще «справедливость» может с ней соперничать). Культура или цивилизация, основанные на идее славы, родовой солидарности или даже выгоды, обладают четкими рабочими определениями этих понятий. Трус, бежавший без оглядки с поля боя, никому не сможет доказать, что он «дрался с великой славой». Обанкротившийся купец не скажет, что он вел дела с великой выгодой.

Понятие гражданской свободы, не успев родиться, подверглось наихудшим злоупотреблениям.

Тиран Деметрий Фалерский был столпом афинской свободы, пока правил Афинами по указаниям Кассандра. Деметрий Полиоркет и Антигон завоевали Афины — благодарные афиняне провозгласили их богами и стали избирать им жрецов в благодарность за то, что те возвратили свободу Греции, поработанной Кассандром и Птолемеем.

Римляне, как известно, также не покоряли Грецию, а освобождали ее. До нас дошли золотые греческие статеры с головой Фламинина и надписью: «Чеканено в управление освободителя Греции». Для пушей благодарности освобожденного народа надпись была исполнена по-латыни.

Римские принцепсы, проникшись идеей свободы, также не хотели устранять ее из своего отечества. Слово «республика» никуда не исчезло — просто отныне общее благо было сосредоточено в особе принцепса. Септимий Север в своем обращении к сенату напоминает: «Я вел несколько войн за республику». Констанций называет своих солдат «храбрыми защитниками республики», Григорий Великий пишет императору Восточной Римской империи: «Тем и отличается власть римских импера-

торов от власти варварских королей, что последние властвуют над рабами, первые же — над свободными».

Максима, которая потом, с развитием парламентаризма, постепенно наполнялась смыслом, максима, гласящая: «То, что касается всех, должно быть решено общим волеизъявлением», — эта максима впервые прозвучала в эдиктах Юстиниана, которого можно назвать кем угодно — сильным императором, основателем византийской государственности, блестящим администратором, — но защитником гражданской свободы его назвать трудно.

Не менее парадоксальным было и другое обстоятельство. Современное оправдание демократии состоит в том, что она экономически выгодна. Напротив того, идеал греческой свободы вдохновлялся противопоставлением бедных, но свободных городов материковой Эллады и богатых, но лишенных свободы греческих городов Малой Азии. Бедность, спутница свободы, и рабство, спутник роскоши, становятся постоянными идеологическими темами греческой, а потом и римской мысли. «Бедность при демократии настолько же предпочтительнее так называемого благополучия граждан при царях, насколько свобода лучше рабства», — восклицает Демокрит, изумляя современного читателя, убежденного в том, что свобода экономически выгодна. Когда спартанец Демарат объясняет Ксерксу причину свободолюбия греков, ею оказывается «бедность, существующая в Элладе с незапамятных времен».

Исократ наставляет свободных греков: «Мы и спартанцы безумны, потому что враждуем из-за ничтожных выгод, хотя под рукой огромные богатства, и разоряем друг у друга наши собственные земли, хотя в Азии нас ждет огромная жатва».

Исократ не преувеличивал, говоря о бедности эллинских городов и богатстве Азии: он лишь констатировал факт. Зависть эллинского народа, требующего от богачей подачек, была для экономики более губительной, чем алчность персидского чиновника, требующего взяток; народные перевороты вышли хуже царских конфискации.

Оказалось, что свобода экономически выгодна не всегда, но лишь при определенных условиях. Нищий народ, получив власть, препятствует не только стабильности государства, но и его обогащению.

5

Одно из основных убеждений Европы состоит в том, что Восток не знает демократии.

Парадокс, однако, не в том, что на Востоке не было народного самоуправления. Парадокс в том, что оно было — признавалось, поощрялось, иногда насаждалось государством, но при этом имело формы, чрезвычайно стеснительные для теории народовластия.

Во-первых, и в исламском мире, и в Поднебесной народ всегда принимал участие в управлении государством посредством восстаний. Это право за ним не отрицалось. Наоборот, на него охотно ссылались.

Там, где средневековый европейский историк будет оправдывать войну между рыцарями неудачным сватовством или неполученным наследством, биограф Тамерлана заявит от его лица следующее: «Население Мавераннахра и почетные лица явились ко мне с заявлением, что во всех городах и селениях этой области народ изнемогает под гнетом несправедливости и жестокости водворившихся там правителей... Озадаченный такой просьбой народа, я отправил гонца к амиру Хусайну и предложил ему принять участие в освобождении Мавераннахра от жестоких правителей».

Доктрина народного суверенитета, которую на Западе связывают с именем Руссо, равно как и право народа на восстание и право правителей вызывать восстания в соседнем государстве, являлась политической аксиомой в чрезвычайно различных азиатских культурах.

Народный бунт, бывший для европейского хрониста стихией антикультурной, не ставший, вплоть до эпохи романтизма, предметом литературы, в китайской культуре послужил фоном для блистательнейших ее произведений, таких, как «Речные заводы» Ши Найяня или «Развеянные чары» Ло Гуаньчжуна и Фэн Мэнлуна.

Европейские правители, еще накануне Французской революции, необдуманно обещали накормить народ соломой, если у него нет хлеба. Китайские императоры всегда имели возможность заявить, что люди взбунтовались «оттого, что чиновниками не было проявлено сострадания к голодающему народу».

Чиновник, расследующий бунт, мог доложить, что власти действуют, «превосходя воров и разбойников», что причина бунта — «притеснения народа чиновника».

ми-лиходеями». Это не мешало расправе с бунтовщиками, но это делало народное восстание частью культуры, а не ее противоположностью, заменяло категорию законности, на которую опиралась в поисках свободы Европа, на категорию справедливости и укрепляло то «сходство в мыслительных образах у правителей и простого народа» (Ю. Мурамацу), которого не было в Европе.

Помимо права народа на восстание существовало еще не только поощряемое, но и деятельно внедряемое право народа на самоуправление. Государства, почитающиеся в европейской истории весьма деспотическими, каковы Византия в эпоху расцвета, Китайская империя или государство Великого Могола, как на основную государственную единицу ориентировались на самоуправляющуюся, с выборными должностями, деревенскую общину. Более того, они насильственно создавали эту общину, как был создан русский «мир».

Самоуправляющиеся общины свободных крестьян были для государства более желательны, чем деревни под властью сеньора, и менее обременительны, чем деревни под властью чиновника, который, пока государство сильно, требует денег на содержание, а когда государство слабо, сам превращается в сеньора. Поэтому ничто так не поощрялось гигантскими административно-бюрократическими империями, как крестьянское самоуправление.

Самоуправляющаяся деревенская община вместо того, чтобы служить первичным звеном демократии, служила основой восточного деспотизма. Народ сам не давал членам общины излишне обогатиться. А государство, связывая членов общины круговой порукой, с одной стороны, гарантировало себе бесперебойную выплату налогов, а с другой — побуждало членов общины следить друг за другом.

Фундаментальное отличие истории феодальной Европы от, скажем, истории Китая состоит в том, что китайским императорам действительно удалось опереться на народ, тогда как европейская знать не позволила этого сделать своим королям.

Государи спорили за власть не с народом, а с ближайшим своим окружением, и не простолюдины, а привилегии высшего класса ограничивали эту власть. Чем шире была социальная опора верховной власти, тем более деспотичным и уравнилельным было правительство.

Именно поэтому самые деспотические общества средневекового Ближнего Востока характеризовались невероятной для Европы и ассоциирующейся с открытым обществом социальной мобильностью. Верховная власть опиралась на людей без рода, без племени, всем обязанных своему господину, людей, казнь которых не вызвала возмущения. Мамлюк, раб, купленный на базаре, занимал верхние места в иерархии властителей средневекового Египта. Ренегат, вчерашний христианин, мог рассчитывать на самые высшие посты Османской империи, что, кстати, вызвало в свое время величайшее одобрение Томмазо Кампанеллы, увидевшего в Блистательной Порте прообраз государства, вознаграждающего своих граждан сообразно их делам, а не сообразно роду. (Не говоря уже о том немыслимом для Европы факте, что самые удачливые рабы становились основателями династий — Газневиды, Багарида.)

Парадокс, таким образом, заключался не в том, что за пределами Европы не существовало, в той или иной форме, самоуправления, парадокс в том, что для огромного большинства людей, живи они при «племенной демократии» или в деревенской общине под конечной властью Великого Могола, самоуправление никогда не означало свободы. Безопасность, равенство, чувство принадлежности и сопричастности, общности, *Gemeinschaft* — пожалуйста. Но сама идея свободы противоположна идее общины. Она, собственно, представляет все то, от чего самоуправляющаяся община стремится обезопасить своих членов. Возможность решать и возможность ошибаться, возможность выбирать, возможность чрезмерно богатеть. Община гарантирует стабильность, но не свободу. Самостоятельность же личности начинается лишь за пределами общины и гарантируется не государственными законами, а культурой, сферой для избранных, самым надежным посредником между самовластием государства и самоуправством индивида.

6

Раннее средневековье забыло о демократии, ибо демократия есть форма государственного правления, а государство в Европе исчезло вообще. Римский мир рассыпался, политически и экономически, в череде варварских вторжений: готов, франков, бургундов, гуннов, славян, арабов и норманнов.

Бесполезно говорить тут о демократии: демократия есть форма государственного правления, а государство исчезает вообще. Его заменяет система личных связей между вассалом и господином, в просторечии известная как феодализм. Война становится главным способом экономического обмена. Арабская экспансия превращает Средиземное море из торгового центра ойкумены в военную окраину Запада. Непрестанные волны нашествий делают торговлю невыгодной и возвращают мир к натуральному хозяйству. Рыцари кормятся из стремени, выбивают деньги из пяток и превосходно гоняются за всеми теми, кто по природе своего заработка должен путешествовать. Гражданская свобода, бывшая условием демократии, становится состоянием, опасным и нежелательным для среднего человека. Не закон, а покровительство сильного защищает слабого от разбойников, свобода перестает быть доминирующей социальной ценностью: одни спешат избавиться от свободы, чтобы защититься от насилия, другие — чтобы безнаказанно его творить, как грустно отметил Фюгель де Куланж.

Города, центры торговли, ремесла и чиновничества, исчезают — их заменяют замки, где живет рыцарь со своими дружинниками, защищая подвластных ему крестьян и подкарауливая проезжих купцов. Даже императоры и короли не имеют постоянной столицы, а кочуют по собственной стране в то редкое время, когда не воюют в чужой.

Но вот череда военных нашествий стихает, и в Европе XI века вновь возрождаются городские коммуны. Они возникают в Италии и во Фландрии, в Германии и на юге Франции.

Как и в античности, городские республики ограничены небольшой территорией и стремятся ограничить число своих граждан. Более протяженные монархии ничего против них не имеют. Как точно сформулировал флорентиец Гвичардини: «Республика дарует свободу только своим коренным гражданам. Монархия служит всем». (А те государства, в которых могущество знати велико, что именно она избирает властителей, — Священная Римская империя или Польша — ведут полупризрачное политическое существование и не в силах противостоять самодержавным государям.)

Одни из городских республик независимы или фактически независимы, как ганзейские города или республики Италии, другие, подобно городам Франции и Испании, входят в состав территориальных государств как полноправные члены феодальной иерархии, имеющие право утверждать налоги и творить на своей территории суд.

Но есть одна черта, которая отличает новые города от античных полисов и роднит их с великими торговыми городами Востока — Тиром, Сидоном, Карфагеном. В новых республиках господствуют люди предприимчивые, а не праздная знать или праздная чернь, и вокруг них царит не античная свобода, а феодальная анархия. Они рождаются не из военной, а из экономической необходимости: владыки охотно прибегают к услугам купцов, чтобы заполучить товары из тех областей земли, которые пока нет возможности завоевать, а вскорости — и к услугам городских банкиров, когда надо получить ссуду для очередной междоусобной войны.

Чтобы стать полноправным членом коммуны города Лаона, надо быть не вооруженным человеком, а человеком имущим: обладать домом, садом, или лавкой, или иной недвижимостью, на которую суд, в случае провинности гражданина, может наложить арест. Раб или наемный работник, не имеющий собственных средств к существованию и не располагающий своим «я», членом коммуны быть не может.

Словом, к власти в средневековых городах во многом приходят те самые новые богачи, которые в античных городах-государствах оставались метеками, не полноправными гражданами, презирались как вольноотпущенники.

Но профессия купца ненадежна. Едва разбогатев, человек вкладывает деньги в землю или в покупку должности — более выгодное, чем торговля, помещение капитала. Образуется городская верхушка — патрициат; снизу ее подпирает новая волна предприимчивых выходцев из низов. Патриции пытаются сохранить свое экономическое господство внеэкономическими мерами: выпрашивают у королей по соседству торговые монополии, регламентируют цеховую продукцию, ломают незаконные станки. В городах вместе с иерархией труда образуется иерархия зависти. Новый предприниматель ненавидит старого купца, цеховой мастер ненавидит постороннего выскочку, подмастерье ненавидит мастера, окрестная знать, переселившаяся в город, поставляет вождей для обеих партий и своими междоусобицами подает повод к изгнаниям и конфискациям.

Те из городов, которые сумели обеспечить себе строгое олигархическое устройство, ограничив участие народа в правлении государством щедрыми подачками,

процветали. Там же, где знать из соперничества друг с другом привлекла народ к участию в управлении, воскресли все склоки, сопровождавшие власть народа в античности.

Характерным примером может служить разница в политической судьбе Венеции и Флоренции.

Официальный государственный миф рассматривал Венецию как образец полибиевого смешанного правления (монархия в лице дожа, олигархия в лице Совета Десяти и демократия в лице Большого Совета), но на самом деле полноправные граждане, имеющие право избирать Большой Совет, составляли едва восемь процентов городского населения. Характерно, что все немногочисленные попытки установления тирании в Венеции (заговор Тьеполо в 1310 году, заговор Марино Фальери в 1355 году) предпринимались сверху и были связаны с попытками освобождения бесправного народа из-под власти патрициев — прием, хрестоматийный для средневековья и непонятный уже в XIX веке.

What prince has plotted for his people's freedom
Or risked a life to liberate his subjects?

(Кто из властителей устраивал заговор во имя свободы своего народа или рисковал жизнью для освобождения подданных?) Так восклицал Байрон в своей драме «Марино Фальеро».

Предоставляя беднякам возможность богатеть и исключая их из процесса принятия политических решений, Венеция стала крупнейшей сверхдержавой средневекового Средиземноморья, счастливым образцом стабильности на фоне хронических революций, пожиравших прочие итальянские города.

Напротив того, во Флоренции, благодаря непрерывным раздорам внутри городской верхушки, народу легче править, чем богатеть. Черки, враждя с Донати, опираются на простой народ, Готье де Бриенн в своей кратковременной тирании обращается прежде всего к отстраненным от участия в управлении низшим слоям населения, которые ничего не теряют от перемены власти и все выигрывают от конфискации богатей, восстание чомпи в 1378 году провозглашает всеобщее равенство и всеобщий грабеж.

«С тех пор, как земля эта, — пишет в «Истории Флоренции» Никколо Макиавелли, — освободилась от ига императоров, города ее, лишившись узды, сдерживающей страсти, установили у себя правление, способствующее не процветанию свободы, а разделению на враждующие между собой партии... Безнаказанность зла порождает во всех стремление разделяться на партии, а также и могущество партий. Злонамеренные объединяются в них из жадности и честолюбия, а достойные — уже по необходимости. Самое же злое, что во всем этом наблюдается, — то искусство, с которым деятели и главы партий прикрывают самыми благородными словами свои замыслы и цели: неизменно являясь врагами свободы, они попирают ее под предлогом защиты то государства оптиматов, то пополанов. Ибо победа нужна им не для славы освободителей родины, а для удовлетворения тем, что они одолели своих противников и захватили власть. Когда же власть эта наконец в их руках — нет такой несправедливости, такой жестокости, такого хищения, каких они не осмелились бы совершить... И если другие города Италии полны этих гнусностей, то наш запятнан ими более всех других, ибо у нас законы, установления, весь гражданский распорядок выработаны и вырабатываются не исходя из начал, на которых зиждется свободное государство, а всегда и исключительно ради выгоды победившей партии. Вот почему, когда одна партия изгнана из города и одна распря затухает, тотчас же на ее месте возникает другая. Ведь если государство держится не общими для всех законами, а соперничеством клик, то едва только одна клика остается без соперника, как в ней тотчас же зарождается борьба, ибо она сама уже не может защищать себя теми особыми средствами, которые сначала изобрела для своего благополучия».

Мы вновь видим борьбу между партией народа и аристократической партией, которые, как и в античности, обе возглавляются родовитыми людьми, и полное отсутствие идеи компромисса. Истину вновь выясняют не в переговорах, а в уличных схватках. При этом «партия», являющаяся основой стабильности современных демократий, совершенно справедливо представляется Макиавелли гибельной для свободы. «Если основатель республики не может воспрепятствовать появлению в ней раздоров, он обязан во всяком случае не допустить образования партий», — напоминает он.

А те города, которые, подобно фландрским Генту и Брюгге, подобно южно-французским коммунам, оказались внутри более крупных территориальных объединений?

Эти города входили на равных в иерархии феодальных монархий, признававших за своими членами право одобрять налоги и денежные субсидии королю. По самым различным местам средневекового мира поддержка или неприятие королями и сеньорами самых крайних форм демократии зависела исключительно от политической ситуации и личной вражды сеньоров между собой.

Как правило, французские короли в XI — XIII веках поощряли возникновение коммун (а кто говорит «коммуна», говорит «городская республика» — с правом самоуправления и сбором налогов), ибо возникновение коммуны означало, что территория, прежде подчиненная королевскому вассалу, теперь подчиняется непосредственно королю.

Сеньор Фома де Марль, враждовавший с Людовиком Толстым, воевал по этой причине с Амьенской коммуной, союзной королю, и защищал коммуну города Лаона. Людовик Толстый, соответственно, вел себя наоборот.

С согласия Людовика Толстого возникают коммуны: в Лилле, Марселе, Ниме, Тулузе, Бордо, Руане, Камбре.

В Мансе, Камбре, Лаоне и Реймсэ революции против местных сеньоров были насильственными. В Нуайоне, Бове, Сен-Кантене, Амьене, Суассоне они носили мирный характер. В Оксерре коммуна была установлена с согласия местного графа против желания епископа, в Амьене, наоборот, против желания графа и с помощью епископа.

О принципе легитимизма в те века еще не слышали. Поведение европейских держав, не желающих примириться с революционной Францией только-де потому, что там подлая чернь изгнала законного монарха, или Николая I, не желающего помогать греческим повстанцам, имея жизненно важные интересы в том районе только потому, что греки все-таки восстали против легитимного правительства, показалось бы полной нелепостью.

Верхи в то время, как и в античности, продолжали пускать в ход народные восстания, когда можно, а чернь, напротив, выбирала себе лидеров познатнее.

Герцог Афинский, стремясь захватить власть во Флоренции, вооружал чернь без счета. Римская знать, враждя с папой, охотно прибегала к городским бунтам, и когда в 1338 году английский король Эдуард заключает союз с мятежной верхушкой города Гента, фландрский граф Людовик Неверский тут же становится на сторону городского отребья.

На самых различных этапах государственной иерархии прослеживалось противостояние короля и знати, требовавшей привилегий, и союз короля и народа, требовавшего равенства.

Можно, вслед за Огюстеном Тьерри, утверждать: история развития и успехов королевской власти во Франции есть история развития и успехов городских коммун и третьего сословия.

Королям даже в голову не могло прийти, что власть народа — это нечто враждебное, ибо именно власть народа и поддержка городских коммун стали главным орудием, на которое опирались короли в своей борьбе с привилегированными сословиями.

Во Франции и Испании, двух классических абсолютистских монархиях, именно городские коммуны и городские дружины стали орудием, с помощью которого была сокрушена непокорная знать. Во Франции Орлеанские Генеральные Штаты 1439 года запрещают кому-либо, кроме короля, иметь войско и кладут тем самым конец феодальной вольнице, они же предоставляют королю право взимать налоги на содержание войска без согласия знати.

В Испании санта-хермандада (вольные союзы горожан) добровольно преобразуются в полицейский корпус на службе короля, противопоставляя себя военному ополчению знати, и в 1480 году горожане, заседающие в кортесах — городских советах, отнимают у испанских грандов право частной войны и чеканки монеты. (Точно так же и первый русский Земский собор созывается Иваном Грозным в 1550 году не для ограничения, а для утверждения самовластия.)

Города помогают королям одолеть сеньоров и вскоре замечают, что опять утратили самостоятельность, дарованную им лишь в рамках феодальной иерархии. Процессы, происходящие во Франции XVI — XVII веков, напоминают процессы, протекавшие в Римской империи. Городские магистраты обращаются в бесплатных королевских чиновников, а городские права — в городские обязанности.

Государство вечно нуждается в деньгах, и городские вольности оказываются лучшим источником дохода. В 1692 году эдикт Людовика XIV уничтожает выборные магистратуры, но предоставляет городам право выкупить их. Деньги, полученные за выкупленную городами свободу, идут в казну. Едва города оплатили свои вольности, следует новый эдикт, и еще один, и еще: семь эдиктов в течение восьмидесяти лет. Французская корона уничтожает городские вольности не по идеологической причине, а просто по фискальной надобности. Она соблазнена очевидным богатством граждан и их беспомощностью. Города, в отличие от сеньоров, не умеют соединяться друг с другом. Оказывается, что города были сильны лишь тогда, когда их поддерживал король. Но теперь, когда своеволие знати обуздано, власть народа больше не нужна: перестают собираться Генеральные Штаты, тихо помирают кортесы, наступает привычная нам эпоха абсолютной монархии, одна из редчайших эпох в истории человечества, когда народные восстания и народные собрания перестали быть политической силой, когда самовластие перестало ограничиваться выборами и даже почти перестало быть ограничено переворотами.

Кончилось время бунтов, которые случаются, как дождь и снег, регулярно и приучают королей пользоваться ими сообразно обстоятельствам, и началось время революций, которые случаются, как землетрясения, раз в сто лет и оставляют власти весьма растерянными перед таким неожиданным поворотом дел.

7

Итак, несмотря на широкое распространение в средневековой Европе народо-властия, оно не только не служило противовесом абсолютной власти короля, но было мощным союзником этой власти в борьбе с произволом — или свободой — знати.

Истинным противником абсолютной власти королей был не народ, их союзник, и не знать, не руководствовавшаяся никакой общей идеей в своей инстинктивной борьбе за свой личный произвол, а церковь.

Средневековье началось много раз, и одно из его начал случилось в 453 году. В этот год, когда к беззащитному Риму вновь подступили войска Атиллы, папа Лев I выехал навстречу язычникам, держа в руках не меч, но крест. Именем Христа папа приказал Атилле увести войска — язычник послушался и ушел.

Три столетия спустя лангобардский король Лиутпранд снял осаду с Рима по той же причине — по просьбе папы Григория II, лично явившегося в его лагерь. Лангобард еще дважды подступал к Риму, рассерженный интригами, которые вел против него святой престол, заключая союзы то с мятежными герцогами Сполето и Беневенто, то с византийским императором-иконоборцем, и дважды отступал — по личной просьбе Григория II, а затем Захарии I. В конце концов победоносный полководец отдал в распоряжение пап завоеванный им город Сутри, и это стало первым случаем дарственной передачи города римскому престолу.

Контроль над действиями правительства всегда существовал в той или иной форме. В средневековье сильнейшим инструментом такого контроля была церковь, готовая, в отличие от раболепного народа, обрушиться с нападками на государя.

Ни один из властителей средневековья не отрекся от короны в пользу народа, но многие из них, причем из самых властолюбивых, отрекались от престола ради монастыря. В 889 году ушел в монастырь царь Борис, основатель болгарского царства, в 1556 году Карл V, последний человек, мечтавший соединить всю Европу под властью Священной Римской империи, покинул трон, остаток жизни проведя близ эстремадурского монастыря.

Не то чтобы подобный инструмент контроля был совершенен, но, несомненно, он оказался более совершенен, нежели демократия тех времен. Факт остается фактом: религия в средневековье умела заставлять самых больших самодуров на троне подчиняться таким ограничениям, которые в наши дни почет ущемительными для своего личного достоинства любой наркоман, имеющий право голоса.

Наступала новая эпоха — эпоха, когда крест раздавал короны и судил их. Теократия сменила автаркию в качестве идеала эпохи. В Византии по мере роста власти константинопольского патриарха влияние синклита падало. В Европе императоры Священной Римской империи охотнее ставили свой сан в зависимость от освящения их папою, нежели от избрания их вассалами: выборный принцип отступал перед Богом. А папы, в свою очередь, видели в императоре лишь первого вассала церкви.

Каждый житель средневековой Европы принадлежал к двум государствам — светскому и невидимо пронизывавшему всю Европу государству церкви. Эти две

силы боролись за власть, и разделение властей между ними спасло и породило новую свободу Европы. Политическая борьба сопровождалась борьбой идей.

Ни один философ Просвещения не осмеливался именовать государя, на которого он, кстати, обычно возлагал большие надежды в деле исправления нравов, с такой легкостью Нимвродом, Навуходоносором, нечестивым фараоном и Нероном. Папа Захария в 751 году, освобождая франков от присяги Хильдерику, провозглашает, что источник всякой власти лежит в народе, а право народа подлежит утверждению папы, которому милостью Бога позволено раздавать и отнимать короны. Гильдебранд пишет: «Священническое звание от Бога, светские же правители ведут свое начало от тирании Нимврода, наложенной на евреев как наказание».

Григорий поучает Фридриха II: «Головы королей и князей склоняются к ногам священников, и христианские императоры должны подчинять свои действия не одному только римскому папе, но и другим представителям духовенства. Господь предоставил лишь себе суд над святым престолом, суду которого во всем тайном и явном он подчинил мир».

Церковь владела двумя мечами — светским и духовным. В самой церкви соперничали две традиции — августинианская, производящая государство от грехопадения, и паулинистская, признающая царей заместителями Бога. В любом случае император оказывался лишь первым вассалом церкви.

Высказывания, ограничивающие власть государей, раздавались в Европе сверху. Напротив, политический идеал низов был связан с абсолютной монархией. Даже в 1381 году повстанцы Уота Тайлера, требуя всеобщего равенства, не распространяли, разумеется, этого требования на короля и никак не пытались ограничить его власть — и это в стране, где полтора века раньше бароны и «бакалавры» страны навязали Иоанну Безземельному Великую хартию вольностей.

Китайский император был сыном Неба, персидский шахиншах — братом Солнца и Луны, официальная теологическая метафора Григория Великого провозгласила папский престол — солнцем, а императорский — луной, светящей отраженным светом.

Светским правителям нечего было противопоставить этой доктрине. Они могли восставать против личности папы, но не против его сана. Генрих IV борется против папы и в то же время признает притчу о двух небесных светилах, большем и меньшем. Оттон III может прогнать с престола развратного папу, но он же постится и проводит неделю за неделей в монастыре. Лионский собор низвергает с престола Фридриха II — и все равно этот вольнодумец, собеседник арабских философов и покровитель еретиков, умирает, завернутый в мантию цистерцианского монаха.

Необходимо сказать, что нигде так беззастенчиво и нахально не погрешила против истоков современной мысли либерально-антиклерикалистская традиция, как выставляя церковь защитницей «божественного права королей властвовать народами» и связывая идеи тираноборчества с вольнодумством.

Только в XVI — XVII веках, с расцветом абсолютной монархии, появились политические теории о божественности королевской власти, о том, что «короля нельзя создать путем выборов», — убеждение, бессмысленное в средневековье, когда государя именно выбирались на собраниях светских магнатов и низлагались на соборах.

Но тот же XVI век, который породил доктрину абсолютной монархии, породил и доктрину монархомахов, оправдывавших право народа на восстание и убийство тиранов, злоумышляющих против Бога и Богом охраняемых прав народа, в число которых входили и городские вольности, и представительные собрания.

В сущности, они прямо подхватывали тезис Фомы Аквинского о позволительности убийства тирана, и не случайно среди них оказался знаменитый иезуит отец Хуан де Мариана с его «De rege et regis institutione»¹ (1599) и другой иезуит, Суарец.

Монархомахи, протестанты и католики равно оправдывали право народа на неповиновение государю ссылкой на Бога. Ведь именно Бог властвует над людьми, государь же — лишь его вассал. Государь, правящий с нарушением Божьего закона, тем самым освобождает своих подданных от обязанности повиноваться ему. Это положение целиком заимствовано из средних веков.

С другой стороны, государь, правящий несправедливо, освобождает подданных от обязанности повиноваться ему, но это еще не дает народу права на бунт, ибо известно из опыта, что бунт часто ведет к торжеству насилия и редко — к торжеству справедливости. Одна несправедливость не может устранить другую. В чем же вы-

¹ «О королях и институте королевской власти» (лат.).

ход? В том, чтобы народ передоверил свое право на управление и на восстание своим избранным представителям. Так медленно, из античного представления о наилучшей форме правления как смешанной демократии и олигархии, из средневековых городских вольностей, из современной монархмахам практики английского парламента и нидерландских Генеральных Штатов, вызрела идея — не прямой демократии, но представительного правления.

8

Привычное нам противопоставление власти государя и власти народа, монархии и республики родилось только в конце XVIII века, когда американский опыт показал, что режим представительной демократии отнюдь не нуждается в монархе и что республика может править протяженными пространствами. Французская революция, в свою очередь, возвестила эру идеологического противостояния монархий и республик. Оно сменило более старую парадигму: народ — союзник абсолютной власти в ее борьбе с привилегированными сословиями, союзник деспотизма, который один обеспечивает равенство.

До того европейские политики не подозревали о противостоянии монархии и республики. Никто и знать не знал, что Швейцария или Венецианская республика бросают вызов тиранам. Французская монархия не видела ничего странного в союзе с молодым американским государством, так же как двести с лишним лет назад она не видела ничего странного в том, что восставшие Соединенные провинции просили герцога Анжуйского стать их королем — вместо испанского тирана. Вильгельм Оранский не видел ничего удивительного в том, что свергнувшая короля Англия вручает ему престол и это называется Славной революцией.

Надо заметить, что подобная эра идеологического противостояния была начата революционерами, а не монархами. В начале Французской революции Екатерина Великая с раздражением практического политика отмечала: «Всегда государь виноват, коли подданные против него огорчены», — но скоро ей пришлось переменить свое мнение, ибо французы, презрев практическую политику, заговорили о войне против тиранов вообще.

Достаточно написано о разнице между американской революцией 1776 и французской революцией 1789 года. Рожденные, казалось бы, одной и той же идеологией Просвещения, они протекали совершенно различно, наглядно показывая, что история зависит не от идеологии, а от обстоятельств. Одна была основана на вере в Бога, другая — на безверии. Одна протестовала против конкретных экономических злоупотреблений английского правительства, другая сражалась во имя абстрактных принципов свободы, равенства и братства. Одна произошла в стране, где путешественник, проехав тысячу двести миль, «не заметил ни единого объекта, нуждающегося в милостыни», другая — в стране бедняков и философов. Вожди одной постоянно боялись, что их страну постигнет неизбежная судьба всех древних республик, и создали нечто новое. Другая устами своих вождей провозгласила новую эпоху в истории человечества и повторила, подобно английской революции 1640 года, древний, известный еще Платону и Полибию, цикл: злоупотребления монарха передают власть в руки избранных людей страны, злоупотребления избранных передают власть в руки простонародья, буйство простонародья вновь приводит к единоличному правлению.

Переход от идеи невозможности народовластия к идее его неотвратимости совершился, по историческим меркам, почти мгновенно. Еще в «Размышлениях о Франции» (1796) блестящий мыслитель Жозеф де Местр мог утверждать: демократия на протяженной территории невозможна. Цифра большой республики никогда не выпадала на костях истории за две тысячи лет — не выпадет и впредь.

Прошло всего три десятка лет, и Алексис де Токвиль со сдержанной грустью констатировал обратное: «Постепенное установление равенства есть предначертанная свыше неизбежность. Этот процесс отмечен следующими основными признаками: он носит всемирный, долговременный характер и с каждым днем все менее и менее зависит от воли людей; все события, как и все люди, способствуют его развитию... Неужели кто-то полагает, что, уничтожив феодальную систему и победив королей, демократия отступит перед буржуазией и богачами?»

Де Токвиль задал самый главный вопрос — вопрос, который и определял судьбу революции и демократии нового времени. Снова, за очевидным противопоставлением монархии и республики, возникало старинное противостояние демократии и олигархии, на этот раз — буржуазии и неимущих.

По-прежнему к неимущим были применимы слова, сказанные Полибием об Элладе: «Если народный вожак внушает людям надежду на то, что они смогут достигнуть улучшения своего экономического положения за счет своих граждан, то они бросятся на эту приманку».

По-прежнему дела обстояли не лучше, чем они обстояли в промышленной Фландрии в 1367 году, когда восставшие подмастерья, по словам хрониста, «говорили каждому богачу: ты больше любишь господ, чем простой народ, трудом которого ты живешь. И, не найдя на нем никакой другой вины, предавали его смерти».

По-прежнему, как только в неимущей стране приходил к власти народ, за вопросом о гражданском равенстве вставал вопрос о равенстве социальном: во время английской революции о нем твердили левеллеры, во время французской — «бешеные». Права человека, по точному определению Ханна Арендт, превращались в права санкюлота. «Все, что необходимо для поддержания жизни, должно находиться в общей собственности, и лишь избыток может быть признан частной собственностью», — утверждал Максимилиан Робеспьер перед введением законов о максимуме.

История, казалось, повторялась, но с одним существенным изменением. Система представительного правления, в отличие от прямой демократии, превратила всякое республиканское правительство в скрыто-олигархическое. Еще две тысячи лет назад Цицерон без колебаний идентифицировал прямое правление народа с демократией, а любую выборную власть — с властью оптиматов.

Все обвинения, которые бросали буржуазной демократии революционеры всех мастей, — «лживая буржуазная демократия», «якобы свободные выборы», «народ, который принужден голосовать за толстосумов», — совершенно справедливы. Они то и обеспечивают превосходство парламентской системы над облеченным законодательной властью митингом, именуемым в древности демократией.

Ценз, «гнилые местечки», подкуп голосов избирателей не погубили парламентаризм, а помогли ему выжить.

Один из американских отцов-основателей, Джон Адамс, констатировал: «Зависть и горечь, которую большинство питает к богачам, всеобща и могут быть сдержаны только страхом или необходимостью. Нищий никогда не уразумеет причины, почему кто-то другой должен ездить в карете, когда у него не хватает на хлеб».

Не может существовать стабильного режима в государстве, где большая часть эксплуатируемых слоев населения или слоев, считающих себя таковыми, участвует в принятии государственных решений. Тем более не может такое государство процветать. Именно поэтому режимы, устойчивые и(или) процветающие в течение долгого времени, такие, как Спарта, Венеция, США, теми или иными способами, по крайней мере в фазе становления, выключали людей эксплуатируемых из числа принимающих решения. Не трудно себе представить, что если бы те требования, которые предъявляют различные американские меньшинства и сидящие на пособии люди американской администрации сейчас, были предъявлены Конгрессу рабами и долговыми слугами в конце XVIII века, то американская республика вряд ли бы расцвела, а скорее всего закончила свое существование именно так, как того опасался Гамильтон, — у нее нашлись бы свои Катилины и Цезари.

История учит, что стабильным является режим, при котором, с одной стороны, людям из низов предоставляется возможность пройти наверх, а с другой — люди из низов тем или иным способом исключаются из процесса принятия политических решений. Если большинство в стране составляют бедняки, то они должны иметь возможность разбогатеть, но не должны иметь возможности управлять государством.

Не важно, каким путем это может быть сделано — путем сильного идеологического давления на избирателей, которые в результате голосуют за людей, вовсе, по счастью, не представляющих сиюминутного интереса бедняка. Путем ложных предвыборных обещаний социальной защиты, которые затем не будут выполнены. Путем мягкой диктатуры, подобной той, которая существовала в Афинах при Перикле или во Флоренции при Козимо Медичи, когда власть, по видимости не отобранная у народа, на деле принадлежала одному человеку. Путем разгона парламента, буде в нем обнаружится слишком много депутатов, которые, как и две тысячи лет назад, опираются в своем преследовании богатых на интересы нищих, требующих от государства прожиточного минимума, а не возможностей для предпринимательства, и желают путем раздачи имущества, что им не принадлежит, добраться до власти, какой они недостойны.

ОТКЛИКИ И КОММЕНТАРИИ

«СОЦРЕАЛИЗМ — КУЛЬТУРА МУТАГЕННАЯ...»

Новое исследование тоталитарной культуры

«**Н**овый мир» не раз уже откликнулся на книги, выпущенные на русском языке германским издательством «Verlag Otto Sagner» (Postfach 340108 D-8000 München 34). В последний раз это были аннотации на репринт десятого тома Литературной энциклопедии (1993, № 11), а также на книгу Сергея М. Сухопарова о жизни и творчестве Алексея Крученых и на сборник рассказов Ф. Сологуба (1994, № 3). Тем более нельзя пройти мимо фундаментальной монографии новоявленного автора Евгения Добренко, не нашедшей, к сожалению, издателя в России, но, к счастью, нашедшей его в Германии в лице Отто Загнера. Книга называется «Метафора власти. Литература сталинской эпохи в историческом освещении» (Slavistische Beiträge. Band 302). Впрочем, российский читатель отчасти знаком с книгой. Многие ее части печатались как самостоятельные статьи в нашей периодике. Например, глава «Левой! Левой! Левой!..» печаталась под тем же названием в «Новом мире» (1992, № 3). А глава о военной литературе как «литературе войны» — в саратовском журнале «Волга» (1993, № 10 — 12), причем уже после выхода книги в Германии.

В предисловии автор считает нужным предупредить, что

«пока писалась эта книга, страны, о которой идет здесь речь и в которой она писалась, не стало. Исчезло географическое понятие, но осталось культурное пространство. Осталось навсегда — история не умирает. И это обстоятельство не зависит от самоощущения современников, которые хотят думать, что живут «после будущего», «в конце истории», что они «выпали из истории». Из истории нельзя «выйти», все в конце концов становится ее достоянием».

И далее:

«История *всегда* интересна, ибо *всегда уникальна*. Любые типологии и схождения, каноны и повторяемости растворяются в этой уникальности. «Ничто не ново», но одновременно — и *всегда исторически ново*, все «так же», но — *всегда исторически иначе*. Эта фатальная уникальность истории — от неповторимости каждой судьбы. Общая для всех, историческая ситуация в то же время всегда неповторима как в пространстве индивидуальной жизни, так и в пространстве национальной культуры. И потому не убивать историю (в том числе, разумеется, и историю литературы) новой, вторичной теперь мифологией, не вгонять ее опять в постсоветологические теперь схемы, в модные постмодернистские парадигмы или в традиционалистские клише, не превращать ее в «игру в бисер», а попытаться *понять ее логику и закономерности*, рассмотреть историко-культурный ландшафт советской литературы 30-х — начала 50-х годов — вот установка, определившая замысел этой книги и объединившая очерки истории литературы сталинской эпохи в один сюжет.

Duke University, North Carolina, USA, апрель 1993 г.».

Отметив между прочим указанное выше место пребывания уважаемого автора, скажем, что книга делится на две части, а именно: «Несокрушимый мавзолей», куда входят:

«Левой! Левой! Левой! Метаморфозы революционной культуры»;

«Оптика «партийной литературы». Тоталитарное искусство в социокультурном измерении»;

«Портрет и вокруг. Образ вождя как образ власти»

и «Мистерии войны и мира», которую составляют главы:

«Стой! Кто идет?! Становление манихейского мифа советской литературы»;

«„Грамматика боя — язык батарей“. Литература войны как литература войны»;

«Свет над землей. Манихейский миф литературы позднего сталинизма».

Александр Архангельский в газете «Сегодня» (4.2.94), рецензируя наряду с монографией Ханса Гюнтера о Горьком и книгу Добренко, замечает, что автор прочер-

чивает «безупречно логичную схему вогосударствления советской литературы», и тут же воспроизводит эту схему в одной, хотя и продолжительной, фразе:

«Сначала авангардное сражение с духовной традицией; затем появление неузнанных наследников авангарда в лице неотесанных пролетарских и крестьянских писателей; после того — заключение литературой «протокола о намерениях» стать голосом власти; вследствие этого — рождение Союза Советских Писателей из духа бравурной музыки ЛОКАФа (военизированной литературной группы) и на его организационных началах; последовательная инфантилизация культуры соцреализма, превращение ее в чистый, безвольно-целестремленный героический мир детства; полное растворение литературы в испарениях власти в годы умело использованной коммунистами войны; парадоксы послевоенного самозаглатывания писателей во время кампании по борьбе с безродным космополитизмом; и — как финал оптимистической трагедии советской эпохи — послевоенная литература борьбы за мир с ее неискаженным милитаризмом...»

Рецензент тут на редкость хорошо передает и содержание схемы, и определенную схематичность самой книги Добренко, что последнему вовсе не в укор. Монография насыщена таким количеством материала, что для его организации требуется, видимо, именно схематичность, иначе книга тут же рассыпется аморфной и практически не воспринимаемой грудой имен, названий, фактов. Вообще поистине «немецкое» трудолюбие, обстоятельность и добросовестность исследователя удачно рифмуются с местом издания книги.

Автор, по меткому замечанию того же А. Архангельского, писал не о словесности, а о тоталитуре. Действительно, и слово «тоталитарный» мелькает на каждой странице книги во всех видах. Одних определений и характеристик тоталитарной культуры не менее десятка. Так мы узнаем, что тоталитарная культура есть

культура социального беспокорства;
культура человеческой слабости;
культура семейная;
культура социального одиночества;
культура социальной адаптации;
культура рационализации страха и бегства;
культура для масс;
культура бегства от страха;
культура социального титанизма.

Мы узнаем, что главная особенность поэтики тоталитарной культуры — идеологический магизм, что она в высшей степени инфантильна, что она идеократична; что она есть психогенная инженерия...

Словом, тоталитарная культура как сама жизнь: что о ней ни скажи — все вроде бы к месту. («Соцреализм — культура мутагенная. Он изменяется вместе с реальной трансформацией революционной идеи».)

К сожалению, иногда профессиональный язык этой солидной книги, переходя за некую грань, приобретает — разумеется, против воли автора — несколько гротескные черты. Например: «Война образовала своеобразную социально-историческую брешь в институциональной организации власти, куда легко устремляются потоки социально-психологических аффектов и стихий». Или: «Самым естественным приемом в действиях власти является хорошо усвоенная ею за предыдущие войны годы механика вызова атавистических примитивных детерминантов первобытной ментальности». Читать это можно. Но почему-то трудно. А книга большая — 400 (!) страниц очень мелким шрифтом.

К счастью, книга Евгения Добренко не только большая, но и очень полезная. Могу сказать, что (воспользуемся выражением из авторского предисловия) воспроизведение историко-культурного ландшафта советской литературы 30-х — начала 50-х годов исследователю несомненно удалось. «Метафорой власти» можно пользоваться как каталогом, как справочником, как источником, ибо ее автором прочитано, проработано и оформлено все то, что нас, остальных, ни за какие коврижки читать уже не заставишь. Он — Евгений Добренко — сделал это за нас. Что касается его попытки понять логику и закономерности советской литературы, то она, по меньшей мере, заслуживает внимания и более обстоятельного разбора.

Ясно одно: будут и другие подобные попытки. Только что вышло «Тоталитарное искусство» И. Голомштока. Может быть, на эту тему напишутся более неожиданные и остроумные книги других авторов. Может быть, даже их издадут в России. Но сделанное Евгением Добренко (США, Северная Каролина) не будет ни отменено, ни умалено.

А. В.

ФАШИЗМ КАК ФОРМА НЕКРОФИЛИИ

Когда патологические процессы становятся стереотипными, они теряют индивидуальный характер. Больше того, больной индивид, будучи окружен другими такими же индивидами, чувствует себя вполне в своей тарелке. Вся культура приспосабливается к патологии определенного типа и вырабатывает средства, удовлетворяющие запросы больных... Я считаю возможным говорить в этой связи о «безумном обществе» и о проблемах, которые встают перед живущим в таком обществе здоровым человеком...

Эрих Фромм.

«А» дольф Гитлер: клинический случай некрофилии¹ — это замечательное исследование знаменитого немецко-американского философа и психоаналитика Э. Фромма, недавно ставшее доступным российскому читателю, дает возможность по-новому взглянуть на уже не новую аналогию сегодняшней России с веймарской Германией. Сходств в данной аналогии, правда, не больше, чем различий, — и серьезные научные публикации безусловно не преминут их отметить. Всякая историческая ситуация уникальна и неповторима в иной стране и в ином историческом контексте. Точно так же любая аналогия инструментальна, условна, и универсалистские трактовки, как правило, являются лишь самым первым приближением к истине.

Однако означает ли все это, что мы обречены на историософский агностицизм в познании самих себя? Способны ли мы в исторической интроспекции увидеть свое «здесь-и-теперь»? Если исторические параллели всегда неточны, то можно ли найти вообще какие-либо константы, повторяющиеся из столетия в столетие с точностью до черт Гитлера или Нерона?

Эрих Фромм (и в его лице вся современная психоаналитика) дает утвердительный ответ: таким универсумом может быть только сам человек. Именно человек своей неисправимой природой заложил инверсию в идеальной конструкции коммунистического эксперимента. Именно человеку суждено постоянно спутывать карты тех мыслителей, которые, подобно Фукуяме, констатируют «конец истории». Именно человек всегда остается той неизвестной величиной, которая неизменно нарушает математическую выверенность любых утопических уравнений, будь то в коммунистической или либеральной конструкции.

Некрофилия: «норма» и патология

Что такое фашизм? Результат стечения экономических и политических обстоятельств? Побочный результат неудавшейся модернизации? Союз номенклатурной буржуазии и люмпенов? Национальный реванш? А может, консервативная революция: прошлое, обращенное в будущее?

Определений множество. Эрих Фромм дает психоаналитическую характеристику, действительно претендующую на универсализм: фашизм — это прежде всего состояние человеческой души.

Некрофилия не исчерпывается рамками индивидуальных состояний: по Фромму, некрофильский характер в массовом индустриальном обществе заложен имманентно. В известном смысле фашизм и есть не что иное, как сочетание некрофилии с современным технологическим потенциалом. Впрочем, прямая страсть к разрушению — отнюдь не единственное проявление такого характера.

«Возьмем для начала простейшее, лежащее на поверхности качество человека современной индустриальной эпохи: его слабеющий интерес к людям, к природе, к живым структурам и одновременно растущее внимание к механическим, неживым объектам. Примеров более чем достаточно. Повсюду в промышленно развитых странах мы встречаем мужчин, которые испытывают большую нежность к своему автомобилю, чем к своей жене. Они гордятся своей машиной, ухаживают за ней, моют ее (порой несмотря на то, что имеют возможность поручить это за плату кому-то

¹ Эрих Фромм. Адольф Гитлер: клинический случай некрофилии. М. «Высшая школа». 1992. 143 стр.

другому), а в некоторых странах еще и дают ей ласковое имя... Конечно, машина — не сексуальный объект, но это несомненно объект любви. Жизнь без автомобиля представляется многим более невыносимой, чем жизнь без женщины. Разве нет в этой привязанности чего-то странного, даже извращенного?»

Страсть к неживым предметам в сочетании с утилитарным, механическим отношением к живым людям — массовый симптом некрофилии, считает Фромм.

«Техника заменила мораль», — еще категоричнее констатирует Игорь Шафаревич². По Шафаревичу, мораль — не просто основа отношения человека к человеку (как в категорическом императиве Канта), а витальная основа Вселенной, способ отношения к живому вообще (и даже сверх того — отношение к неживому как к живому, «одушевление» мира). «Неоднократно описывалось (да и каждый испытал это на себе), — говорит Шафаревич, — как технологическая цивилизация обрекает человека на искусственное существование в искусственных условиях. Мы все больше живем среди механизмов, приспосабливаясь к правилам и стилю их работы. Как писал Стейнбек, он дошел до того, что, встречаясь с человеком, задумывался — в какую щель этого автомата надо опустить монету, чтобы он заработал?»

Напротив, техника в современной технологической цивилизации выступает как форма взаимоотношения неживых объектов, вещей, превращенных в товар, абстрагированных и изуродованных, оторванных от их действительной витальной сущности. Техника утилитарна, ее задачей является переделка всего живого (включая и самого человека) — создание «второй», технотронной, природы.

Но ведь известно, что переделать живое в принципе невозможно. «Переделать» его — значит убить, омертвить, превратить в глину, из которой затем будут создаваться такие же мертвые и неодушевленные конструкции. И какая разница, спрашивает Шафаревич, что именно выступает объектом подобного прагматического активизма — природа или сам человек? В одном случае мы имеем технологический тоталитаризм, во втором — более вульгарный коммунистический вариант той же самой технологической цивилизации.

Основа и той и другой, добавляет Фромм, — некрофилия, стремление живое превращать в неживое. Впрочем, убивать можно разными путями: в безумии тотального разрушения, не ставя перед собой никаких положительных целей, но можно и «улучшать» жизнь.

Это особая, латентная, форма некрофилии. Фромм пишет:

«Мир превращается в совокупность безжизненных предметов, включающих среди прочего искусственную пищу и искусственные органы... Сексуальность становится техническим навыком, «любовной машиной», чувства оказываются как бы сплоченными и обыкновенно подменяются сентиментальностью, радость — это извечное выражение жизнелюбия — уступает место возбуждению, создаваемому «индустрией развлечений», а в качестве главных объектов любви и нежности начинают выступать машины и механизмы».

Благодаря этому и сам человек становится частью всеобщей машинерии, которой он управляет и которая, в свою очередь, управляет им. У него нет ни плана, ни цели в жизни, ибо все его действия следуют логике окружающей его техники — технологии. Достижение технического разума, вдохновляющее его превыше всего, это перспектива создания роботов и, как подтверждают некоторые специалисты, роботы эти будут неотличимы от живых людей.

«Надо признать, — иронично добавляет Фромм, — что, когда сами люди становятся неотличимы от роботов, достижение это не выглядит таким уж невероятным.

Обитаемый некогда мир становится миром неодушевленных предметов, населенным не людьми, а всякой «нежитью». Но на символическом уровне смерть уже более не выражается нечистотами и смердящими трупами (патопризнаки некрофилии. — А. Н.). Теперь ее символы — аккуратные, сверкающие машины. И людей притягивают не воюющие уборные, а ажурные конструкции из алюминия и стекла».

Таким образом, можно прийти к заключению, что безжизненный мир тотальной технологии — это просто новое обличье, которое принимает сегодня мир смерти и разложения. «И не важно, намеренно это делается или нет. Если бы человек не ведал о последствиях своих действий, он бы еще мог считаться свободным от ответственности. Но укоренившаяся в его характере некрофильская ориентация заставляет его игнорировать очевидные вещи».

В определенном смысле книгу Фромма «Адольф Гитлер: клинический случай некрофилии» можно было бы назвать иначе: «Современный мир. Неклинический

² Игорь Шафаревич, «Россия и мировая катастрофа» («Наш современник», 1993, № 1).

случай некрофилии». Латентность той формы некрофилии, которая лежит в основе технологической цивилизации, отнюдь не превращает ее в биофилию.

Отсюда неизбежно следует вопрос, в прямой форме который поставил лишь Шафаревич: если произошел крах одной из ветвей технологической цивилизации — коммунистического тоталитаризма, то не означает ли это, что то же самое должно произойти и с западным миром — может быть, гораздо позже и в какой-то иной форме?..

Фромм, конечно, такого вопроса избегает. Как психоаналитик он просто диагностирует современное общество.

Быть или иметь: собственность как экзистенциальная проблема

«И еще в одном измерении проявляются характерные реакции некрофила: в его отношении к прошлому и к имуществу. Реальным для него является только прошлое, но не настоящее и не будущее. Прошлое, то есть прошедшее и умершее, по-настоящему правит его жизнью — будь то традиции, установления, законы или имущество. Иначе говоря, *вещи правят человеком, мертвые — живыми*; некрофил всегда предпочитает *иметь*, а не *быть*...» —

утверждает Фромм.

Иметь, а не быть... Такова его психоаналитическая трактовка приватизации жизни, вовлечения живых организмов в жесткий мир частнособственнических отношений. Ведь частная собственность — не просто экономическое понятие, это и определенное экзистенциальное отношение. Отношение даже не к вещи, а к другому человеку — через вещь.

Когда-то Маркс очень точно описал понятие собственности — через формулу: «Эта вещь моя». Я имею в виду иную конструкцию: «Эта вещь не твоя». Иначе говоря, относясь к вещи, человек определяет свое отношение к другому человеку. В этом вся суть рыночных отношений. Вступая с другим человеком в экономические отношения, мы вступаем прежде всего в нравственные отношения.

«Человек, обладающий рыночным характером, воспринимает все как товар, — не только вещи, но и саму личность, включая ее физическую энергию, навыки, знания, мнения, чувства, даже улыбки. Такой тип — явление исторически новое, ибо он возникает в условиях развитого капитализма, где все вращается вокруг рынка, — рынка вещей, рынка рабочей силы, личного рынка, — и его главная цель — в любой ситуации совершить выгодную сделку».

Главная стратегическая ошибка команды Гайдара, быть может, и заключалась в том, что отношения собственности изначально рассматривались молодыми реформаторами лишь как экономические отношения. В этом, несомненно, был налет этакого экономического детерминизма: «Деньги не пахнут», «экономика должна жить по своим законам»... Но ведь экономические отношения не развиваются в вакууме, они заключены в какую-то более сложную метасистему. Конкретные проявления таких отношений в жизни всегда накладываются на определенный культурный и нравственный фон.

Известно, что самые большие сделки на Западе совершаются на первой — решающей! — стадии на честном слове. Без этой культурной компоненты невозможно представить себе современный рынок. Мы же его представили... И получили то, что должны были получить. Полная неразбериха с «предоплатой», неуверенность в партнере, необходимость надуть его раньше, чем он надует тебя, — вот на таком культурно-нравственном фоне развивается наша рыночная эпопея. Всех этих «негативных факторов» столь много, что порой спрашиваешь себя: способен ли вообще рынок функционировать в таких условиях?..

А насилие?.. Оно — лишь следствие деформированных отношений собственности. Раз ты ни в чем не уверен, вооружайся до зубов. Бей первым, пока тебя не ударили...

Фашизм немислим без частной собственности. И дело здесь даже не в «диктатуре немецких лавочников» и не в том, что именно у нас сегодня этих лавочников больше, чем кого бы то ни было. Дело в другом. Фашизм — это некрофильское прочтение частной собственности.

Жаль, что «Быть или иметь?» Фромма у нас не появилась вовремя. Хотя понимаю: нельзя заниматься первоначальным накоплением и одновременно решать все экзистенциальные и моральные проблемы, порождаемые частной собственностью.

Конечно, «экзистенция» («человекобытие») собственности изначально ущербна. Однако этот экзистенциальный порок, строго говоря, самой же собственностью и преодолевается. Дух капитализма — трансцендентен. Как писал в свое время в «Независимой газете» Михаил Эпштейн, в чем-то этот дух даже «антисобственничен». Капиталист всегда пытается освободиться от «наличного бытия», от «налички». Деньги у него не лежат в сундуке, а делают другие деньги, создают новые жизненные реалии, воплощаясь в стройки, города, фабрики, реконструкцию промышленности. В общем, если имманентным пороком частной собственности считать проблему «быть или иметь», то эта проблема разрешается на трансцендентном уровне: умножая свои капиталы, собственник превращает «иметь» в «быть».

Но... Только при определенных обстоятельствах: когда имеет смысл вкладывать капиталы в производство, в жизнь, во что-то новое, а не «обналичивать» их в недвижимость и валютные счета за границей. Здесь и возникает развилка между двумя экзистенциальными типами капитализма: биофильским и некрофильским. Первый путь — «иметь, чтобы быть». Второй — «быть, чтобы иметь». Первый — торжество жизни, производства, второй — торжество смерти, наличности, омертвление капитала.

Что же такое фашизм? По Фромму, «некрофильский вариант» капитализма. Оглянемся вокруг — все экономические и психологические условия уже созданы, чтобы мы пошли именно по этому пути.

«Диктатура лавочников» как классическое определение фашизма приобретает в этой связи совершенно конкретный, почти буквальный смысл: это диктатура определенного типа собственников.

Тяга к прошлому

Мы забыли про другую важнейшую компоненту фроммовской концепции «некрофильского характера» — отношение к прошлому. «Забвение в прошлом», «романтизация прошлого» — совместимо ли все это с теми молодыми людьми в кожанках, которые торгуют сегодня в коммерческих киосках?.. Трудно, кажется, представить играющую в «комке» кассету с песней «Три танкиста, три веселых друга». Но я, например, еще недавно с трудом совмещал в своем сознании Эдичку Лимонова со сталинскими гимнами и коммунистическими ветеранами. Или — юного рок-оболтуса, баллотирующегося в мэры Москвы от праворадикальной партии.

Да, на демонстрациях Фронта национального спасения мы видели в основном пожилых людей. Но кто знает, что будет дальше.

Молодой, разнузданный, хамский тон «Дня» (теперь переименованного в «Завтра») — разве он рассчитан на пенеионеров, на «консерваторов» в житейском смысле этого слова? И разве отрицание частной собственности как таковой содержала программа ФНС, а сегодня содержат программные воззвания лидера ЛДП Жириновского? Ничуть не было.

Коммунизм давно ревизован, вобрал в себя новые измерения, новые энергии. Первое — социальное — измерение коммунизма отодвинуто на задний план. Второе — национал-коммунизм — стремительно формируется на наших глазах. А есть ведь еще и третье, сакральное измерение «белого коммунизма», рождающееся в творческой лаборатории С. Кургияна. Ревизованный коммунизм уже развернут в прошлое и пытается вобрать в себя новые энергии — по новому интерпретированные, перетолкованные православие, монархию и народность.

Лидер КПРФ Г. Зюганов как «верный кургияновец» в своей недавно вышедшей книге «Держава» прямо провозглашает: «Воссоединив «красный» идеал социальной справедливости, являющейся в своем роде земной ипостасью «небесной» истины, гласящей, что «перед богом все равны», и «белый» идеал национально осмысленной государственности, воспринимаемые как форма существования многовековых народных святых, Россия обретет наконец вожденное... межклассовое согласие и державную мощь» («Общая газета», 11—17.3.94).

«Утопия, обращенная в прошлое» — таково одно из определений «консервативной революции». Строительство «светлого прошлого» может оказаться задачей, вполне соизмеримой с «построением светлого будущего». Это будет, так сказать, коммунистический эксперимент во втором издании... Разве все это — не некрофильская тяга к прошлому?

Кстати, Фромм различает два типа некрофилии — скрытый, когда «любовь к смерти выражается в тяге к неодушевленным предметам», и откровенно-разруши-

тельный, садистский, тип. Последний случай он связывает с особым «анальным характером», симптомы которого — фиксация на испражнениях, особая склонность к ругани, к грубостям, смакование разных садистских сцен.

Об этом невольно думаешь, читая остроты из знаменитого «Агентства Дня». Советский газетный язык всегда был более чем консервативен, поэтому газета «День» — «Завтра» здесь совершила просто стилистическую революцию, сделав ругань литературным жанром. За «Агентством Дня» слышится дыхание улицы. В этом стилистическом союзе литературы и люмпенства, люмпенства и номенклатуры угадываются контуры будущего фашизма.

Фабрика национальных сновидений

Конечно, некрофилия не заключена лишь в своих политических носителях — она разлита во всем обществе, в его мрачном самоощущении. Вот еще одна поразительная цитата из Фромма:

«Есть люди, которые необыкновенно оживляются, когда говорят о болезнях или каких-нибудь других печальных событиях — смерти, разорении и т. п. Этот некрофильский интерес проявляется не только в разговоре, но и в том, например, как человек читает газету. В первую очередь он читает самое для него интересное — сообщения о несчастных случаях и некрологи».

К этому перечислению симптомов можно еще добавить и поистине садомазохистскую страсть наших средств массовой информации к криминальной хронике и катастрофам. Количество обезображенных трупов, появляющихся сегодня на отечественном телеэкране, явно превышает дозу, которую способен выдержать нормальный человек. Иногда кажется, что в монтажных нашего ТВ существуют специальные ящики для хранения подобных кадров, оперативно извлекаемых в случае необходимости. Еще немного — и трупы начнут использоваться в рекламе.

Телевидение иногда сравнивают со сновидениями. Болезненный интерес к трупным сюжетам, этокое подсматривание в замочную скважину за смертью явно не случайны. Тема смерти, разнообразие форм умерщвления и насилия становится доминирующей в наших «снах».

ТВ действительно похоже на гигантскую технологию по производству «национальных сновидений». В телестудиях творится таинственный процесс «вытеснения бессознательного», по которому другой замечательный психоаналитик, Карл Густав Юнг, пытался реконструировать архетипы нации. Не случайно именно ТВ, обвиняемое в покушении на национальную историю, первым среди других средств массовой информации открыло тему реванша.

Гекачеписцы, тусующиеся в «Пресс-клубе», алые знамена коммунистических митингов — все это с весны 1993 года больше и больше наполняло отечественный телеэкран (хотя как будто у руководства ТВ оставались демократы). Объяснить этот факт можно только одним — бессознательной тягой к прошлому, к национальным архетипам. Успех ТВ построен прежде всего на способности режиссеров залезать в черепную коробку человека, копаться в его бессознательном, ловить его страхи и скрывающиеся желания, которые затем переносятся на экран.

Но в этом и была ловушка! Наши демократы хорошо проштудировали Фрейда, но, видно, почти не знакомы с Юнгом. Открытие последнего в том и состояло, что сфера подсознательного (бессознательного) не есть сфера личных переживаний одного человека, — в подсознании каждого человека скрыта «зашифрованная» память истории. Копаясь в грязном белье, пережевывая комплексы совкового обывателя, ТВ на самом деле неуклонно приближалось к «историческим сновидениям», к «коллективному бессознательному». В этом — невероятный парадокс электронных масс-медиа периода реформы: сами того не подозревая, они готовили реванш.

В своей книге Эрих Фромм подмечает еще один симптом некрофилии — привычку смотреть.

«...смотреть и видеть — разные вещи. Умение видеть — чисто человеческая способность, бесценный дар, которым наделен человек. Оно требует активности, внутренней открытости, интереса, внимания и сосредоточенности. Сделать снимок означает подменить акт видения объектом — фотокарточкой... Всякий, кто когда-либо наблюдал туристов, согласится, что фотографирование мира подменило собой его созерцание».

Какая точная характеристика телевидения! Чтобы читать газету, нужно усилие, чтение неотделимо от анализа, сравнения, размышления. Иначе — поглощение телепередач. Здесь человек не видит, а именно смотрит. Бесспорно, что понятие «четвертая власть» в значительной степени означает власть электронных средств массовой информации.

А вот взгляд Игоря Шафаревича:

«Изю всех средств массовой информации наиболее совершенным является телевидение. Это как будто фрагмент из фантастического рассказа об искусственном человечестве будущего: реальная жизнь заменяется жизнью в «ящике». Уже автору книги невозможно задать вопрос. Но в телевидении нельзя даже взглянуть на предшествующую страницу: не говорил ли он там нечто противоположное? И нельзя перелистнуть скучные страницы. Можно только покорно слушать слово за словом. Так формируется сознание хуже рабского: *управляемое...*»

Идеология (ММ — мифотворчество масс, по выражению Владимира Маканина)³ как специфическая форма массового сознания — изобретение XX века и порожденного им «массового общества». Радио и ТВ пришли в человеческую жизнь не просто как технические новшества, они возникли как принципиально новые формы сознания, характерные черты которых — унификация личности, минимизация интимности ее жизни, «самобытия».

Кто-то из западных журналистов, помнится, недоумевал по поводу того, как это миллионы вчера еще вполне ортодоксальных советских людей в конце 80-х — начале 90-х годов превратились в «миллионы антисоветских людей», полностью поменяв свои идеологические знаки. Понять это действительно невозможно, не поняв ту роль, которую в тоталитарном и посттоталитарном обществе выполняют масс-медиа.

В условиях свободы значение «четвертой власти» многократно возросло! То, что раньше осуществлялось через командную систему, сегодня становится функцией СМИ. Я имею в виду то, что в политологии называют «постоянной мобилизацией электората».

Демократия — это система, при которой народ сам может выбирать себе власть. Если так, то остается выяснить самый важный вопрос: что же такое «народ», каким образом происходит формирование массового сознания. Ответ может быть только один: это происходит через средства массовой информации. Демократия — это власть масс-медиа, «прессократия».

Сравнивая взгляды Фромма и Шафаревича, нельзя не отметить, правда, и одну принципиальную точку несовпадения. Речь идет об отношении к прошлому. Для Шафаревича прошлое священо, в каком-то смысле прошлое для него и есть синоним жизни, ее аутентичности. (Отсюда его критика теории «прогресса», где прошлое «приносится в жертву» настоящему и будущему.)

Такой взгляд, конечно, полностью расходится с концепцией Фромма, для которого чрезмерная, болезненная тяга к прошлому — существенный признак некрофилии. Для Шафаревича история, корни, прошлое только и есть подлинная жизнь. Ничего не возникает. Все уже было Новое — хорошо забытое старое. В известном смысле можно сказать даже категоричнее: настоящее — это и есть прошлое. Прошлое является и будущим. Прошлое — единственная цель и смысл человечества, если, как бы добавляет Шафаревич, оно хочет остаться человечеством, а не превратиться во что-то еще.

Шафаревич — теоретик «консервативной революции», «романтик прошлого», роль и значение которого для России может быть соизмерима лишь с ролью, которую вольно или невольно сыграл Ницше в веймарской Германии. Какой бы ни была политическая проекция этого консервативного романтизма (это может быть фашизм, а может — еще что-то), но культурно-историческая аналогия России с Германией здесь налицо. Идеализация прошлого для сегодняшней России, в сущности, единственная форма ее культурно-исторической идентификации. В каком-то смысле прошлое — это все, что у России осталось. Но это поистине странное — придуманное, раскрашенное, пряничное прошлое. Когда в него начинаешь вглядываться пристальнее, оно больше походит на красивую сказку, на утопию.

³ Владимир Маканин, «Квази» («Новый мир», 1993, № 7).

Дело не в том, что у России нет будущего — просто будущее и прошлое для нее сейчас одно и то же. Уже невозможно понять, где находится град Китеж — в глубине веков или в призрачной дымке будущего. Народ, семьдесят лет строивший «светлое» будущее, вдруг с рвением бросился творить такое же лучезарное прошлое. И тут очень кстати пришли С. Кургинян с А. Прохановым, принявшиеся старательно стирать границы между этими временами. Коммунизм в их интерпретации каким-то странным образом стал продолжением той самой России, которую он же, коммунизм, и уничтожил. Проханов пошел дальше и глубже традиционного бытового уклада, культуры, государственных институтов, монархии — дальше и глубже оказался пласт квазихристианского, полужыческого фундаментализма. Именно на этой почве и должно состояться чаемое Прохановым и Кургиняном мистическое примирение «красных» и «белых» во имя Великого «прошлого — будущего».

И лишь одного времени мы лишены, как и прежде, — настоящего. Времени, без которого невозможно ощутить свое бытие, свое «здесь-и-теперь». Не обретя этого измерения, Россия рискует надолго остаться некрофильской, то есть балансирующей на грани фашизма, страной.

Андрей НОВИКОВ.



ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

Читайте в следующем номере
новую статью

Александра Солженицына
«„Русский вопрос“ к концу XX века»

*

Сегодня — хочется если что читать, то коротко, как можно короче, и — о сегодняшнем. Но каждый момент нашей истории, и сегодняшний тоже — есть лишь точка на её оси. И если мы хотим нащупать возможные и верные направления выхода из нынешней грозной беды — надо не упускать из виду те многие промахи прежней нашей истории, которые тоже толкали нас к теперешнему.

Я сознаю, что в этой статье не разработаны ближайшие конкретные практические шаги, но я и не считаю себя вправе предлагать их прежде моего скорого возврата на родину.

Март 1994.

ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

НЕИЗВЕСТНЫЙ МЕНДЕЛЕЕВ

За несколько лет до своей кончины Дмитрий Иванович Менделеев (1834 — 1907) принимает решение поделиться с соотечественниками своим сокровенным, идущим от самого сердца. Итогом его раздумий явились три книги.

Первая из них — «Заветные мысли» — выходила четыремя отдельными выпусками в 1903 — 1905 годах в Петербурге в типографии М. П. Фроловой. Это издание, увы, осталось единственным.

Вторая — «К познанию России» — была опубликована в 1906 году издателем А. С. Сувориным. Она быстро разошлась, и автор подготовил ее переиздание — редчайший случай, когда в течение года выходят в свет четыре (!) издания подряд. На следующий год, уже после кончины Д. И. Менделеева, появились 5-е и 6-е, а в 1912-м последнее, — 7-е издание.

Судьба третьей книги — «Дополнения к познанию России» — сложилась более драматично. Работу над ней Д. И. Менделеев начал в 1906 году. Вступление и первую главу он еще успел отослать в типографию. Рукопись же второй главы позже была обнаружена на его рабочем столе. Книгу выпустил в свет в 1907-м в том же издательстве сын великого химика И. Д. Менделеев.

Да, сам Дмитрий Иванович понимал, что конец жизненного пути неумолимо приближается. Поэтому он торопился, не жалея ни сил, ни времени, не очень заботясь о стиле и форме изложения. «Читатель видит, — писал он, — что я не стесняюсь говорить отрывочно и лично от себя, но прошу заметить, что такую «отсебятину» я стараюсь (но не всегда успеваю) включать в выноски, предлагаемые в трудночитаемом, мелком типографском наборе. Мне все время кажется, что я в последний раз говорю с немногочисленными моими читателями, а потому многое пишу не развивая, просто спеша» («К познанию России»).

Существует ли некий ключ к этому духовному завещанию Д. И. Менделеева? Его четко сформулировал в предисловии к «Заветным мыслям» сам автор:

«Всегда мне нравился и верным казался чисто русский совет Тютчева:

Молчи, скрывайся и таи
И чувства и мечты свои,
Пускай в душевной глубине
И всходят, и зайдут оне,
Как звезды ясные в ночи;
Любуйся ими и молчи.

Но когда кончается седьмой десяток лет, когда мечтательность молодости и казавшаяся определенной решимость зрелых годов переварились в котле жизненного опыта, когда слышишь кругом или только нерешительный шепот, или открытый призыв к мистическому, личному успокоению, от которого будят лишь губительные потрясения, и когда в сознании выступает неизбежная необходимость и полная естественность прошлых и предстоящих постепенных, но решительных перемен, тогда стараешься забыть, что:

Мысль изреченная есть ложь, —

тогда накипевшее рвется наружу, боишься согрешить замалчиванием и требуется писать „Заветные мысли“.

В этих словах схвачен основной идейно-философский, эмоционально-психологический, нравственный смысл всех этих трех книг Д. И. Менделеева.

Каких бы вопросов ни касался Дмитрий Иванович (а их великое множество), будь то проблемы народонаселения, фабрично-заводской промышленности, сельского хозяйства, внутренней и внешней торговли, науки, высшего и среднего образования, политического устройства России, международных отношений, русско-японской войны и т. п., везде красной нитью проходит, с одной стороны, предостережение и протест против, возможно, ждущих нашу родину революционных «губительных потрясений», с другой — последовательная защита эволюционных, «постепенных, но решительных перемен», при

посредстве которых только и возможны действительное процветание и прогресс великой России...

В прокрустово ложе революционных догм и призывов, возобладавших у нас в послеоктябрьский период, «консервативное умонастроение» великого русского ученого, по-настоящему, не укладывалось. Вот почему в советское время подлинные социально-философские и политические воззрения Д. И. Менделеева старательно обходились молчанием как в исследовательской, так и научно-популярной литературе, а из оригинальных его текстов соответствующие, признанные «крамольными» места попросту изымались цензурой. То, чего никогда не было и быть не могло при жизни Дмитрия Ивановича, того он «дождался» после своей смерти.

Предпринятый в 30—50-х годах Академией наук СССР выпуск двадцатипятого-того собрания сочинений Д. И. Менделеева тоже попал под цензурные ножницы. Особенно разгулялась цензура, когда дело коснулось переиздания трех упомянутых выше книг. Они были опубликованы (если это вообще можно назвать публикацией) в 1952—1954 годах в XXI, XXIII и XXIV томах его сочинений. По моим приблизительным подсчетам, из них изъято около 7—8 печатных листов. Изымалось все политически и философски «невыдержанное», «неблагонадежное», начиная с отдельных предложений, абзацев и кончая десятками страниц текста и всей 9-й главой «Заветных мыслей», зарубленной начисто.

Таким образом, мы, современные русские читатели, по прошествии почти девяноста лет со дня смерти нашего великого соотечественника практически лишены возможности прочесть в полном объеме все то, о чем размышлял в последние годы своей жизни Д. И. Менделеев. Ведь дореволюционные издания трех упомянутых книг давно стали библиографической редкостью.

Необходимо, на мой взгляд, скорейшее переиздание этих работ Д. И. Менделеева. Пока же хотелось бы предложить вниманию читателей журнала своеобразную подборку из перечисленных выше книг ученого, которую я назвал «Неизвестный Менделеев». Она составлена из тех страниц и фрагментов, которые были изъяты цензурой в двадцатипятом-томном собрании его сочинений.

Кстати, попутно хочется отметить, что журнал и ранее обращался к творческому наследию знаменитого химика. В декабрьской книжке «Нового мира» за 1966 год публиковалась извлеченная из архива статья Д. И. Менделеева «Какая же Академия нужна в России?». В ней он изложил свою концепцию перестройки Академии наук, которая и ныне не лишена актуальности. Впрочем, Д. И. Менделеева всегда отличала острота и независимость мышления. Недаром в своей последней, незавершенной работе «Дополнения к познанию России» он писал: «Ничуть не желая никому навязывать своих мыслей, пишу так, как думаю, ничего не скрывая между строк, в чем и полагаю свою посильную лепту к алтарю Отечества».

I

ЗАВЕТНЫЕ МЫСЛИ

Древний человек, стремясь постичь «начало всех начал», как всякому известно, запутался и долго шатался, пока вслед за Возрождением, при котором разом двинулись художество и наука, не явился реализм, яснее всего выразившийся в успехах естествознания, а от них и в промышленности. Мыслители, указывающие на Азиатские народы как сохранившие у себя чистый дуализм и развивающиеся преимущественно при помощи следования древлессоставленным кодексам, кажется, забывают, что все эти народы в наше время слабы и до того шатки, что поддаются сравнительно ничтожным влияниям передовых народов.

Того ли хотят для всего мира, а наши писатели для России? Она, находясь на грани Азии с Европой, имея явную склонность к реализму, даже во всей философии может, по-видимому, довести до конца реальные представления об единении вещества, силы и духа, в чем должно видеть истинное торжество реализма, и может сбиться с пути, завещанного ее историей, если отвернется от Запада и не будет искать мировой между течениями прежней жизни Востока и новой жизнью Запада.

Для умножения продуктов земледелия не столько нужно умножения в нем простой ручной работы, сколько умножения в количестве и качестве урожаев. Наши урожаи, в среднем достигающие лишь трети того, что получают в Бельгии или Англии с того же количества земли, явно указывают на это, а потому умножение количества босяков определяется отнюдь не размерами нашего сельского хозяйства, а исключительно тем, что рядом с ним не развиваются другие виды промышленности, везде и всегда возникающие, между прочим, из необходимости дать работу всюду размножающимся босякам, называемым чаще всего просто «пролетариями», а потому на переделывающую промышленность можно смотреть как на единственно верное средство к уменьшению числа босяков, ищущих работу. А улучшения сельского хозяйства должно ждать отнюдь не от того, чтобы занять этих босяков земледелием, а лишь от приложения к нему капиталов и знаний.

Нарекающие на фабрики и заводы выставляют обыкновенно их основным недостатком необходимость для их основания громадного скопления капиталов и возникшую оттого власть капитализма в современном мире. Прежде чем рассматривать этот предмет в его существе, я считаю необходимым указать, во-первых, на то, что преобладание земледельцев, предшествующее преобладанию капиталистов, совершенно таково же, как современное преобладание капиталистов, а во-вторых, на то, что ни то, ни другое преобладающее значение не определяется сущностью «блага народного» и всего государственного и общественного устройства, так как они мыслимы с преобладанием совершенно иных влияний, например, в монархическом правлении при преобладании Монарха и поставленных им чинов, а при конституционном или республиканском устройстве вместе с преобладанием лиц, совершенно не связанных ни с землевладением, ни с капитализмом, например, стариков, лиц духовных, лиц ученых, лиц, отличающихся явными заслугами и известными нравственными качествами, и т. п.

Чтобы сделать мою мысль более ясною, укажу на то, что в прошлом 1902 году мне пришлось в одном кругу просвещеннейших людей Парижа слышать большие нарекания на систему парламентских выборов и указания на то, что в умах множества людей уже ютится мысль о том, чтобы народных представителей избирать исключительно не по цензу имущественному, а лишь по цензу научной подготовленности и нравственных качеств, в том предположении, что лишь научная подготовка дает такую широту воззрений, которая нужна для обсуждения государственных дел. Лично от себя при этом считаю нужным сказать, что выбор народных представителей из числа ученых мне нравится не больше выбора их из числа землевладельцев или капиталистов потому, собственно, что дело государства я считаю не только теоретическим, но и чисто практическим, в котором нужна своя особая подготовка, и правильное движение вперед для меня мыслимо не по решению большинства, составленного из лиц какого бы то ни было рода, а лишь под влиянием передовых единичных людей, выбор которых при всяком образе правления останется в некотором отношении случайным, что, по мне, все же вероятнее при господстве монархизма, не заинтересованного в частностях, а определяемого лишь общими народными интересами. Этим я не хочу говорить против участия землевладельцев, капиталистов и ученых в народном представительстве, а хочу только сказать, что по существу государственного дела участие в нем капиталистов вовсе не из чего не следует, и если оно существует в настоящее время во многих странах Западной Европы, то это ничуть не касается России, в которой может развиваться капитализм без всякого прямого его участия в правительственных сферах, не только общих, но и местных.

Для уяснения этого укажу, не в виде своей заветной мысли, а только в виде пояснения вышеуказанного, что капиталы, надобные для фабрик и заводов, можно доставать путем государственных займов, предоставляя их, конечно, за соответственный процент вознаграждения или интереса лицам, могущим двигать промышленность. Мне известно учение социалистов, желающих, чтобы вся индустрия двигалась как государственная машина, без всякого накопления индивидуальных капиталов, но я считаю такие мысли социалистов совершенно непригодными к действительности, которою двигают не одни общественные

побуждения, но и личные интересы. Этими последними определяются всякие успехи всех видов промышленности еще в большей мере, чем стремлением ко всяким видам союзности и государственности. Отлагая до одной из последующих статей развитие своих мыслей о способах, наиболее подходящих к современному быту России для приобретения громадных капиталов, нужных для развития ее промышленности, заключаю эти побочные соображения тем основным замечанием, что капиталы, нужные для промышленности, вовсе не заключают в себе никаких других требований, относящихся ко всему ходу народной жизни, кроме обеспечения получения процентов, или интереса, и я бы ничего не дал в государственном отношении представителям капиталов, вложенных в промышленность России, как не дал бы ничего и землевладельцам, на которых я смотрю не иначе как на капиталистов.

Можно писать еще очень многое по поводу роли капитала в деле перерабатывающей промышленности и по отношению к тому, что капитал является здесь таким же кормильцем прибывающему народонаселению, как и земля, но я не считаю необходимым и полезным умножать подобные соображения чисто реального свойства, потому что не считаю их достаточно убедительными для тех многочисленных пессимистов, которые сетуют на роль капитализма, в особенности ввиду того, что капиталы скопляются в руках немногих и эти немногие, т. е. капиталисты, везде получают такое же значение, какое в свое время имели крупные землевладельцы.

Без революций, без удовлетворения спешливым и малосостоятельным утопиям коммунистов, эволюционным путем в переделывающих предприятиях постепенно исправляются те недостатки, которые часто указывают в промышленности. И если мы взглянем на то, как шло дело в сельскохозяйственной промышленности, то увидим такую же постепенность улучшений, хотя наступивших, увы, часто только путем революционным или способом резких переворотов. подчас стоивших войн (С.-А. С. Штаты).

Проведя главную часть своей жизни в среде молодежи, учащейся не только для того, чтобы сделаться современными людьми, но и для того, чтобы получить через это возможность зарабатывать насущный хлеб для себя и своей семьи, видя размеры средних промышленных заработков в С.-А. С. Штатах и зная то, чего достигают у нас на обычном служебном поприще, я не уставал и не устану говорить о том значении, которое имеет промышленность в деле индивидуальных заработков лиц со всякой подготовкой, и утверждать, что будущее благо отдельных лиц, а через то и всей страны нашей, первое всего зависит от меры развития у нас переделывающей промышленности. Наши газетчики, поддельваясь под тон некоторой части наших отсталых людей, просто не понимают даже прямой своей выгоды, когда бичуют переделывающую промышленность, потому что газету покупать могут только те, у кого есть какие-то избытки, а не босяки и сельскохозяйственные рабочие.

При начале промышленной эпохи, уже ныне совершающемся, еще будут уповать на земледелие, потому что свободных или малонаселенных земель еще довольно, но это очень скоро пройдет, если прирост народонаселения не будет сильно уменьшаться всякого рода недугами и войнами, а при тесноте народонаселения неизбежны будут босяки, и сперва для их прокормления, а потом из чисто личных соображений непременно будут затеваться промышленные предприятия, т. е. по миновании переходной эпохи все страны станут промышленными, и земледелие просто станет в ряд других видов промышленности.

Участью государства в банковских операциях должен существовать свой практический предел, подобно тому как есть разумный предел всяким государственным монополиям, ибо сущность государства состоит не в одной общественной деятельности, но также — и прежде всего — в защите личной самостоятельности или инициативы своих подданных. Только утопия социалистов представляет поглощение всей частной деятельности общественной, не руководимую личными интересами. Однако я не вдаюсь здесь в сравнительно дешевую критику утопий крайних социалистов, а хочу только сказать, что объединяющая и международная роль государств, по моему мнению, должна выразиться в участии государств в обращении капиталов.

Быть может, в дальнейшем изложении своих мыслей я принужден буду возвратиться к вопросам, касающимся капиталов и банков, но теперь мне хочется заключить эту статью, касающуюся фабрик и заводов, вступным указанием на то, что доля зла, с ними сопряженного, ничтожно мала сравнительно с развитием «общего благосостояния», которое они производят, потому что без фабрик и заводов не накормить иными способами, в особенности земледелием, босяков, или то, что прежде всегда называлось пролетариатом. Но уже из численных данных, выше приведенных для переделывающей промышленности С.-А. С. Штатов, да и по самому существу всего дела, несомненно, что одна комбинация босяков и капиталов не может образовать или вызывать сама по себе народного блага. Тут входит громадная сумма посредствующих необходимостей, между которыми просвещение с изобретениями, им вызываемыми, развитие трудолюбия и инициативы, вызываемое так называемыми гражданскими учреждениями, или доверием, определяющим существенный признак капиталистического строя, — стоят на первом плане.

Миротворец Александр III-й, провидевший суть русских и мировых судеб более и далее многих своих современников, решил, что надо всеми способами покровительствовать развитию всех видов промышленности в своей стране, и как можно скорее, с двух сторон, повелел строить Великую Сибирскую железную дорогу, чтобы связать Россию с теми берегами Тихого океана, где нет ни полярных льдов, ни стесняющих проливов в чужих руках. Туда отправил он и своего Наследника, заложившего во Владивостоке концевую часть пути, а затем достроившего и всю его громадную длину. Только неразумное резонерство спрашивало: к чему эта дорога? А все вдумчивые люди видели в ней великое и чисто русское дело. Теперь же, когда путь выполнен, когда мы крепко сели на теплом открытом море и все взоры устремлены на него, всем стало ясно, что тут выполняется наяву давняя сказка.

Мы должны быть еще долго и долго народом, готовым каждую минуту к войне, хотя бы мы сами этого не хотели и хотя наши Императоры Александр III и благополучно царствующий Государь явно и торжественно выразили русское миролюбие своей инициативой. Хотя мне, как русскому, выросшему в Сибири, где на чудо всему миру совсем не было сколько-нибудь заметных войн, чрезвычайно симпатично стремление ко всеобщему миру, о котором молится каждый день церковь, но я совершенно ясно понимаю, почему русский народ без большого доверия относится ко всяким миролюбивым тенденциям; ему в том чудится несогласие с реальной действительностью, грозящей именно нам больше, чем кому-нибудь на свете, бедствиями военного быта.

Поэтому-то японская вспышка на Дальнем Востоке не удивила русских, а, так сказать, заставила их очнуться от призраков возможности долгого мира и повторять, что мы ничего другого и впереди не видим, как войны да войны. Тут, по моему мнению, находится одна из причин, объясняющих ту пылкость, с которой все рванулись к представившейся войне. Как народ очень реальный, русские не могут долго жить самообманом и в своем Царе прежде всего видят своего Державного Предводителя русских войск, защищающих простор земли, нужный для скорого умножения русского народонаселения. Сколько бы нам ни твердили извне и сколько бы раз сами мы ни чувствовали, что будущность

наша много зависит от качества внутреннего строя жизни, но живой, чисто реальный инстинкт подсказывает нам при этом всегда, что важнее-то всего оброна страны и организация ее военных сил. Японская война случилась именно в то время, когда ребром становились в уме русском вопросы этого рода, и здоровое народное, русское решение нашло свой исход по случаю дерзкой войны, объявленной Японией.

Вот те внешние, как я их назвал, причины, по которым Японская война отозвалась у нас особенно пылким, общим подъемом патриотического чувства. Но эти внешние причины не все еще объясняют, их одних, мне кажется, недостаточно для понимания того состояния, в котором мы находимся. На то есть причины временные и внутренние, чисто русские, т. е. такие, по которым ко всякой войне, вспыхнувшей около начала текущего года, русские отнеслись бы с большим порывом, чем в другое время. Причина та определяется напряженным вниманием, с которым вся Россия ждала за последнее время чего-то нового, крупного, определяющего и передового.

Люди, прожившие царствование Императора Александра III-го, ясно сознавали, что тогда наступила известная степень сдержанной сосредоточенности и собирания сил, направленных от блестящих, даже ярких преобразований и новшеств предшествующего, славного царствования — к простой обыденной мирной внутренней деятельности, особо относящейся до народной промышленности и до финансов, так как о них пред тем почти забыли, а они напомнили о себе давлением извне. Важнее всего, что тогда от немцев мы повернули в сближение к французам, а в делах наших финансов и промышленности сделали чрезвычайно важные шаги, особенно благодаря прозорливости таких исполнителей, как бывшие министры: И. А. Вышнеградский и С. Ю. Витте. Нижегородская выставка, подведшая часть итогов прошлого царствования, задумана и решена была Отцом, хотя и открылась только после коронации Державного Сына, и Ему же пришлось не только закончить Великую Сибирскую дорогу преимущественно на небывалые давно избытки в финансовых поступлениях, но и совершить многозначительнейшую реформу денежного обращения, составляющую одну из основных причин того, что нам теперь не страшна с финансовой точки зрения никакая война, чего не бывало во все продолжение XIX столетия.

С отменой крепостничества, с выкупом земель, с устройством гласного суда, всеобщей воинской повинности и земства Россия уже крупно выиграла в своем внутреннем быте, а оттого и в своем внешнем значении или достоинстве, установленном ее размерами и военными силами. Но ее современное положение во всем мире не в меньшей мере определяется несомненным ростом ее промышленности, устройством ее финансов, золотым обращением, союзом с Францией и явно — миролюбивыми тенденциями, составляющими несомненные плоды прошлого и текущего царствований, слившихся в этих отношениях в одно целое.

Отчасти явно отсталая, отчасти же бесшабашная доля передовиков стала, однако, затем уверять, а простодушные и лишенные критических способностей русские люди стали даже искренно верить, что со всеми этими успехами русский народ пошел назад, а не вперед, что бедность наша растет, как и наши неурядицы, что мы в ходе нашего развития, после преобразований 60-х и 70-х годов, стали отставать и что у нас, для одних, надо развить аристократизм, усилив — и без того не слабое — дворянство, а для других, наоборот, наш, и без того принципиально явный, демократизм, оставить в стороне всякий милитаризм и сосредоточиться исключительно на гражданском нашем устройстве, от явных недостатков которого зависит-де вся наша бедность и умножение босячества.

В наветах тех если не запутался, то стал сильно запутываться здравый русский ум, а кто-то стал даже полагать, что Россия близка к революции. Напрасны тут уверения действительности в противном, на месте явных фактов русского успеха выставляются несомненные факты русских бедствий, забывая о том, что было ранее, и не обсуждая того, что было бы при современном положении

вещей, если бы не было мероприятий двух последних царствований, и все třeba каких-то крупных преобразований, подобных тем, какие совершил Александр II-й, а каких — о том только шептались, кивая на Японию и всегда ссылаясь на действительно уже излишние у нас, по моему мнению, стеснения печатного слова.

Думая, со своей стороны, что военное время, вся современная напряженность благодушного русского духа, как и недавние слова Царя, позволяют теперь больше и прямее говорить, чем было еще недавно, я не оставляю сказанного выше в одних крупных намеках и, рискуя говорить то, что на уме у массы здравомыслящих русских людей, коснусь с некоторою определенностью тех фактов и намеков, о которых упомянул выше и которые особенно выяснились как раз ко времени начала Японской войны, то есть к началу текущего года. Не теперь, а в следующих статьях предполагается мною говорить о всем этом с тою подробностью, откровенностью и ясностью, с каким взялся писать свои «Заветные мысли», но теперь же со всею возможной краткостью постараюсь придать полную определенность своим утверждениям, чтоб не могло быть тех основных недоразумений, из-за которых чаще всего у нас происходят огульные суждения и осуждения, зависящие зачастую от той ложной исходной мысли, что в сложнейшем практическом деле внутреннего устройства страны неизбежно необходимо и всего желательнее общее единомыслие по отношению к частностям, тогда как, по моему мнению, тут возможна правильность только при выборе из ряда свободных суждений, хотя бы и далеко друг с другом не сходных. Мои суждения не претендуют быть общими, хотя стремятся быть и правильными, и свободными, и приложимыми к делу.

Чтобы быть понятным — по существу, — прежде всего мне следует сказать, что со своей стороны я понимаю совершенную необходимость в гражданской жизни как мер решительно резких, так и осторожно-постепенных, или иначе — как революционных, так и эволюционных действий, как со стороны власти, так и со стороны общей массы, но эволюционным влияниям придаю гораздо большее значение, чем революционным. Чтобы показать для людей, не освоившихся с тем языком, которым я заговорил, необходимость и смысл действий революционных, мне кажется, достаточно сказать, что освобождение крестьян я причисляю именно к таким действиям, а польза от освобождения крестьян бесспорно громадна.

Что же касается до эволюционных действий, то для выяснения их смысла достаточно сказать, что в 60-х годах, когда самое слово «эволюция» еще не было в ходу, в частном разговоре (то было в Париже, в Café de la Regence) со знаменитым уже тогда И. С. Тургеневым я развивал мысль о наибольшем значении ясно сознанных и разумных, но не резких и быстрых, но крупных по виду, но влиятельных мер и преобразований; а мой знаменитый собеседник сказал: «Так вы, значит, постепеновец, и я тоже стал им, хотя был прежде иным». Мне очень памятно слово: «постепеновец», и я думаю, что оно лучше, чем «эволюционист», выражает сущность того образа мышления, которого, вместе со многими другими, я придерживаюсь, потому именно, что в самом понятии о постепенности видны разумность, воля и неспешливое достижение цели, тогда как «эволюция» говорит только об изменении и последовательности. Был и остаюсь «постепеновцем», хотя и не думающим, что всегда надо держаться пословицы: «Тише едешь — дальше будешь».

Затем самое главное и важнейшее, на мой взгляд, решить, победил ли или нет или же побогател русский народ в целом своем составе за время последних двадцати трех лет, то есть во время, протекшее с кончины Императора Александра II-го? Суждение мое о том, что русский народ за это время в целом много побогател (как вообще, так и на одного, т. е. в среднем), основано на ряде всяческих статистических данных, начиная с чисел о миллиарде мелких народных сбережений, вложенных в сберегательные (сохранные) кассы, о числе выпущенных акций и облигаций, о запасах золота в кладовых государственного банка, о величине торговых оборотов, о количестве грузов, движущихся по железным дорогам и водным путям, о ценности земель и услуг и т. п.

Все это выразимо цифрами, но не привожу их, потому что считаю достаточно известными всем, только недостаточно принимаемыми во внимание. Откуда

же, спрашивается, и в частных разговорах, и в газетно-журнальных статьях столь часто, явно или в темных намеках, происходит утверждение, будто народ наш начал беднеть? По мне — отнюдь не от пустого верхоглядства или недоброжелательства и тем паче не от одного злостного недоброжелательства, как утверждают зачастую наши яркие охранители, а просто оттого, что внутренне-политически народ наш еще мало зрел и привык все главные улучшения своего быта видеть совершающимися сразу, мановением руки, как было ярче всего при Царях московских, при Петре Великом и впоследствии — в деяниях Александра II-го. Все же то, что сделалось в последнее двадцатилетие, происходило понемногу, путем не тем скорым, который выше был назван революционным, а постепенно, не вдруг, способами эволюции, без резкой ломки старого, созидая лишь новое на основании данного. Особенно это касается до всего промышленно-торгового и денежного. Дела эти никак и не могут иметь шумного революционного характера, то есть течь быстро, а могут происходить только понемногу, без важных переворотов, постепенно. Да и шли они большею частью за то время порывистыми скачками под влиянием временного прояснения мыслей и не без порывов бросить намеченные пути, во всяком же случае, без должного объяснения твердости новых исходных начал, с большой и явной разногласицей из разрозненных центров.

Особенно это относится до дела промышленности и торговли, которые очевидно должны: 1) занять со времени освобождения крестьян и с введением первых сельскохозяйственных улучшений — много, много рук освобожденного народа; 2) перестроить много прежних отношений чисто сельскохозяйственного, или начального, быта; 3) переместить центры тяжести многих внутренних соотношений прежнего быта; 4) занять людей не столько страдальческим трудом, сколько настойчиво-постоянным, требующим подготовки, внимательным и, надо сознаться, мало привычным нашему народу и 5) увеличивать все больше и больше общий и средний труд и достаток, на основании разработки несметных запасов, данных нам природою.

Вести по этому пути бесспорно трудно, но начала положены хорошие, и пришло время, когда и тут нужны стали меры хотя и постепеновские, но ясно, твердо и бесповоротно обозначенные, тянулась же какая-то канитель неясностей и нерешительности. Привык же народ к влияниям и мерам иным, а на такие мелочи, как небольшие перемены в величине таможенных пошлин, изменчивость или постоянство денежного курса рубля, на изобилие или отсутствие звонкой монеты — и внимания обращать почти не хотел. Шуму и блеску не было, совершались же дела важные и трудные, а думали и стали утверждать, что после эпохи преобразований — ничегошенького не делается полезного. Чтобы хоть в одном примере указать разность нынешнего от прошлого, достаточно вообразить — что бы произошло со всеми нашими денежными оборотами при объявлении Японской войны, если бы не было мероприятий времен Александра III-го и Николая II-го. В эти два царствования больше чем когда-нибудь ранее стали всемерно на государственные средства по возможности ослабляться бедствия временных и местных голодовок, всегда и во всем мире (даже в тропической Индии) сопровождающих тот начальный, или земледельческий, быт, который остался от эпохи преобразований и еще поныне считается у нас наилучше могущим обеспечить народ от бедности, но который в действительности составляет только первую, или начальную, ступень в развитии общего благосостояния, а потому и силы государств, их порядка и возможного общего благоденствия.

Современные голодовки выставляли на вид, а про прежде чаще бывавшие у нас голодовки, сопровождавшиеся несравненно большими бедствиями, многие говоруны или попризабыли, или даже, по-видимому, не знали. Последнее должно полагать справедливым особенно по той причине, что единственный способ, которым многие государства Европы избавились от бедствий возобновлявшихся голодовок и достигли быстрого роста благосостояния жителей, состоит именно в доставлении — на развивающихся разнородных видах промышленности и торговли — средств для правильного движения вперед на пути преуспевания, а об этом самом и стали более и деятельнее всего заботиться именно в последние десятилетия, благодаря настойчивости родителя ныне царствующего

Императора. Босяки, тщетно ищущие прочных заработков, но всегда бывшие на Руси, без всякого сомнения, за последние десятилетия сильно у нас умножились, по причине небывало большого прироста народонаселения, еще малого развития переселения на свободные земли и поздно начавшегося роста промышленности и всякой предприимчивости, дающих этим босьякам прочный заработок, а стране новые виды богатств, предметов торговли и общего достатка. По мнению немалого числа наших знахарей, тут видно только падение «исконного» нашего промысла — хлебопашества и необходимы только всемерные заботы о земледельческом росте страны. Учреждение «Особого Сопровождающего сельского хозяйства» косвенно одобрило таких людей, и о «зле промышленного покровительства» стали говорить не одни крупные землевладельцы, но всюду, где говорилось о предстоящих России дальнейших преобразованиях. Наступившая сбивчивость понятий об главной цели — общем благе народа — выяснилась при споре мнения местных Комитетов.

При этом считаю неизлишним повторить (подробнее это говорил уже ранее, в первых главах моих «Заветных мыслей»), что большинство забывало или, правильнее, не понимало, что земледелие, после некоторого истощения, в коренной России уже наставшего, для своего правильного, усиленного и выгодного роста (на площадях, давно распахиваемых) требует капиталов — несравненно больших, чем учреждение вновь совокупности других видов промышленности, а дает заработки — при своем надлежащем усовершенствовании — гораздо меньше числу жителей, чем другие виды промышленности, при том же размере вновь затраченных капиталов, что избыток в производстве хлебных товаров сильнее роняет их продажную цену (а поэтому и заработки), чем избытки в производстве почти всех важнейших иных товаров (как, например, уголь, железо, ткани и т. п.), потому что потребление на душу этих последних быстро возрастает по мере удешевления стоимости производства и торговой цены, а для хлебов лишь пропорционально числу людей, что надлежащее современное развитие земледелия возможно только рядом с развитием других видов промышленности, требующих продуктов, не терпящих далекой перевозки, доставляющих машины, удобрения и близких потребителей, что земледелие, особенно у нас, дает лишь на короткие недели много труда, не обеспечивая никакими заработками наибольшую часть года, и т. д.

Уже из того, что достаток стал переходить из прежних землевладельческих рук в разные новые, особенно к инженерам и промышленникам, уже из того, что учение стало требоваться в небывалых до сих пор размахах и стали искать жизненного, а не одного словесного или литературного образования, уже из того, какие сюжеты стали описывать и читать, — видно стало явное наступление какого-то особенного перелома, в сущности составляющего естественное последствие преобразовательной эпохи, следовавшей за Севастопольской войной. Когда вспыхнула Японская война, напряженное ожидание какого-либо выяснения разноречий от городского населения начало уже переходить в сельское и стало принимать острый характер — жгучего вопроса. Ожидание было совершенно естественным и по существу благодушным, неестественно же было подозревать в этом ожидательном состоянии какую-то крамолу, что-то грозящее правильному течению дел, и только люди, совершенно не знающие России, могли думать, что наступившее ожидание может дать поводы к существенным внутренним беспорядкам, как о том писалось, однако, не раз в заграничных газетах и говорилось в некоторых будирующих у нас кружках и во многих праздничных наших сферах — только от скуки и рисовки.

Мне думается, что в Англии и С.-А. С. Штатах худо и мало осведомленные люди, а от них заправили Японии полагали именно так, что малейший внешний толчок теперь, дескать, повредит России более, чем когда-либо ранее, потому что этим воспользуются недовольные внутри страны, и я полагаю, что всем очевидный общий русский патриотический порыв, по поводу столь внезапной Японской войны, сделал ясной ошибочность скороспелых суждений о состоянии внутренних русских порядков и убеждений. Каждый русский, начиная от Царя, судя по его манифестам, знает, что у нас еще многое не в должном порядке, что во многих наших внутренних делах настоятельно нужны прогрессивные, то есть улучшающие, реформы, но большинство верит в то, что

придут они ныне лишь медленно, что они могут прийти в свое время и сразу или быстро, а что такое время у нас чаще всего тесно связывается с нашими внешними войнами. Здравый русский ум, весь характер народа и вся его история показали ему, что войны для нас составляют своего рода революционную передрагу, освежающую весь воздух страны и дух ее правителей, а за войнами следуют почти всегда новые внутренние успехи и преобразования.

Эти последние, по русскому упованию, неизбежно последуют с концом современной Японской войны потому уже, что она, надеюсь, открыла всем глаза на необходимость быть нам готовым к еще многим войнам в недалеком будущем, а готовым можно быть ныне только внутренне благоустроенному государству, с обеспеченными условиями роста всего общего благосостояния. Необходимость же недалеко предстоящего напора на нас с разных сторон видна — по мне — уже из того, что у нас на каждого жителя, как показано выше, приходится в два раза более земли, чем для всего остального человечества (с лишком 15,7 гектаров на душу в России и 7,7 в остальном мире), если же принять во внимание лишь наших непосредственных соседей, то еще в большей пропорции.

В общем же целом у нас раза в четыре свободнее, чем у совокупности всех наших соседей. Войны же (как и переселения) ведут прежде всего из-за обладания землею, то есть чаще всего сообразно с теснотой населения. Так ветер идет из мест большего давления в места с меньшим давлением. У Японии тесноты больше, чем у всех наших соседей. Она и начала. На нас пока еще мало нападают, потому что есть Южная Америка, Австралия и главное — Африка со своими пустынями и редким, которого европейцы не боятся ни теперь, ни впредь, черным населением, но в статье о народонаселении («Заветные мысли», глава 2-я) уже показано, что прирост населения ныне — это за последнее лишь время — так велик (много, много сильнее, чем за былые века, как доказано там же численно), что еще через какие-нибудь сто, много двести лет во всем мире в среднем будет столь же тесно, как теперь в Германии, а кругом нас и очень уж тесно.

Грозными нам надо быть в войне, в отпоре натисков на нашу ширь, на нашу кормилицу-землю, позволяющую быстро размножаться, а при временных перерывах войн — ничуть не отлагая улучшать внутренние порядки, чтобы к каждой новой защите являться и с новой бодростью, и с новым сильным приростом военных защитников и мирных тружеников, несущих свои избытки в общее дело. Разрозненных нас — сразу уничтожат, наша сила в единстве, воинстве, благодушной семейственности, умножающей прирост народа, да в естественном росте нашего внутреннего богатства и миролюбия. Японский парламент одобрил решимость своего правительства — воевать с Россией, а мы и без парламента, явно для всего мира, всемерно одобряем свое правительство вести эту и всякую оборонительную войну, зная, что так надо не только для минуты, но и для предстоящего нам будущего. Все говорит, что мы дружно, спокойно и бодро пошли на вызов врагов, так пойдем, Бог даст, и завсегда, несмотря ни на какие нам ясно видимые внутренние недочеты...

Мне уже поздно воевать, глядя в могилу, но в виду ее еще есть довольно сил, чтобы говорить об устройстве внутреннего быта, для чего и пишутся мои «Заветные мысли», и я полагаю, что чем проще, откровеннее и сознательнее станут русские речи, тем бодрее будут наши шаги вперед, тем дольше будут длиться мирные промежутки между оборонительными войнами, нам предстоящими, тем меньше на западе, востоке и юге будут кичиться перед нами и тем более выиграет наше внутреннее единство, страдающее более всего оттого, что, «беснуясь в метафизических мышлениях», наши передовики часто забывают вносить надлежащую сознательность в народную уверенность о правильности своеобразных основных начал, завещанных нам всем прошлым и открывающих благие виды на предстоящее. Оставляя врагам мысль о пользе для них наших внутренних разногласий, мы показываем миру наше единодушие в порыве общего чувства, когда японцы подали к тому прямой повод, и я убежден, что это наше единодушие не менее наших штыков и пуль — сдерживает натиски наших врагов.

Задумав писать свои «Заветные мысли», я вовсе не хотел говорить о внешних войнах; своим наступлением Японская война до некоторой степени превра-

ла намеченную нить статей о внутреннем нашем строе, как счастливо удавшаяся операция (сделанная профессором И. В. Костеничем), возвратившая полуутраченное зрение, прервала наступившее во мне отношение к внешнему миру. Угасавшие глаза заставляли углубиться внутрь и изложить заветы, внушенные протекшей жизнью; теперь физический глаз открылся, войны внешние увидел, но даже в смысле их успешного течения — еще больше выступила надобность улучшений внутреннего быта, особенно в областях народного образования и развития производительных сил страны, что немислимо для меня, с одной стороны, без сохранения исторических наших основных начал, а с другой — без усовершенствования всей сложной машины самодержавного управления столь обширной страной, какова борющаяся теперь с Японией — Россия. Мои мысли всегда были «постепеновскими», таковы, конечно, и все «Заветные», войны же носят характер временный, преходящий, глубоко отличный от эволюционного и названный выше революционным, а потому мне следует кончить эту статью, пожелав России успеха в отпоре натиска, в самостоятельности условий предстоящего мирного соглашения и в необходимых внутренних преобразованиях, а Японии — сверх милости русского Царя — возрождения разумности и осторожности, без которых можно потерять не только приобретенное положение в мире, но даже и Формозу.

Личное, нераздельно связанное с общим, т. е. преимущественно государственным, предшествует, как в общей истории, так и в жизни каждого лица, этому общественному, или государственному, как детство предшествует зрелости. Как в детстве преобладают животные и личные требования над требованиями, вызываемыми сношениями с другими людьми, так и во всем просвещении первые предшествуют вторым. По этой мысли в начальном и среднем образовании должно преследовать преимущественно развитие личное, а в высшем образовании общественное и государственное. Личное, или индивидуальное, само по себе всякому, даже мало развитому, человеку, даже животному, понятно, просто и ясно, а общее, или государственное, начиная с материальных отношений этого рода, например в промышленности и в войне, и кончая высшим и моральным, например в деле религии, долга и просвещения, становится понятным и требующим настоящего удовлетворения только понемногу, только при скоплении людей, только при увеличении народонаселения и только под влиянием вдумчивого отношения ко всей современной совокупности обстоятельств сложившихся условий жизни. Личному, или индивидуальному, отвечают права, свобода — до произвола включительно, и разумность — до рационального вывода истины, а общему; позднее развивающемуся, соответствуют обязанности, преклонение пред законом и признание истины лишь трудным путем опыта и наблюдений.

Надо, очевидно, сочетание личного с общим, и одно первое, даже доведенное до райского блаженства, уже не удовлетворяет требованиям возрастающего мышления, успокаивается лишь удовлетворением общему. Всегда это жило, но в зародышном состоянии, теперь же, когда люди стали столь быстро множиться, оно выступило явственнее прежнего во много раз, и общее, по своей широкости, захватывая личное, обнимает все индивидуальное, хотя по самому своему существу отнюдь не вытесняет его, даже не ставит на дальний план, а просто стремится к согласованию с ним, как в науке безличный опыт с личным рассуждением, конкрет с абстрактом. Не хочу, да, признаться, даже и не в силах, если бы и захотел, доказывать эту свою заветную мысль, а желаю только достигнуть ясного о ней представления. Для этого мне кажется достаточным, с одной стороны, указать на способ понимания того, что называется социализмом, а с другой — обратить внимание на сумму исторических перемен, наступивших к нашему времени.

Хотя происхождение социализма должно искать в глубокой древности, но всем известно, что учение это стало приобретать последователей преимущественно во вторую половину XIX столетия. Сущность этого учения настолько известна, что я не считаю надобным на этом останавливаться, а быстрота распространения учения социалистов, несмотря на всю несообразность многих поня-

тий, конечно, поражала многих, и я не раз слышал объяснение этой быстроты тем, что социализм отвечает дурным наклонностям людей и потому привлекает их массы, а иногда ставят распространение социализма в зависимость от расширения фабрик и заводов, банкиров и капитализма, антимоноархических начал и пролетариата. Не отвергая влияния всех этих сторон на распространение очевидно ложного учения социалистов, я полагаю, что главную для того причину должно искать в том, что новейший социализм, по названию и до некоторой степени по своему существу, должно противопоставить индивидуализму, так как последний имеет в виду прежде всего благо отдельного лица, а социализм благо общее, для всех одинаково равное, так сказать, обязательно равное.

Социализм ответил известным образом требованию времени, когда начали уже понимать, что личное благо возможно лишь только внутри, а внешнее удовлетворение более или менее необходимо для всех живущих — иначе наступит рано или поздно беда даже личная. Его стремление идти наперекор всей истории человечества, всегда более или менее выставлявшей значение как личных, так и общих начал, впало в такое внутреннее противоречие, по которому внешние мелкие личные интересы удовлетворяются в равной мере для всех, а наиболее творческие начала, начиная с прогресса и изменений всякого рода, совершенно уничтожаются, потому что они определяются не общим стремлением, а всегда единоличной инициативой.

Внутреннее противоречие между красивым названием и некрасивым содержанием социального учения ведет к тому, что умы, пытливые и уравновешенные, наиболее способные к восприятию новых начал, повсюду стали отвергать это учение и оно увлекло только малоразвитых людей, в которых погашена живая струна личной инициативы и впереди видится только потребность в хлебе насущном и в удовлетворении низших склонностей. Следствия социализма очевидны: застой и неизбежность порабощения новыми или свежими народами, чуждыми утопическими увлечениями социалистов; для них общее благо низводится исключительно только до сытости.

Развитие человечества началось именно с признания потребности сперва личного, а потом общего блага, и на их сочетании покоятся все законы и образы правления. Но то одно, то другое временами берет верх, и вот ныне, когда крайнее процветание индивидуализма начинает, видимо, забирать верх, появление социализма и его быстрое распространение становятся понятным по существу. Его общественное и моральное значение в известной мере можно считать даже благоприятным для общего роста сознательности, особенно если иметь в виду «теоретический социализм», но предлагаемые в нем приемы прямо не сообразны с целью, которой желают достичь, и я не думаю, как полагают, однако, многие, что учение социалистов служило источником для возрождения таких общегосударственных предприятий, как виды государственных монополий (например, железнодорожных), попечения о рабочих на фабриках и заводах, всеобщего страхования и т. п., потому что уже с древних времен видны начала, из которых развились подобные меры, выражающие собою известную форму сочетания государственных интересов с личными. Уже одно возникновение постоянных войск, водохранилищ, орошений, даже дорог и почт свидетельствует о том, что государственные средства никогда принципиально не отождествлялись с понятием казны как собственности правящих классов, а значались для удовлетворения тех общих потребностей, которые могли быть выполнены только большим сборным государственным капиталом.

Во всяком случае, увлечение социализмом, по моему мнению, нельзя правильно понимать, если не принять во внимание лучших его стремлений к достижению общего блага и если не видеть, что основную ошибку социализма составляет подавление личной инициативы, которая в сущности своей и ведет ко всем видам прогресса, заставляя, как показал Тард, массы народа «подражать» единоличному примеру. Словом, утопия социализма есть крайняя противоположность утопии индивидуализма. Истина — в срединном сочетании.

Не уклонюсь от того соображения, считаемого мною совершенно неверным, которое носилось в воздухе времени начала так называемых студенческих

беспорядков и очень часто высказывалось в те времена, что освободительные начала эпохи, наступившей после Севастопольской кампании, служили главным внутренним поводом к началу беспорядков, так как во всем обществе произошло брожение и стали выражаться порывы того разряда, который у нас привыкли называть либерализмом. Утверждали, что либерализм, проникший правительство, овладел образованным обществом, а от него и университетским юношеством, которое по молодости лет и по пылкости, свойственной юности, спешило судить о том, что по своей сложности было ей не по силам.

Совсем я сам так не думаю, хотя и признаю вполне передачу общественно-го настроения юношеству и развитие его в нем, но от этой возбужденности до беспорядков расстояние ничем логически не восполняется, потому что истинный либерализм прежде всего побуждает следовать законным путем, а не вызывает таких приемов, которые сказываются в беспорядках. Прожив большое их число в близкой связи со студенчеством Петербургского университета (потому что тогда я жил подле химической лаборатории, где работало много студентов, и я был с ними в постоянном общении), я имел немало случаев убедиться в том, что «чувства добрые», господствовавшие в то время в студенчестве, побуждали их еще в большей мере, чем бывает всегда, к взаимному общению и соглашению, но исходов для этой надобности было чрезвычайно мало.

Главное же, что считаю долгом сообщить здесь, состоит в том, что я получил подлинные убеждения в возникновении беспорядков не под влиянием этого стремления к общению, а под влияниями совершенно посторонними, даже, говоря с уверенностью, под влияниями, совершенно чуждыми России и пришедшими из-за границы, где в то время еще больше, чем теперь, много было организованных сил, стремившихся, во-первых, приостановить явный прогресс, начавшийся в нашей стране, и, во-вторых, желавших сосредоточить все внимание России на внутренних беспорядках, чтобы отвлечь ее этим путем от вмешательства во внешние европейские события, среди которых тогда больше всего имели значение политические объединения Италии и особенно Германии, усиление мирового могущества Англии и возбуждение социалистических и коммунистических начал во всей Западной Европе. Все дела этого рода тогда, несомненно, имели организацию и представителей ее в виде властных лиц, подобных Бисмаркам и Кавурам, а такие организаторы должны были помнить и сознавать, что голос России был одним из решающих в памятные эпохи Священного Союза и 1848 года.

Чтобы действовать свободнее, увереннее и надежнее, надо было во что бы то ни стало устранить какое бы то ни было вмешательство России; война с нею могла стоить сотни миллионов, возбуждение в ней внутренних беспорядков могло стоить очень дешево, да еще под знаменем либерализма, который сам проявлен Россией. Вот и решили разумные и расчетливые люди, стремящиеся к определенным целям, вызывать в России всеми способами внутренние неурядицы, покушения на Императора-Освободителя и всякого рода препятствия на пути явного русского прогресса. Утверждаю так в особенности по многим наведениям, бывшим для этого как у меня самого, так и у многих из профессоров Петербургского университета.

В переживаемое нами время, предтечами которого надо считать Мальтуса и Бокля, когда явно господствует материально-историческое начало, утверждающее, в сущности, что все и всё обстояло бы преблагополучным, если бы не было материальных недостатков, не жалеют нигде, даже у нас, народных средств для возможной помощи материальному труду, преимущественно в области промышленности. Это уже великий успех, и я чрезвычайно далек от тех, кто это осуждает и вопиет о зле промышленности.

Но так как одно понятие о чистой материи и всем материальном, казавшееся классикам до того всеобъемлющим, что Демокрит и дух-то представлял в виде особых тонких атомов, явно недостаточно и сверх него необходимо принять не только энергию, которую кое-как, с грехом пополам, можно еще считать чем-то материально-механическим, но и дух — в человеке, его общении,

науке, морали и всей деятельности, наиболее резко проявляющийся, — то и очевидно, что один исторический материализм не исчерпывает понятия о благе человеческом, как видно даже из того, что довольных и счастливых людей всякий зрячий скорее увидит в среде недостаточной, чем между богачами. Духовной стороне блага надобны — истина, добро и красота.

Искание их выразилось первее всего в религиях, сложившихся — надо этого не забывать — в пору, далеко предшествовавшую современной сложности мировых отношений, а затем в науке и искусствах. Последние, по мне, стремятся путем образов и предчувствий, так сказать, полубессознательно, совершенно к тому же, что сознательно вырабатывается в науке. И если естественно, при умножении людей и их потребностей, то для «блага общего» столь же естественно не жалеть никаких общих средств на развитие науки и просвещения, что заложено издавна в Русском Царстве. На одном материальном — далеко не уйдешь в деле «общего блага» уже потому, что материальное конечно и всего не объемлет, чего не сознали лишь крайние да народы, подобные, по всей видимости, современным японцам.

Современные склады правительств, будь они монархические или республиканские, тождественны как по отношению к невозможности достижения общего блага без сочетания начал разумности с общей народной волей и с добрыми сношениями с другими странами, так и в отношении того, что между верховной властью и гражданами во всяком случае неизбежно становятся в промежутке выборочные или лично назначаемые чиновники, т. е. посредники-исполнители, из таких же граждан взятые, в которых, по их многочисленности, все сильно действует общий дух народа и от которых чрезвычайно много зависят все успехи государственные. Это давно кратко выражено изречением: «Всякий народ достоин своего правительства».

Все виды и формы прогресса и всяких государственных улучшений (равно как и ухудшений) не только мыслимы, но и осуществлялись как при монархическом, так и при республиканском складах.

Тот и другой из указанных государственных складов живут и понимаются издревле, и выбор между ними определяется всей народной историей, не по случайным ее обстоятельствам, а по всей совокупности условий народа и страны.

Единение и объединение России, ее просвещение духовное и умственное, ее силы внешние и внутренние и даже ее зачатки промышленного и прогрессивного строя столь влиятельно определились Монархами, что не только теперь, но и в предвидимом будущем Россия была и будет монархической страной, хотя части России республики когда-то попробовали.

Развитие «блага народного», определяясь мерой роста и общностью распространения нравственных начал и внешнего благосостояния, зависит очень сильно не только от прав граждан, но и от их обязанностей, определяемых убеждениями, обычаями и законами.

На всеобщие вопросы о том, какие из правительственных форм в настоящее время всего настоятельнее изменить для дальнейшего развития народного блага России, со своей стороны решаюсь — ясности ради — дать следующие краткие ответы, отчасти далее развиваемые:

Желательно, чтобы ныне призванная Монархом Государственная Дума, составленная из выбранных народом неслуживых людей, уразумела прежде всего, что ей даровано весьма важное право законодательной инициативы, еще не данное Государственному Совету, что законами определяются не только права, но и обязанности граждан, и не только обязанности, но и права исполнителей, т. е. чиновников (выборных или коронных), и что, прежде чем требовать что-либо от других, непременно надобно оглянуться на себя самих и подать личный пример: порядка, трудолюбия, немногословия, снисходительности, деловой разумности и постепенной последовательности.

Желательно, чтобы освеженный Государственный Совет получил право законодательных начинаний (инициативы), донныне исключительно принадлежащее — помимо Монарха — только Министрам, и чтобы предложенные и обсужденные в Государственном Совете новые законы рассматривались, ранее

поступления на Монаршее благоволение, в Государственной Думе и обратно, дабы возбудилось своего рода равенство и соревнование ко благу народному между двумя высшими совещательными законодательными учреждениями.

Желательно, чтобы назначаемый Монархом Канцлер (или первый Министр, или Председатель Комитета Министров) подбирал себе Министров и Главноуправляющих, Монархом утверждаемых, дабы образовалось цельное министерство и прекратились бы волокита и непоследовательность, зависящие от разноречий и пререканий Министерств.

Желательно, чтобы, вместо Советов при отдельных Министрах, был учрежден общий совещательный Совет при Канцлере или Комитете Министров, чтобы в этом Совете приняли участие представители науки и Сената, избираемые на определенные сроки, и чтобы чрез этот Совет проходили все закононачинания Министров и государственные сметы. Совет этот может улучшить и объединить всю администрацию.

Желательно, чтобы при Комитете Министров состоял Главный Статистический Комитет, на обязанности которого, сверх общих народных переписей, должно возложить составление и публикацию своевременных ежегодных отчетов о государственных приходах и расходах, о ходе народного образования, о состоянии путей сообщения, торговли внутренней и внешней и видов промышленности: сельскохозяйственной, горной, ремесленно-фабрично-заводской и торговой, потому что это пульсы страны.

Желательно, чтобы независимо от Министерств Финансов, Путей Сообщения, Внутренних Дел и др. для изучения, содействия и всякой помощи при организации видов добывающей (сельское хозяйство, лесоводство, рыболовство, горное дело и т. п.), обрабатывающей (кустарной, ремесленной, фабричной и заводской), торговой (крупной и мелкой, перевозочной, водоходной) и всякой иной (строительно-подрядной, типографской, издательской и т. п.) производительной и посреднической частной промышленности было учреждено особое Министерство Промышленности, так как благосостояние народное определяется в сильнейшей мере успешным развитием этих видов частной трудовой деятельности и предприимчивости. Желательно при этом, чтобы начинающимся и особенно кооперативным (артельным) предприятиям было оказываемо исключительное внимание и всякие с них налоги уменьшаемы — ради их усиленного возникновения.

Желательно, чтобы основанием государственных доходов служили первее всего косвенные обложения предметов не первой необходимости: спиртных напитков, табака, сахара, чая и т. п. (но не продуктов нефти и др. видов горного дела), таможенные сборы, прогрессивный налог на денежные (акционерные и т. п.) капиталы (но не подоходный налог), чистые доходы казенных имуществ и предприятий, прогрессивные налоги на наследства, на квартиры и жилища, на залоги, контракты, счета и промышленно-торговые предприятия, а в их числе и на казенные. Уплаты же, ныне производимые за отправку писем и телеграмм, за межевые измерения, за обучение, за поверку мер и весов и т. п., не будучи отяготительными, желательно по возможности сохранить, но обращать преимущественно на улучшение соответственных и близких дел.

Желательно, чтобы в первой же сессии Государственной Думы были обсуждены способы достижения возможной самостоятельности местного управления и меры участия в этом земств, чтобы согласить особенности отдельных частей Империи с ее общей целостью и единством.

Желательно, чтобы Россия вновь, прочнейшим образом, заключила теснейший политический, таможенный и всякий иной союз с Китаем, потому что он явно просыпается, а в нем 430 миллионов народа и он имеет все задатки очень быстро, наподобие самой России, стать могущественнейшей мировой державой. Условия, существующие сейчас, этот союз допускают и делают возможным — пока иные страны не предупредили. Он составит влиятельнейший противовес недавно возобновленному союзу Англии с Японией. У этих стран много сходного, но у нас с Китаем, особенно когда он возродится, близость всякого рода, начиная с миролюбия и громадного протяжения границ, — еще больше, да и задних мыслей меньше. Свое Смутное время, которое может настать в Китае, как было в России, заключить этот союз не помешает, если его совершить с ясной мыслью о благе и прогрессе обеих стран. Никакой иной союз не может быть современно более важен, не может укротить в корне «желтую» опасность и не обеспечит будущий мир во всем мире. В союзе с Францией и с Китаем Россия может спокойно ждать предстоящих событий XX века.

Желательно, наконец, но этого нельзя выразить ни в каком единичном мероприятии, а должно постичь разумом и сердцем и немедленно прилагать ко всем без изъятия правительственным мерам и к частным или личным действиям всех нас, потому что в этом, что бы кто ни говорил, вся суть дела, именно желательно, чтобы русский народ, включая в него, конечно, и всю интеллигенцию страны, свое трудолюбие умножил для разработки природных запасов богатой своей страны, не вдаваясь в политиканство, завещанное латинством, его, как и евреев, сгубившее и в наше время подходящее лишь для народов, уже успевших скопить достатки, во много раз превосходящие средние скудные средства, скопленные русскими. Прочно и плодотворно только приобретенное своим трудом. Ему одному честь, поле действия и все будущее. Законодатели много, даже более всего, сделают благого для страны, если примут меры, поощряющие труды всякого рода, если трудолюбию помогут более, чем породе и достатку — даже таланту, и если отнесутся к трудолюбцам благосклоннее, чем к небокопителям, дармоедам и хулиганам. Ах, как это мало еще понимают!

Само собою разумеется, что в числе моих заветных мыслей остается еще целая куча иных желаний, относящихся к правительственному складу России; часть их видна из того, что излагается далее, но перечисленными пожеланиями очерчивается то, что наиболее легко достижимо, настоятельнее, по моему мнению, многого иного и что должно за собой повлечь очевидные и неизбежные благие последствия всевозможного рода. А так как оголенные мысли, какими многим должны показаться изложенные выше, весьма легко подлежат криво толку, особенно предвзятому (до которого мне, признаюсь, очень мало дела), и могут представляться оторванными от истории (а этого-то мне, признаюсь, очень нежелательно допустить), то я постараюсь, однако опять со всей возможной краткостью, передать имеющуюся во мне нить понятий, как о правительственном складе вообще, так и о современных русских потребностях в исправлении этого склада, ни на минуту не забывая, что мое изложение составляет лишь долю моих постепенных «Заветных мыслей», а не что-либо вроде программы или политиканствующей «платформы».

Тут конец моих заветных, чисто постепенных, мыслей, относящихся к правительственному строю. Надо его подправлять, а не начинать, потому что не только фундамент, но и капитальные стены и балки в нем прочности много большей, чем кажется по взгляду на облупившуюся штукатурку, на покривившиеся полы и на потускневшие стекла. Крыша уж больно плоха, ее лучше сызнова перекрыть, хоть отчасти из старого материала, да по новой обрешетке. Когда в доме живут, крупную его ремонтровку неизбежно начинать надо с кровли. Такую кровлю в правительственном строе составляют народное просвещение и промышленность. За них и надо взяться всеми силами и не отлагая, а то не пол, а самые балки гнить начнут.

Дело просвещения очевидно плохо, коли учиться товарищам классическая зрелость запрещает, объявив забастовку, коли с этим еще кокетничают, коли — ведь слышишь и видишь — на первой лекции в первом курсе студентам с кафедры сообщают, что теперь-де доказано, что простых тел нет и что все они оказались сложными, забыв, что слушатели-то ничего еще о простых телах не слышали, коли начинающим излагают не начала наук, а только такие части предметов, которые составляют лишь отделку, подробность, желая доказать воочию справедливость давнего стиха:

Что ему книжка последняя скажет,
То на душе его сверху и ляжет, —

сказанного про время Рудиных. Поправлять эти дела просвещения нельзя иначе, как воспитав новых учителей, т. е. устроив как можно поскорее, да все хорошенько обдумав, Педагогический Институт нормальный да много и других, потому что спрос на просвещение не только уже имеется, но и растет и, того гляди, все, от мала до велика, начнут понимать, что все здоровое, которым еще кой-как держится наше обучение, составляет лишь слабые остатки и пережитки от изведенного гр. Д. А. Толстым и все по его шаблону «свободы университетского преподавания» возникшее и сложившееся, кроме разве счастливых исключений, ничего не дает ни просвещению страны, ни ее успехам, приобретая

содержание более всего из фельетонов текущей литературы. О нашей промышленности говорить уже и не стоит, коли не может она построить нужные России корабли, коли вся она дает товаров в год всего рублей на 20—30 на душу, а в С.-А. С. Штатах на 300—400 рублей.

Вот они, две первейшие надобности России: 1) поправить, хоть довести бы сперва до бывшего перед Д. А. Толстым, т. е. лет 25-ть сему назад, состояния, просвещение русского юношества, а потом идти все вперед, помня, что без своей передовой деятельной науки своего ничего не будет и что в ней беззаветный, любовный корень трудолюбия, так как в науке-то без великих трудов сделать ровно ничего нельзя (говоря это, прожив целые полвека в научных областях, зная кучу трудолюбцев ученых и наблюдая много и внимательно; тут у меня не то что заветная мысль, а прямехонько простая правда очевидности), и 2) содействовать всякими способами, начиная от займов, быстрому росту всей нашей промышленности, до торгово-мореходной включительно, чтобы рос средний достаток жителей, потому что промышленность не только накормит, но и даст разжиться трудолюбцам всех разрядов и классов, а лодырей принизит до того, что самим им будет гадко лодырничать, причит к порядку во всем, даст богатство народу и новые силы государству.

Во всем ином еще кое-как подождать можно, хотя сам-то я более не за поджидание, а только за постепенство, но тут ни минуты ждать нельзя, потому что оба те дела скоропалительно, указом да приказом, сделать нельзя, хотя без них начаться и они не могут. В этой неизбежной медленности двух указанных важнейших дел — латинцам совершенно неведомых еще — причина появления постепенщины, за которую я следую. Не в личном характере тут дело, а в существе, в том понимании природы, которое самое поднятие гор и самые вулканы стремится объяснить медленно текущими и непреодолимыми накоплениями маленьких, на первый взгляд, влияний.

По мне, было время пользы и от революционных передряг, пока просвещение и промышленность не стали в числе верховных правительственных отношений, пока греко-латинщина служила знаменем «возрождения», пока судом и войнами ограничивались высшие задачи правительств. А теперь, когда просвещение и промышленность стали во главу правительственных функций, когда даже военные успехи и поражения связываются с развитием просвещения и промышленности, а они составляют дела, совершенно чуждые очень быстрого течения или скачков (каковы, например, сражения в деле военном, приговоры суда и т. п.), теперь роль и значение революций прошли и одно постепенство будет брать верх.

Мне думается, что так было и с Землей; сперва действовал сильнейшим образом революционный вулканизм, а потом постепенно стали брать верх эволюционные силы, воде свойственные, и внутренние перемены в сложении горных пород, т. е. силы на взгляд маленькие да слабенькие, а в сущности только медленно действующие. Конечно, и поныне вулканизм дает о себе знать, что не пропал, но общая сумма перемен, от него происходящих, ничтожно мала сравнительно с тем, что делают постепенские силы природы. Так, по мне, есть, но сравнительно мала уже ныне роль всяких революционных передряг, будут ли они в виде приказов и указов или в форме революций и пронунциamentos, а главные перемены все с постепенско-эволюционным характером, а между ними просвещение и промышленность стоят ныне на первом месте.

Признавая, что свобода, в ее основах, много приобрела от революций, утверждаю, что только развитие просвещения и промышленности ее развило, развивает и развивать будет, от тирании предохранит, незыблемою поставит и права с обязанностями уравновесит. Согласен, что в этом моем определении течения «новейшей истории» есть своего рода предвзятость, идеализм, пожалуй, даже утопизм, что судьбы истории человечества еще темнее судеб земных форм, еще не охвачены разумом, а потому гадать далеко вперед и вообще — рискованно. Но по отношению к России, да в настоящем ее положении, сама очевидность действительности говорит за то, что состояние просвещения и промышленности определяют и ближайшее и отдаленное ее будущее, требуют первого общенародного и правительственного внимания, составляют настоятельнейшие надобности.

Государственная Дума с них должна начинать, и только тогда она покажет разум народа, его голос выразит.

Менделеев Д. И. Заветные мысли. СПб. 1903—1905, стр. 25, 95, 136, 152—153, 155—157, 161, 191, 194, 197, 203—204, 213, 217—218, 221—233, 241—244, 296—297, 311—312, 343—348, 422—425.

II

К ПОЗНАНИЮ РОССИИ

Сам я, уже старик, не могу отречься от любви к сельскому быту и к земледелию, но я полагаю, что понимаю дух времени и предстоящее. Поэтому и не могу не высказаться, заметив — без всяких уступок и в явном противоречии с социалистами, коммунистами и всякими иными политиканствующими, — что суть дела, по мне, вовсе не в общественно-политических строях и передрягах, а в таком явном умножении народонаселения, которое уже не укладывается в прежние сельскохозяйственно-патриархальные рамки, создавшие Мальтусов да требующие войн, революций и утопий. Для меня высшая или важнейшая и гуманнейшая цель всякой «политики» яснее, проще и осязательнее всего выражается в выработке условий для размножения людского.

Трудом или, лучше, — производительным трудом, должно называть нечто совершенно отличающееся от того, что называется работой в исключительно механическом смысле этого слова, потому что под трудом понимается нечто не животнo-инстинктивное, а волею и сознательностью определяемое действие людское, назначаемое для получения пользы или для удовлетворения потребности или спроса общелюдского и только в том числе и для своего личного. Поэтому-то труд совсем не связан прямо с работой, понимаемой в механическом смысле, хотя, в сущности говоря, без доли работы никогда не обходится. Во всяком случае, под трудом должно понимать нечто полезное, потребное или необходимое и спрашиваемое людьми, считая в том числе и того, кто трудится, главное же в труде — отсутствие неизбежной необходимости, то есть для него необходим толчок собственной, личной воли (волевой импульс), хотя бы и напряженный под влиянием самосохранения, любви к ближним и т. п. природных и бессознательных интересов. В труде содержится понятие свободной воли; к работе можно принудить, к труду люди приучаются только по мере развития самосознания, разумности и воли.

..Те точки зрения, с которых становится очевидным глубокое различие между работою и трудом, дают возможность сразу видеть ошибочность основных посылок коммунистов и социалистов, полагающих прежде всего, что полезности производятся исключительно работою, тогда как в их создании более всего участвует именно свободный труд, всего яснее видимый в изобретательности, которую уже ни под каким углом зрения нельзя ни смешивать, ни отождествлять с работою. Свобода истинная и труд — понятия родственные.

Смысл денег или вознаграждения исключительно сводится к пониманию труда. И те, которые идут за Марксами и считают ценною или принимают во внимание только людскую работу, находятся в грубейшем заблуждении, чего мне даже не хочется и доказывать вследствие очевидности, потому что все высшее и лучшее, начиная с постижения истины, с достижения добра и с произведений искусств, получается большим трудом, но малою работою.

Немало у нас лиц, которые полагают, что число «служащих» у нас очень велико, тогда как оно, в сущности, очень мало, и если бы, чего не дай Бог, в ка-

ком-нибудь виде осуществились где-нибудь утопии социалистов и коммунистов, то число одних тех, которые будут распределять работы, сгонять на них и наблюдать за ними, равно как и за общими порядками, стало бы наверное во много, много раз превосходить число современных «служащих».

...Существенною причиною малого развития у нас промышленности, несмотря на множество условий для ее широкого процветания, должно считать отсутствие личной предприимчивости, определяемое преимущественно тем, что русские люди привыкли все получать готовеньким, так сказать, в виде подарка от кого бы то ни было, сверху или снизу, и если манна небесная сама собой не валится, то наша образованность привыкла обвинять кого-нибудь или вверху или внизу, а сама ничего не предпринимать, если оно сопряжено с необходимостью личного труда, риска и упорства, как это и нужно для дел промышленности. В деле же промышленности представители образованности играют первостепенную роль в противность тому, чему учат Марксы, Бебели и т. п. поклонники «работы», а не «труда», забывающие, что промышленное дело не может иначе осуществляться, как при помощи великого труда, заключающегося в предприимчивости, всегда неизбежно соединенной с соображениями и расчетами, более или менее рискованными (хотя и поменьше, чем почвенный урожай)...

На стр. 187-й моего сочинения «Заветные мысли» показано, что данные переписей С.-А. С. Штатов явно показывают, что из стоимости товаров лишь 4% идет предпринимателям и что рабочие и техники получают около 22%, а на стр. 190-й видно, что один «хозяин» в год получает уже не более 2 т. р., за 15 же лет получал 3 1/2 т. р., а один техник, надсмотрщик и т. п. получает в год среднее по 1300 р. и один рабочий по 855 р. в год вместо 674 р. за 15 лет тому назад. Ясно, что все хозяйство должно перейти само собою к работающим без всяких социалистических невозможностей и нелепостей: барыши хозяев уменьшаются, а заработки участников возрастают — в силу современного хода вещей и отношений, т. е. здесь идет своя эволюция — без революции.

Путь монопольных предприятий, прямо как у нас теперь существует в винной монополии, или особенно во Франции в виде табачной и спичечной монополии или косвенный в виде тех или иных форм откупа, рекомендуется в настоящее время России с разных сторон, в особенности благодаря блестящему финансовому успеху нашей винной монополии. Но я считаю долгом сказать, что не принадлежу к поклонникам многообразных монополий по той причине, что монополии отнимают огромный заработок от народа и, на манер социалистический, всех участников делают чиновниками, действующими хотя для личного интереса, но не способами этих личных интересов, всегда сопряженных с конкуренцией, которая составляет первый задаток всякого рода прогрессивных улучшений; иначе сказать, я полагаю, что монополии должны губить самостоятельность, находчивость и всякую прогрессивную инициативу, опирающиеся на личные побуждения и желания. Особенно боюсь я за «качество» науки и всего просвещения и за общую этику при «государственном» социализме, как и при социализме «антигосударственном». Оба во многом сойдутся.

Абсолютно с годами прибывает число миллионов как земледельцев, так и промышленников, но сперва первых (7,7 м.) больше, чем вторых (5,6 м.), затем они приравняются, а потом обратно: число промышленников (11,9 м.) берет верх над числом земледельцев (10,4 м.), что в процентах становится еще более ясным, а с течением времени, когда распадут пустыне земли, будет становиться все яснее и доказательнее. Это и составляет сущность современной эволюции, предвестник предстоящего и то, чего многие, даже из передовиков, у нас еще не поняли, потому что это идет спокойно, хотя и твердо, без руководства

греко-латинскими преданиями. Тогда этого не бывало, революциями этого не достигалось. Это естественный, новый плод умножения: народонаселения, знаний, потребностей и достатков. Пока все это не поймут — старая чепуха неизбежно будет повторяться. Если наша Государственная Дума и все правительство хотят добра народу, а себе вечной славы, они должны понять эти новые начала и положить их в основу своих действий. Социалисты тут кое-что поняли, но сбились, следуя за латинщиной, прибегая к насилиям, потворствуя животным инстинктам черни и стремясь к переворотам и власти.

Менделеев Д. И. К познанию России. СПб. 1906, стр. 8, 42, 43, 51, 63, 79, 79—80, 91—92.

III

ДОПОЛНЕНИЯ К ПОЗНАНИЮ РОССИИ

Явно возрастающая «не по дням, а по часам», связь, или зависимость, людей всех частей света друг от друга очевидно происходит вовсе не от одной пытливости немногих, не от совокупности индивидуальных стремлений к обеспечению одной собственной своей жизни и уже никак не от влияния или величия отдельных лиц, подобных древним завоевателям — до Наполеона включительно, даже не от того, что ставится во главу жизни людей рационалистическим учением об «историческом материализме» (если местами мне приходится касаться некоторых современных утопий, то это делается мною преимущественно для выяснения того рода мыслей, который руководит мною при осуждении общественных вопросов), а от той общей причины, которая определяет самое существование всяких живых существ или организмов, начиная от низших (одноклеточных) животнораствительных до наивысших и состоит в зарождении и размножении.

Становясь на точку зрения «исторического материализма», можно еще понимать (хотя и поверхностно) прямо физические потребности, подобные питанию, но органическая или физиологическая потребность размножения в потомстве совершенно не свойственна самому веществу (материи), а потому обыкновенно ускользает от внимания тех, которым — по самообману — кажется все ясным и понятным. В сущности, это древние софисты в новом издании; для них еще не ясно, что «начало всех начал» ускользает от усилий разума.

Немало есть отдельных людей и даже на вид очень стройных социальных учений, упускающих из виду, что человеку как организму свойственно размножаться и что, помимо иных целей, у отдельных особей и всяких их совокупностей есть несомненно прирожденная цель продолжаться в умножающемся потомстве. Без этой цели ни к чему бы не служили не только государства, но и самые науки и религии, «богатство и порядок». Личное материальное благополучие (эгоизм), считаемое индивидуалистами и происходящими от них последователями учения об «историческом материализме» первичным и единственным стимулом всех людских действий, не определяет размножения, даже, пожалуй (с мальтузианцами), его задерживает, а оно идет неудержимо, ограничиваясь лишь совокупностью окружающих внешних условий и помышлениями, хотя бы и бессознательными (тогда — побуждениями), о судьбе потомства, так как — что бы кто ни говорил — даже тигр-отец и тигрица-мать скорее погибнут сами, чем допустят очевидную гибель своих детенышей, а людская любовь к детям, не только своим, но и своих близких, видна даже слепым, и против нее не смеют идти никакие утописты, включая в их число не только аскетирующих монахов, но и социалистов, анархистов и коммунистов, хотя все они и забывают те или иные прирожденные общие свойства и склонности людей или напрасно рвутся от них освободить массы, хотя отдельные случаи такого освобождения бываю в виде уродов или чудищ, подобных сиаемским близнецам или Юлии Пастране (женщине с бородой). Стремление к размножению и заботли-

вость о судьбе и спокойствии потомства составляют одну из важнейших причин распространения людей по всей Земле. Вторую из важнейших, по моему мнению, причин расширения переселений составляет искание лучших личных условий жизни, третью — избыток силы и стремление к переменам и новизне и лишь четвертую — недостаток средств для жизни. Заботу же о собственности потомства считаю наимажнейшей и наиболее настойчивой.

Социализм, анархизм и коммунизм здесь, как и в обыденном разговоре, подразумеваются с теми утрировками и приемами, какие выражаются при обыденной ныне пропаганде этих учений, стремящихся всякими путями ниспровергнуть такие главные основы современного общества, каковы государство, личная инициатива, порядок, семейственность и собственность. Идеальные стремления не только к постепенному (эволюционному) усовершенствованию отношений лиц в обществах и обществ в государствах, но и к некоторой мере насильного принуждения к желаемому порядку течения дел, конечно, неизбежны, а потому и у социалистов, анархистов и коммунистов нельзя вовсе отрицать передовую правдивость части их идеальных требований, но речь идет не о свободе и развитии идей, когда говорят о названных утопистах, а о приемах, ими предлагаемых. Многие и даже очень важное из того, о чем громко говорят указанные утописты, или уже постепенно достигается, или, быть может, будет достигаться, но это вовсе ничего не говорит в пользу таких утопий, как отрицание семьи, государства, собственности и т. п., как общинное владение землями или общность имущества монахов ничуть не говорят о коммунизме их участников.

Общность всякого имущества, даже жен и детей, «коммунизмом» называемая, совершенно не применяется, даже не подразумевается при допущении «коммуны» или «общины», практикуемой, например, во Франции или у нас. А чтобы видеть, что и «анархизм» подразумевается разного пошиба, достаточно почитать «Анархисты» Д. Маккэя, отлично рисующего недостатки современного строя и разных предлагаемых, но ничем не испытанных видов социализма, коммунизма и анархизма. Недостатки современного быта видеть нетрудно, а описывать можно очень картинно, но из этого ничуть не выясняется необходимость общих перемен в ту или иную сторону и не видно даже, устраняются ли существующие недостатки, не появятся ли многие новые? Будут ли сыты голодные? Начнут ли трудиться ленивые? Убавится ли число злых? И т. д. Давно сказано и верно, что «la critique est aisée, mais l'art est difficile» <«критика легка, но искусство трудно»>.

Социалисты, например, забывают прирожденный людям, как и высшим животным, индивидуализм. Оттого в Англии, где особо развит последний, социализму ходу очень мало, что социалисты нередко упускают из вида. Порядок, стремясь к которому Россия и стала монархической, так же свойствен мелким муравьям, как и громадным слонам, истребляющим или изгоняющим противников порядка, как все страны, по существу, относятся к анархистам. Восставая против всякой личной собственности, коммунисты, в сущности, утрируют социализм и забывают, что известные виды собственности имеются у всех высших животных, а собственность для людей служила и служит стимулом множества передовых личных действий, в земле же и языке складывается до грубости явно и необходимость определений собственности отдельных народов и стран.

Консерватизм мирового объединения держав в корне своем носит печать постепенности или эволюционных изменений даже границ (по соглашению или по явной необходимости), а порою в надежде на возможность упомянутого союза служит прежде всего явное во всем мире, быть может, за изъятием немногих самураев, стремление к миру. Люди стали видеть, что в войнах толку-то очень мало, особенно если предметом войн не служат насущные интересы стран, что время войн и всяких братоубийств если еще не совершенно миновало, то скоро непременно должно миновать и что мировые задачи не только очень многочисленны, но и касаются всем близких интересов, которые, между прочим, и родили мечтательные решения социалистов, коммунистов и анархис-

тов, учения которых с той стороны прогрессивны, что по существу своему идут против всяких войн. То главное, чего желают достичь указанные утописты, в возможной постепенной мере, скорее всего в известных по опыту уже формах мало-помалу достигнется при гарантии общего мира гораздо тверже и полнее, чем каким-либо иным путем.

Так, например, борьба с капитализмом давно уже начата: государственным кредитом, увеличением заработной платы, удешевлением товаров от соперничества, настолько, хоть и понемногу отнимающих от капитала его барыши, что со временем несомненно станут возможны лишь предприятия, основанные на складочных остатках заработков прямых производителей (изобретателей, техников и рабочих) и т. п. Суть дела здесь в том, что «общее благо», ради достижения которого не только учреждаются правительства и конституции, но и зарождаются утопии социалистов, коммунистов и анархистов, очевидно, недостижимо при ежечасном опасении нарушения всего строя жизни внутренними неурядицами или внешнею войной.

Идя против всяких внешних войн, большинство мечтательных утопистов нашего времени весьма непоследовательно и часто прибегают, или по крайней мере рекомендуют прибегать, к разного рода внутренним насилиям, убийствам и бунтам. Такая непоследовательность указывает на отсутствие разумной постановки их общих начал и дает ручательство за скоропреходящность существующих ныне утопий. Дети и у слепых обыкновенно рождаются зрячими.

Для утопистов, идущих против патриотизма или естественнейшего деления земель между государствами и считающих современные «государственные» порядки причиною существования всякого зла, довольно уединенных и совершенно свободных мест на Земле; и, по моему мнению, государства, согласившись между собою, могли бы такие места утопистам предоставить в полное распоряжение, даже понеся для того немалые расходы. За такие уединенные места можно считать тропические острова, вроде острова Св. Елены, полярные континенты и т. п. На континенте Южного полюса простору и свободы — сколько угодно, а потому недурно было бы свезти всех утопистов — с запасами — на эту интернациональную землю, предложив то же убежище от житейских зол и для желающих испытать на деле анархизм, коммунизм и социализм в их наилучших формах. Одного острова Св. Елены или ему подобного для них, кажется, будет маловато. А опыт преполозно бы произвести, так как без опыта дело может стоить людям много больше, чем оно может потребовать.

Я верю в то, что искатели общего людского счастья о собственных интересах не помышляют, особенно когда, подвергая себя явной опасности, убивают других людей, кажущихся им препятствующими общему благу. Но в то же время утверждаю, что, жертвуя собою для опыта, эти самые люди могли бы принести защищаемому ими делу наибольшую убедительность и пользу, а убийствами только лишь внушают отвращение сперва к ним самим, а потом и к учениям, которые они хотят провести в жизнь. Опыт великое дело, — он один может убеждать бесповоротно. Остров «Утопия» найти, кажется, не трудно.

Упорную настойчивость, делающую открытия и истинные приобретения для всего человечества и руководимую ранее добытыми знаниями, совершенно забывают социалисты, коллективисты и всякие мечтатели коммунистического пошиба, потому что для приобретения знаний, для подготовки и для попыток мысли при осуществлении их желаний не будет никаких личных поводов (все равно все получают одно и то же) и возможностей (времени не будет — на чередовую работу погонят), а если для выполнения и поправок блеснувшего ряда мыслей неоткуда будет взять средств и неоткуда ждать помощи, над изобретателями будут тогда только издеваться, прокладывая дорогу заядлому рутинерству. Всякий вид осуществления социал-коммунизма покажет неизбежную во всем передовом остановку, а это есть вид смертного приговора над потомством, над безграничным умножением человечества и над многими видами его внутренней свободы.

Ставя во главу своих мечтаний и требований личное благо или наслаждение, утописты новых пошибов прямо упускают из виду самый высший вид блага и наслаждения, состоящий в благе и наслаждении детей, своей семьи и вообще своих близких, в чем и виден прямой переход от эгоизма к альтруизму. Еще альтруизм с грехом пополам, т. е. с натяжками, можно объяснять тончайшим развитием эгоизма, но такая натяжка очень трудна по отношению любви к детям и потомству. Так, по мнению моему, изобретательность и потомственность послужат к гибели многих современных утопий, которые «мягко стелют, да жестко спят». Анархисты в указанных отношениях как будто бы стоят и выше, признавая и личную изобретательную инициативу и семейственность, но они просто ворочают людей к животной первобытности, на которой, уже ради борьбы с вящим злом, родился современный строй, в основании своем имеющий в виду прежде всего — потомство. Владыкою земли человек сделаться не может, не признавая никакого владычества. Утопии всегда содержат выраженные противоречия.

Находить всегда во всем только худое (пессимизм), не указывая путей выхода, очень уж легко, но ни к прогрессу приводить не может, ни удовлетворения не дает, только возбуждая злобу и отравляя всякую энергию. Этим грешил Рим, грешит и современность, указывая выходы лишь утопические, с которыми здравый ум мириться никак не может.

Что касается до вероятной возможности достижения 10-миллиардного населения Земли в предстоящие 150 — 200 лет, то она, по моему разумению, вытекает из четырех современных начал: заселения пустынь, желания избежать войн, из усилившегося за последние годы стремления решать наиболее гнучие вопросы путем конференций и из развития всемирных торговых сношений, которые усиливается обеспеченность в отыскании продовольствия и трудовых заработков по всем странам. Если бы надолго сохранился близкий к современному общий годовой прирост почти в 16 миллионов или, общее, в 0,93%, то из 1695 миллионов получилось бы 10 миллиардов в 192 года; принимаю же я больший срок — до 300 лет — преимущественно ввиду того, что скорый ход прироста в некоторых странах наверное родит временные замешательства, убавку прироста (например, как во Франции) и т. п. Крупную задержку, конечно, нужно ждать со стороны (прочными они быть не могут) господства социалистических или анархических идей, потому что те и другие подорвут семейственные условия развития общего мира и благоденствия, но нельзя не стать уверенным в том, что такое господство — если только случится — будет лишь на очень ограниченной местности и продолжится лишь на очень короткий срок из тех 250 — 300 лет, в которые человечество станет дорастать до десяти миллиардов душ.

Последователи непрактических утопий, подобных анархическим или коммунистическим, должны же понять, что напор азиатцев на европейцев даст неизбежное торжество вящему абсолютизму, который происходит из Азии и не может не действовать при столкновении между собою целых народов, если бы это произошло.

Менделеев Д. И. Дополнения к познанию России. СПб. 1907, стр. 3—4, 5—6, 63—64, 69—70, 77, 78, 79—80, 99.

Публикация и предисловие И. МОЧАЛОВА.

ОЛЬГА МУРАВЬЕВА



«ВРАЖДЫ БЕССМЫСЛЕННОЙ ПОЗОР...»

Ода «Клеветникам России» в оценках современников

Польское восстание 1830 — 1831 годов, хотя оно и именовалось в русской прессе мятежом, организованным отдельными «злонамеренными» людьми, явилось взрывом общенациональной борьбы за возрождение независимого польского государства. Подавление восстания русской армией носило характер полномасштабной военной кампании, и все эти долгие месяцы (с конца ноября 1830 до конца августа 1831 года) события в Польше были предметом напряженных размышлений и душевных терзаний мыслящей части русского общества. Разброс мнений и оценок оказался здесь очень велик, но из-за отсутствия возможности свободного выражения и формирования общественного мнения они не кристаллизовались в ясно обозначенные и открыто заявленные позиции. Толчком к подобной кристаллизации стала брошюра «На взятие Варшавы», вышедшая в свет 11 — 13 сентября 1831 года. Она включала в себя стихотворение Жуковского «Старая песня на новый лад» и два стихотворения Пушкина: «Клеветникам России» и «Бородинская годовщина». Оба поэта полностью поддержали действия русского правительства, а Пушкин к тому же гневно обрушился на его западноевропейских критиков. Отношение к этим произведениям четко проявило позиции и взгляды и разделило на «своих» и «чужих» старых друзей и добрых знакомых.

П. А. Вяземский 15 сентября 1831 года записал в дневнике: «Как ни говори, а стихи Жуковского — вопрос жизни и смерти между нами. Для меня они такая пакость, что я предпочел бы им смерть»¹. Д. Ф. Фикельмон — П. А. Вяземскому 13 октября 1831 года: «Если бы Вы были для меня чужим, безразличным, если бы я не имела к Вам тени дружбы, дорогой князь, все это исчезло бы с тех пор, как я прочла Ваше письмо к мамá, по поводу стихов Пушкина на взятие Варшавы»². П. Я. Чаадаев — Пушкину 18 сентября 1831 года: «Вот вы, наконец, и национальный поэт; вы, наконец, угадали свое призвание. <...> Стихотворение к врагам России особенно замечательно; это я говорю вам. <...> Не все здесь одного со мною мнения, вы, конечно, не сомневаетесь в этом, но пусть говорят, что хотят — а мы пойдем вперед»³. Н. А. Мельгунов — С. П. Шевыреву 21 декабря 1831 года: «Мне досадно, что ты хвалишь Пушкина за последние его вирши. Он мне так огадился как человек, что я потерял к нему уважение даже как к поэту»⁴. Уже через год, 2 октября 1832 года, Александр Тургенев в письме брату Николаю вспоминал об ожесточенных спорах между Пушкиным и Вяземским, свидетелем которых он был, когда они, горячась, обвиняли друг друга, а он «страдал за обоих». И продолжая старый разговор, он соглашался с братом: «Твое заключение о Пушкине справедливо: в нем точно есть еще варварство»⁵.

¹ Вяземский П. А. Полное собрание сочинений. СПб. 1884, т. IX, стр. 157 — 158.

² «Литературное наследство». М. 1952, т. 58, стр. 106.

³ Пушкин А. С. Полное собрание сочинений. М. — Л. АН СССР. 1937 — 1949, т. XIV, стр. 228, 439, 440. В дальнейшем все цитаты из Пушкина и писем к нему даются по этому изданию.

⁴ Кирпичников А. И. Очерки по истории новой русской литературы. М. 1903, т. 2, стр. 167 — 168.

⁵ Истрин В. М., «Из документов архива братьев Тургеневых» («Журнал министерства народного просвещения», 1913, март, ч. XLIV, стр. 18).

Говоря о спорах и разногласиях внутри русского общества, необходимо учитывать, что в них неизменно присутствует еще один незримый оппонент или союзник — Запад, Европа. Стихотворения Пушкина о польском восстании очень характерны в этом отношении. С одной стороны, Пушкин в них обращается именно к европейским политикам и журналистам, а не к своим соотечественникам, исповедующим те же взгляды. С другой стороны, стихотворения, формально адресованные французским депутатам, реально предназначались все-таки русской аудитории прежде всего. Этим, возможно, объясняется и несколько невнятный эпизод с публикацией стихотворений за границей, вызвавший обидную реплику Вяземского: Пушкин «кажет им шиш из кармана». (Известно, что Пушкин как будто собирался довести свою отповедь до сведения французских парламентариев и искал с этой целью переводчика. Но неясно, что мешало ему самому перевести свои стихотворения на французский язык и переслать их в Париж.)

В спорах вокруг событий в Польше позиция Европы приобретала особенное значение, ибо была выражена в высшей степени резко и определенно. Польская пропаганда делала акцент на политических идеалах повстанцев. В воззваниях, которые поляки распространяли в Европе, говорилось, что они подняли оружие не против своих русских братьев, не против великого русского народа, но против царской тирании. На их знаменах было начертано: «За вашу и нашу свободу», тем самым подчеркивалось, что они в равной мере отстаивают интересы как польского, так и русского народа. Европейское общественное мнение целиком приняло польскую версию событий. Расценивая восстание как национально-освободительную войну цивилизованного народа против деспотического, отжившего режима российского самодержавия, Европа однозначно встала на сторону Польши, которой приписывалась роль крепости, охраняющей западную цивилизацию от русского варварства. Политики, журналисты и поэты были едины в своем горячем сочувствии Польше и во враждебности к России. В этой обстановке стихотворения «Клеветникам России» и «Бородинская годовщина» звучали вызовом общественному мнению Европы. Впрочем, Пушкина это ничуть не смущало.

Мотивы, которыми руководствовался Пушкин в своем отношении к польскому восстанию, известны: он был убежден, что существование Польши как суверенного государства противоречит интересам России. Важно и то, что в это время Пушкин уже резко отрицательно относился к революциям и мятежам вообще, а холерные бунты 1830 — 1831 годов с их необыкновенной жестокостью лишний раз убедили его в крайней опасности стихийного народного возмущения. Можно привести большое количество цитат из его писем и заметок, доказывающих последовательность и неизменность позиций, заявленных в стихотворениях «Клеветникам России» и «Бородинская годовщина». Но и все эти факты выглядят недостаточными для того, чтобы раскрыть ту общественно-политическую и нравственную коллизию, которая сделала возможным появление этих стихотворений. В сентябре 1831 года Вяземский пишет в своем дневнике о «лживой атмосфере» российской жизни: «Как пьяному мужику жид нашептывал, сколько он пропил, так и в той атмосфере невидимые силы нашептывают мысли, суждения, вдохновения, чувства. Будь у нас гласность печати, никогда Жуковский не подумал бы, Пушкин не осмелился бы воспеть победы Паскевича»⁶.

Попытаемся описать эту атмосферу, лживую или нет, но и в самом деле определявшую те взгляды и настроения, которые нашли выражение в стихотворениях Пушкина и Жуковского о польском восстании. Выделим ряд моментов, несущественных для Европы, но имевших огромное значение для русских независимо от их политических взглядов.

В манифесте польского сейма от 20 декабря 1830 года ставилось целью восстановление Польши в границах 1772 года, то есть с белорусскими, литовскими и украинскими землями, включая Киев. В этом вопросе поляки не шли ни на какие компромиссы и не отступили от своего ультиматума даже тогда, когда русские войска уже окружили Варшаву и готовились к штурму. Беспрецедентное требование Польши о добровольной передаче ей огромных территорий особенно не занимало западную прессу, но в России, естественно, выдвигалось на первый план. Права России на спорные территории были, во всяком случае, не меньшими, чем у Польши, и даже тех, кто искренне сочувствовал полякам, территориальный вопрос решительно ставил в тупик.

⁶ В я з е м с к и й П. А. Полное собрание сочинений, т. IX, стр. 158.

Немаловажное значение имело и то обстоятельство, опять-таки «не замеченное» в Европе, что поляки сами сразу отвергли путь мирных переговоров, начав с вооруженного нападения на Бельведер, в результате которого погибли русские генералы и офицеры. Эта жестокость и агрессивность казались особенно возмутительными на фоне сдержанного и миролюбивого поведения русского наместника великого князя Константина и первоначальных попыток Николая I избежать военного конфликта.

Русско-польские отношения имели длинную историю, отягощенную многочисленными конфликтами и войнами. Память об этом, о былых обидах и примирениях, поражениях и победах создавала особый фон, на котором последние события воспринимались как продолжение «старинного спора», «наследственной распри», суть которой непонятна сторонним наблюдателям («Оставьте нас: вы не читали / Сии кровавые скрижали»). Особое место в «распре» занимали события сравнительно недавнего времени. В войне 1812 года польские войска выступали в составе армий Наполеона, и после его поражения судьбу Польши решали державы-победительницы. Тогда именно Россия, преодолев сопротивление западных партнеров, добилась сохранения территориальной целостности Польши, а включив ее в состав империи, предоставила Польше необыкновенные преимущества в виде конституции, самоуправления, собственной армии и свободы печати. В свете этих фактов восстание Польши против России, ее союз с западными державами, да еще в роли защитницы Европы от России, воспринимались русскими как вопиющая неблагодарность и предательство. Правда, не принималось во внимание, что всеми благодеяниями поляки обязаны были только покойному императору Александру I, а никак не русскому обществу в целом, которое встретило польские инициативы царя с дружным недоброжелательством. Это обстоятельство и спустя пятнадцать лет оказывало влияние на отношение к событиям в Польше, придавая ему оттенок злорадного торжества, которого не избежал и Пушкин: «Итак, наши исконные враги будут окончательно истреблены, и таким образом ничего из того, что сделал Александр, не останется...»⁷

Существенное воздействие на интерпретацию польских событий оказывали и популярные в русском обществе идеи общеславянского единства. Подобный взгляд присутствовал и в рассуждениях Пушкина, который применял к польским событиям такие понятия, как «дело семейственное», «спор славян между собою», и связывал судьбу Польши с общей судьбой славянства: «Славянские ль ручьи сольются в русском море? / Оно ль иссякнет? вот вопрос». Вера в то, что союз славянских народов под эгидой России может быть выгодным и благотворным для всех, имела определенные основания и, очевидно, исповедовалась вполне искренне; но при этом русские словно не замечали, что один из членов «семьи» явно тяготеет родственными обаяниями...

Итак, мы видим, что специфически российское понимание польских событий не просто отличалось от европейского, но практически ни в чем с ним не совпадало. В России был совершенно неактуален основной вопрос, волнующий Европу: борьба поляков против самодержавного имперского режима за национальную независимость и демократию. Европейцы, в свою очередь, были абсолютно равнодушны ко всем подробностям «семейной вражды», столь значимым для русских. Эта взаимная глухота для европейцев была лишним доказательством русского варварства, а для русских — доказательством европейского высокомерия и ненависти к России.

Мнение, что Европа в принципе не понимает, недооценивает, даже ненавидит и презирает Россию, было достаточно распространенным. «...Ненавидите вы нас», — жестко утверждал Пушкин в оде «Клеветникам России». «За что *возрождающейся Европе* любить нас?» — горько вопрошал Вяземский⁸. Это явление может быть достаточно глубоко проанализировано лишь в контексте глобальной темы «Россия и Запад». Здесь же отметим только те моменты, которые имеют непосредственное отношение к нашему сюжету.

Постоянный источник напряжения создавало известное историческое отставание России от Европы в политическом и культурном отношении. Этим был предопределен и трагический раскол русского общества на славянофилов и западников, и тот психологический дискомфорт, который сделался отличительной чертой русской интеллигенции. Люди, воспитанные в системе ценностей европейской культуры,

⁷ П у ш к и н А. С. Полное собрание сочинений, т. XIV, стр. 134.

⁸ В я з е м с к и й П. А. Полное собрание сочинений, т. IX, стр. 158.

остро реагировали на расхождение российской действительности с этими ценностями и общепринятыми цивилизационными нормами. Ни один из иностранных недоброжелателей не сказал о России таких беспощадных слов, как лучшие из ее сыновей. Но они обвиняли по праву любви и боли и не принимали согласия без сочувствия. Так рождался тот специфический комплекс переживаний, который сформулировал Пушкин: «Я конечно презираю отечество мое с головы до ног — но мне досадно, если иностранец разделяет со мною это чувство»⁹.

Допустимо говорить и о присущей европейцам некоей абсолютизации ценности политических институтов. В глазах Европы русское общество, отвергнув призыв поляков вместе восстать против царского правительства, расписалось тем самым в своей поддержке самодержавия, крепостничества и реакционных политических взглядов вообще. При этом не учитывалось, что русское общество находилось в принципе в иных отношениях со своим правительством, чем, скажем, французское. Последнее, пережив за четыре десятилетия смену нескольких политических режимов и получив уже некоторый опыт самоуправления через выборные органы власти и свободную печать, обладало известной автономией и самостоятельностью. Русское общество подобного опыта не имело вовсе и отличалось к тому же крайне низким уровнем политического и гражданского самосознания, о чем не раз с возмущением писал Пушкин¹⁰. В этих условиях формы государственного устройства, сколь бы несовершенны они ни были, представляли единственно возможными формами организации общества, а правительство — единственным выразителем национальных интересов. Но это положение вещей ставило русских перед мучительным и противостественным выбором между патриотическими чувствами и политическими убеждениями. В этой ситуации легко было поддаться искушению сделать объектом национальной гордости военную мощь России и обширность ее территорий, а также противопоставить более свободным и независимым, а следовательно, более индивидуалистичным и эгоистичным европейцам единство и сплоченность. С другой стороны, возникала опасность соскользнуть на позицию принципиального неприятия своей государственности. Это противоречие в неявной форме определяло и отношение к польскому восстанию. В черновом наброске «Ты просвещением свой разум осветил...», обращаясь к неизвестному, который «руки потирал от наших неудач», Пушкин горько и зло упрекает его в том, что он «нежно чуждые народы возлюбил / И мудро свой возненавидел». Мы не знаем, кого именно имел здесь в виду Пушкин, но по воспоминаниям Герцена можем судить о том, как относились к польским событиям в его кругу: «Мы радовались каждому поражению Дибича, не верили успехам поляков, и я тотчас прибавил в свой иконостас портрет Фаддея Костюшки»¹¹. Юный Герцен и его друзья, конечно, не ненавидели свой народ, но решительно отделяли его судьбу от судьбы государства, которое ненавидели в самом деле. Можно сказать, что это был шаг вперед в развитии русского общественного сознания, только вот дорога оказалась опасной...

В определенных кругах были возмущены стихотворениями Пушкина о польском восстании уже по одному тому, что они прозвучали открытой и демонстративной поддержкой правительству. К тому же было известно, что Пушкин сам читал их Николаю I и его семье в Царском Селе, что брошюра «На взятие Варшавы» была напечатана с невиданной быстротой в военной типографии по личному распоряжению царя. Наконец, стихотворения Пушкина были восторженно встречены в официальной прессе. Даже Вяземский, хотя и не верил в «царедворческие побуждения» своих друзей, назвал их стихи шинельными, намекая на стихотворцев, которые ходят по домам с поздравительными одами. Позже в своем знаменитом письме Гоголю Белинский с удовлетворением отмечал, что стоило Пушкину написать «два — три верноподданнических стихотворения», как он тут же лишился «народной любви»¹².

⁹ П у ш к и н А. С. Полное собрание сочинений, т. XIII, стр. 280.

¹⁰ Во время польских событий Пушкина выводило из себя полное отсутствие интереса к ним большей части общества. Например, в письме к Е. М. Хитрову 26 марта 1831 года: «Москва — город ничтожества. На ее заставе написано: оставьте всякое разумение, о вы, входящие сюда. <...> Вот уже около двух недель, как мы ничего не знаем о Польше, — и никто не проявляет тревоги и нетерпения!» (Полное собрание сочинений, т. XIV, стр. 157, 425).

¹¹ Г е р ц е н А. И. Собрание сочинений в 30-ти тт. М. 1956, т. VIII, стр. 134.

¹² Б е л и н с к и й В. Г. Полное собрание сочинений. М. 1956, т. X, стр. 217.

В действительности Пушкин никогда не отличался верноподданническим поведением. Проблема была в разном понимании того, в чем должна проявляться независимость поэта и гражданина. Если демократически настроенная часть русского общества все больше склонялась к отождествлению независимости и оппозиционности, то Пушкин понимал независимость как возможность свободно высказывать свое мнение, не заботясь о том, совпадает оно с позицией властей или нет. Неприятие того типа поведения, на котором настаивал Пушкин, дорого стоило русской интеллигенции, и в этом смысле тогда, осенью 1831 года, Пушкин был прав, а обвинения в его адрес несправедливы. Но приходится считаться и с тем, что контекст конкретной ситуации может сообщать поступкам то значение, которое сам человек им не придает. Пушкин никогда не жалел о том, что опубликовал эти стихотворения, но вряд ли ему доставила удовольствие горячая поддержка Надеждина и Уварова, союзников которых он неожиданно предстал в глазах публики.

Особого внимания заслуживает позиция Вяземского. Он, собственно, был согласен с тем, что польское восстание необходимо подавить, только роль России в этом конфликте не вызвала у него решительно никаких восторгов. Но Вяземский предъявляет Пушкину и Жуковскому претензии нравственного и эстетического характера: «Это дело весьма важно в государственном отношении, но тут нет ни на грош поэзии. <...> Мало ли что политика может, и должна делать? Ей нужны палачи, но разве вы будете их петь»¹³. Приблизительно на тех же позициях стоял и Ал. Тургенев: «Я бы спросил его (Жуковского. — *О. М.*), что бы он подумал о себе, если бы энтузиазм его к геройству кровопролития был личным свидетелем того, чего стоит нам и им это геройство? Я делаюсь врагом Поэзии, когда она не святое дело, не человечество защищает и превозносит»¹⁴. Интересно, что и сам Пушкин прекрасно видел резкое несоответствие эстетического и прагматического взглядов на польские события. В письме Вяземскому 1 июня 1831 года он писал: «Ты читал известие о последнем сражении 14 мая. Не знаю, почему не упомянуто в нем некоторые подробности, которые знаю из частных писем и кажется от верных людей: Кржнецкий находился в этом сражении. Офицеры наши видели, как он прискакал на своей белой лошади, пересел на другую бурую и стал командовать — видели, как он, раненный в плечо, уронил палаш и сам свалился с лошади, как вся его свита кинулась к нему, и посадила опять его на лошадь. Тогда он запел «Еще Польша не сгинела», и свита его начала вторить, но в ту самую минуту другая пуля убила в толпе польского майора, и песни прервались. Все это хорошо в поэтическом отношении. Но все-таки их надобно задушить, и наша медленность мучительна»¹⁵.

Удивительно, но в данном случае Пушкин вдохновляется не тем, что «хорошо в поэтическом отношении», а тем, что «правильно» в отношении политическом. Вяземский не находил этому оправданий. Ал. Тургенев пытался объяснить: «Он только варвар в отношении к П[ольше]. Как поэт, думая, что без патриотизма, как он его понимает, нельзя быть поэтом, и для поэзии не хочет выходить из своего варварства»¹⁶. Иначе говоря, поэт не может не быть патриотом, даже если патриотизм его народа носит варварский (нецивилизованный) характер. Возможно, Тургенев здесь близок к истине. В том же письме Вяземскому Пушкин заметил: «...мы не можем судить ее (распря с Польшей. — *О. М.*) по впечатлениям европейским, каков бы ни был впрочем наш образ мыслей». Странное безразличие к индивидуальному образу мыслей («каков бы ни был») и убеждение, что «мы» (в данном контексте — мы, русские) должны судить эти события по каким-то единым для всех нас критериям, это тоже, в сущности, проявление «патриотизма» с точки зрения Пушкина или «варварства» с точки зрения Тургенева.

Стихотворения «Клеветникам России» и «Бородинская годовщина» продолжают традицию русской государственно-патриотической поэзии, развивающей тему «Россия и Запад». Основная схема поэтического воплощения этой темы найдена уже Ломоносовым: риторические вопросы и обращения к воображаемому оппоненту, варьирование тезисов о пространственном величии России, ее военной мощи и ее миролюбии; поэтическая формула протяженности России «от — до» («...от финских хладных скал до пламенной Колхиды») — «географические фанфаронады наши», по

¹³ Вяземский П. А. Полное собрание сочинений, т. IX, стр. 155, 157.

¹⁴ Истрин В. М., «Из документов архива братьев Тургеневых», стр. 18.

¹⁵ Пушкин А. С. Полное собрание сочинений, т. XIV, стр. 169.

¹⁶ Истрин В. М., «Из документов архива братьев Тургеневых», стр. 18.

ядовитому замечанию Вяземского. Здесь мы имеем дело с некими поэтическими символами русской государственности, обретающей в них вневременной, внеполитический смысл. Прибегая к этим поэтическим символам, Пушкин тем самым и утверждает тот общий национальный, государственный взгляд на события, который он противопоставляет любому частному «образу мыслей». Видимо, так и воспринял стихотворение Пушкина Баратынский, полагая, что в нем «указана настоящая точка, с которой должно смотреть на нашу войну с Польшей»¹⁷.

Попытка же интерпретировать эту поэтическую модель применительно к конкретным политическим обстоятельствам придает пушкинским стихотворениям почти пародийный смысл. Такой угол зрения представлен в известных замечаниях Вяземского: «„Вы грозны на словах, попробуйте на деле“». А это похоже на Яшку, который горланит на мирской сходке: да что вы, да сунься-ка, да где вам, да мы-то! <...> Смешно, когда Пушкин хвастается, что *мы не сожжем Варшавы их*. И вестимо, потому что после нам пришлось же бы застроить ее. Вы так уже сбились с пахвей в своем патриотическом восторге, что не знаете, на чем решится, то у вас Варшава, неприятельский город, то наш посад»¹⁸.

Можно было бы упрекнуть Вяземского в том, что он не учитывает особенностей жанра и поэтического замысла, но такой подход был в известной мере спровоцирован своеобразной поэтикой стихотворений, где высокий торжественный пафос сочетается с запальчивой интонацией спора, а отвлеченные декларации — с конкретными полемическими выпадами. К тому же стихотворения прозвучали в совершенно определенной общественно-политической ситуации. В ее контексте упоминание в одном ряду со взятием Варшавы битвы под Бородином казалось «святотатством»; противопоставление «кичливый лях иль верный росс», основанное на расхожих в то время оценочных определениях национального характера, получило оскорбительный смысл, а традиционные одические обороты: «Россия! встань и возвышайся! / Греми, восторгов общий глас!..» — принимали высокомерный и вызывающий оттенок. Таким образом, тот перекрестный огонь пристрастных оценок, под который попали пушкинские стихотворения, был неизбежен и вполне прогнозируем. Но трудно было предвидеть в 1831 году, что политическая жизнь этих стихотворений окажется столь долгой...

Рассмотренная нами общественная ситуация, неотъемлемой частью которой стали пушкинские стихотворения, и по сути дебатированных проблем, и по характеру конфликтов и противоречий принадлежит к «вечным сюжетам» российской истории. Поэтому и отношение к этим стихотворениям на протяжении ста шестидесяти лет неизменно окрашено в черно-белые тона политических пристрастий. Разумеется, никому не заказано исповедовать те или иные взгляды на государственные интересы России или гражданский долг писателя. Но не думаю, чтобы было в принципе возможно установить объективные критерии для однозначной оценки позиции Пушкина в польском вопросе. Тем более что стремление дать такую оценку неизбежно поставит нас перед вопросами вовсе нелепыми: кто был мудрее и честнее — Пушкин или Мицкевич? Жуковский или Вяземский? Чаадаев или Лафайет?

Много лет спустя Лев Толстой в дневниковой записи от 31 декабря 1904 года с точностью и бесстрашием аналитика зафиксировал свое душевное состояние: «Сдача Порт-Артура огорчила меня, мне больно. Это патриотизм»¹⁹. «Мне больно» — мог бы сказать любой из названных и неназванных здесь людей, и эта боль становилась едва ли не самым сильным и совершенно неопровержимым аргументом в их спорах. Но ни в коем случае это не дает оснований для благодушно-банальных сентенций типа «все по-своему правы». Своя боль и своя правда у каждого участника конфликта — это и есть самый страшный детонатор взрыва. Ведь истинно трагическая коллизия возникает там, где сталкиваются не добро и зло, а разные представления о добре и зле. И тогда вскипают, перемешиваясь, любовь и ненависть, жестокость и самопожертвование, и этот хмельной состав дурманит самые светлые умы и самые благородные души. А потом... «...тяжко будет им похмелье», — предрекал Пушкин. Оно будет тяжело. Всем.

Общественно-политический конфликт, сложившийся вокруг польского восстания, имел все признаки такого рода трагической коллизии. Выступив в печати со стихотворениями «Клеветникам России» и «Бородинская годовщина», Пушкин ока-

¹⁷ «Татевский сборник С. А. Рачинского». СПб. 1899, стр. 21.

¹⁸ Вяземский П. А. Полное собрание сочинений, т. IX, стр. 158, 159.

¹⁹ Толстой Л. Н. Полное собрание сочинений. М. 1937, т. 55, стр. 111.

зался замешан в этот конфликт самым непосредственным образом. Не станем утверждать, что его позиция была безупречна, но и не сумеем указать на образец подобной безупречности. Обратим внимание на другое: в результате всех этих событий Пушкин не поссорился с Вяземским, Ал. Тургенев не порвал отношения с Жуковским. Их взаимное уважение и дружеская привязанность оказались сильнее идейных и политических разногласий. Пока еще сильнее... Но, всматриваясь в драматическую ситуацию 1830 — 1831 годов, мы видим, как уже явственно наметилась трещина, что со временем, углубляясь и расширяясь, пройдет через русское общество, безжалостно разрывая сословные, дружеские и семейные связи. И разделенные на враждебные лагеря соотечественники от поколения к поколению будут накапливать ожесточение и нетерпимость до тех пор, пока наконец не бросятся друг на друга с оружием в руках.

Сегодня, «жестоких опытов собирая поздний плод»²⁰, мы вновь ищем ответы на мучившие их вопросы. Может быть, исторические сюжеты потому и становятся вечными, что каждое поколение оказывается не в состоянии распутать доставшийся ему в наследство узел противоречий и перекладывает на плечи потомков этот все более тяжкий и взрывоопасный груз. Поэтому те же, в сущности, проблемы, что заявили о себе с такой остротой во время польского восстания 1830 — 1831 годов, и на исходе XX века продолжают терзать русское общество, и все длится «вражды бессмысленной позор...»²¹.

Тем большего внимания заслуживает каждая попытка найти достойную линию поведения в тягостных и опасных конфликтах, непрерывно сотрясающих русское общество. О взлетах и падениях, подстерегающих на этом пути любого, свидетельствует лишний раз история стихотворений Пушкина «Клеветникам России» и «Бородинская годовщина».

Санкт-Петербург.

²⁰ Пушкин А., «К вельможе» (1830).

²¹ Хомяков А. С., «Ода (На польский мятеж)» (1830).



В МИРЕ ИСКУССТВА

ТАТЬЯНА ЧЕРЕДНИЧЕНКО



МУЗЫКАЛЬНЫЕ УВЕСЕЛЕНИЯ: КУЛЬТУРА РАДОСТИ ВЧЕРА И ЗАВТРА

С увеселениями вот такая диалектика. Стоит королю прогнать от себя шута, как он сам впадает в шутовство. Превращение слова «кухня» в синоним вольнодумства чревато двоякой опасностью: несвежей требухой на пирах духа и ограничением словесными закусками на праздниках чревоугодия. Односторонняя серьезность гибнет под собственной тяжестью. Пуританское воздержание от зрелищ в конце концов проваливается в культуру сплошного шоу. Стахановские почины рано или поздно разворачиваются в движение несунув.

Памятуя о звене, за которое вытаскивается вся цепь, сегодня необходимо внимательно отнестись к флирту, застолью, распеванию веселых куплетов, выделыванию плясовых коленец и прочим (далеким от обсуждения роли интеллигенции) удовольствиям жизни, взятым в их собственном понятии. Шут должен надеть корону, чтобы король снял дурацкий колпак. Поэтому начнем с неперменного в серьезных трудах предмета — терминологии.

ВООБЩЕ-ТО ЗАБАВЛЯТЬСЯ — ЗНАЧИТ БЫТЬ

Заглянем в этимологические словари. «Увеселение» — от индоевропейского *vesu* — «хороший», «достойный». А «забава» выводит к «быть». Если этого мало для усмотрения в увеселениях фундаментальных основ, то можно добавить, что музыка (от века включенная в развлекательный комплекс) даже и в легкомысленном качестве остается «искусством муз»¹, то есть сразу всех муз, включая и Клио, и Уранию. И Терпсихору, разумеется.

А с танцами дело обстоит амбивалентно (чтобы не сказать универсально). В романе Джейн Остен «Гордость и предубеждение» провинциальный комильфо и столичный аристократ ведут такой диалог: «Не правда ли, какое это прекрасное развлечение для молодежи, мистер Дарси! В самом деле, может ли быть что-нибудь приятнее танцев? Я нахожу, что танцы — одно из высших достижений цивилизованного общества». — «Совершенно верно, сэр. И в то же время они весьма распространены в обществе, не тронутым цивилизацией. Плясать умеет всякий дикарь».

И правда, танцуют все. Более того, танцуют в сё, от соединения полов до единства вселенной², и притом практически одновременно.

Названия танцев и в XV, и в XX веке служили жаргонными обозначениями тех действий, которые ведут к деторождению. Прочтите в недавно выпущенном словаре тюремно-лагерной лексики, что такое «летка-енка», «дамский вальс» или «хоровод». Видимо, только талант М. Горького, сумевшего внушить даже тем, кто сроду его не читал, стойкое отвращение к «музыке толстых», привел к отсутствию в тех же синонимических рядах слова «джаз» (между прочим, легализованного — впервые напечатанного на конверте пластинки — только в знаменательном 1917 году). И лишь по всеобщей неосведомленности в истории танца криминальные гулянья не оглашались смачным «бранль»³.

Но ведь и самые высокие идеи обращаются к хорее. Вагнер назвал финал Седьмой симфонии Бетховена «Танцем небес», а Маркузе перефразировал онтологическую максиму Декарта: «Танцую — следовательно, существую».

Так что забавляться — значит быть. Так что в дансинге происходит (наряду с флиртом и праздничной самодемонстрацией) мироустроение. И не зря корни музыки (а стоит напомнить, что у Шопенгауэра музыка была ни много ни мало эквива-

лентом мировой воли; при том, что Шопенгауэр лишь продолжал многовековую традицию философской универсализации музыки) не без резона усматриваются в выразительном ритмическом движении⁴. Так что потанцуем — с самыми высокими если не онтологическими, то историко-культурными намерениями.

¹ Изящную словесность и чтиво различают, но музыке нет пары в виде «слуши-ва». Музыкой зовется и Шестая симфония Чайковского, и самодеятельное напевание под три гитарных аккорда. А устойчивое словоупотребление не бывает сплошь неверным.

² Само собой, танцуются также общественные и государственные установления. Вспомним «балет короля» из романов Дюма или «шахтерочку» с «солдатской полькой» — идейно-правильный плясовой репертуар торжественных концертов в Кремлевском дворце съездов.

³ Бранль (популярный в XV веке бальный танец) — от *branler* (*старо-франц.*) — «пьяный», «возбужденный»; слово «jazz» в Америке последней трети XIX столетия фигурировало в сленге завсегдатаев низкопробных питейных заведений и означало комплексное удовольствие «алкоголь + секс».

⁴ Внепонятнейность музыкального языка имеет лишь один аналог: неопределенно-внятную выразительность танцевальной пластики. Ритмичное движение, поза, жестикация «выразительны не вопреки, а благодаря отстранению от слова» (см.: Bittner R., «Ein Versuch zur Sprachartigkeit der Musik» /In: «Beiträge zur musikalischen Hermeneutik». Regensburg. 1975, S. 174). Если танец — ушедшее в безмолвие слово, то музыка — пришедшее к звуку танцевальное движение.

ЧЕМ, В СУЩНОСТИ, ОТЛИЧАЕТСЯ КАДРИЛЬ ОТ ХИП-ХОПА?

Кадриль (от испанского *cuadrilla* — группа из четырех человек; вошла в моду на рубеже XVII — XVIII веков) — танец парный. Хип-хоп (звукоподражательное название, имитирующее прыжки; существует с конца 1980-х) пляшется соло, притом в одинаковой для разнополых исполнителей пластической аранжировке. На вот, возьми его скорей: хореографическое, а заодно социо- и сексологическое свидетельство кризиса новоевропейского человека. Но за отличием кадрили от хип-хопа можно увидеть вещи и поглубже. И понейтральней — без призвука кризисологических lamentаций (тем более что кризис уже, возможно, на исходе).

Тип танцевального развлечения, к которому принадлежит кадриль, сформировался при европейских средневековых дворах. Архаичный фольклорный хоровод и раннесредневековая городская карола (буквально — танец в кругу) сузились до объема хореографически стилизованных объятий. Первым кружком на двоих, отпочковавшимся от хороводного круга, стал провансальский эстампи (XII — XIV века). В XV — XVI веках эстампи разросся в набор национальных вариантов (французский бранль, итальянские сальтарелло, гальярда, куранта, испанские пасамеццо и павана, ирландская жига, немецкая аллеманда). Обход танцевального зала чередой пар был как бы туром по столицам Европы. В XVII веке танцевали французские ригодон, менуэт, гавот, бурре, паспье, английские контрданс и экосез, испанскую сарабанду — опять в бальных залах воспроизводился круг тогдашней цивилизации. То же самое позднее: польские мазурка и полонез, французский котильон, южнонемецкий лендлер — ровесники кадрили — диктовали пластические манеры и в Вене, и в Санкт-Петербурге.

Бальные «кругосветки» еще и в другом смысле раскрывали внутри малой сферы объятий предельно широкую сферу. В разных коленах гальярды или менуэта пары расторгались и составлялись заново, возникал новый узор расстановки танцоров. Кавалеры и дамы были как бы элементами пасьянса, который раскладывает верхний игрок. Не зря «кадриль» — также название карточной игры, и не зря рядом с бальной залой полагалось иметь комнату для нетанцующих картежников. И сам строгий ритуал бала был сродни правилам виста.

Повторы и вариации танцевальной музыки подтверждали для слуха неслучайность хореографического калейдоскопа¹. Музыкальное развлечение стремилось исчерпать варианты симметрий и пропорций, словно иллюстрируя представления о гармонии стихий и космических числах².

Собственно, как раз об этом писал Туан Арбо в трактате «Оркезография» (1588): «Занимайся танцами усердно, и ты станешь подходящим партнером для планет, которые танцуют сообразно своей собственной природе». А можно процитировать из

поэмы «Орchestra» англичанина Джона Дэвиса (рубеж XVI — XVII веков): «Искусство танца началось тогда, / Когда первейшие основы мироздания — / Земля и воздух, пламя и вода — / Любви, владычице природы, вняли настоянью / И согласились, распри позабыв, / В коловращенье танца ритм блюсти и меру, / Дабы весь мир их следовал примеру. / Начала всех начал с тех пор в незримом круге / Несутся вихрем. Строгой чередой / В едином ритме, четком и упругом, / Сойдясь на миг, расходятся в другой, / Все новые фигуры образуя. / Столь дивное согласие — плод любви, / Мы в танце подражать ему должны...»³

Еще в 1820-х годах в краковяке и полонезе обычай ротации партнеров сохранялся. Но на тех же балах уже вальсировали и галопировали стабильные дуэты. А развлекательный репертуар XX века — кекуок, танго, пасодобль, фокстрот, румба, самба, чарльстон, тустеп, чачача, рок-н-ролл — это сплошная плясовая моногамия. Что не означает совершенствования брачных нравов. Ведь продержавшаяся до зрелого Нового времени «полигамия» типа кадрили не столько легализовала легкомысленные изменения (хотя символическое канализирование потребности в новых любовных впечатлениях имело место), сколько бессознательно медитировала о мироустройстве.

Хороводный круг — воплощение циклического мифовремени и завершенного мифопространства⁴ — раздробился на пары. Но в ротации пар идея каролы — увеселения, воспроизводящего объективную структуру мира, — сохранялась. Сохранялась до победы вальса, вытеснившего к середине XIX века прежние парные танцы. Видимо, не зря матроны начала XIX века запрещали дочерям вальсировать. Запреты мотивировались слишком тесным соприкосновением партнеров⁵. Да что и взять с докучливых созерцательниц чужой юности, кроме поверхностного морализма! Но импульс-то был точным.

На самом деле почтенные дамы, помнившие трепет при взгляде на «своего» кавалера из отделившейся от него менуэтной фигуры, не могли смириться с решительным отделением пары от круга. И даже не из-за утраченной возможности тонкого волнения (ведь обозреть общий план после только что пережитой близости лиц — значит сильное почувствовать эту близость). Замкнутые друг на друга исполнители вальса демонстрировали пренебрежение веселящихся к геометрически-космологическим интуициям⁶. Стабилизировавшийся тет-а-тет подрывал прочность мира. Более того, он подрывал сам себя. Вальс увел забаву от всеобщности бытия в сферу интимного диалога. И он же оказался первым шагом к танцевальному монологу.

Утрата символики «большого круга» компенсировалась широтой движений в малом кругу — нараставшей экспансивностью танцевальной моторики. Еще в начале XIX века в Париж из Алжира был завезен канкан (в туземных условиях — хороводный танец). Выбрасывание ног в канкане подразумевает некое «зову — посторонись!». Канкан долго оставался злачным зрелищем — на него смотрели, но не решались исполнять собственноручно. А его энергетика тем временем исподволь прививалась к более пристойному репертуару. Поэтому чарльстон — ногами, а твист — всем телом (как бы превратившимся в сплошные ноги) ввинчивают в небольшой пятачок паркета моторный импульс, который в канкане обнажал подвязки. Поэтому тустеп и уанстеп ступнями, а позднейший шейк уже и корпусом скандируют резкость движений, которая в канкане выражалась через пространственный размах. А в рок-н-ролле накопившиеся заменители канканной экспансии прорвало в реальность — в азарт прыжка, броска, вращения, грозящих увечьем нетренированному партнеру.

И партнер счел за лучшее дистанцироваться — пара распалась. Кружок на двоих стал кружком для одного. Вальс в конце концов превратился в диско, в брейк-данс, а затем и в хип-хоп (ламбада была недолговечной ретроспективной утопией парного танца). Но!

Хоровод, сжатый вальсом в аутичную точку, вновь раскручивается из нее (или в ней). Ведь исполнитель хип-хопа один делает то, на что куранта или экосез «тратили» несколько пар (и на что вальс вообще не был способен): вычерчивает геометрию мира. В роли отдельных танцоров выступают руки, ноги, корпус, голова.

Двигаются эти частичные плясуны в «частичной» же манере. Танцоры прежних времен — в хороводе ли, в вальсе ли — стремились прочертить плавную линию. Теперь заметно стремление зафиксировать отдельные фазы движения, раздробить линию на точки: например, в брейк-дансе стилизуется механическая судорожность. Хорея ориентирована не на перо в руке, выводящей круг или квадрат, а на иглочки в печатающей головке матричного принтера, которые оставляют точечное изображение графического символа, или на телемонтаж, который из принадлежащих

разным минутам долей секунды создает ирреальный, но экспрессивно-убедительный «рваный» процесс. Танец хочет быть неестественным, «неантропологичным»; телесная моторика сближается с железным мотором. Мотивы старинной танцевальной геометрии — разномасштабные и разнонаклонные круги, симметрии поз, сложные пропорции сегментов и отрезков вытанцовываемого пространства — обретают холодную аналитичность, которая с притягательной странностью контрастирует атакующей эротичности костюмов и поз. «Аналитическая геометрия» хип-хопа визуально аккомпанирует предельной измелченности времени, которую мы слышим в нынешней танцевальной музыке (на рок-н-рольные «раз-и — два-и — три-и — четыре-и...» накладываются несколько слоев четных дробей, вплоть до «1/32 — 2/32...» и «1/64 — 2/64...»¹). Время артикулируется с неслыханной настойчивостью, но вместе — испаряется. Новый, анализирующий пространство и перемалывающий время, хоровод движется с громадной скоростью в узком объеме, необходимом солирующему плясуну. Но зато он движется в режиме нон-стоп (в дискотеке музыкальный фон не имеет пауз), а пляшущих объемов (в той же дискотеке) много, они составляют сплошную плотность. Карола умерла — да здравствует карола!

Унифицированность женских и мужских движений в одиночных танцах, будучи как бы данью новейшим эмансипации, бисексуализму, стандартизации etc., возрождает однородную пластику архаичного хоровода. Парные танцы от нее отказались, ведь они возникли как часть куртуазного ритуала (недаром эстампы родился в Провансе — там, где первый расцвет пережила рыцарская лирика) и обязаны были маркировать разные роли дам и кавалеров. Опустившись на колено, партнер в мазурке изображает трепет влюбленности, а партнерша, высокомерно обходя восторженного поклонника, не без удовольствия играет роль неприступной красавицы. В хип-хопе нет дам и кавалеров.

Нет в нем, между прочим, и той приторной лирической «глубины», которая незаметно нарастала в культуре парного танца. По мере того как бальный репертуар становился достоянием городских масс, имитировавших и огрублявших культурные обычаи аристократов², блекла память о куртуазном ритуале. Объятия из условных превращались в как бы взравадавшие, а этикетные ухаживания — в имитацию рокового романтического прерыва. Вот почему победил вальс, вот почему любые (впрочем, все более редкие) попытки нынешнего шлягера воссоздать «большое чувство» не обходятся без интонационных идиом танго (в танго квазидраматичность чувственного томления достигла кульминации). В хип-хопе нет «больших чувств». В нем есть отвлеченно-игровая радость движения и та абстрактно-«белая» (не замешенная на личной уникальности) эротика, которые еще жили в кадрили.

Кстати, об эротике. Без нее музыкальные увеселения не обходились никогда³. Хотя далеко не всегда она «возвышалась» привычными нам тоскливыми заходами типа «А ты такой холодный, / Как айсберг в океане» или, возьмем несколькими тонами ниже, «Рыжая шалава бровь себе подбила...».

¹ Средневековая танцевальная композиция базируется на принципе ротации, так же как система средневекового музыкального мышления (так называемая модальность). Тоны звукорядов имеют символические значения (пять тонов китайской гаммы, например, — это металл, воздух, огонь, земля и вода). Их перетасовка, благодаря которой возникают новые мелодические рисунки, как бы непосредственно озвучивает учения о мировом циклизме типа гераклитовских, пересказанных Марком Антонием: «Смерть земли — рождение воды, смерть воды — рождение воздуха, смерть воздуха — рождение огня; и обратно».

² Например, в branle представлены следующие симметричные порядки (Д = дама, К = кавалер):

1-я позиция: К1 Д2 К3 Д4 К5 Д6 К7 Д8 К9 Д10

2-я позиция: Д2 К1 Д4 К3 Д6 К5 Д8 К7 Д10 К9

3-я позиция: Д2 Д4 К1 Д6 К3 Д8 К5 Д10 К7 К9

4-я позиция: Д4 Д2 Д6 К1 Д8 К3 Д10 К5 К9 К7

³ Цит. по: Баранова Т., «О космологической и религиозной концепции танца в культуре Средневековья, Ренессанса и Барокко» (в кн.: «Традиция в истории музыкальной культуры». Серия «Проблемы музыкознания». Выпуск 3. Л. 1989, стр. 74).

⁴ Впрочем, в развлечениях смысл постоянно выворачивается в бессмыслицу (как и обратно). Одна из претенциозных героинь упоминавшегося романа Джейн Остен замечает: «Насколько было бы разумнее, если бы во время бала танцы были заменены серьезной беседой». — «Конечно, разумнее, дорогая, — звучит ей в ответ. — Но осмелюсь сказать, это вряд ли было бы похоже на бал». Однозначной

«положительности» в увеселениях нет. И космизирующий хоровод тоже способен раскрутиться в хаотический нонсенс. Есть такая замечательная русская плясовая, текст которой пародирует саму идею кругового танца: «В деревне живали, / Метелки вязали, / Метелки вязали, / В Москве продавали. / В Москве продавали, / Деньгу зашибали, / Деньгу зашибали, / В пивной пропивали. / В пивной пропивали, / В деревню въезжали, / В деревню въезжали, / Метелки вязали. / Метелки вязали, / В Москве продавали...» — и т. д. по кругу. Если уж сам «вечный» хоровод может выворачиваться наизнанку, то что и говорить о позднейших забавах!

⁵ В одном английском лексиконе в статье «Венский вальс» содержался такой пассаж: «Немецкое слово *waltzen* означает закружиться, опрокинуться и одновременно — вывалиться в грязи, нечистотах. Пусть останется вопросом: существует или же нет аналогия между значением слова и танцем; но я спрашиваю себя: какие чувства должна испытывать английская мать, видя свою дочь в столь фамильярно-интимной близости с мужчиной?» (Цит. по: Asriel A. *Jazz. Analysen und Aspekte*. Berlin. 1977, S. 10).

⁶ К тому же музыка, в том числе развлекательная, в эпоху вальса окончательно забыла заветы модальности. Европейское звуковое мышление стало тональным. А истинный домен тональности — симфоническое развитие. Поэтому рефренная форма танцевальной музыки уступила место цепи повторяющихся эпизодов (AA — BB — CC — DD... — так построены, в частности, польки И. Штрауса), последний из которых играет роль финальной кульминации. Если в модальности главное — заполняемые границы звукового пространства, то в тональности — динамический импульс, увлекающий время вперед. Тоника (главный аккорд) есть «исходный пункт», «цель» и одновременно единственный «субъект» музыкального процесса. Остальные, подчиненные тонике, аккорды — как бы средства для этой цели и вехи «жизненного пути» тоники. Тональность — музыкальная метафора эмансипированной индивидуальности. Целеустремленность тонального мышления вошла в скрытое (и оттого невротизирующее) противоречие с бесцельностью развлечения. Увеселения обрели несвойственную им в Средние века перевозбужденность и идейную «нагруженность». Фестивали типа «тяжелый рок против апартеида» — остаточные следы этой нагруженности. Но только с одной стороны. С другой, поскольку рок-энергетика вместе с аэробическим потом выводит наружу все идейно-психологические шлаки, рок не против ничего. Он предвещает эстетику другой «антиапартеидности»: органичной эклектики «черного» и «белого» (см. ниже).

⁷ Начиная с рок-н-ролла танцевальная музыка все активнее минимализует звуковысотную структуру ради обнажения структуры ритмической (всегда более ясной для слуха). Но было бы неверно рассматривать рок-н-ролл как примитивизацию предшествующих музыкальных традиций. Скорее нужно думать о возрождении традиций предпредшествующих — не об упрощении, а о простоте. Отданные в жертву ритму мелодия и гармония не столько эстетически свернулись, сколько исторически развернулись из тональности в древнюю модальность. Повторяемый аккордовый квадрат рок-н-ролла, твиста, шейка (а впоследствии — скандируемые в разных слоях аранжировки ритмопопевки диско, брейка и хип-хопа) — аналог архаической репетитивной мелодики, которая сопровождает круговые танцы на всем исследованном музыковедами-этнологами пространстве сохранившихся фольклорных культур. И композиционные схемы вернулись к архаике. В рок-н-ролле, твисте, шейке форма представляет повторяемый куплет, в котором запев и припев часто идентичны (AA — AA — AA...), в диско, брейк-дансе и хип-хопе возрождается ротационная схема, элементами которой являются повторяемые попевки (aaaa — bbbb — cccc — aaaa — dddd — bbbb...).

⁸ Что современные бытовые танцы (как и вся нынешняя культура музыкальных увеселений) возникли в процессе «демократизации» аристократических стандартов, хорошо иллюстрируется историей европейской ресторанной индустрии. В конце XVIII века в Париже и Лондоне появились крупные гастрономически-танцевальные предприятия Мюзара и Валентино. В предназначенных для зажиточных буржуа «Элизиумах» (так назывались знаменитые рестораны) имитировался распорядок придворных празднеств (ужин после бала). Параллельно замене родовитости деньгами манеры заменялись шиком. Грандиозность разодетой толпы и шумного оркестра исключали «просматриваемость» (а значит, и необходимость) изысканных манер и «прослушиваемость» тонкой беседы. Бал отслаивался от этикета и прославлялся сырым упоением свободы (в том числе и пластической, а это значит — недисциплинированной размахистостью движений). Вскоре у распространившихся по Европе больших «Элизиумов» появились меньшие братья. Держатели пивных в бедных

кварталах стали давать своим заведениям высокое имя, указующее на престижность. В дешевых «Элизиумах» как бы пародировалась структура дорогих: на месте парадных зал для танцев — небольшие уличные площадки рядом с кафе, на месте больших оркестров — единственный тапер, которого (с трогательной последовательностью наивных подражателей) называли «капелла» (т. е. оркестр). Этот «капелла» наигрывал мелодии, звучавшие в роскошных ресторанах, возмещающая утраченное богатство фактуры азартным нажимом на все самое «заводное». А посетители — сутулые пролетарии и бесцеремонные студенты, уже не отделявшие «бала» от ужина (выпивки), истово огрубляли па модных танцев. При этом церемонная культивированность моторики вырождалась в простой энергетический выброс или же в более или менее откровенную эротическую провокацию.

⁹ Уже танцевальность, без специальной помощи поэтического слова, задает музыкальным развлечениям эротический смысл. Ведь танец всегда хотя бы отчасти — демонстрация сексуальной привлекательности и имитация телесного порыва. А парные танцы так или иначе стилизуют ухаживания. Именно поэтому на дворянских балах считалось недопустимым, когда брат танцует с сестрой, хотя, разумеется, о такой жуткой вещи, как инцест, никто не думал. Тем более что в старых контрдансах чувственный подтекст танцевальных движений целомудренно зашифровывался. Хотя от их музыкальной расшифровки все равно нельзя было спрятаться. Озвучивание захватывающих действий, неудобных к называнию, объясняет обычный динамический профиль танцевальной музыки: нарастание инерции повторов, ведущее к экзотической кульминации. В архаических культурах эффект достигался просто и прямо — ускорением темпа и усилением громкости. В эпоху вальса физиологические ассоциации цивилизованно смягчались: композитор сгущал к концу виртуозность и включал все оркестровые ресурсы, переходя от лирической неискренности робкого мелодиста к головокружительному профессиональному куражу аранжировщика. После рок-н-ролла, хотя виртуозные финальные каденции, нагнетания звуковой мощности или провалы в самозабвенную импровизацию все еще в ходу, развлекающая музыка может ограничиться главным: артикулированием инерционно одинаковых напряженных движений. Все остальное конкретизировано пластикой, которая купила право эротического вызова на валюту физкультурной невозмутимости.

ВОКРУГ ТОСКИ КАК ЗАБАВЫ

Сейчас придется акцентировать предельные тенденции новоевропейских музыкальных увеселений.

Конечно, певец как главный (до последних лет) развлекатель прежде всего поет. Что он поет, в конце концов не важно. Пусть он поет, как Лев Лещенко, «Я сегодня на заре встану, / По широкому пройду полю» или, как Иосиф Кобзон, «Малая земля — великая земля», все равно он радуется наполненностью звучащего дыхания, то есть открывает слушателям перспективу горизонта, куда может уноситься и где может сливаться с прекрасной далью наша душевность, хотя бы даже и аранжированная идеологическими символами.

Конечно, ностальгическая печаль и сентиментальное томление, столь свойственные романсу XIX — начала XX века, — это прежде всего способ примириться с несовершенством мира, погрузившись в красоту собственной тоски (пусть даже примиряющиеся сами являются средоточием несовершенств).

Конечно, оперетта, при всех ее страусовых перьях, стойко державшихся на сцене даже в эпоху конструктивизма, — это нормальная радость школьного карнавала, предполагающего ряжение в принцесс и клоунов после обязательного хождения в черном передничке и серой тужурочке.

И конечно, искушающие тона «порочности», которыми так бравирует шантаный куплет, указывают не столько на «падение», сколько на свободу, на суверенность личности.

Но тенденцию важно обозначить так, чтобы она выделилась из слишком к нам еще близкого времени, из эмоциональных привычек уже поколебленных, но пока что сращенных с нами (а мы сейчас, по-видимому, находимся на культурном перепутье). Поэтому начнем (и продолжим) все-таки в несколько неприятном для любителей Имре Кальмана или Изабеллы Юревой ключе.

Итак, неудачи в любви (как знак неудач вообще) со второй половины XIX века становятся отрадой. Трагический шиш судьбы зачаровал не только кабинетных фи-

лософов, но и ресторанных весельчаков. Экстаз героически-безудержного сострадания к себе, так и не увидевшим небо в алмазах, объединяет фаталистический канкан из фильма «Кабаре» и проникновенно-агрессивные всхлипывания под три аккорда в неряшливом советском застолье. Печатью буйного веселья — горького похмелья (а когда и горького веселья — буйного похмелья) отмечена вся толща забав: от тривиальной психологии «Утомленного солнца» до парадоксальной социологии «Зияющих высот».

Провозвестником увеселительного мученичества стал на эстраде солист-певец, заслонивший бальных оркестрантов. Плясовую инерцию потеснило лирическое пение. Оно именовало чувства. И так веско, что оставалось только застыть и переживать.

Характерна стилистика жестокого романса (такого же концентрата развлекательности начала, и не только начала, XX века, как джаз¹). Он нанизан на ритмоформулы вальса или танго. Однако певцы затягивают наиболее чувствительные слова или, напротив, резко ускоряют темп в особо страстные моменты лирического монолога. Хотя танцевальные «ум-ца-ца» вроде бы на месте, в пляс пускаться не приходится. Остается слушать не двигаясь, как если бы звучала предсмертная ария оперного героя. И в самом деле, поют большей частью про самоубийство по причине неразделенной любви. И поют гораздо «жизненнее», чем в опере, — без условно-красивых рулад, а тем специфическим постельно-замогильным тембром, которому не нужны никакие рулады, чтобы заинтересовать даже не очень эмоционально отзывчивый слух. И этот тембр надолго удержался в качестве особой культурной краски. Еще и сейчас актеры, озвучивающие по-русски многочисленные сериалы про слезоточивых богатых, то и дело подкупают телезрителей интимно-разочарованной сладостью интонации.

Но вернемся к жестокому романсу. Благодаря плясовому «ум-ца-ца», хоть и прерываемому тяжкими вздохами, в альковно-гробовой атмосфере становится не слишком страшно. Страшно становится понарошку. Любовь и смерть невсамделишны. И сопереживание — тоже. Но тут-то как раз начинается настоящее веселье — и настоящее похмелье: ничто не страшно — ничто не взаправду. Все оскорбительно мнимо, постыдно непрочно, нагло несущественно. И эти рифмы, которые не держат строфу, так что надо трагически вскинуть руки, чтобы было ясно, где ударное слово; и эти мелодические ходы сто двадцать девятой свежести, которые проскакивают через память не задевая, — чем запомнить, легче сочинить самим. Все эфемерно до ужаса. Бессознательная артикуляция ужаса несущественности и придает глупину жестокому романсу.

В Средние века, толкаясь на площади, предназначенной для казни, тоже наслаждались ужасом, но таким, который вытекал как раз из существенности бытия. В Средние века тоже пели (и нередко на той же площади). Но пели под танец; более того — пели танец. Вспомним о каноне кургузной поэзии — твердых формах стиха. Баллада, рондо, триолет и т. п. — это также (и в первую очередь) названия песенно-танцевальных форм. В импровизационном творчестве средневековых развлекателей система рефренов, организующая поэтическую строфику, шла от музыкальной композиции. Ведь стихи пелись; новые стихи сочинялись на известные напевы². Музыкальная композиция, в свою очередь, воплощала хореографическую комбинаторику (см. выше примечания 5 и 6). Застывший в строфике танец заставлял слова блистать гранями рифм, делал стих подобием перстня или диадемы (вот почему еще: твердые формы стиха). Бриллиант до предела всамделишен: он причащает палец к вечности. А «танцевальная» строфика приобщала к вечности поэтические сюжеты. Поэтому и стенания отвергнутого влюбленного, и фарсовые каскады, и витиеватая брань, и крайняя фривольность, совершенно вроде бы невозможная на публике, воспринимались достаточно отвлеченно, как словесные инкрустации виртуозной формы. По отношению к форме поэтические сюжеты были красочными вариациями внутри непоколебимого миропорядка.

И любовь, несмотря на многократно воспетых Тристана и Изольду, оставалась тогда всего лишь одним из цветных стеклышек в калейдоскопе бытия. Неосуществимость ее не делалась генератором слезливого пессимизма. Для эпидемии подражания гетевскому Вертеру (а жестокий романс формировался как раз на ее хвосте) потребовалось, чтобы любовь превратилась в книжный идеал и чтобы книжные идеалы заменили обычай и ритуал в качестве определителей поведения и самосознания. А поскольку диктанты идеалов жизнь пишет только на двойку, то вот вам и постоянный повод для тоски, от которой укрыться можно разве лишь в цирке.

Между прочим, одно из профессиональных имен музыканта (и поэта) развлекателя в Средневековье (наряду с «менестрель», «трувер», «трубадур») — «жонглер». Поэтически-музыкально-танцевальная комбинаторика родственна цирковому трюку. А какие еще чувства, кроме упоения ловкостью и радостного удивления неожиданным кульбитам, могут подразумеваться искусством балаганного затейника?

Но вот пришла эпоха гуманизма, а за ней — Просвещения. Книжность из ученой кельи распространилась в светскую гостиную и даже в будуар. И бесписьменная комбинаторика цирка отошла в тень (блестящие жонглеры-импровизаторы сменились на улицах инвалидами-шарманщиками), пропустив вперед письменно-театральную драму. В том числе оперную.

Хотя опера задумывалась флорентийскими интеллектуалами 1600-х как возрождение античной трагедии, оперный театр даже еще в XIX веке оставался преимущественно местом светского развлечения (поведение Онегина в партере совсем непохоже на пиетет перед высоким искусством). В ложах демонстрировали новейшие моды и соревновались в стоимости драгоценностей, сплетничали, вступали в политические разговоры, завязывали знакомства, вели интриги, в том числе и вполне низкопробные, вроде ангажирования примадонн на холостую вечеринку. Благоговейной тишины и неподвижности в публике не наблюдалось. Функционально опера была чем-то вроде нынешней дискотеки. Лишь к концу прошлого столетия, когда в публике возобладали люди, которые и помыслить не могли, чтобы Гайдн или Моцарт были у них в услужении (и чтобы дома держать капеллу), шуршание конфетным фантиком во время речитативных подвижек оперного действия стало восприниматься как святотатство.

После первых камерных опытов опера развернулась изобилием сценических эффектов и вокальных трудностей. Поэтический текст не должен был отвлекать от созерцания декораций и мешать певцу демонстрировать голос; профессиональный кодекс либреттиста — помнить об удобных для пения гласных. «Словно розан в огороде, цветет Антонида в народе», — написал барон фон Розен для оперы Глинки. И в некотором смысле неплохо написал: большинство акцентов — на гласной «о». В сущности, оперная поэзия уже была тем салатом на ветру, который теперешняя публика непрерывно потребляет в виде рыхло-необязательных шлягерных текстов (правда, для нынешнего микрофонного исполнения уже не нужна полетность голоса, следовательно, вирши ничего не должны даже вокалу). В отличие от поэтов композиторы выиграла. У них появилась возможность перенести в светскую музыку (до XVII века большей частью ненотируемую) технику письма, присущую крупным жанрам (ранее исключительно духовным). То, чем публика невнимательно забавлялась, автор соотносил с требовательной серьезностью партитурного листа (а ведь нотный текст — это тоже Книга, со всеми вытекающими отсюда императивами). Моцарт писал «Свадьбу Фигаро» с не меньшим тщанием, чем «Реквием». Однако у Пушкина рекомендуется моцартовский источник (а косвенно и творение самого Моцарта) наравне с веселящим напитком: «Откупори шампанского бутылку иль речти „Женитьбу Фигаро“». Великосветские ценители развлекались произведениями, которые сегодня исключают беззаботно-гедонистическое к себе отношение.

И вот как раз музыкальная высота оперы, определявшая и искупавшая поэтическую топорность либретто, «отравила» увеселения буржуазного города. Если продолжить освященное авторитетом Пушкина сопоставление спиртного и художественного, то подойдут ворчливые суждения из книги 1923 года³. Уже в начале XIX века вместо шампанского откупоривают «духовное пиво» — «в бесчисленных домашних компаниях и концертных собраниях процветают мелкие сантименты романсов, арий и всевозможных жанровых пьес». А к 1840-м годам «пиво» набирает градусы и становится «спиритуальным шнапом оперетты больших городов, которая заняла место оперы и концерта, обозначив эпоху мелких людишек, бессильного либерализма и растущих хозяйственных инстинктов крупного капитала».

Утрате «шампанским» букета и его превращению в «пиво» содействовали нотопечатники, оперативно реагировавшие на омассовление идеалов книжной образованности. Поскольку барышни из почтенных семейств помимо вязания кошелев и раскрашивания экранов должны были уметь читать ноты и услаждать гостей игрой на клавинодах, постольку нотопечатники освоили новый вид продукции: сборники арий из популярных опер. В них «Фрейшиц» адаптировался до полного соответствия с «перстами робких учениц». Оперная музыка, препарированная для самостоятельного исполнения, опускалась на уровень оперной поэзии. Схематизм аккомпанемента салонные музыкантши компенсировали старательной «искренностью» пения. Сладко-слезливые «ах!» стали интонационным украшением рудиментарных лирических текстиков.

Можно сказать, что нотоиздатели спровоцировали и появление оперетты. Закрепив в быту стереотип засахаренного оперного объедка, они создали вместительную нишу для разворотливых композиторов. Однако в оперетте к мутно-чувствительным «ах!» добавилось залихватски-пикантное «ух!». Дело ведь происходило не в огражденных от вульгарных знакомств гостиных, а в общедоступном театре, который заполняли уже не только светские денди или благопристойные бюргеры, но и жаждущие попросту «оттянуться» лакейские дети. Отсюда аляповатая монументализация лирических сантиментов. Сплюснутая в трогательную домашнюю мелочь оперная ария в оперетте распухла страстным романтическим флюсом. Накал душевных терзаний Мистера Икса таков, что порыв чувств выплескивается танцевальным каскадерством. Возникает специфическая смесь боли и беззаботности. Тоска становится наконец настоящей забавой.

С опереточного прилавка романтическая «книга чувств» распространилась на шантанье лотки. Но, переместившись на малую эстраду, опереточные номера растеряли масштаб. Под лаконичный аккомпанемент вокал превратился в мелодекламацию. Место белканто заняло скандирование наиболее драматичных слов: «Вижу ты-ры-уп на шелы-кы-ввом шы-ну-ры-ке». Разумеется, «вижу ты-ры-уп» — это еще и глаза, подчеркнутые трагически-жирным макияжем — реликтом богатой оперной сценографии.

Тут опять спасибо музыкальным издателям. К началу XX века они модернизировались: стали использовать наряду с печатным станком фонографическую аппаратуру. Пластиночный конвейер потребовал стандартизации. Эстрадные песни создавались путем сборки из разрозненных блоков. Поэт-текстовик варганил «рыбу» к готовой мелодии, которую на фонофирму приносил так называемый «на svijствяющий композитор» — мелодист, зачастую не знавший нотной грамоты. Аранжировщик добавлял гармонический скелет, кое-как сводил в фактуру голоса, после чего в дело вступала «звезда». Образ солиста извлекал шлягер из анонимности (обычная атрибуция песен начала века на пластинках и в сборниках: «Из репертуара несравненной Тамары») — извлекал по праву, так как стиливое своеобразие переместилось из письменной композиции в сферу устной подачи.

И это было бы возвратом к менестрельной культуре, если бы не монотонный минор и если бы не доставшийся в наследство от высокой литературы образ идеалиста, смакующего неуют реальности. К тому же менестрели первой половины XX века упивались ложностью своего положения — несовпадением душевной глубины с как бы вынужденным лицедейством. Стопроцентно — Вертинский, на восемьдесят процентов — Эдит Пиаф, на шестьдесят процентов — Марлен Дитрих — «паяцы», в одноименной опере трагически несводимые к собственным ролям.

Даже еще трагичнее: паяцы из оперы Р. Леонкавалло — как бы вне культуры денег, а шансонье XX века — внутри нее. Первые должны заставить смеяться грубую толпу, вторые — сентиментально раскошелиться толстосумов. Вообще оскомину денег нельзя вычленить из эстрадных «вкусностей» XX века. От декораций голливудских мюзиклов до лазерно-голографических эффектов в современных дискотеках и компьютерной графики (все знают, насколько дорогостоящей) в видеоклипах мечта о богатстве конвоирует любовные грезы, вплоть до жажды поселиться с милым в шалаше (или в коммуне хиппи), вдали от власти золота. Из оксюморона «золотого диска» о «ни доллара в кармане» «звезды» извлекают дивиденды романтической раздвоенности. Раздвоенность, только не вполне романтическая, со второй половины XX века и вправду есть — «звезды» состоят из самих себя и из своих продюсеров. Недаром «теневой» еще в 20-х, продюсер в 60-х уже на свету, а в 80-х чуть не затмевает своих поющих и танцующих подшефных, которые то и дело (впрочем, под покровительством все того же продюсера) протестуют против коммерциализации. Впрочем, в 90-х протесты иссякают. И самые в прошлом некоммерческие рок-группы (например, «Genesis») теряют склонность к протесту, а заодно и к вчувствованию в экзистенциальное неблагополучие.

На советской эстраде тоскливые забавы вошли в моду только в середине 70-х, и главным образом благодаря «Арлекино» в исполнении Аллы Пугачевой. До этого (за редкими исключениями типа «А я люблю женатого») в нашем развлекательном обиходе доминировал псевдофольклорный Невалышка, инфантильный оптимизм которого служил компенсацией идеологического давления. Безоблачное доверие к старшим звучало в голосах «Веселых ребят», в текстах типа «Даже если плачем, то от радости», пока не выродилось в дистиллированное пионерское жизнеутверждение

(«Пусть всегда будет солнце» в исполнении Тамары Миансаровой — последняя кульминация прозрачной советской душевности). На Западе первой половины XX века беспроblemное приятие жизни тоже существовало, но только в зоне, ограниченной голливудскими музыкантами, и с существенными добавками терпкой чувственности или маслянистой лирики, которые делали западного ваньку-встаньку значительно взрослее нашего.

Зато к тому времени, когда у нас всюду зазвучала густая тоска, в окружающем эстрадном мире драматизм больших чувств, по существу, угас. В плотноядно-аппетитном и отстраненно-эстетизированном контексте рекламы книжные императивы поблекли. Любование изъязвленностью одинокой души уступило место сплошному «don't worry, take it easy». А пение, некогда узурпировавшее танец, сдалось на его милость. Мелодика расчленилась на краткие попевки: столько звуков, на сколько хватает выдоха после прыжков и вращений. И столько слов, сколько уместится до ближайшей цезуры. Английских — пара-тройка уместится. Более многосложные языки вынуждены перейти на междометия. И не на эмфатические «ах!» или «ух!», а на что-нибудь нейтральное типа «Музыка нас, а-а, связала». Тоска ушла — осталась забава.

На отечественной сцене «эскадрон моих мыслей шальных» какое-то время отражал западные атаки беззаботности, хотя сам всего-навсего демонстрировал цирковую выездку. Сегодня книжные трагедии исчерпались и среди «самого читающего народа». Во всяком случае, хит про Ксюшу-Ксюшу-Ксюшу-юбочку-из-плюша уже никого не изумляет «бессмысленностью». От бормотухи разочарованного утопизма, от нас возвышающего дурмана психологической истерзанности мы уже несколько отделились. Правда, — «Эй, ящик, поворачивай к черту! / Это не наш лес, а чей-то чужой» — далеки мы пока и от радостного жонглирования пестротой культуры.

¹ Жестокий романс, как и джаз, сложился на пересечении «цветной» архаики (в России и средней Европе ее носителями были цыгане, в Америке — негры) и «белой» цивилизованности. Оба стиля стали знаком социального «низа», как бы равнозначного «свободе» того типа, когда нечего терять и неоткуда падать. Войти в безоглядность цыганского наяривания или в бесстыдно непосредственную джазовую чувственность значило оказаться «на дне», ничуть не пожертвовав удобствами и статусом. «Статус» сохранился в тональных формах — европейском стволе для «Кленового листа» (знаменитый рэгтайм) и «Шелкового шнура» (на котором повесился ревнивый герой популярного жестокого романа). А «дно» воплощалось в экзотической нетемперированности интонации, в нарочито «развинченной» ритмической жестикюляции, одинаково свойственных стержневым развлекательным жанрам Старого и Нового Света. Слушатель джаза или жестокого романа раздвоен: он и в плену цивилизованности с ее постулатами, как-то: «время — деньги», и на просторах архаики. При неразрешимости этого противоречия остается сосредоточиться лишь на нем самом как на знаке внутренней сложности собственного «я». И джаз, и жестокий романс аутоэротичны. Проекция аутоэротизма — тема невзаимно-роковой любви, которая безраздельно доминирует в европейской и заокеанской версиях «попсы» начала XX века. Но то, что фатальная страсть к «ты» означает всего лишь самолюбование, пропитало джазовое и жестокоромансовое звучание специфической искренней ложью — щемящей фальшью блюзовых тонов, неотразимо-безвкусными сбиями куплетной метрики. Развлечения обрели сознание собственной иллюзорности. И долго оставались при нем, пока в выросшем из джаза рок-н-ролле эротика не получила спортивного качества и не избавилась тем самым от «постыдного» несоответствия энергичным императивам цивилизации времени — денег. Рок, хотя в свои героические времена он тоже манипулировал «кайфом» недостижимого идеала и «обломом» в отвергаемую реальность, в конце концов вернул музыкальным увеселениям веру в самих себя.

² Менестрели в массе своей не были грамотеями. Они импровизировали и запоминали. Поэтому в дело вступали мнемонические средства — и прежде всего популярные мелодии. Танцевальная метрика задавала инерцию поэтическому сочинительству, а форма помогала удерживать импровизируемый текст в границах определенной строфической конструкции. Об устном характере менестрельного искусства см.: Сапонов М., «Устная культура как материал медиевистики» (в упомянутой книге «Традиция в истории музыкальной культуры»).

³ См.: Wolf E., Petersen C. Das Schicksal der Musik von der Antike zur Gegenwart. Breslau. 1923, S. 204.

ЧЕМ, В СУЩНОСТИ, ОТЛИЧАЕТСЯ ХИП-ХОП ОТ КАДРИЛИ

Кочевники Сахары, фермеры Луизианы, бродяги, полисмены, монахи, эротоманы, черные, белые, красные и желтые фотомодели, экзотические природные ландшафты и религиозные ритуалы, дети разных народов и старики разных рас, черно-белые, желто-красные, бело-желтые и в любых вариантах вечно юные поп-звезды¹, каждый — в своем имидже², доведенном усилиями классных стилистов до канонической завершенности, — тасуются в видеоаранжировке шлягера, порождая новую ауру танцевальной песни — энтузиастическую открытость чужой самобытности.

Кадриль пары танцевали вместе с планетами. Хип-хоп вместе с профессионалами эстрады и «отвязанными» любителями отплясывает многообразие культуры. Средневековые менестрели, украшая танцоров поэтическими диадемами и музыкальными ожерельями, работали со временем: придавали ему твердость вечности. Клипмейкеры, создавая красочный видеоритм, который восполняет элементарность поэтического и музыкальных структур нынешнего развлекательного репертуара, работают с пространством: придают ему прочность всеохватной толерантности.

Клипмейкеры — это жонглеры (в старом, т. е. широко, смысле) наконец-то наступившего XX (или, если XX столетие не было всего лишь затянувшимся XIX, то XXI) века. Видеооформление песенно-танцевальных прыжков и вращений просто ломится от изобилия отовсюду нахвачанных мотивов и вызывает восторг (если, конечно, перестроить зрение с книжной строки на телекадр или если принять вместо позиции театра позицию цирка) монтажной точностью. Как не вспомнить о тематической всеядности (от сквернословия до куртуазной церемониальности) и самоценной виртуозности (в игре ли на музыкальных инструментах, в сочинительстве ли баллад и рондо или просто в глотании огня и подражании пению птиц) увеселителей эпохи эстампы или кадрили!

Удивительно, но новые менестрели пришли к модернизации хорошо забытого старого прямым путем, пролежавшим через психологические глубины (они же, вероятно, низины) развлечений XIX века.

Из демократической зависти к высшему сословию и из книжно-театрального понимания высшего как страдания новоевропейская культура синтезировала идею личной (а также всякой иной — национальной, социальной, идеологической) избранности, требующей жертв. Идея эта придавала забавам судьбоносно-тоскливый тон. Недаром Эрос глядел из мучительно холодного отдаления — с ледяного тороса, а Танатос — из мучительно обжигающей близости («Хоть мгновенье еще постою на краю»). Но та же избранность требовала «выламывания» из наличных условий. Если идеологи предлагали отрицательный — революционно-погромный — выход «на волю», то развлекатели, с их бескрылым легкомыслием, просто открывали двери в иные культуры, свободные не «вообще», а всего лишь от привычных несвобод.

Цыгане (профессиональные увеселители XIX века) воспевали костры и кочевья не столько ради верности таборным традициям (тогда бы они не жили при ресторанах), сколько ради верности слушательскому спросу на «Мы живем среди полей», «Свободны мы всегда как птицы» и т. п. Черные джазмены гипертрофировали свой ритмический генотип, потока комплексом белых слушателей, которым порою непереносимы делались тугие воротнички. Танго внесло в устоявшуюся дисциплину мировых столиц расслабляющую эйфорию провинциального курорта. Фокстрот раскрыл среди плюша и лепнины помпезных ресторанов не стесненное приличиями пространство негритянских уличных гуляний. Рок-н-ролл сообщил традиционно сомнительной атмосфере совершеннолетних вечеринок с алкоголем утренний тонус школьной спортплощадки.

И дальше: каждая очередная развлекательная волна в XX веке отталкивалась от аутсайдерства — возрастного, социального или геополитического. Маргиналы по крайней мере в одном отношении оказались в центре нашего времени: они сформировали всю современную историю музыкальных увеселений.

Наши развлекательные стили — от «Шаланд, полный кефали» до социально ангажированных бардов, от «Яблок на снегу» до социально ангажированных рокеров — обязаны неотразимостью трехаккордовому стереотипу, который чуть ли не до сих пор хранит следы антимилицейского «свободолюбия», зародившегося в криминальных братствах типа «Черной кошки».

А у них: рэггей — с Ямайки, а рэп — от подростковых тусовок негритянских кварталов Фриско; эротический сатанизм³ (как у групп «Kiss» или «Чилийский жгучий красный перец») — из детских мультикстрашилок, а эротический ангелизм (как в альбомах «Culture Club») — от субкультуры гомосексуалистов⁴. И т. д. и т. п.

Развлекательная мода долго была занята тем, что «выключала» увеселяющихся из «своего круга». В конце концов в «свой» круг оказались включены все «не-свои». Люмпенство увеселений проложило магистраль в открытый мир лояльности.

В забавах 90-х годов противопоставление своего чужому (как, впрочем, и нового старому³) лишилось смысла. Теперь чужого (в ксенофобически-оценочной окраске слова) или старого (в смысле презренной немодности) просто нет.

Шоу-калейдоскоп с радостным бесстрашием (разумеется, когда бесстрашие радостно, это может и настораживать) комбинирует накопленные народами и веками символы, ценности, образы — комбинирует в темпоритме «временной пыли», который создается нынешней поп-музыкой. У «недообновленных русских» он пока что вызывает страстно-безрадостную реакцию (когда безрадостность модулирует в страсть, это тоже может настораживать). Всемирный кордебалет в испаренном времени хип-хопа еще не втянул нас в свое красочное мельтешение. Мы все еще предпочитаем быструю езду к неведомой цели: «Эй, ямщик, поворачивай к черту!»

Но в мире, где вместо линий — сплошные точки, повернуть никуда нельзя, потому что нет прямых или не прямых дорог, нет даже дорог и не-дорог. Соответственно, нет целей, тем более — запредельных. Есть только выработанные нынешней культурой способы раскованного движения на отведенном в тесной мировой толпе месте (и вместе с нею). Если только в ближайшее время хип-хоп не сменится маршами (а мы уже однажды так развлекались — в классических советских песенных сборниках можно встретить вальсы с ремаркой «в темпе марша»), то нынешнюю пластику предстоит освоить и нам. И мы тоже станем частью энергично-многоцветной мозаики. Вместе с нашими сувениризовавшимися саратовскими гармошками (которые, кстати, десувениризуются — ведь в «пантуризме» видеошлягера нет противопоставления экзотики и неэкзотики, подлинных традиций и их имитации). И вместе с перевозбужденными от сознания альтернативности нижевартовскими рок-гремелками (которые наверняка избавятся от судорожного синдрома — ведь понятия альтернативы-«вызова» в нынешних развлечениях нет). И даже вместе с показушно-умильными вальсами и чуть ли не с казенными «шахтерочками» «Голубых огоньков» и концертов в КДС, в которых уже теперь, поскольку контекст все же изменился, постепенно блекнет идеологическая приуроченность к времени и месту и проступает чистый стиль (а отточенный стиль — пропуск на вход в эклектическую дискотеку сегодняшних увеселений).

* * *

Развлечение всегда увлекает — в том числе и в завтра, в том числе и в ответственное, серьезное завтра. Сегодняшняя культура радости (в глубине собственной поверхности) обещает то же, что христианство на заре нашей эры: «несть ни еллина, ни иудея» — избранность всех. Что ж, вдруг в самом деле забавам (недаром же они — от «быть») удастся теперь (на вероятном закате нашей эры?) настроить реальность на «ведать-видеть», от которых — заповедь? Ведь шутовской колпак символизирует то же самое, что и корона, — купол храма. Правда, в материале нарочито непрочном: тряпка с бубенчиками — все же не золото с алмазами. И хотя нынче мы больше радуемся всевозможным бубенчикам, чем как бы невозможному небу в алмазах, сама-то ведь радость, между прочим, от «радеть» (заботиться, обдумывать, приводить в порядок) и «ради» (в древнеиндийском корне — милость, благословение).

¹ Поп-звезды — культурные героини нынешней мифологии. Вечно юны они, поскольку принадлежат, как и древние мифологические персонажи, к правремени, времени образцов. А главным образцом, который они воплощают, является эклектика: смешение всего со всем. Например, Майкл Джексон — и черный, и белый, и подросток, и взрослый, он и мужчина (правда, согласно легенде, девственник), и воплощение нимфеточного соблазна.

² Имидж родственен клоунской маске. Как коверный наращивает нос и румянит щеки, так Мадонна гиперболически подает свою сексапильность, а Валентина Толкунова — подпорченную исходом крестьянства в городскую «лимиту» женскую традиционность. Различие между цирковыми и эстрадными имиджами в том, что первые, в соответствии с традициями средневекового карнавала, гипертрофируют телесность, «снизу» вводя в бессмертие (клоунский румянец наносит на щеку идею щеки, накладной нос — икона носа). Вторые же преображают натуральную фактуру «звезды» в культурный шифр. Началось это даже не на эстраде, а в политике.

Вспомним: «Это что за большевик? / Он залез на броневик, / Он большую кепку носит, / Букву «р» не произносит» — лаконичное описание имиджа, который символизирует репрессивную проповедь счастья (с броневика) травестировавшими (сменившими шляпу на кепку) свою культурность (аристократическое грацирование) интеллигентами. Между прочим, ленинский имидж запоздало отразился в сегодняшнем политгерое СМИ. Большевизм трансформировался в «либеральный демократизм», броневик заменен на обещание новых Хиросим, кепка — на «дело в шляпе» (суперпростые рецепты решения любых проблем), интеллигентность представлена юридическим образованием, а картавость (которой нет) — отчеством и фамилией (которые могли бы обуславливать специфический выговор). Впрочем, имидж Жириновского возрос на ниве эстрадных шоу (в отличие от ленинского) и потому шулерски обыгрывает свое право на «несерьезность». Но вернемся к неполитической эстраде. На ней в последние годы особо актуальны шифры культурной (а также социальной и возрастной, а также сексуальной и эмоциональной) протективности. Тина Тернер на протяжении минутного клипа предстает в обликах старой леди, юной секс-бомбы, панк-мотоциклистки, затянутой в кожу, индианки (каковой является по рождению) в традиционной ритуальной раскраске, страдающей героини женского романа, «испорченного мальчишки» и т. д. Перевоплощения органичны: вырастают из не обремененного комплексами темперамента и не утраченной с годами сценической пластичности певицы. Тина Тернер остается собой — пятидесятилетней поп-звездой в ореоле легенды о пластических операциях, преодоленном алкоголизме и двадцатилетнем любовнике. Собственно, почти таков же имидж Элизабет Тейлор, причастный эстраде благодаря дружбе с Майклом Джексонем. Личная фактура «звезд» превращается в культурный знак незакрепленности человека за социальной ролью, а роли — за человеком.

³ К «сатанизму» музыкальных увеселений надо относиться так же, как к их «порнографической разнузданности». Речь должна идти о праздничной игровой провокации, такой же, как ритуальное глумление в игрищах русских скоморохов. На нынешней эстраде вновь актуализирован культурный антимир ряженых. Не важно, в кого рядятся — вампира, садиста или бесплотный дух, важно, что ситуация игры маркирована танцем. Изображая шабаш ли ведьм или извращения либертианцев, танец прежде всего энергично-легок, виртуозно-четок, азартно-спортивен и потому «чист» — душевно и телесно.

⁴ В имидже солиста ансамбля Бой Джорджа тщательно отстилизовано совмещение черт певицы и певца — он даже места в хит-парадах занимал сразу в двух ипостасях.

⁵ 90-е — время ретро. Перезаписываются хиты ансамблей типа «АВВА», «вечно-зеленые» шлягеры 50-х и 30-х; телешоу не избегает вальса, а уж фольклор (правда, пока главным образом в поп-обработках) и вовсе в ходу. Прославившаяся современной ритмической шарманкой, звучат неаполитанские песни в исполнении Паваротти, опереточные арии, реставрации раннего джаза, стилизации таперского экспрессионизма немого кино. Можно предвидеть, что скоро в эту пестроту истории, продолжившую калейдоскопическую географию и социологию хип-хопа, включится и кадрилль, а то и эстампи. Во всяком случае, шелковые камзолы, жабо и рюши, даже пудренные парики и мушки на эстрадной сцене уже давно не удивляют.



КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

ОСТАНОВИТЬСЯ, ОГЛЯНУТЬСЯ...

Алесь Адамович. Віхі. Законченные главы незавершенной книги. «Дружба народов», 1993, № 10.

Когда в начале 80-х обсуждались «Каратели», кое у кого прорывалось недоумение по поводу гротескной фигуры Гитлера на страницах повести: а что, собственно, прибавляют его космические фантазии к кошмарам нацистского геноцида на белорусской земле? Вот она, значит, документалистика, от которой стынет кровь, а вот особый мистический срез психологии фюрера. Стыкуется ли одно с другим?

Судя по итоговому, как оказалось, повествованию Алесь Адамовича, он был не прочь поощрить те же недоумения. Даже добавить им остроты, ибо увеличился жанровый отрыв эпизодов с участием диктаторов от картин частной жизни, где будничному факту не дано слишком выпирать из ряда. Частная жизнь писателя Адамовича присматривается сама к себе, к неровностям своего течения, поощренная к тому грозным сигналом — обширным инфарктом: «Memento mori!» Увы, недуг отступил лишь на короткий срок, позволив писателю все же подержать в руках книжку журнала со своей повестью, озаглавленной итогово «Віхі» («Прожито»).

На сей раз мемуарному жанру тесно в рамках фактографии, даже когда они разомкнуты в вольную эссеистику или свод дневниковых замет недавней поры. Внятно прозвучавшее «memento mori!» отдается эхом на многих участках повествования, у которого особая акустика благодаря вновь ожившим картинам войны, понятой как пограничная реальность. Как тесно сдвинутые «там» и «здесь», по ту и по сю сторону нашего земного опыта.

Не раз упоминается об алогизмах людских судеб, их переплетениях и разлетах, окрашенных почти мистически. Вот случай из сравнительно простых — в бытовом антураже. А точнее — в банном. Сошлись посреди земного «чистилища» двое голеньких, прохваченных общим жаром и парком, перебирают некоторые черточки былого. Один — инвалид, нога не гнется. А он хроменько пританцовывает. Вроде на потеху второму: гляди, мол, важная памятка о тебе осталась — до конца моих дней. И верно: в годы оккупации второй из двух распаренных, тогда партизан, охотился на первого, служившего полицаем. Подстрелил его. Но тот чудом спасся и по отбытии положенного срока на рудниках вернулся домой с охранной бумагой от властей. Что было — сплыло? Вопрос, подсказанный авторской интонацией озадаченности, отчасти метафизической: да совместимы ли на единой плоскости столь разные витки судеб? Не подтачивается ли фарсовостью банной встречи бытийственная серьезность первой?..

Тут уместно наблюдение композиционного свойства: упомянутая банная встреча вплотную придвинута к мистической вариации на тему «Вождь советский — вождь немецкий. Запредельные беседы». К этому сюжету мы еще вернемся, пока отметив лишь частность: обе пары собеседников (Сталин — Гитлер, бывший партизан — бывший полицай) прямо-таки изнывают от приливов любознательности. Советскому диктатору важно стать свидетелем судьбоносных решений в рейхсканцелярии; бывшему партизану разгадать загадку почти невероятного спасения полицая. Обоим любопытным дан шанс вытянуть нить из далеко откатившегося клубка, и они взбудрены такой возможностью, как бы раздвигающей границы их бытия. Авторский интерес и к танатологии и к экзистенции персонажей, будто цементом, связывает серию разномасштабных (и разножанровых) эпизодов.

«Какие сны приснятся в смертном сне?» — этот гамлетовский вопрос скрыт в самой природе батального материала. Но большинству советских повествователей о войне с их навыками эпиков-позитивистов закавыки гамлетизма без надобности. Были, правда, у нас искатели далеко запрятанных смыслов — хотя бы Константин Воробьев и Виталий Семин, умевшие ловить моменты чрезвычайных напряжений, когда страдание чревато вспышкой сверхзоркости.

Собственно, советскому батальному андерграунду и положил начало К. Воробьев повестью о плене, ранняя версия которой относится к 1943-му и которая пришла к читателю лишь в конце 80-х под названием «Это мы, Господи!». Здесь катастрофизм второй мировой сразу же увиден в онтологическом срезе и напрямую артику-

лирован авторской речью: да, это мы, но кто же тому поверит? может, ты, Господи?! Без всякого временного отдаления от фактов показана будничность лютого насилия, выколачивания жизни из тела; удостоверено, что человек, побывавший на войне (тем паче — в плену), уже не будет новичком среди покойников — вроде как прошел стажировку.

Кажется, пером молодого К. Воробьева двигала сама эсхатологичность происходящего, искавшая случая выговориться, покуда горяча. Затем наступила пауза. К примеру, В. Семину, дабы рассказать о нацистском арбайтслагере, где прошла пора его отрочества («Нагрудный знак OST», «Плотина»), понадобилось тридцать лет подготовительной духовной работы. Рассказать, конечно, с к в о з ь фактографию.

Характерно, что наши авторы трагедийных, то есть верных запросам наиболее сурового из жанров, повествований о войне побывали по ту сторону фронта (плен, побеги из плена — К. Воробьев, нацистский каторжный лагерь — В. Семин). Опыт, вынесенный с той стороны, — сама запредельность и отрицание надежности позитивистских мерок. Алесю Адамовичу еще до его партизанства оккупация открылась как некое иномирие и надругательство над основами бытия. В частности, открылась апокалиптикой прогона несметных колонн российских пленных на Запад (те страны, где об этом рассказано, содержат едва ли не главное обоснование упорства авторских «зачем» и «почему» о капитальных началах мироустройства).

Воробьев и Семин трудились над алогизмами войны, понятой как вызов (каких же сил?) самому небу. Адамович, который не в пример обоим отдалился от мая сорок пятого почти на полвека, гораздо шире видел исторический фон того мегатонного взрыва, дальное действие ударной волны, не раз обезжавшей планету. А переводя взгляд на отдельные судьбы, видел, как ход времени штрихует либо размывает резкие отметины фронтовой поры, отбегающей назад вместе с молодостью ветеранов.

По мере своего расширения послевоенная полоса выкладывала взгляду завершенный рисунок судеб, преодолевших рубеж сорок пятого, заодно ориентируя этот взгляд. Теперь судьбы вправлены в широкую раму, какой не было у баталистов, не столь отдаленных от сорок пятого.

Закатная черта зрелого ветеранства, или попросту старости, — очень уж близкое знакомство с биологическими циклами, скрипучим чередованием возрастных фаз (взгляни-ка в зеркало!): «Мы близимся к началу своему». Подобная смена циклов сейчас интересует и художника военной темы...

Семейство Адамовичей война, можно считать, пощадила: папа, поселковый доктор, демобилизовался из уже бездействующей армии с двумя просветами на погонах, сыновья-подростки честно отпартизанили, а с ними и мама Анна Митрофановна. В общем, после такого-то четырехлетия сошлись у родного очага. Радость. Дальше вплоть до завершения (ненасильственного) каждой прослежены три судьбы (не считая авторской). Так прослеживается рост ствола с вонзившимся осколком, который медленно, но верно обволакивает древесная мякоть. Органика роста или нахрап военного насилия? — такова, собственно, антитеза, к которой стянуто повествование.

На Адамовича в былые годы навешивали грозный ярлык — «пацифист». А он и впрямь был пацифистом — в том смысле, что начисто отказывал человеку с ружьем в моральной санкции на выстрел первым, даже на угрожающий ружейный выпад в сторону соседа. Могли ли подобное вытерпеть организаторы афганского похода, ошетиленные против собственных граждан «щитом и мечом» тайной полицией?

Автор «Vixi» твердо знал, что в ядерный век пацифизм аксиоматичен. Да, но главный положительный персонаж повести Анна Митрофановна до самой кончины не думала отречься от былого партизанства. Что ею двигало? Подводя итоги своей и матери жизни, писатель не задерживается на полутветах: долг, патриотизм, ненависть к иноземцам в рогатых касках. Ненависть? На нее, возведенную официозом в ранг «науки» («Наука ненависти»), ссылок нет. Речь больше о сострадательности поверх национальных и прочих перегородок. Однако мало похожей на кроткое всепрощенчество старообрядца Рындина из последнего романа В. Астафьева.

В характере Анны Митрофановны проглядывают суровость, деловая хватка, а плюс к тому склонность к лицедейству как условию удачной интриги, игры против немецкой комендатуры и полицаев — игры на смертельной черте. Так во имя чего же риск? Есть ответ в тексте, нарушающий патетику привычных речитативов (про высокий патриотический долг и пр.): «Она спасала самое главное, без чего ей не жить, — детей, семью». Все так. Но в итоговой вещи Адамовича житейская внятность мотивов бывает вынуждена уступать напору интенций, очень трудных для выговаривания и тяготеющих к анонимности. Как раз посреди рассказа о матери автор

выделяет шрифтом слова о себе самом, «как бы живущем после смерти». А за ними — эмоция не из обиходных: давний озноб под дулами полицейских карабинов навечно при нем и даже коктебельскому солнцу (есть воспоминание о скольких-то неделях отдыха в Крыму) того озноба не унять.

После отроческого опыта пространство жизни просматривается насквозь, заодно — и протяженность судеб, пересеченных полосой лихолетья. И не случайны попутные рефлексии об отмеренных нам годах как о промежутке, мостике между безмерностями до и после. Столь же неслучайно в финальной строке краткость промежутка обозначена с помощью глагола «перебежать» («Из вечности перебежать в Вечность»).

Понятно, что при такой системе акцентов строки о матери — под особым напряжением и подробностям ее пути задан масштаб авторских мыслей об охранительных силах жизни в лихую годину, когда словно разверзается преисподняя.

Мать, как и сын, — пацифисты по исходной установке, раньше всего не согласные на уступки Костлявой. А у той своя челядь — помельче и покрупней. Вот, к примеру, сушая мелкота — соседская бабка, ковыляющая в комендатуру сигнализировать немецким властям о «бандитской семейке» Адамовичей. А вот фигуры, которые засяют свет едва ли не всей Евразии, — российский и германский диктаторы. С безвестной бабкой-доносчицей их связывает порука моральной глухоты. Но диктаторские развороты — планетарны. Тут мы возвращаемся к тому, с чего начали, — к жанровой странности эпизодов с участием громкого тандема Сталин — Гитлер.

Обе фигуры возникают словно в сновидческом облачке или струении бреда. Точнее — из облачка, потому что сами диктаторы и антураж кремлевского кабинета, где происходит их встреча, вполне зримы. Чем же заняты победитель и побежденный? Сеансами взаимной терапии, когда еще свежие разочарования (враг у стен Москвы) оборачиваются очарованием собою как стратегом (от границы-то пятились по-скифски, готовя ловушку, о чем германец позновато догадался!), налажен приток лестных данных, к примеру, о Сталине, притом из чужого стана, куда тот и заглянуть-то не надеялся.

Диктаторы скооперировались ради преодоления силы тяжести, остаточного груза «человеческого, слишком человеческого» на сердце. Гротеск и фантастика позволяют писателю измерить, как далеко отброшены в этом случае людские нормы. Ход войны? А почему бы двум стратегам не проиграть на карте операцию по захвату Куйбышева, где укрылась вся чиновничья рать? Или разве не интересно пригласить Адольфа на трибуну мавзолея? Вот где открылись бы резервы послушания кремлевских прихлебал и безответности народа!

Возвышение над миром — главная интенция Вождя и фюрера. И напрасно последний кается перед первым: не уберег, мол, одного пленного — Якова Джугашвили. Ну и что? Это Анна Митрофановна мечется между партизанской базой и поселком, отводя беду от сыновей (кстати, уже после всего Анна Митрофановна не потянула к ответу бабку-доносчицу: дети-то целы, ну и пусть та грешница сама с собой разберется!). А кремлевский хозяин отмахивается от покаяний Адольфа: «Дети! Какие дети? При чем тут дети? Кому от них радость?»

Контраст с героиней почти графичен? Нет, зачем же. При разножанровом своем составе повесть внутренне динамична, слаженна и свободна от статуарных контрастов. «Человек-пульта», — сказано о Сталине. Читается: «Распределительный пульт смертей». Физических? Но в той же мере и духовных. Под простертой рукой Кобы, а равно Адольфа — разгул стихии морального распада. Сквозь нее и пробивают свой путь близкие автору персонажи. Тут — динамика.

Недавно один почтенный культуролог и философ решил на свой лад аттестовать фюрера: «Гитлер — художник, эстетствующий конструктор, вот в чем урок XX века, вот почему невозможна поэзия после Освенцима: невозможно искусство как жесткая конструкция...» (Борис Парамонов, «Постмодернизм». — «Независимая газета», 26.01.94). Спросим: поэзия — непременно «жесткая конструкция»? И — после Освенцима уместней всего раздрызг постмодерна?..

Но вернемся к фюреру. Много же реконструировал «эстетствующий конструктор», вдавливая знак свастики едва ли не в клеточный состав бытия! Из автобиографического повествования В. Семина мы узнаем, как по несколько дней кричали ребята, вернувшиеся из арбайтлагеря, освобождаясь криком от самого воздуха распада, какого наглotalись там. У Адамовича есть эпизод, где партизан спешит известить Анну Митрофановну, что ее сыновья «заутюжены» немецким танком. Известие он сопровождает пояснительным шарканьем, будто давя окуроч. А вдогонку за таким сообщением звучит комиссарская сентенция: «Советская власть вас не забудет,

вы ради нее пожертвовали детьми...» Тут — моральный след не свастики, так серпа и молота.

Не правда ли, «конструктивные» начала вносили в мир «эстетствующие» диктаторы? Заострим-ка против них эстетику постмодерна, состав которой, правда... сыпуч!

По Адамовичу, оба диктатора на свой лад религиозны — при их острой неприязни к христианству. Адольфа по-прежнему, как и в «Карателях», из глубин Космоса сверлят Глазами некие «Высшие Существа», чью волю он, удостоенный космического доверия, представляет на Земле. Он или Сталин? Вопрос вопросов для фюрера. Осторожно зондируя почву, Гитлер уясняет: кремлевский Атеист тоже встретился с Глазами Существ. Что называется, одна чертовщина на двоих.

Прикоснувшись к подобной мистике, мы заглядываем в лабораторию абсолютного зла, чувствуем шершавость его психологической подкладки. И другое чувствуем: лаборатория эта тесно сообщается с фабриками смерти, загазовавшими своими выбросами воздух XX века. То есть у самих выбросов и угаданной писателем правды внутренних установок — общий масштаб.

Диктаторы из повести Адамовича, запалая, так сказать, в четыре руки огонь Хатыней и Лидиц, уже тогда благословляли постмодерн, ибо «жесткая конструкция» мироустройства не по нраву Высшим Существам, им подавай распад структур, переплавку конструкций, жертвенные дымы от руин к небу.

По эстетической позиции Адамович, конечно же, — «классик». И если традиционную документалистику он соединял с фантазмагорией, острым гротеском, то прокладывая «лабиринты сцеплений» между ними. Так и в итоговой книге «Vixi».

Снова и снова возвращаясь к главной трагедии века, Алесь Адамович не ужасал войной, а осознал войну как параноидальное состояние мира, исследовал разброс исходных волевых установок на фоне взрыва войны. Труд, который брали на себя немногие из ее летописцев.

В. КАМЯНОВ.

*

НЕДУГ ДМИТРИЯ ГОЛУБКОВА

Дмитрий Голубков. Восторги. Роман в двух частях. «Дружба народов», 1993, № 3.
 Дмитрий Голубков. «Где жизнь играет роль писца». Дневник. «Согласие», 1993, № 5.
 Дмитрий Голубков. Дневник. «Юность», 1993, № 10.

«Возвращение Дмитрия Голубкова» — так следовало бы озаглавить эти заметки. Но что-то мешает. Нет такой уверенности в том, что странный интерес к этому Божьей милостью человеку, внезапно и без всяких видимых причин вспыхнувший в минувшем году (три публикации в центральных журналах), не сместится забвением уже привычным. Есть и серьезнее опасения: с уходом из жизни последнего человека, который знал Голубкова лично, его имя забудут вовсе. Почему нет? Это совсем не так невозможно, как может показаться умиленному взору людей, знавших и любивших Голубкова при жизни (а это чуть не половина писателей-шестидесятников от Евгения Евтушенко до Вадима Кожина). Голубков ничего (или почти ничего) не сделал для того, чтобы зацепиться в памяти новых поколений. Его вспомнят разве что по рассказу Ю. Казакова «Во сне ты горько плакал» о несчастном самоубийце, невольным и анонимным героем которого он стал. В журнале «Согласие» это понимали и напечатали фрагмент из казаковского рассказа рядом с дневниками Голубкова — наивный редакционный жест, а между тем — против него нечего возразить: образ Голубкова, кажется, та ет на глазах, как облако в небе; надо что-то делать, как-то его «закрепить», как-то замедлить это безжалостное вымывание памяти о человеке, самое присутствие которого в художественной жизни России XX века было отмечено какой-то печатью свыше.

И это не громкие слова. В Дм. Голубкове больше, нежели в ком-либо из его окружения, казалось, были налицо все элементы гения: талант, ясный ум, простодушие, безыскусность, сосредоточенность, уважение к авторитетам, равнодушие к легкой славе, душевное трудолюбие и, наконец, главное, без чего ни при каких условиях не может состояться русский писатель, — врожденная совесть, мучительным заложником которой он, в сущности, и оказался. «Для Мити была роко-

вой принадлежность прошлому столетию с его кодексом чести и тиранством совести...» — пишет Владимир Леонович («Дружба народов», 1993, № 3).

Нельзя без какого-то душевного трепета читать строчки из дневника Голубкова, в которых изображен перед глазами его сосед по Абрамцеву Юрий Казаков — совсем другой, чем он видится из своих волшебных рассказов; маленький, смущенный, виноватый — совершивший в отношении к Голубкову всего-то мелочное предательство. «Все, что думаю о нем, сказал ему — что душа скупая и пустая, полная лишь себялюбием и тщеславием, что настоящее его скверно, а будущее прямо зловеще, если не соберет опрятно, веничком, уцелевшие в душе крохи... Слушал задумчиво и растерянно» («Согласие», 1993, № 5).

Страшно почему-то не за Казакова — за Голубкова. Страшно даже теперь, когда конец его известен: в ноябре 1972 года в пустом абрамцевском доме покончил с собой выстрелом из ружья (патроны одолжил у Казакова). Страшно... потому что в такой нелепой, на первый взгляд, смерти (судя по воспоминаниям, Голубков был верующим, православным человеком) чувствуется жестокая логика и какая-то тяжелая поступь судьбы. Так должно было случиться — вот что пугает.

«Это был вольный шаг и страшный умысел человека, не смирившегося с жизнью», — пишет хорошо знавший Голубкова В. Леонович. Конечно, ему виднее. Все же в этом «умысле» было что-то неясное; пока не вышли наконец в печати дневники покойного Голубкова — может быть, главное произведение его жизни. В них стираются «случайные черты» его биографии, и перед нами встает глубоко символическая фигура, в которой литература и жизнь сплелись в трагический «смертный» узел, не подлежащий обычной развязке.

Его никто не преследовал, никакой КГБ. Он работал редактором поэтического отдела издательства «Советский писатель», был автором более десятка книг, выходивших своим порядком. В его таланте никто не сомневался, о его честности ходили легенды. Он был своего рода идеальным «человеком 60-х годов» и, судя по всему, не пытался нарочито выделиться среди своего поколения. Словом, при любом внешнем раскладе была ему, казалось, уготована тихая судьба. Что же произошло?

Это звучит странно, но по-другому сказать нельзя: Голубкова убили восторги. Он слишком доверился состоянию души, против которого мудро предостерег еще Пушкин в «Возражении на статьи Кюхельбекера в „Мнемозине“»: «Нет; решительно нет: *восторг* исключает *спокойствие*, необходимое условие *прекрасного*. Восторг не предполагает силы ума, располагающей части в их отношении к целому... Восторг есть напряженное состояние единого воображения. Вдохновение может быть без восторга, а восторг без вдохновения не существует».

Не сомневаюсь, что Голубков, автор романа о Баратынском, стало быть, знаток 20 — 30-х годов прошлого века, знал эти слова. Тем более поразительно, что свой главный и, по сути, автобиографический роман он называет именно так: «Восторги». Здесь не могло быть случайности. Это был вызов судьбе ценою жизни. Фигура Баратынского недаром его занимала; в конце романа неаполитанский лекарь «задумчиво» говорит над телом поэта: «Morte per emozione... Il signore era poeta...» («Смерть от воображения... Господин был поэт...») (Дмитрий Голубков. Недуг бытия. М. «Советский писатель». 1974).

Голубков пытался сделать восторг своим жизненным *stado* — единственным, на его взгляд, истинным душевным состоянием, в котором обязан пребывать поэт. Вот он посетил выставку работ Конст. Коровина (август 1961 года) и пишет в дневнике: «Три раза ходил на выставку, в прок запасаясь восторгом» (разрядка моя. — П. Б.). Какая, в сущности, нелепая мысль! Но без нее нельзя понять Голубкова. Восторг был для него не просто мгновенным озарением, случайным подарком, Божьей благодатью; он был тем воздухом, которым только и желала дышать его творческая натура. Всем прочим («промежуточным») состояниям души он упрямо не доверял:

Вот-вот: в этой капле все дело,
В ничтожной капельке мути.
Нужна мне чистейшая влага...

(Из книги стихов «Окрестность», 1971)

Внутри Голубкова словно находился какой-то хитрый камертон, который отзывался на музыкальные колебания определенной частоты (лучше сказать: чистоты) и на другие звуки не реагировал, оставаясь просто куском железа, мертвой мате-

рией. Ее присутствие (молчание камертона) тяготило Голубкова. «Все противно», «отвращение к себе», «нет настоящей силы» — едва ли не более частые записи в дневнике, чем взволнованные фиксации «восторгов» (был на выставке, читал книгу, слушал музыку, гулял в лесу).

Ясно, что он мог проявиться в полную силу только как лирический поэт, и книга его стихов «Окрестность», безусловно, останется в русской поэзии. («Ты стал национальным поэтом», — сказал прочитавший книгу Голубкова Евг. Евтушенко, и это была, кажется, одна из немногих его громких фраз, в которых он не сфальшивил). В прозе он не мог до конца выдержать необходимого тона, которым отличался как поэт. «Господи — весна!» — чудесное начало романа «Восторги»; но здесь бы и следовало остановиться, ибо такое начало предполагает не «текст», но — бесконечную музыкальную паузу.

Самое странное, что Голубков как будто понимал безысходность своего положения заложника восторгов, но не пытался от этого недуга как-то излечиться, чтобы стать, что ли, нормальным. Напротив, мысль о такой смерти, какая не поддавалась бы логическому объяснению («смерть от воображения»), видимо, сильно его занимала и, быть может, казалась единственным достойным выходом из собственной ситуации:

Тот, чья жизнь бесполезно сгубилась,
Может смертью еще доказать...

Вл. Леонович уместно (хотя и рискованно) цитирует эти некрасовские строки в воспоминаниях о том, кто не испугался закончить лирический роман («Восторги») самоубийством главного героя, как не испугался осенью 1972 года волевым усилием завершить свой жизненный сюжет. Дм. Голубков при внешней беззащитности оказался человеком поразительного мужества и какой-то «экзистенциальной» дерзости; человеком, который сумел твердо поставить точку там, где уже не могло быть искреннего продолжения.

«Но почему, почему? ищущ и не нахожу ответа. Или в этой, такой бодрой, такой деятельной жизни были тайные страдания? Но мало ли страдальцев видим мы вокруг себя! Нет, не это, не это приводит к дулу ружья. Значит, еще с рождения был он отмечен неким роковым знаком? И неужели на каждом из нас стоит неведомая нам печать, предопределяя весь ход нашей жизни?

Душа моя бродит в потемках...» (Юрий Казаков, «Во сне ты горько плакал»).

Всматриваясь в судьбу Голубкова, вдруг начинаешь думать: неужели вся его жизнь была просто ошибкой, «насмешкой неба над землей»? Неужели он оказался просто жертвой, принесенной на безжалостный алтарь искусства?

Молчишь, ибо об этом не нам судить. Не нам судить, приложимо ли к судьбе Голубкова давно сказанное: «Сберегший душу свою потеряет ее; а потерявший душу свою ради Меня сбережет ее» (Мф. 10, 39).

Павел БАСИНСКИЙ.

*

«УЗРЕНИЕ СУЩЕСТВА МУЗЫКИ ПРИ ПОСРЕДСТВЕ ЕСТЕСТВА ЖЕНСКОГО И БЕЗУМИЯ АРТИСТИЧЕСКОГО...»

А. Ф. Лосев. Жизнь. Повести, рассказы, письма. СПб. А. О. «Комплект». 1993. 535 стр.
Алексей Лосев. Женщина-мыслитель. Роман. «Москва», 1993, № 4, 5, 6, 7.

Появление прозы А. Ф. Лосева можно было бы счесть событием собственно литературной жизни, возвращением в нее чего-то еще «забытого», если бы вчитавшемуся в эту прозу не становилось очевидно, что перед ним не что иное, как продолжение философских работ Лосева, созданных до ареста и ссылки (проза писалась, по-видимому, в промежутке 1932 — 1934 годов). Пролетавшая под спудом более полувека, она — прежде всего дополнение и иллюстрация музыкальной феноменологии, с блеском разработанной Лосевым в капитальном труде «Музыка как предмет логики» (1927). И первое движение в сторону прозы было сделано именно здесь — имею в виду вставной трактат «мало известного немецкого писате-

ля... достаточно глубоко понимающего сущность музыкального искусства» в подглавке «Музыкальный миф» (это и название трактата «мало известного» писателя). Отрывок, в котором Лосев пародирует Ф. Ницше (в глубине оставаясь очень «серьезным», как серьезен тот же Ницше за всеми парадоксальными выкриками его Зарагустры), заключает в себе и те тезисы музыкальной эстетики Лосева, какие будут варьироваться героями повестей «Трио Чайковского», «Встреча» и романа «Женщина-мыслитель» в их диалогах и исповедях на их музыкальных «пирах»¹.

Более того, в этом отрывке, приподнятость которого заставляет вспомнить еще и С. Цвейга, Т. Манна, Р. Роллана, Г. Гессе, их патетические рассуждения на музыкальные темы, мы уже встречаем тот самый персонаж, ради кого и будут созданы все три музыкально-беллетристических опуса А. Ф. Лосева. Вот начало «немецкого» трактата: «Когда сидела Она, измученная и благодатная, за фортепиано и рождались ослепляющие светлы и тайные шумы; когда чрез тонкое тело Ее алели и розовели звуки и потрясалось судорогами исступленное естество Ее; когда, сидя рядом с Нею, Безмерною и Ликующею, терял я в сознании и Сидящую и фортепиано, и все заволакивалось огненным туманом, сквозь который виднелись то белые и тонкие пальцы, плясавшие свой мучительно сладкий танец, то трепещущее тело Ее, славившей своего Бога в радении и восторге, — открылась тогда музыка вещему моему слуху как особое, самостоятельное, извечное — и уж не единственное ли? — мироощущение».

Пианистка (с большой буквы) в трактате «Музыкальный миф» — ипостась Тархановой, «одной из наиболее талантливых и оригинальных» пианисток в повести «Встреча», Томилиной, «знаменитой русской пианистки, стяжавшей себе славное мировое имя... мыслящего архитектора в музыке, большого трагического философа в игре» из «Трио Чайковского», и, наконец, Радиной, «Баха XX века, данного не в композиции, но исполнении» из романа «Женщина-мыслитель».

Итак, «Она», а вслед за Ней — Тарханова, Томилина, Радина — одна и та же носительница «особого мироощущения» (герои Лосева, музыканты-исполнители и в то же время «ценители» музыкального искусства, живут не просто «музыкой», но «в музыке», это их, так сказать, экзистенция), олицетворение «музыкального мифа», с которым и стремятся слиться герои, в первую очередь — главный герой Николай Вершинин, философ и математик, влюбленный в каждую из этих пианисток.

«Узрение существа музыки при посредстве естества женского и безумия артистического» — так обозначил автор «немецкого» сочинения своими архаизированными словесами способ постижения «музыкального мифа»; то же совершается и в прозе А. Ф. Лосева. Тезисы «немецкого» трактата да и самой «Музыки как предмета логики» обретают здесь плоть и кровь, хотя сохраняют жесткий схематизм. «Борьба идей» и «кипение страстей» сводятся в этом «бытии, зримом в музыке» (по определению Вершинина — главного оппонента Тархановой — Томилиной — Радиной), в этом «особом мироощущении», порождаемом музыкой, — к противопоставлению двух начал: эмоционально-волевого и логико-диалектического. Сила и форма воздействия музыкального произведения, равно как и степень и глубина его восприятия, зависят от того, возьмет ли верх первое или второе... Все это — привычные дефиниции истории музыкальной эстетики, но здесь они берутся в своем крайнем выражении. Переживание двух сторон в предмете музыки — чувственной и духовной, замеченное с незапамятных времен, обострившееся «предельно» в эпоху романтизма, вызывавшее тревогу не только у Гёте, Л. Толстого, но и у немецких философов-классиков, которые находили в современной им музыке вырождение вкуса, истисненное усложнение, торжество дисгармонии, а с ним и победу «демонического» начала, в конечном итоге было четко сформулировано Ф. Ницше: сначала в книге «Рождение трагедии из духа музыки», затем в «вагнеровских» трактатах. «Дионисийское» и «аполлоническое» как две стороны мироощущения античности, выявившиеся в греческой трагедии, — в европейской культуре наших дней, в эпоху «индивидуалистическую», сохранили себя именно в музыке... А. Ф. Лосев избегает дефиниций Ницше, «дионисизм» и «аполлонизм» нужны ему не в историко-философском контексте, а в психологическом. Он намерен ввести читателя в миф («музыкальный миф») остраненно, через музыкальный мир своего современника.

¹ В настоящей рецензии я коснусь лишь музыкально-философских произведений Лосева, прежде всего — повести «Трио Чайковского» из книги «Жизнь» и романа «Женщина-мыслитель», связанных единством замысла.

«Дионисийское» (эмоционально-волевое), вырвавшееся наружу, — губительно. Музыка — соблазн, это разрушающая страсть, вызывающая в то же время блаженство. Страсть эту Вершинин определяет как «музыкальный восторг», заимствуя слова Ницше². Идея «музыкального восторга» впервые у А. Ф. Лосева появляется тоже в «немецком» трактате, где автор, адресуясь к пианистке, восклицает: «Волнованиями и потрясениями, восторгами и слезами, трепетанием горячего тела слышу Твою Аппассионату. Умереть у ног Твоих, взвиться фейерверком и рассыпаться в Бездне и Высоте, слиться и исчезнуть в Тебе — это Твоя музыка, ее мучительное наслаждение бытием»...

Но «слиться и исчезнуть» было бы роковым шагом для мыслителя Вершинина. Он выбирает иной путь. Спасая себя, бежит «от музыки» (в то время как Ницше бежал «в музыку», спасаясь, но не спасшись от безумия), бежит от «Аппассионаты», зазвучавшей в романе в полную силу именно как «демоническая стихия», которую если нельзя преодолеть, то надо истребить. Если нельзя слиться с женщиной-музыкантом, то есть с самой Музыкой, то следует от нее избавиться «навсегда» (пианистку-мыслителя Радицу и убивают). Радица — помеха, как все иррациональное, ее удел, мечтает Вершинин, — немота. Ему видится, что Радицей в ее пятьдесят лет (сейчас ей тридцать шесть) «не нужно будет играть Баха и Бетховена! Она сама, одним своим видом, одним своим взглядом, заменит вам все концерты и сонаты, она сама станет живой Аппассионатой». «Алгебра», «музыкальное знание» и помогают Вершинину превозмочь «Аппассионату», приводя его к катарсису — новому мистико-аскетическому опыту, пережитому им, правда, чисто эстетически, в сновидении (финал «Женщины-мыслителя»). Неустойчивость, мнимость этого катарсиса, когда, казалось бы, бездны «музыкального мифа» остались позади, вообще зыбкость «внутреннего состояния» Вершинина так кричащи, что поражаешься тому, до чего же сама «страсть к диалектике» может стать судорожно-истеричной, это «агония знания», далекая от нравственного достоинства сократического диалога, тем более — от «умного делания», которому «сновидчески» предается герой.

Эта борьба с музыкой-Аппассионатой, с «демоном музыки», «музыкальным мифом» опять-таки обещана еще в «немецком» трактате — в заключительной его части, своего рода «Гимне Музыке», читаемом и как Проклятье ей (вспоминается Вальсингамов «Гимн чуме» в пушкинской «маленькой трагедии»): нельзя же жить в том амбивалентном Хаосмосе, который и есть Музыка, — «крутящемся и клубящемся, воссоединяющем личность с Первобытно-Единым и разрушающем всякое личное оформление...». В «Трио Чайковского» и в «Женщине-мыслителе» война с Музыкой уже ведется не на жизнь, а на смерть — буквально, ибо и Томила и Радица, несмотря на их гениальность, после признания и поклонения вызывают к себе враждебность с эксцессом преступления — обе погибают, погибает с ними и Музыка и «музыкальный миф»³.

Преступление против Музыки (подавляемое, но «чаемое» преступление), в виде намека забрежлившее в «Музыкальном мифе», сюжетно разрабатывается в «Трио Чайковского», но окончательно реализуется в «Женщине-мыслителе». Философски и психологически этот бунт разворачивается автором очень эффектно. Но прежде чем вникнуть в глубинный его замысел, уясним более полно, что несут в себе эти женские образы-символы, как эринии, преследующие автора. Очевидно, что повесть «Трио Чайковского» восходит не только к «немецкому» сочинению, но и к другой работе А. Ф. Лосева, одной из самых ранних и значительных, — «Эрос у Платона». Отождествление музыки с Любовью (а в прозе — персонально с Томилиной — Радицей) имеет истоком диалог Платона «Федр». Исследуя античные формы Эроса — от низшего (телесного) до высшего («Эрос добродетели») — как ступени к познанию

² Состояние «музыкального восторга» описывается в повести «Трио Чайковского» (см. «Жизнь», стр. 192 — 194). В этом описании, по существу, синтезированы музыкальные представления романтиков вплоть до Ницше и Вагнера. Меткость авторских наблюдений поразительна, например такое: «Любое поведение тела и любая мораль совместима с любой степенью музыкального восторга». Это ли не характеристика нынешнего музыкального быта?

³ Появление «немецкого» произведения («Музыкального мифа») в шеллингианском трактате «Музыка как предмет логики» все же загадочно — так не созвучна пифагорейской «алгебре» трактата эта ницшеанская струна. Не был ли заявлен этим протест не только против Ницше, которого, кстати, Лосев подчеркнул «терпеть не мог» до конца жизни, но и на какой-то момент против музыки вообще как против помехи мыслить, помехи жить «разумно» в гегельянско-государственном стиле советских 20-х годов, в соответствии с тогдашней иллюзией новых советских интеллектуалов — не обязательно марксистов?

Эроса Космического, близкого христианскому личному бессмертию, А. Ф. Лосев в упомянутой работе особо останавливается на «Эросе творческом» — еще одной промежуточной стадии на пути к космическому Эросу Музыка в «Трио Чайковского» равнозначна «Эросу творческому» Платона. По мысли автора, следующего за Платоном, чувственная любовь Томилиной и Вершинина (их Эрос «телесный» и «творческий») должна преобразиться в Эрос добродетели — Любовь духовную. Преобразиться или... погибнуть. Попытки Вершинина соединиться с Томилиной (как и затем с Радиной) наталкиваются на некоторые «телесно-творческие» недоразумения (назовем их так). Ситуация «Вершинин — Томилина» иллюстрирует мысль лосевского «Эроса у Платона» (как и мысль самого Платона), что на высшей стадии Эроса «должно происходить творческое взаимопроникновение душ ради божественного всеединства» Если этого не происходит, наступает трагическое разъединение душ. «Эрос» Томилиной (затем Радиной), ее «демон», ее «гений», не преображен, чтобы слиться с алкающим Истины творческим Эросом Вершинина, начинается отъединение, затем катастрофа, преступление, смерть⁴ Происхождение трагедии из духа Музыки в «Трио Чайковского» решается на умозрительно-мифологическом уровне. Хотя действие здесь (как и в «Женщине-мыслителе» и в повести «Встреча») совершается в современную эпоху — в 1914 году накануне мировой войны (в романе и «Встрече» — позднее), сам «языческий» план повести (эстетика «пира» в жизни героев) отсылается к античному подтексту

Что касается «Эроса божественного», то. вчитаемся в эпилог повести. После двукратного исполнения героями фортепианного Трио П. И. Чайковского, подробный анализ которого Вершининым (то есть и Лосевым) есть одновременно и пессимистический итог судеб героев, после трагического разрыва Вершинина и Томилиной происходит катастрофа: немецкие дирижабли забрасывают местность бомбами, под которыми гибнет и дача, где происходили музыкальные «пиршества», гибнут музыканты, гибнет Томилина (Аппассионата, Музыка), уцелел лишь Вершинин. Но картина эпилога все же отчасти дана Лосевым как миропреображение. В эпилоге — тоже пир, но другой, не на уровне «культуры», как это было на вилле, а на уровне «народно-мистическом» — в госпитале, где лежат раненые русские мужики, к рассуждениям которых и прислушивается контуженный Вершинин. В краткий, но впечатляющий «античный диалог» спрессована житейская и философская правда, скажем, такой большой и честной книги, как «Народ на войне» С. З. Федорченко (1917 — 1927), решаются все те же «проклятые вопросы» российского бытия — страдания народа, вина интеллигенции и, в виде рефрена, как итог (и пророчество?), тема России — «искупительной жертвы» Гибель Томилиной и всего музыкального салона прочитывается как возмездие (античная «кара» цеппелины выглядят не то валькириями, не то эриниями), а гибель Музыки означает и «крушение гуманизма» В финале — намек на «мировой пожар» вагнеровского «Кольца...» или на шпенглеровский «реквием» Но А. Ф. Лосев — не Шпенглер и не Вагнер, у него в последних строках все-таки звучит традиционно русский мотив просветления и надежды: две души, Вершинина и Натальи Томилиной, как бы сливаются: теряющий сознание Вершинин слышит любимый запах лесного ландыша — запах духов Томилиной.

Другое дело в романе «Женщина-мыслитель».. Отчего был написан этот роман, когда, казалось бы, все сказано в «Трио Чайковского»? Многое сказано об Эросе. Сказано то, прекрасное и горькое, что созвучно стихам Вяч. Иванова, его «Нежной тайне»

Луг уста и мечты; не обманчиво вешнее сердце:
Если я в жизни любил, знайте, что Тайна — нежна.
Тайна нежна, — вот слово мое, — а жизнь колыбельна,
Смерть — повитуха, в земле — новая нам колыбель.
Тайна нежна. мир от вечности — брак, и творенье — невеста,
Свадебный света чертог — Божья всезвездная Ночь.
Тайна нежна! Все целует Любовь и лелеет Пошада.

Да и философия музыки в романе «Женщина-мыслитель» повторяет «Трио Чайковского» Но роман отличает не только предельная острота полемики, а какой-то разлитый по тексту яд.

⁴ Слышатся здесь и отголоски вагнеровского «Тристана и Изольды» — заключительного дуэта

Снова присутствующий здесь Вершинин — человек все того же «фаустовского типа», которого не остановить в его стремлении «ввысь», к возделенной и мучительной цели — «музыкальному знанию»⁵. И с пути к ней надо убрать ту, что, как наваждение, преследует его день и ночь, чья женская «стихия» остается неподвластной знанию... Кто она такая, Радина — «Бах XX века»? Обыкновенная женщина («баба»), окруженная богемой, жизнь которой она вполне разделяет. Она — еще и мещанка, чей быт не идет дальше кухонных дряг и пустопорожних разговоров. Гения своего она не ощущает, да и вообще «не любит музыки». Всей этой «карнавальности» и противится мысль философа. Ему «не смешно», когда «маляр негодный» (окружение Радиной) «пачкает Мадонну Рафаэля»... «Непознаваемость» Радиной то и дело возбуждает у Вершинина желание совлечь с Радиной-Истины покровы ее «нежной Тайны», а поскольку это не удается, остается последний выход — дискредитация ее. Вершинин делает это прежде всего «теоретически» («музыкальное знание» — вершина знания, поэтому всеильно).

Как бросить тень на гениальность Радиной? Снизить ее еще больше, чем снизила она себя своим вульгарным бытом, участием в «карнавале». Ее гениальность, считает Вершинин, — низкой природы, у нее один источник — женская истерия. Начинается манипулирование модными тогда открытиями психоанализа. Истерия, о которой много писал З. Фрейд, быстро свила гнездо и в беллетристике. Одним из самых ярких эксплуататоров идей Фрейда, как известно, был С. Цвейг. Вся его серия «Великие судьбы» основана на психоанализе и клинических откровениях Фрейда. Точно так же истерия, эта разновидность «артистического безумия», — единственное, чем Вершинин может объяснить феномен «Баха XX века». Спутники истерии — «вытесненная сексуальность», «либидо» (многомужество, связи). Собственно, это инкриминируется Радиной более всего.

Но если смерть Радиной от выстрела друга, науськанного Вершининым, прочитывается не иначе как «месть» Музыке, Аппассионате, да еще и соблазнителью Ницше, то этим не исчерпывается внутренняя мотивация романа, его загадка.

Подсказку дают имена Баха и Моцарта. Истеричка Радина гениально играет Баха?! Это возможно, но так не должно быть — это противоречит «музыкальному знанию». Помеху надо устранить (что и происходит). Тут-то понятен становится и навязчивый «мотивчик», упорно внушаемый читателю, — пианистку ждет музыкальная немота, она скоро бросит играть, должна «замолчать». Тема-мотив, которую могут объяснить строки, по ходу чтения романа всплывающие в памяти:

Где ж правота, когда священный дар,
Когда бессмертный гений — не в награду
Любви горящей, самоотверженья,
Трудов, усердия, молений послан —
А озаряет голову безумца,
Гуляки праздного?.. О Моцарт, Моцарт!

Какая знакомая схема, какие совпадения — Радину, как и Моцарта, убивают в трактире (в ресторане, куда заманил Вершинин).

Аукнулось имя Моцарта в финале романа, когда Радина в облике его матери играет Вершинину-мальчику Моцарта (сравните: «Ребенком будучи, когда высоко звучал орган... я слушал и заслушивался...»). Вершинин может «заслушиваться», но не может «лелеять» — любить. Самоотвержение, труды, усердие, моления — все это черты Николая Вершинина, философа-музыканта, алгеброй поверившего гармонию, но не удержавшего гармонию в себе⁶.

В этой насильственной гибели «Баха», очевидно бессмысленной и необъяснимой философски, в ниспровержении музыкального бытия героини все время чувствуется «методологический просчет» Сальеризм Вершинина саморазоблачился, но

⁵ Аллегорическая проза А. Ф. Лосева распространяет свои знаки и на этимологию имен героев. Фамилия Вершинин, конечно же, должна прочитываться как стремление героя «вверх» или же как его положение на достигнутой вершине знания, ибо резонерство Вершинина подавляет других героев, это и знак «превосходства», «гордыни». Радина — это и «радость», и «радение», и намеки на «ад» — ее игра «сатанинская», она играет с «адам».

⁶ Я почти не коснулся незавершенной повести «Встреча», возможно, заключительной части трилогии (если видеть в трех произведениях цикл). Тарханова, оказавшись вместе с «резонером» в лагере «онемела» вовсе презрела музыку, носит кожанку, командует экаами вращает в «новую жизнь»

своему тезису автор все же не нашел явственного антитезиса, несмотря на обилие голосов в этой полифонии.

Просчет Вершинина в том, что он все поминает Иоганна Себастьяна Баха.

Само это понятие — Бах (музыка Баха) — подсказывает ответы на вопросы, мучившие Вершинина, — о природе гения, о выразительности музыки и роли исполнителя и т. д. Дело в том, что дух Шеллинга, его эстетики, его философии откровения, еще витавший над книгой «Музыка как предмет логики», в романе покинул и Вершинина, и весь «музыкальный пир». Философия искусства Шеллинга в этой прозе дает о себе знать — как форма, логическая схема, но не как «душа», не как онтология. По Шеллингу (и по Соловьеву), если «универсум построен в Боге как вечная красота и как абсолютное произведение искусства», то и музыка — часть этой «вечной красоты», она тоже — «первообраз», «форма Логоса», «Слово Божье об универсуме».

Музыка И. С. Баха — тоже божественный Логос, ибо каждая нота ее звучит во Славу Божью. Казалось бы, это аксиома, в этом так же невозможно усомниться, как нельзя внушить себе, что «Хорошо темперированный клавир» (его, по-видимому, слышал Вершинин в исполнении Радиной) — «вытесненная сексуальность». Бах — прямое слово о Боге, вложенное в его дар композитора. Лукавый шеллингианец Вершинин «по странности» забыл, что «музыкальный восторг» Бога не исключает (хотя об этом говорится и в анонимном «немецком» трактате). Припомни он это, тогда бы не было выдумки насчет демонизма «Баха XX века». Тогда в игре на рояле Тархановой — Томилиной — Радиной и Вершинин с его компанией, и сам автор услышали бы то, к чему изначально — ныне и присно — призвано искусство музыки:

Хвалите Его со звуком трубным,
Хвалите Его на псалтири и гусях.
Хвалите Его с тимпаном и ликами,
Хвалите Его на струнах и органе.
Хвалите Его на звучных кимвалах,
Хвалите Его на кимвалах громогласных.

(Псалом 150)

Анатолий КУЗНЕЦОВ.

PS. Встречается суждение, что женские образы прозы А. Ф. Лосева списаны с М. В. Юдиной. На это есть несколько возражений. Во-первых, портреты в их, так сказать, «бытовом облике» ничего общего не имеют с известной русской пианисткой. Это подтверждают все, кто близко знал М. В. Юдину в 20 — 30-е годы и оставил о ней свои воспоминания. Во-вторых, трудно поверить, чтобы автор, философ и музыкант, руководствуясь теми или иными «личными чувствами», мог опуститься до вульгарной карикатуры на эту действительно «женщину-мыслителя», если отбросить иронию заглавия. «Объяснения» А. Ф. Лосева в его письмах к М. В. Юдиной (см. в журнале «Москва», 1993, № 8) ничего другого, кроме уклончивости Лосева, не демонстрируют. В этой публикации нет важного звена — писем самой М. В. Юдиной, что резко снижает ее ценность.

Наконец, если А. Ф. Лосев и метил в какую-то «цель», написав эту прозу, то ею могла быть прежде всего, по-видимому, не близкая ему «карнавальная» обстановка вокруг тех или иных имен и явлений культуры 20-х годов, в том числе в философских кругах, в частности в Невельском кружке М. М. Бахтина, к которому принадлежала и М. В. Юдина. Пародируя (или продолжая?) в своей прозе «мениппеи» К. Вагинова («Козлиная песнь» и «Труды и дни Свистонова» тогда уже были изданы), он направил ее жало против не соответствующей строгости его платонизма и шеллингианства «эстетической вольности» бахтинцев, с которыми, по всей вероятности, он пересекся. Так и возникли в романе «Женщина-мыслитель» едва скрытые образы М. М. Бахтина (Бахтинчик), Л. В. Пумпянского (Пупа), В. Н. Волошинова (Бетховенчик), К. К. Вагинова (Максим Максимович) и так далее. Полифоническая проза А. Ф. Лосева, таким образом, была «приготовлена» для возможного, но не состоявшегося волей судьбы диалога двух философских школ.

А. К.



ОДИНОКИЙ КАРТЕЗИАНЕЦ

Мераб Мамардашвили. Картезианские размышления (январь 1981 года). М. «Прогресс», «Культура». 1993. 352 стр.

Одно дело было — слушать лекции Мераба Мамардашвили, другое — встретить его речь сформированной в книгу.

Я слушала лекции Мамардашвили о Канте в 1982 году и читала почти все, что выходило в печати за его подписью, со ссылкой на его авторство — это были в основном интервью и несколько небольших книжечек: «Формы и содержание мышления» (по теме его докторской диссертации, вышла в 1968 г.), «Классический и неклассический идеал рациональности» (Тбилиси, 1984), «Символ и сознание» (Иерусалим, 1982; в соавторстве с А. Пятигорским).

Но «Картезианские размышления» — первая Книга. И хотя выдержана она в редком для отечественной философской литературы стиле «бесед» или «размышлений», здесь уже в основном стертые следы и приметы речи Мамардашвили, следы создаваемого им устного, обращенного к его слушателям произведения. Его мысль приобрела не свойственную ей письменную форму, подчинившись во многом законам письма. Исчезла трудная, какая-то ступенчатая, располагающаяся сразу в нескольких грамматических и смысловых плоскостях речь; движение размышления, требовавшее для себя в речи своеобразной бесконечной формы, никак не вписываясь в усеченную форму грамматического предложения, разорвано теперь привычными пунктуационными сигналами, прервано и остановлено точками. Создавая Книгу, редактор с неизбежностью должен был пожертвовать и теми постоянными повторами, которые ошущались оправданными действительно только в речи, — они, не давая мысли-речи остановиться в своем непрерывном течении, переводили размышление в новый ряд выразительности.

Теперь Мамардашвили можно цитировать...

Мераб Константинович Мамардашвили всегда был «на подозрении» у отечественного философского сообщества именно потому, что монографий не писал. Ему с пиететом внимала слушающая аудитория, и его уязвляли коллеги. Он и сам, как говорят, переживал эту свою невозможность писать гладко и внятно, переживал «косноязычие» своей мысли. И, наверное, поэтому с такой легкостью позволял свою речь править, признавая диктат добропорядочного редактора.

Будь его курс лекций о Канте представлен на обсуждение коллегам в Институте философии таким же редакторски отшлифованным, каким предстал сейчас нам его курс лекций о Декарте, возможно, не испытал бы он унижения, когда его «Кант» не был рекомендован к печати. Достаточно соблюсти правила книжного приличия — удобочитаемости и следования усредненной конвенции понятности — и тогда все скажут: «Ну что ж, у него своя точка зрения»; а так — просто «непонятно», «непрофессионально».

...«Картезианские размышления» подготовил к печати Юрий Сенокосов, человек, близкий к Мерабу Константиновичу, чувствующий и знающий тонкости его языка. Теперь — издатель Мамардашвили...

«Картезианские размышления» — не академическое исследование; это скорее философский роман.

У Мамардашвили было несколько любимых мыслителей: двое «философов» и двое «писателей»: Декарт, Кант, Данте, Пруст. Сам Мамардашвили часто пояснял, что философия — вовсе не привилегированное местоположение мысли и Пруст не менее мыслитель, чем Кант. Декарт, Кант, Данте, Пруст — постоянные собеседники Мамардашвили. Он бесконечное число раз варьировал возможности своего диалога с ними.

Итак, роман с Декартом. И начинается он — с тайны. Чтобы попытаться понять Декарта, сначала надо загадать загадку, что Мамардашвили и делает: «Декарт — самый таинственный философ Нового времени или даже вообще всей истории философии. Он — тайна при полном свете». Для большинства тех, кого учили, да и тех, кого вовсе не учили философии, — до сих пор все представлялось иначе: Декарт — самый рационально-прозрачный философ, изобретший свои лаконичные и ясные «правила для руководства ума».

Для Мамардашвили отправной точкой не является то, что мы «знаем» или «можем узнать» о Декарте; это — некая нулевая точка, в которой Декарт еще тайна, он еще не состоялся, и сможет состояться только через наше усилие воспроизвести его

экзистенциальный путь. Нам предстоит попытка пройти то преобразование себя, то перерождение, ту метаморфозу, которую испытал, проделал с собою Декарт.

Мераб Мамардашвили всегда предполагал в себе и, значит, в своих слушателях эту героическую самоотверженность войти в мир другого, сделаться близким ему и приблизить его к себе. Утопия? Может быть. Но на этом стоит его философская работа — самому как бы заново повторить то, что совершалось в истории мысли и слабо напоминает о себе иероглифами состоявшихся философских текстов.

Декарт избран не случайно еще и потому, что именно он стоит у истока Нового времени, определяющего неотменимые до сих пор условия западного мышления. К ойкумене западной мысли считал себя принадлежащим и сам Мамардашвили. Впрочем, с его точки зрения, в этой ойкумене поселяется всякий, кто «правильно помыслит» — он и станет тем другим, кто мыслил до него, — Декартом, Кантом или Прустом. Ничего мистического. Просто «помысливший правильно» тем самым уже исполнит фундаментальный закон нашей сознательной жизни и попадет в обжитое поле культуры.

Человек Нового времени, человек Декарта «принимал из мира только то, что им через себя было пропущено и только в себе и на себе опробовано и испытано. Только то, что — я!» Это декартовское *credo* Мераб Мамардашвили не только разделяет, но и полагает единственным условием самой мысли. Только «если ты сможешь что-то в себе выпросить до конца», «раскрутить это до последней ясности» — ты «вытащишь и весь мир, как он есть». Значит — нужны только отвага и честь. И мир перед тобой! Мамардашвили не меньше, чем герой его философского романа, охвачен этим пафосом успеха сознательного усилия...

Вопрос только в точке опоры. А она — более близкое, чем можно было предполагать. Одно из имен ее — великодушие, «способность *великой души* вместить весь мир, как он есть»; великодушие предполагает, что «мир таков, что в любой данный момент в нем может что-то случиться только с моим участием». А это значит, что «я участвую как бы в непрерывном творении мира».

Мир всегда нов, в нем может что-то случиться только вместе с тобой, в нем всегда есть для тебя место, и оно ожидает тебя... Без меня в мире не будет ни порядка, ни истины, ни красоты...

Мир, зависящий от усилия нашего решения, нашей решимости. Эта классическая утопия Мераба Мамардашвили создавала особым образом расположенного слушателя, как и его книга требует вовлеченного читателя.

В книге пятнадцать «размышлений», что соответствует прочитанному М. Мамардашвили в январе 1981 года курсу из пятнадцати лекций о Декарте. Через год в Институте психологии в Москве он читал упомянутый курс о Канте. А в 1982 и 1984 годах, уехав в Тбилиси, дважды прочитал там свои «Лекции о Прусте». Наверное, мы уже в скором будущем увидим и эти лекции в книжном исполнении. У книжного Мераба Мамардашвили существенно повысятся шансы стать «классиком» в своем отечестве.

Однако если Мамардашвили и можно счесть «классиком», то только в одном смысле: он попытался посредством своего личного мыслительного стиля сохранить те первые условия классического мышления, на которых возросла традиция западной философии и западной культуры. Он бесконечное число раз возвращался к объяснению фундаментальных реалий этой культуры — сознания, личности, Бога... И каждый раз, помещая их в разные метафорические ряды, он добивался эффекта резонанса — многократного усиления нашей способности понимания.

Философский роман Мамардашвили — книга трудная. И так же было трудно и непривычно для понимания то, как он разворачивал, демонстрировал свою мысль перед слушателями лекций. Часто казалось — и, может быть, еще покажется кому-то из читателей этой книги — что Мамардашвили тавтологичен: он все время возвращается к одним и тем же мыслительным ситуациям, пытаясь найти новые способы их выражения. Среди его слушателей случались не только заворуженно внимающие, но и раздраженные критики. Им все казалось, что Мераб Константинович втягивает их в какую-то напрасную игру — игру красивых метафор и бесконечных философских отступлений — когда можно ускорить, спрямить, пусть и банализировать движение мысли, зато «обнажить ее логически выверенную суть». Наверняка не все читатели «Картезианских размышлений» «дотянут до конца». Эту книгу может прочесть только тот, кто обречет себя на медленное продумывание достаточно сложных философских реалий — продумывание их не на языке профессиональных философов (пренебрежительно называемом Мамардашвили «воляпюком»), но на языке свободного произведения, на языке собственной мысли.

Е. ОЗНОБКИНА.



«НИТЬ ЗАКОННОСТИ» ИЛИ «ЛЕЗВИЕ МЕЧА»?

Реймон Арон. Демократия и тоталитаризм. Перевод с французского Г. И. Семенова. М. «Текст». 1993. 303 стр.

Учебные пособия редко получают известность за пределами узкого круга читателей. «Демократия и тоталитаризм» Реймона Арона (1905 — 1983) представляет собой третью часть лекций, читанных им в 50-е годы в Сорбонне. Первое издание вышло под наукообразным названием «Социология индустриальных обществ: набросок теории политических режимов». Это было пособие для студентов, а старые учебники после сдачи экзамена остаются в памяти сравнительно у немногих. Однако книга Арона во Франции регулярно переиздается, она переведена на многие языки, а теперь увидела свет и в России. Разумеется, ее можно порекомендовать преподавателям и студентам, поскольку даже эта работа тридцатилетней давности выигрывает в сравнении с тем, что писалось (да и пишется) у нас по политической социологии. Разбор соотношения политической философии, юриспруденции и социологии, краткий анализ классических концепций (Платон, Аристотель, Монтескье) — все это полезно знать не только студентам. Но широкую известность эта книга приобрела по иным причинам.

Конечно, немалую роль сыграло тут политическое противостояние времен холодной войны. Арон был убежденным антикоммунистом, центральное место в его книге занимает сопоставление конституционно-плюралистических и тоталитарных режимов, причем последние получают недвусмысленно отрицательную оценку и с моральной точки зрения. Но будь Арон простым пропагандистом преимуществ демократии, читать его тем, кто знает реальность однопартийного режима не по книгам, было бы просто скучно. Сухая научная проза не идет ни в какое сравнение с описаниями коммунистического режима, сделанными очевидцами преступлений, суждения о перспективах развития советской системы впоследствии были скорректированы самим Ароном, поскольку лекции читались им во времена хрущевской оттепели, вызвавшей немалые надежды у тех, кто обосновывал возможность «конвергенции» капитализма и социализма.

Сам Арон иллюзий такого рода не питал. Он был одним из создателей теории «индустриального общества», которое приходит на смену прежним социальным организациям. Все общества эпохи промышленной цивилизации обладают некоторыми общими чертами: наблюдается расширение административной сферы, рост бюрократии, сглаживание сословного неравенства, возникновение мегаполисов и т. д. Все режимы нашего времени объявляют себя воплощением «народного волеизъявления», и почти все правители называют себя демократами. В отличие от марксистов и многих либеральных теоретиков Арон не считал политическую организацию общества выводимой из экономического базиса или уровня технического развития. «Режим бюрократической иерархии, авторитарного планирования вполне совместим с развитым индустриальным обществом. Мне кажется невозможным утверждать заранее, что развитое индустриальное общество обязательно приведет к социально-политическому режиму, подобному западному».

В политической сфере всегда сохраняется роль выбора, свободного человеческого действия. Арон говорит даже о «главенствующей роли политики по отношению к экономике», поскольку современные индустриальные общества «различаются прежде всего структурами государственной власти, причем следствием этих структур оказываются некоторые черты экономической системы и отношений между группами людей».

Речь не о карикатурном воспроизведении марксистской схемы с обратным знаком (политическая надстройка детерминирует базис), но в отрицании самого противопоставления такого рода. Плановая система социалистической экономики порождена политической системой и в огромной степени от нее зависит, политический режим так или иначе воздействует на самые различные области общественной жизни, в том числе и на экономику.

Именно поэтому Арон отрицал какую бы то ни было историческую необходимость, толкающую к «конвергенции» (либо вообще ведущую человечество по пред-установленным законам). Социолог не является «пророком, оглядывающимся назад», он может говорить о большей или меньшей вероятности тех или иных поли-

тических форм при данном уровне развития хозяйства, техники, средств коммуникации и т. д. Но помимо взаимоотношений между различными подсистемами общественного организма Арона интересовал еще один аспект политических режимов — их человечность или бесчеловечность, взаимоотношения между людьми, которые не должны игнорироваться даже при самом объективном анализе «факторов» и «структур». Поэтому в главах о многопартийных и однопартийных режимах Арон показывает, как государственное устройство сказывается на человеческой жизни, какой тип человека поощряется и становится господствующим.

К моменту чтения этого курса лекций Арон был хорошо известен не только в академических кругах. В молодости он сам принадлежал к «левым», но после второй мировой войны стал одним из самых решительных противников как коммунистической идеологии, так и теорий всякого рода «попутчиков», вроде друга его студенческих лет Ж. П. Сартра. «Левые» питали к нему не просто неприязнь, его буквально ненавидели завсегда таи кафе Латинского квартала — и за статьи о «воображаемых марксизмах», и за сатирический памфлет о мае 1968 года. Впрочем, он не пользовался симпатиями и голлистов, хотя во время войны сотрудничал в Лондоне с де Голлем, а в конце 40-х годов был членом голлистской партии.

Даже самая краткая характеристика философских или политических воззрений Арона потребовала бы обширной специальной статьи, а он к тому же был и влиятельным журналистом, специалистом по международным отношениям: среди трех десятков опубликованных им книг видное место занимают два огромных тома — «Мир и война между нациями» (1962) и «Размышления о войне: Клаузевиц» (1976).

Работа «Демократия и тоталитаризм» дает известное представление лишь о политической социологии Арона, да и в ней это, можно сказать, только одна из глав. Он ведет спор не только с марксистами, но также с поклонниками Макиавелли, видящими в политике просто чередование хищных и циничных элит. «Люди никогда не осмыслили политику как нечто исключительно определяемое борьбой за власть. Только простодушный не видит борьбы за власть. Кто же не видит ничего, кроме борьбы за власть, — псевдореалист. Реальность, которую мы изучаем, — реальность человеческая. Частью этой человеческой реальности оказывается вопрос о законности власти». Политика и этика не совпадают, но моральные критерии неустраимы при оценке политических решений. Не всякая власть может и должна получать легитимность, не всякое послушание оправданно.

На земле нет идеального сочетания интересов и волеизъявлений, сам выбор между демократией и тоталитаризмом принадлежит нашей эпохе в отличие от многих других времен. Но сегодня этот выбор неизбежен. Недостатков у режимов, называемых Аронем конституционно-плюралистическими, великое множество, но они относятся к частностям: к ограниченной эффективности, к избытку собственности олигархов, к популистской демагогии. Однопартийные режимы по самой своей сущности требуют насилия для своего утверждения и сохранения. В одном случае мы имеем сравнительно мирное соперничество социальных групп и партий по фиксированным в конституции правилам, следование которым предполагает определенную степень согласия граждан. Государственный аппарат в таком случае нейтрален: «В условиях многопартийности государство, не будучи связано с какой-то одной партией, в идеологическом смысле носит светский характер. При однопартийном режиме государство партийно, неотделимо от партии, располагающей монопольным правом на законную политическую деятельность». Это неизбежно ведет к ограничению свободы политических дискуссий, изъятию из открытого обсуждения множества тем, контролю над средствами массовой коммуникации и т. д. Такого рода контроль над государственным аппаратом характерен и для авторитарного режима, «стремящегося к либерализму без демократии, но не имеющего поэтому возможности стать либеральным».

Отличие тоталитарных режимов от авторитарных связано с тем, что вторые чаще стремятся к деполитизации общества, тогда как первые его политизируют и даже «фанатизируют». Авторитарные режимы часто устанавливались в странах, стоявших на пороге индустриальной цивилизации, в целях сохранения традиционных институтов. Тоталитарные режимы обладали революционной идеологией (в известном смысле «революционным» был и гитлеровский режим), в них террор сочетался с идеологией, а в случае коммунистического режима и с тотальным огосударствлением общества. Арон скептически относился к популярным теориям тоталитаризма, подчеркивающим сходство национал-социализма и большевизма: «...различия в идеях и целях слишком очевидны, чтобы принять мысль о коренном родстве режимов».

Анализ истории возникновения и идеологии этих систем дает, с его точки зрения, много больше, чем формальное сходство однопартийных диктатур.

Неофитам либерализма такой анализ понравится не больше, чем их коммунистическим оппонентам. В каком-то смысле они близкие родственники, поскольку и те и другие выводят политическую надстройку из экономики, расходясь в оценке идеального политического строя. С неоконсерваторами Арон расходился не только в вопросах экономики (он был кейнсианцем), но и в той аргументации, которая приводится в защиту рыночной экономики и политических свобод. История не движется к какой бы то ни было предустановленной цели, будь то коммунизм или «расширенный порядок» Хайека. Парламентская демократия не дарована нам провидением, она не рождается из экономической конкуренции как таковой; конституционно-плюралистические режимы способны перерождаться в олигархию, могут постепенно утратить эффективность, разложиться. Коррупционность, правда, тоже не является неким врожденным признаком «плутократии», как это пытаются представить противники демократии справа или слева. Арон чаще всего ссылаясь на не слишком оптимистичные суждения А. Токвиля, видевшего постоянную угрозу вырождения демократии в деспотию.

Конституционно-плюралистические режимы вообще предстают у Арона в прозаическом свете: «Всемирно известно истинное положение дел — соперничество партий с его не скажу отвратительными, но неизбежно пошлыми чертами» Но эти режимы и не изображают себя сами в качестве последней цели человечества: самоуправление на основе дискуссий, мирного соперничества и добровольного волеизъявления не предназначены для того, чтобы делать людей ангелами (или, скажем, «гармонически развитыми личностями»). Монтескье полагал, что республиканское правление требует добродетельных граждан, и мы хорошо знаем, что найти истинных республиканцев много сложнее, чем провозгласить республику. Современные демократии держатся скорее на индивидуальных и групповых интересах, а не на добродетели. Отсюда уязвимость «шелковой нити законности», которой угрожают не только революционные утопии, но и элементарное властолюбие, готовое пустить в ход «лезвие меча»

По хорошо известным причинам фигура де Голля, отменившего «республику депутатов» и установившего президентский режим, сделалась достаточно модной в наших газетах. Тем больший интерес представляет последняя лекция Арона, во времени совпавшая с появлением V Республики. Он говорит о чисто французском «искусстве придавать государственным переворотам законный вид» и «невообразимой мешанине законности и беззакония», сопровождающей установление режима, сравниваемого им с властью римского диктатора. Сегодня мы знаем, что «шелковая нить законности» не порвалась во Франции, но нам понятна последняя фраза книги: «Да будет угодно небу, чтобы этого не случилось никогда!» В дополненном через несколько лет книгу введении Арон пишет уже куда спокойнее и самую сложную политическую задачу для Франции видит в «устранении явлений, присущих голлизму: склонности к авторитарности, произволу, унаследованной от президента Республики его преемниками более мелкого масштаба... политики, которая уже не в состоянии отличить тактику от стратегии, игру от результата и, в конечном счете, явно направленную лишь на самоутверждение в постоянно обновляющейся игре».

Несколько слов стоит сказать и о переводе. В отличие от множества нынешних явно непрофессиональных «перекладов» основной текст переведен вполне удовлетворительно. Тем досаднее ошибки вроде таких биографических сведений об Ароне, как защита им двух диссертаций в 1938 году (защита была, разумеется, одна — по тексту двух представленных книг). Во вступительной статье от издательства помимо соревнования с нашими политологами-куплетистами по части риторики содержится фраза: «В своей книге Арон зачастую не раскрывает авторства приведенных цитат — рассчитывая, что эрудированный читатель их узнает и без подсказки». Это можно считать, наверное, извинением за то, что в переводе довольно трудно узнать слова, принадлежащие Л. фон Ранке и М. Веберу. Но если сравнить эту книгу со многими другими сегодняшними переводами научной литературы, то впечатление все же самое благоприятное, и стоит поблагодарить издательство «Текст» (а также отдел культуры, науки и техники посольства Французской Республики, при содействии которого осуществлено издание) за выпуск этой работы знаменитого французского ученого.

*

МЕЖДУ ДВУХ ЗОЛ

В. Штрик-Штрикфельдт. Против Сталина и Гитлера (Генерал Власов и Русское Освободительное Движение). М. «Посев». Российский филиал. 1993. 439 стр.

Задумывались ли мы как следует над тем, почему в годы Великой Отечественной войны около двух миллионов наших соотечественников оказались на стороне вермахта?

Проще всего назвать их предателями. Гораздо мучительнее понять, как вчерашние друзья, соседи, однополчане — русские, украинцы, белорусы, прибалты, кавказцы, выходцы из Средней Азии, разделившись на «своих» и «врагов», встали с оружием в руках друг против друга в рядах Красной Армии и РОА¹.

«...с востока на запад текли серые колонны пленных красноармейцев, — вспоминал об увиденном Штрик-Штрикфельдт. — Безмолвно и безропотно брели они в немецкий плен. Какая судьба ожидала их? Может быть, они надеялись, что под немцами не будет хуже, чем под Сталиным?»

В военном дневнике офицера 6-й немецкой армии К. Бранда, воевавшего на советско-германском фронте, осталась любопытная запись: «Часто я задумываюсь о борьбе этих двух великих мировоззрений — национал-фашизма и большевизма... Неужели они не могли ужиться вместе? Были ли противоречия между ними на самом деле так велики? Не придется ли будущим поколениям со страшным трудом выискивать в этом нагромождении лжи действительно существовавшие противоречия?..»

Не просто объяснить, почему Власов, генерал Красной Армии, удостоенный высших боевых наград СССР, встал во главе РОА. В 1941 году за активное участие в разгроме немцев под Москвой он был обласкан в сталинских приказах, а в 1946-м — Военная коллегия Верховного суда СССР приговорила его к смертной казни через повешение.

Ответить на эти вопросы без предвзятости и эмоций сегодня очень сложно. Дело в том, что по-прежнему в российских архивах под грифом «совершенно секретно» закрыты важнейшие для постижения темы документальные материалы ЦК ВКП(б), компартий бывших союзных республик, НКВД по проблеме власовского движения, а также о подлинных событиях, происходивших на оккупированных немцами территориях, о взаимоотношениях населения с новыми хозяевами.

Видимо, не случайно правившая в СССР система внесла в кадровые анкеты, заполнявшиеся после войны населением, графу: «Был ли сам или родственники на оккупированной территории?». И те, кто, вольно или невольно, остался под немцами, получили на всю жизнь метку «неблагонадёжности».

В СССР книга Штрик-Штрикфельдта, переводчика и офицера германской армии, ближайшего сотрудника и друга генерала Власова, делившего с ним «трудности, разочарования и надежды», не могла быть опубликована как «идеологически опасная». Зарубежному читателю она знакома давно; у нас же ее читали лишь те, кому доверяли работать в спецхранах, своеобразных библиотечных гулагах. И только в 1993 году благодаря издательству «Посев» российский читатель получил возможность поразмышлять над этой интересной книгой, воссоздающей на неизвестных материалах как документального характера, так и личных оценок историю возникновения русского освободительного движения.

Штрик-Штрикфельдт принадлежал к небольшому кругу лиц, убежденных в том, что только в борьбе против Сталина и Гитлера единственный путь для «русского национального независимого движения». Описывая события 1941 — 1945 годов, он с грустью замечает, что, к сожалению, они вызывают в памяти лишь притчу о смоковнице, которая должна погибнуть, если она не принесла плода...

Не навязывая читателю своего мнения о книге, привлечем внимание лишь к наиболее острым проблемам, поднятым ее автором. Штрик-Штрикфельдт убежден, что прежде всего читатель должен знать, какие мысли, идеи проповедовал Власов. А потому, чтобы объяснить или оправдать сделанный им тяжкий выбор, автор предоставляет слово главному действующему лицу — бывшему генералу Красной Ар-

¹ Русская Освободительная Армия.

ми, объявленному сталинской пропагандой мертвым, — Андрею Андреевичу Власову:

«...Я — сын крестьянина... Я принял народную революцию, вступил в ряды Красной Армии для борьбы за землю для крестьян, за лучшую жизнь для рабочего, за светлое будущее Русского народа... *И вот я увидел, что ничего из того, за что боролся русский народ в годы гражданской войны, он в результате победы большевиков не получил.*

Я видел, как тяжело жилось русскому рабочему, как крестьянин был загнан насильно в колхозы, как миллионы русских людей исчезали, арестованные, без суда и следствия. Я видел, что растаптывалось все русское... Система комиссаров разлагала Красную Армию... Армия была ослаблена, запуганный народ с ужасом смотрел в будущее, ожидая подготавливаемой Сталиным войны...

Как солдат и как сын своей Родины, я считал себя обязанным честно выполнить свой долг.

Я видел, что война проигрывается по двум причинам: из-за нежелания Русского народа защищать большевистскую власть и созданную систему насилия и из-за безответственного руководства армией, вмешательства в ее действия *больших и малых комиссаров*... И не раз я отгонял от себя постоянно встававший вопрос: *да полно, Родину ли я защищаю, за Родину ли посылаю на смерть людей? Не за большевизм ли, маскирующийся святым именем Родины, проливает кровь Русский народ?..*

Я ясно сознавал, что *Русский народ втянут большевизмом в войну за чуждые ему интересы англо-американских капиталистов*...

Не является ли большевизм и, в частности, Сталин главным врагом Русского народа?..

В союзе с Германским народом Русский народ должен уничтожить эту стену ненависти и недоверия. *В союзе и сотрудничестве с Германией он должен построить новую счастливую родину в рамках семьи равноправных и свободных народов Европы*».

Штрик-Штрикфельдт пишет о том, что Власов неоднократно говорил: «Я знаю, что будут разные оценки нашей борьбы. Мы решились на большую игру. Кто однажды уловил зов свободы, никогда уже не сможет забыть его и должен ему следовать, что бы ни ожидало его».

По мнению Штрик-Штрикфельдта, прошедшего с Власовым его путь до конца, генерал «стал знаменем... воплощением желаний и надежд миллионов людей, страстно стремившихся к лучшему порядку и к лучшей жизни».

Конечно, каждый имеет право на собственную точку зрения. Несправедливо и бесполезно выносить сегодня огульный приговор. Хочется понять стремление этих людей во главе с Власовым, которые оказались как бы между двух зол, восстав против обеих диктатур. Но при этом не оставляет мысль о том, что освободиться от «красного» фашизма эти люди желали тем же большевистским путем (может быть, сами не осознавая этого), через кровь своих соотечественников, с помощью немецкого фашизма, который нес на их родину смерть миллионам людей, в том числе женщинам, детям...

Одна из основных проблем в книге — взаимоотношения немцев и власовцев. Как пишет Штрик-Штрикфельдт, Власов неоднократно повторял: «...если «фюрер» думает, что я соглашусь быть игрушкой в его захватнических планах, то он ошибается. Я пойду в лагерь военнопленных, в их нужду, к своим людям, которым я так и не смог помочь».

По мнению руководителей третьего рейха, власовцев необходимо было терпеть лишь в «немецком обрамлении». И действительно, национальные воинские части в составе вермахта присягали каждому своему народу, но скрепляли присягой подчинение Гитлеру, как верховному главнокомандующему всех антибольшевистских вооруженных сил.

Гитлер не собирался предоставлять русскому народу независимость, а потому РОА должна была оставаться фикцией. Власов же, напротив, считал, что после свержения большевизма народы России должны были получить право на самоопределение в рамках общеевропейского сообщества. И твердо отстаивал свои идеи. В то же время нацисты предпочитали тех русских, которые им поддакивали, а Власову неоднократно грозили отправкой в концлагерь или передачей в руки гестапо. Власов же хотел стать равноправным и независимым союзником.

Штрик-Штрикфельдт обвиняет Гитлера и его ближайшее окружение в политической слепоте, глупости, неумении использовать русское освободительное движение, чтобы радикально, по ходу войны, изменить немецкую восточную политику.

Он с горечью замечает: чего бы добились немцы и русские вместе, даже еще весной 1943 года, если бы действовали как лояльные союзники в деле освобождения России и всего мира от большевизма? Однако получилось так, что Власов стал пугалом для Гитлера.

Автор книги приводит любопытные факты о том, что Сталин поручил начальнику Главного политического управления Красной Армии генералу А. С. Щербакову развеять средствами пропаганды миф о Власове. Когда это не удалось, были заброшены советские агенты, чтобы физически уничтожить Власова. Все они были пойманы немцами и отправлены в лагерь. Штрик-Штрикфельдт подчеркивает, что фактически то, что «хотел сделать Сталин, сделали за него Кейтель и Розенберг: личность Власова полностью замалчивалась».

В результате слепой политики нацистов, отмечает Штрик-Штрикфельдт, перед ними встала острая проблема: как управлять страной с 4700 городами и 170 миллионами жителей, где «победитель должен бояться побежденного». Автор считает, что в июне 1941 года вспыхнула еще не распознанная тогда подлинная народная революция в занятых немцами районах с населением почти 70 миллионов человек. Без нее начальные успехи германской армии были бы невозможны. Но эту революцию распознали тогда лишь немногие, делает вывод Штрик-Штрикфельдт.

Он считает, что партизанское движение вспыхнуло стихийно, имея как антикоммунистическую, так и антинемецкую направленность. И только с помощью десантных групп НКВД Сталину полностью удалось загнать его в нужные рамки, под контроль ВКП(б). Базой для этого стало обращение к исконно русскому патриотизму и провозглашение войны Великой Отечественной. Мужчин и женщин, стариков и молодежь, членов партии и бывших царских офицеров — всех Сталин призывал к борьбе за Родину, за Россию, за стоящую под угрозой Москву.

Все эти проблемы еще раз настоятельно как бы напоминают о том, что необходима вся совокупность документов из закрытых фондов российских архивов во имя воссоздания подлинной картины того, что же происходило в оккупированных районах, правдивого ответа на вопрос, как население разных регионов реагировало на немецкое вторжение и уход советской власти.

Автор пишет о том, что «Русское Освободительное Движение росло не стараниями германских фронтовых или штабных офицеров, но благодаря все более громким требованиям русского населения и все возраставшей уверенности в себе русских добровольцев». Во Власове видели человека, могущего дать свободу от притеснений со стороны оккупационных властей, а также спасти от неизбежной мести Сталина при возвращении Красной Армии.

Штрик-Штрикфельдт отмечает, что неумелые немецкие методы управления привели к тому, что они почти не отличались от большевистских, а в конечном итоге — стали еще хуже. «Пусть плохо, но советская власть как-то заботилась о своих гражданах, она указывала каждому его место и его задачи... И уже выявлялся страх перед призраком нового вида несвободы — быть может еще более страшной, чем тирания Сталина. Такова была малоободорящая картина психо-политического состояния населения», — считает автор. Он пишет, что неумная политика немцев привела к ожесточению против них населения, которое недоумевало, почему же германская полиция хватается мужчин, женщин и под охраной набивает ими теплушки? О добровольности уже и речи не было. Все это напоминало людям времена коллективизации.

С первых дней войны, подчеркивает Штрик-Штрикфельдт, с советской стороны было много перебежчиков, сдававшихся немцам и не желавших воевать за Сталина. С 22 июня по 20 июля 1941 года особыми отделами НКВД фронтов и армий было задержано на дорогах 103 876 военнослужащих, беспорядочно отступавших с фронта. Многие командиры немецких фронтовых частей, а также офицеры в тыловых областях пополняли свои редующие части за счет советских добровольцев различной национальности.

В этой связи по-иному встает вопрос о тех жестоких приказах, которые отдавал Сталин в первые месяцы войны. Что же еще оставалось делать системе, как не заставлять людей воевать силой, кнутом?

16 августа 1941 года приказом Ставки ВГК требовалось тех, кто срывает во время боя знаки различия, сдается в плен, расстреливать на месте. Командующий Брянским фронтом генерал А. И. Еременко в конце августа — начале сентября

1941 года отправляет в Ставку ВГК просьбу разрешить создание штатных заградотрядов. 5 сентября Сталин ему отвечает: «Ставка ознакомилась с Вашей докладной запиской и разрешает Вам создать заградительные отряды в тех дивизиях, которые зарекомендовали себя как неустойчивые. Цель заградотрядов не допускать самовольного отхода частей, а в случае бегства — остановить, применяя при необходимости оружие».

Мало кто знает, что еще до известного приказа № 227 «Ни шагу назад» Сталин 12 сентября 1941 года продиктовал приказ № 001919 о заградотрядах. «Задачами заградотрядников, — говорилось в приказе, — считать прямую помощь комсоставу в поддержании и установлении твердой дисциплины в дивизии, приостановку бегства одержимых паникой военнослужащих, не останавливаясь перед применением оружия, ликвидацию инициаторов паники и бегства, поддержку честных и боевых элементов дивизии...»

Штрик-Штрикфельдт вспоминал: «...мы услышали подробности о внедрении агентов НКВД в армию и о заградительных отрядах, размещенных за линией фронта и безжалостно расстреливавших красноармейцев в случае их отступления... В результате этих драконовских мер сопротивление Красной Армии заметно усилилось».

Власов как-то заметил, что «и нацистский режим стремился к тоталитарной, всеобъемлющей власти, но она еще не достигла дьявольского совершенства сталинизма...» В часы великой нужды России, когда голый силы оказалось недостаточно, Сталин обратился к патриотизму и даже к Богу, понимая, что, несмотря на внушаемый десятилетиями атеизм, вера продолжала жить в душе русских людей. «Часто я наблюдал у нас в селе, — вспоминал Власов, — как душевная сила русских женщин светила через нужду и затмевала безбожие вокруг них. Может, то была Божья любовь в них».

В заключение Штрик-Штрикфельдт пишет: «Я счел своим долгом опубликовать эти воспоминания, так как обещал генералу Андрею Андреевичу Власову свидетельствовать об освободительной борьбе и против Сталина, и против Гитлера, которую вели русские люди. Равнодушие и ложь исказили облик этих борцов за свободу. Но придет время, когда умы людей освободятся от влияния искажений и начнутся по-иски правды».

Т. БУШУЕВА,

кандидат исторических наук.

**ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ
РОМАН ОЛЕГА ПАВЛОВА
«КАЗЕННАЯ СКАЗКА»**

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

О ЧТЕНИИ ПУШКИНА

Так в свое время Ходасевич назвал одну из своих пушкинистских статей (1924). Речь шла в ней об идеальном читателе Пушкина, постигающем творческий акт поэта. Идеальный читатель — необходимая абстракция, такого читателя на самом деле нет, пути чтения Пушкина направляет история. На роковом ее повороте тот же Ходасевич пророчествовал об исчезновении читателя Пушкина: «Уже многие не слышат Пушкина, как мы его слышим, потому что от грохота последних шести лет стали они туговаты на ухо... Та близость к Пушкину, в которой выросли мы, уже не повторится никогда...»

Но в нашем же веке история и иначе направляла пути чтения Пушкина. Происходило и с Пушкиным то, о чем четверть века назад писал Бахтин в тот самый журнал, куда нынче пишу и я: будущее, говорил Бахтин, освобождает художника из плена его эпохи, его современности. В 1937 году о. Сергей Булгаков писал, что новое задание, встающее перед философско-филологической мыслью в деле познания Пушкина, «превышает всякую частную задачу „пушкинизма“». В нашем веке усилениями нескольких поколений русских мыслителей и философски окрыленных поэтов и критиков произошло огромное расширение «пушкинизма», состоявшее в раскрытии словно бы не проявленного для его современников и близких потомков «духовного Пушкина». «Пушкин как религиозная проблема» (здесь я цитирую заглавие статьи Ирины Сурат в «Новом мире», 1994, № 1) — открытие нашего века. Продолжаются эти поиски и в переживаемые нами последние десятилетия — и первая роль здесь принадлежит многочисленным работам Валентина Непомнящего.

Многие из них печатались в «Новом мире», здесь же появилась и помянутая принципиальная статья И. Сурат; в примечании к ней редакция обещает обращаться к пушкинской теме систематически. Можно сказать, что за отсутствием сейчас у нас профессионального пушкиноведческого журнала, который необходим, но на который пока нет надежды, его задачи отчасти принял на себя ваш журнал. Позвольте и мне в нестройной и недостаточно ответственной форме письма в редакцию высказаться на тему о том, что происходит с поэзией Пушкина в современном нашем искании «духовного Пушкина». Примите это как заметки на полях некоторых материалов на пушкинскую тему, появившихся в «Новом мире».

Что поделать, придется начать со стихов иронического поэта. В стихотворном письме Сергею Гандлевскому «О некоторых аспектах нынешней социокультурной ситуации» («Новый мир», 1991, № 9) Тимур Кибиров выписывает среди прочих и пушкинский аспект. Поэт читает журналы в библиотеке: «Там нашу зыбкую музыку заносит в формуляры скука. Медведь духовности великой там наступает всем на ухо. Там под духовностью пудовой затих навек вертлявый Пушкин, поник он головой садовой, — ни моря, ни степей, ни кружки. Он ужимается в эпитаф, забит, замызган, зафарцован, не помесь обезьяны с тигром, а смесь Самойлова с Рубцовым».

Я с удовольствием прочитал тогда эти строки — почему? Они легли на накопившиеся уже к тому времени впечатления о «некоторых аспектах» нашего нынешнего пушкиноведения — и не какого-нибудь бездарного, слабого, грубого, но, напротив, талантливого и яркого, каково пушкиноведение В. Непомнящего, к которому прежде всего и относятся впечатления.

Помню, еще за два года до иронических стихов я был озадачен разборами пушкинской лирики в безусловно программной статье В. Непомнящего «Дар» («Новый мир», 1989, № 6; обращаюсь к этой статье пятилетней давности, поскольку свое центральное значение в творчестве автора, несомненно, она сохраняет; ее позиции полностью подтверждает свежая работа автора — «Пушкин через двести лет» — в «Новом мире», 1993, № 6; две эти статьи и служат далее материалом моих впечатлений).

Прочтение элегии 1826 года «Под небом голубым страны своей родной...» зацепило прежде всего. Она была прочитана как стихотворение о греховной страсти, «чисто плотской», и ее душевно-духовных последствиях (оттого и внимал равнодушно вести о смерти возлюбленной, что в жизни любил ее только так); соответствен-

но понимались и детали — например, в строке «С таким тяжелым напряженьем» усматривалась примета из «каталога известных всем черт самодовлеющей чувственности» Сразу возник протест: зачем это он (исследователь), читающий Пушкина столь духовно, приписывает ему эротический градус, какого в этом тексте Пушкина нет? Однако выяснилось в дальнейшем чтении, что это зачем-то нужно именно для столь духовного прочтения. Вообще разветвленное размышление автора интересно было читать, мешало лишь чувство, что стихотворение — о другом. О чем? Не так-то просто, почти невозможно сказать, не огрубляя тонкие связи текста. Ну конечно, о «недоступной черте», что «меж нами есть», и составившей здесь лирическое открытие. Об открытии говорит и В. Непомнящий — но каком? «Недоступная черта» — это плод греха, не дающий духовно мертвому — вследствие своего греха — человеку-поэту узнать живую бессмертную душу, что над ним «уже летала». Воздвигается сложное построение с метафизическими заглядами, но все кажется, что у Пушкина проще: мы узнаем о печальном законе жизни, о преходящести чувства, равнодушии и забвении, что сейчас через смерть любимой некогда женщины открывается. Закон познается с горькой печалью, но без моральной оценки. Между тем размышление пушкиниста переполняет моральный пафос. На что ему опереться в тексте печальной элегии? Мы перечитываем четыре строки с описанием отошедшей любви, и нам кажется, что опереться не на что. «Так вот кого любил я пламенной душой» — говорит поэт, а пушкинист ему отвечает: да не любил ты, это самодовлеющая чувственность самозванно себе присвоила имя любви. Да, конечно, делает честь пронизательности исследователя догадаться, что любовь была чувственной, но отчего же «чисто плотской»? Не только ведь с тяжелым напряженьем любил, что можно взять под подозрение, но и «с такою нежною, томительной тоской» — что делать с этим стихом в столь духовном анализе? С ним нечего делать, можно только его пропустить, не заметить. Вот и получается, что духовный подход нуждается в огрублении чтения, словно бы обеспечение духовного градуса парадоксально побуждает к превышению эротического градуса подробностей, произвольно, может быть, но возникающих физиологических намеков по поводу «тяжелого напряженья», и в результате «под духовностью пудовой» в самом деле, увы, никнет пушкинская элегия.

Конечно, мы вспоминаем и две другие пьесы, уже из болдинской осени, посвященные той же тени. И В. Непомнящий, конечно, их вспоминает и хорошо о них говорит: в «Заклинании» и «Для берегов отчизны дальней...» нет недоступной черты — «наоборот, свобода и уверенность взывания, открытость финала — как запахнутость объятий». Это прекрасно сказано, но добавлено тут же, что нет в этих пьесах «и мотива чувственности». Он был изжит поэтом как грех в элегии 1826 года, и недоступная черта пала. Это очень красиво, однако сама «распахнутость объятий» не побуждает ли задуматься над «мотивом чувственности»? Не про эти две пьесы разве С. Л. Франк писал о пушкинской «смелости эротической религиозности»? Не вызывает ли всякий раз содрогания эта страстная дерзость желанья — чего? через-потустороннего распахнутого объятия и загробного поцелуя свиданья. Честное слово, куда острее в этих двух пьесах с «мотивом чувственности», чем в элегии 1826 года. (Как сверхстрастная интонация «Заклинания» передана в почти конгениальном романсе Ю. Шапорина! Мне рассказали недавно, что этот романс исполняется как своего рода гимн на собраниях федоровцев — адептов учения Н. Ф. Федорова, безусловно имеющих для того свои основания, — но в каких направлениях только не происходит утилизация лирики Пушкина!)

Понятно, Франк Непомнящему не указ и такая формула философа, как «эротическая и эстетическая в широком смысле религиозность», в пушкиноведении Непомнящего места иметь не может и, возможно, звучит для него какофонией. Словарь понятий у каждого автора по праву свой, но только не происходит ли таким образом заглаживание трудных пушкинских тем и выравнивание «духовного пути»?

Столь стратегический пушкинист, как В. Непомнящий, конечно, не просто разбирает стихотворения, но чертит линию пути. Элегия «Под небом голубым...» в изложенной интерпретации выдвинута здесь на ключевое место. Что при этом оказывается? Что элегия эта — то же самое, что юношеское «Безверие», — «духовная ситуация» лицейского стихотворения здесь «в точности повторена». То есть «Но недоступная черта меж нами есть» — то же самое, что «Ум ищет Божества, а сердце не находит», — тоже ведь «недоступная черта». Не сомневаюсь: для автора это сближение — неотразимой убедительности, для меня же — пример логического конструирования поверх пренебрегаемых похода на пути к стратегическим целям конкретных ситуаций двух столь очевидно разных стихотворений и живописанных в них

«недоступных черт». Но далее: элегия 1826 года оказывается прямым путем к «Пророку» того же года. Более того: «Пророк» явился как бы выводом, «эманацией» элегии, в которой «автор увидел себя живым трупом», поскольку, подобно святому старцу из древнего патерика, увидел свой грех. В «Пророке» он будет как труп в пустыне лежать, так что чем не эманация? Но только какой же он труп в элегии? Он здесь чувствующий человек, переживающий горькое открытие, и не о том элегия, что он увидел свой грех, а что познал печальный закон. И получается, что мотив живого трупа нужен, чтобы поставить два независимых стихотворения в жесткое принудительное сцепление. Прошу простить мне грубое выражение, но так и кажется, что картина пути здесь шьется белыми нитками, ярко закрашенными талантом пушкиниста.

Строго говоря, независимость отдельных стихотворений Пушкина для автора статьи «Дар» не очень-то существует. Всякое относится к некоей норме, ее подтверждая и выражая либо же от нее отклоняясь. Торжествует концепция духовного пути как прямой восходящей линии, с вершинами на пути и регулярными в промежутках между ними падениями. Разумеется, абсолютная вершина на пути — «Пророк»; падения до него и после него — «Гавриилиада», но также затем «Поэт» («Пока не требует поэта...»), «Дар напрасный, дар случайный...», в результате которого (в результате диалога с пастырем) — новая вершина, почти столь же абсолютная, — «В часы забав иль праздной скуки...».

«Пока не требует поэта...» — странно, чтобы замечательный, в самом деле, наш пушкинист мог говорить такое об этом стихотворении: «...слышится в нем что-то двусмысленное, похожее на неуверенность, прикрываемую гордостью, на попытку оправдания того, что он не совсем пророк, не всегда пророк...» Так и хочется обратиться на автора слово, которое он позволяет себе иногда сказать по адресу Пушкина, — «невыносимо». Как ему «невыносимо» стихотворение «Дар напрасный...», так, признаться, невыносимо читать цитированные строки. Все слова здесь психологически, нравственно, эстетически неточны, неверны. Что значит — «двусмысленное», если мы помним стихотворение? Двойственность человека-поэта — недвусмысленная его тема. Но в глазах пушкиниста на фоне «Пророка» это как бы уже недостаточная тема, за которую Пушкину надо перед самим собою (и, видимо, перед нами тоже) оправдываться. Невыдержанное написал он стихотворение после «Пророка».

Невозможно здесь включаться в давний спор о пророке в прямом смысле или же о поэте в некоем абсолютном значении пушкинский «Пророк». Мне близко понимание Вячеслава Иванова, который в 1937 году писал: «Нет ничего менее согласного со всем строем пушкинской мысли, чем это смешение двух в корне различающихся понятий и типов... Между посвящением пророка и высшим духовным пробуждением поэта, несомненно, есть черты общие; но преобладает различие двух разных путей и двух разных видов божественного посланничества».

Тогда же Вячеслав Иванов писал о пушкинской «изумительной способности непосредственного и безошибочного различения во всем». Сам Пушкин, мы помним, выбрал эпиграфом к первой главе «Онегина» из Эдмунда Бёрка: «Ничто так не враждебно точности суждения, как недостаточное различие». Всегда бы нам помнить эти золотые слова, говоря о Пушкине. Ведь должны же мы всерьез принять во внимание, что Пушкин одно стихотворение назвал «Пророк», а другое — «Поэт».

Как бы ни судить, однако, на эту непростую тему, непосредственно ясно одно: это два независимых и равновеликих стихотворения Пушкина. Со вторым эпитетом, конечно, не согласится В. Непомнящий — и, вероятно, многие вместе с ним, — но подумаем, куда поведет нас подобное наведение обязательной иерархии и субординации в мире божественных созданий поэта. Или «Поэт» — не божественное его создание? Независимость же созданий не означает отсутствия между ними связи и не отрицает идеи пути; только этот путь не столь линейен и это связь, образующая не прямую линию (когда шаг в сторону от духовного пути приравнивается к побегу: но вспомним, как поэт любил это слово), а — о б ъ е м поэзии Пушкина. Так и кажется, что прекрасный знаток и обдумыватель Пушкина не совсем учитывает природу лирики, не обязанной следовать неуклонной линии, но запечатлевающей моментально и объемно мир и правду поэта с очень разных и не только неизбежно, но даже необходимо противоречащих сторон. В мире пушкинской лирики и пушкинской правды «Пророк» и «Поэт» — это ее полнота, ее дополненность смыслов, ее объем.

Некогда В. Розанов вступил в спор со статьей Вл. Соловьева «Судьба Пушкина» и упрекал его, что всюду он ошибается в психологическом анализе поведения поэта

в жизни. Этой статьей Соловьев положил начало будущей идее о Пушкине «в двух планах», рассматривая стихотворение «Поэт» как психологическое самосвидетельство Пушкина о собственном внутреннем раздвоении и поразительно плоско это стихотворение понимая.

В. Непомнящий, как мы видим, тоже предается психологическому анализу души поэта на основании того же стихотворения. Сомнительное дело — не от жизни поэта восходить к его поэзии, но из текстов вычитывать его душу. Подобный метод, однако, критиком практикуется, причем, как правило, в случаях, когда поэт оказывается, по заключению критика, не на должном духовном уровне. А это с Пушкиным случается часто, в том числе в совершенных его творениях. О стихотворении «Три ключа» так и сказано, что это одно из совершенных стихотворений у Пушкина, но «последняя строка — о «ключе забвенья» — ужасна». Итак, и самую пушкинскую поэзию можно видеть «в двух планах», а не только поэта и человека в нем: признать совершенство и осудить морально, духовно, религиозно, поскольку «ужасно» в этой последней строке приятие смерти. Это «ужасно» так непосредственно, искренне вырвалось, что теряешься отвечать на это. Можно ответить, что все же недаром стихотворение совершенное, и резкость духовной оценки здесь обнаруживает неслышание той дивной гармонии, которую ведь не объявишь формально-поэтической, но поэтически-духовной, в какую разрешена здесь мысль о ключе забвенья. И еще: что станет с поэзией, котрой не будет позволены «неправильные» волнения, когда уже известны «правильные» ответы, и существует ли единственно правильное отношение к такому событию нашего бытия, как смерть? Так и вспомнишь слово Розанова о «безнервном христианстве», сказанное им по адресу автора статьи «Судьба Пушкина».

Вообще В. Непомнящий к Пушкину строг и имеет к нему духовно-стилистические претензии, с которыми дерзает заглядывать в душу поэта: «...(в дальнейшем он не раз еще будет путаться, приписывая, например, Евангелию «божественное красноречие» и «вечно новую прелесть», — прелесть в сакральном языке значит соблазн). Как будто ему хочется заговорить тем, новым языком, а он плохо его слушается. Кажется, что он растерян, словно попал в ловушку».

Можно одно сказать на это: нет, не кажется. Другое кажется — что столь духовные претензии к языку поэта могут нас далеко завести по пути утраты способности слышать слово Пушкина, слышать этот язык. И еще кажется: автор судит о Пушкине снисходительно и свысока, как владеющий правильным языком о невладеющем и «путающемся». Очевидно ведь всякому знающему ясный пушкинский текст, что всю эту столь непушкинскую психологию придумал автор статьи и Пушкину приписал, — но зачем? Затем, наверное, что В. Непомнящему хочется, чтобы Пушкин заговорил как митрополит Филарет, видимо, не до конца вразумивший поэта в 1830 году.

Что касается «прелести», то в особенном беспокойном внимании филологов нашего дня к этому слову у русских писателей сказывается «нынешняя социокультурная ситуация». Здесь В. Непомнящий не одинок: как раз дописавши письмо до этого места, я получил № 2 «Нового мира» со статьей А. Архангельского, отмечающего выразительный факт: это для нашего «нынешнего религиозно-этимологического слуха» звучит сомнительно пушкинская «прелесть» как в том прозаическом отрывке, которым и В. Непомнящий не вполне доволен, так и, конечно, в строке, вызывающей нынче особенное смущение, — «Чистойшей прелести чистойший образец». Это с нашей нынешней «слуховой позиции» «они» в этом слове «путались» (Жуковский тоже), справедливо отмечает А. Архангельский, сами «они-то полагали, что все в полном порядке». Для нынешнего же новоправославного слуха строка, становящаяся на глазах почти одиозной, звучит, по Архангельскому, «совсем труднопереносимо» (вот и В. Непомнящему «невыносимо» стихотворение «Дар напрасный...»).

Мы теперь не прощаем «им» неканонического словоупотребления, однако для «них» оно было вполне органично, даже и гармонично, в том числе в сакрализованных контекстах. Убедительнейший пример нашла в вышеназванной статье И. Сураат — «святая прелесть» в лермонтовской «Молитве» («И дышит непонятная, / Святая прелесть в них»). Кажется, вот какофония смыслов, потому что ведь несомненно, что «прелесть» сюда пришла из обмирщенного, светского словаря XIX столетия, — а какая гармония! Союз двух слов такой убедительный, что не оставляет места сомнению с какой угодно слуховой позиции.

Достоевский будто предвидел нынешние смущения, когда позволил себе остро играть православным словоупотреблением, и не где-нибудь, а в главе «У Тихона» в «Бесах»: «— Помните ли вы: «Ангелу Лаодикийской церкви напиши...»? — Помню. Прелестные слова. — Прелестные? Странное выражение для архиерея, и вообще вычудак...»

Ставрогин удивляется, потому что Тихон употребляет аскетический термин в обиходном светском значении. обаятельные, восхитительные слова — а ведь какие это слова! Нет сомнения в том, что Достоевский намеренно ему это позволил и отнюдь не хотел его этим компрометировать, скорее напротив, оттенил его человеческую свободу и неукладываемость в официальную рамку «...и вообще вы чудак...»

«Странное выражение для архиерея.» Не случайна у Достоевского эта черта. ведь Тихона осуждают в монастырском кругу (устами строгого «и, сверх того, известного ученостию» отца архимандрита) «в небрежном житии и чуть ли не в ереси» И старец Зосима подобными же чертами отмечен, его подозревают тоже в чем-то вроде религиозного модернизма: «По-модному веровал, огня материального во аде не признавал». Достоевский остро наделял своих святителей подобными проявлениями свободной религиозной духовности, с известным уклоном в мистический пантеизм и чертами своеобразного францисканства. И слышал себе обвинения в ереси от Леонтьева, ссылавшегося при этом на оптинских монахов, чуть ли не осуждавших фигуру Зосимы и не признавших «Карамазовых» «правильным православным романом». Подтверждений документальных этому нет, но это правдоподобно. Но православная мысль приняла Достоевского как христианского писателя, оцерковила его, как писал, возражая Леонтьеву, Розанов.

Удивительно: Даль в своем словаре уже почти не разделяет два значения слова «прелесть», старорусское и новое светское, перечисляет их подряд, вперемежку, без аналитического расчленения, что говорит, вероятно, об известной атрофии языковой исторического сознания в 60-е годы прошлого века. Но никакой подобной атрофии в те же годы у Достоевского! Он нарочито сталкивает значения, но так, что мирское значение в устах монаха становится знаком открытой к миру свободной духовности. И — возвращаясь к нашему основному сюжету — вот сравнение: сердцеведу-а рх и е р е ю у Достоевского позволено то, чего пушкинист наших дней не позволяет поэту. Ибо Пушкин все-таки и в свои последние годы, к каким относятся строки, которыми не вполне удовлетворен пушкинист (1836), не стал духовным писателем в специфическом смысле, остался поэтом и в своем прозаическом размышлении о христианской книге Сильвио Пеллико — и слава Богу, скажем мы от чистого сердца и от всей нашей русской духовности, потому что к великой пользе именно для нее это было так.

С. Л. Франк в своих пушкинских статьях несколько раз вспоминал тот образ Пушкина, что нарисовал Леонтьев в споре с пушкинской речью Достоевского. Леонтьев спорил с Достоевским со строго ортодоксальных позиций и аргументом в споре, наряду с догматическими основоположениями, выставил самого Пушкина — «чувственный, воинственный, демонически-пышный гений Пушкина». Все эти эпитеты — восторженные, и никаких христианских претензий такому Пушкину Леонтьев не предъявил, в то время как христианского мыслителя Достоевского обличил «в недостаточном христианстве» (так в одном письме разъяснял он смысл своего спора). Один из леонтьевских парадоксов, но, как известно, такое в леонтьевской связи идей в порядке вещей: страстный Пушкин как аргумент в почти богословском споре.

Да, такого Пушкина он любил, и такой Пушкин должен был сам по себе быть опровержением пушкинской утопии Достоевского. Не похож он, по Леонтьеву, на «розового» гармонизатора земных противоречий и скучного всеобщего примирителя. Но истинный ли это Пушкин или был «мой Пушкин» и у Леонтьева? Он, конечно, очень не совпадает с тем духовным Пушкиным, какого постепенно открыла философская пушкинистика уже нашего века. Но вот самый серьезный ее представитель, С. Л. Франк, признавал оправданными упреки Леонтьева Достоевскому и выписывал леонтьевскую характеристику Пушкина охотно и даже сочувственно. Но прибавляя тут же, что она «так же односторонняя», как и образ «смирненного христианина». Согласимся: односторонняя, но — реальна; и вот задача: как образуют страстный и духовный Пушкин единый пушкинский образ? Это нам еще непонятно, и мы чувствуем, что задача не решается указанием на эволюцию («путь») от страстного к духовному Пушкину или традиционным объяснением (от Гоголя и Владимира Соловьева до Ирины Сураг) о гармоническом преображении страстей. Нет, эти два не вполне совпадающих лика опять-таки образуют объем творческой личности и поэтического мира, и страстно-духовное поле поэзии Пушкина — проблема для пушкиниста. Проблема, связанная с риском, какой заключает в себе сама поэзия и, следовательно, работа пушкиниста тоже. Проблема, кажется, не существующая для нового благочестивого пушкиноведения (а можно, кажется, говорить и о нарождающемся пушкинистском фундаментализме). «Ни моря ни степей, ни кружки»

Гимн Чуме, Вальсингам — средоточие и пушкинского и пушкинистского риска. Над ним билась Цветаева, на него в наши дни положил много сил В. Непомнящий. Позиции этих двух авторов, как легко догадаться, совсем противоположны, и современный автор даже позволяет себе сурово заметить поэту (на что она не может ответить), что, будь в ней «частица духа Татьяны, она бы в ужасе отшатнулась» от этих пламенных строк. Что до частицы духа Татьяны, то не забудем, что Цветаева возвратилась на гибель на родину вслед за изувеченным (душевно) в новых сраженьях мужем, а на совет отшатнуться в ужасе, возможно, она бы ответила так, как сказала о поэте, отрезающем себя от «наития стихий» как источника творчества, — что такой поэт лучше бы шел в солдаты. Кажется, что и к нам, о Пушкине пишущим, это относится тоже.

Гимн Чуме — это вопрос об авторе и герое. Кто говорит, кто поет, сколько здесь героя и сколько поэта, что это — лирика Пушкина или объективированная «чужая речь», при этом очень чужая, в которой есть Пушкин-поэт, но пушкинского сознания как бы нет, — ибо Вальсингам «поет ложь»; по слову В. Непомнящего. Так радикально, кажется, не решал вопроса еще никто, в том числе никто из наших религиозных философов; Иван Ильин, например, писал о «гимне, звучащем исповедью». А Цветаева разбиралась в вопросе сложно. Да, говорила она, поэт отождествляется больше с Вальсингамом, чем со Священником, что не значит, что просто отождествляется с Вальсингамом, он уходит со сцены последним, после Священника, «с трудом (как: с мясом) отрываясь от своего двойника Вальсингама», он в итоге трагедии распадается «на себя — Вальсингама — и себя — поэта, себя — обреченного и себя — спасенного». У В. Непомнящего гораздо проще: Пушкин отождествляется со Священником, роль которого, утверждает он, невольно преувеличивая, в структуре драмы огромна. В самом деле она велика и до Непомнящего была недооценена. Только значит ли это, что Председатель поет ложь, а Священник говорит ему пушкинскую правду? Мы Священника плохо слушаем, замечала Цветаева, «зная заранее, что он скажет». Наверное, плохо делаем, что плохо слушаем, но ведь есть, в самом деле, различие поэтического качества этих речей, непосредственно свидетельствующее о различии меры присутствия гения автора в них. «Мы часто стремимся услышать от Пушкина что-то заранее нам известное — и в таких случаях перестаем его слышать вообще», — говорит И. Сурат, имея в виду ту самую тенденцию сегодняшней пушкинистики, которая и меня побудила к этому спору. Именно: перестаем его слышать вообще.

«Пушкину, чтобы написать «Пир во время Чумы», нужно было *быть* Вальсингамом — и перестать им быть. Раскайвшись? Нет». Пока никто сложнее и тоньше Цветаевой не вслушался в звуки опасной песни, в смешение голосов героя и автора в ней. На то разработанные современной филологией методы поэтики, чтобы определить характер и меру смешения, но что смешение и слияние голосов, их очень подвижное соотношение здесь есть (при том, что есть и дистанция), внутренний слух читателя Пушкина не сомневался в этом никогда, так что прочтение пушкиниста наших дней, полностью отчуждающего ядовитый гимн от пушкинской правды, можно сказать, порывает с прочной традицией восприятия этого текста. В. Непомнящий хочет, толкуя трагедию, обойти без риска, и он пересказывает урок, какой, устами Священника, преподал нам поэт. Но еще раз вспомним Цветаеву, говорившую, что уроки, которые мы извлекаем из искусства, мы в него влагаем.

В стремлении обойтись без риска пушкинисту приходится Пушкина подправлять: «...не все, «что гибелью грозит», заключает в себе бессмертие — а только такая гибель, которая освящена верой и любовью». Пушкинист нам скажет, что не Пушкина он поправляет, а его несчастного, деморализованного героя, в песне которого слышно «обычное малодушие» (и как такая мелкая психология породила такой могучий текст?), — но мы не поверим. Не поверим этому отчуждению «гимна, звучащего исповедью», от пушкинской правды о человеке, которая широка и не подлежит духовной цензуре, какую, наверное, не желая того, на нее наводит пушкинист. Здесь же рядом он и к другому очень известному слову совсем иного пушкинского героя делает уточнение отсылкой к священному тексту. «Все, все, что гибелью грозит» — да, гениально, а гений и злодейство — известно что; но слово Моцарта правильно можно понять лишь в связи с заветом ап. Иоанна Богослова: «Возлюбленные! не всякому духу верьте...» Хорошо, но как мы прежде читали эти слова без руководящего уточнения? Да так, как Моцарт у Пушкина их сказал, — читали прямо. Но пушкинист почувствовал рискованность и этого афоризма и хочет обезопасить его. Не всякому духу, не всякому гению верьте — не верьте гению Вальсингама, а также в немалой части Цветаевой, Блока.

Мы пришли к различению духов — основоположному, почти догматическому пункту пушкиноведения В. Непомнящего в последних его работах. В Писании тезис о различении духов вписан в более общий и сложный контекст. «Дары различные, но Дух один и тот же...» — верно ставит эпиграф к своей статье И. Сураат. Это универсальная мысль, а в дальнейших стихах той же 12-й главы Послания ап. Павла различение духов названо как один из даров: «Иному чудотворения, иному пророчество, иному различение духов...» (I Кор. 12, 10). Пушкинисты недаром обращаются к этой богословской теме: она имеет близкое отношение к теории творчества и к пониманию Пушкина, который и сам ведь высказывался на языке своей поэзии на эту тему («Зачем крутится ветер в овраге?...» — что это как не пушкинское переложение своеобразно-парадоксальной евангельской максимы «Дух дышит, где хочет», которая, начиная с лютеровской Библии, как и в новых русских переводах о. Кассиана Безобразова и В. Н. Кузнецовой, переводится и как «Ветер веет, где хочет»: «Таков поэт: как Аквилон, / Что хочет, то и носит он»).

«Есть стихи, свободные по преимуществу — и в своей свободе грозные для человека. Замечательно, что явления Св. Духа нередко связаны с бурным действием именно этих стихий: ветра и огня». Статья Георгия Федотова «О Св. Духе в природе и культуре» (1932), откуда эта цитата, — это очень свободное богословствование, автор сразу предупреждает, что опыт его — это «гадания» и «предчувствия» и предмет его стоит вне круга зрения теологии. Это «гадания» о творческом вдохновении и его таинственном, святом источнике. Необычайно ярко, прямо художественно автор живописует картину действия Св. Духа в мире, и, наблюдая ее, мы вздрагиваем, вспоминая: «Все, все, что гибелью грозит...» «Языками пламени, валами океана, песками пустыни — всем чем угодно, только не словами — написано» (Цветаева). Теми стихиями, «смертельными для человека», которые тем не менее оказались религиозно нужны как образы, как язык для описаний пневматофании. «Почему же в них проявляется Дух Святой? Здесь открывается безграничное поле для размышлений». Размышлений рискованных, признает философ, но без риска здесь просто нет самого размышления. Г. Федотов прекрасно знает о различении духов, но он утверждает Дух, который «один и тот же» — святой источник жизни, творчества, вдохновения. «Страшно, следуя обманчивым зовам, отдаться в плен духам стихий. Еще страшнее угасить Дух».

Эти четыре последних слова хочется подчеркнуть всеми возможными курсивами. Что важнее, первое — различение духов или единый Дух? Автор статьи «Пушкин через двести лет» делает различение духов методом чтения русской поэзии и, идя по следам П. А. Флоренского, ловит беса за хвост в блоковском «К Музе». Не задерживаясь на этом, только скажу, что подозрительным глазом нельзя читать поэзию. Песнь Вальсингама, во всяком случае, так прочесть невозможно, будут велики потери: потеря пафоса, в конечном счете потеря творческого духа, породившего этот великий текст. И вообще внедрившийся в стиль пушкиниста навык подозрительного чтения не есть ли следствие первенствующей установки на различение духов?

Это письмо — о чтении Пушкина. На читателя Пушкина давит своя переживаемая история — так было и будет всегда. Но презумпция «чистого», идеального чтения тоже должна всегда сохраняться.

Я по совести считаю Валентина Непомнящего замечательным пушкинистом. Пушкиноведение этого автора я не рассматривал здесь в его полноте, а лишь попытался выделить некий системный каркас, какой проступает все более жестко в последних его работах. Многое множество пронизательных наблюдений и замечаний осталось поэтому за пределами рассмотрения. Но и каркас не может не сказываться на том, как читает теперь В. Непомнящий Пушкина. И то, как он читает его, мне кажется действием небезобидным.

В 1924 году Ходасевич вещал о конце культурной эпохи и наступлении бездуховного мрака — что для него выражалось в потере слуха к Пушкину: от грохота событий стали читатели Пушкина туговаты на ухо. Сейчас у нас снова грохот событий, но идущих как будто в другом направлении, и новая (она же старая) духовность, исканием которой отмечено и наше новое пушкиноведение. Тут, однако, встают вопросы, связанные с проверкой этой новой методологии (или назовем ее аксиологией) на чтении Пушкина. Об этом — мое сомнение и мое письмо. Обнаруживается, что и она ложится на чтение Пушкина тяжело. «Медведь духовности великой там наступает всем на ухо». Увы, в этой грубой картине есть верное наблюдение. Мы все не можем высочить из «социокультурной ситуации», и на духовном подходе к Пушкину наших дней тоже лежит ее печать.

Да не буду я понят так, что я прэтив духовных (а лучше, точнее сказать — философско-религиозных) интерпретаций Пушкина. Сам по мере уместности и своего разумения хотел бы быть к таковым способен. Я против утилизации Пушкина в высших целях. И, воспользовавшись советом о различении духов (это, конечно, шутка), предположил бы, что можно различать и духовности. Идеологизированную духовность наших дней, забивающую, по моему впечатлению (какое, могу допустить, ошибочно или пристрастно, но вот оно таково), у прекрасного пушкиниста его известный нам всем артистический слух, отличать от, скажем, духовного понимания Пушкина у Вячеслава Иванова. Проверка — чтение Пушкина.

Это наше национальное дело — чтение Пушкина, и на что-то в наших будущих судьбах оно повлияет. Что у нас сейчас происходит с Пушкиным, исторически важно — не побоимся громкого слова, — и надо отдать себе в этом отчет.

Сергей БОЧАРОВ.

ПО ПОВОДУ ОДНОЙ «ВЕРСИИ»

Сначала в парижской газете «Русская мысль», под названием «Тайна Елабуги. Третья версия», а теперь в вашем журнале в февральском номере напечатана статья «Третья версия. Еще раз о последних днях Марины Цветаевой». Автор статьи Ирма Кудрова пишет о моей книге «Скрещение судеб», что я хотя и «не слишком прямо», но «с достаточным нажимом» якобы выдвигаю версию, что Цветаева покончила жизнь самоубийством, будучи «душевно нездоровой»!

Но дело в том, что я в своей книге вообще не выдвигаю версию самоубийства и делаю это совершенно сознательно, ибо мне хорошо запомнились слова Марины Ивановны: «Если есть в этой жизни самоубийство, оно не там, где его видят, и длилось оно не спуск курка...» И задача моя состояла совсем в ином! И если судить по многочисленным письмам, которые я получаю, и по тем откликам в прессе, как в России, так и в Германии и во Франции, где «Скрещение судеб» переведено, то читатель понял мою книгу так, как она мною и написана. Конечно, в книге есть многое, с чем можно поспорить, но непонятно, зачем приписывать мне то, чего я не говорила и не могла сказать. Я много поминаю о душевной боли, которая сопутствовала Марине Ивановне всю жизнь, но «душевной болезни» я у нее не заметила, а если бы заметила, то написала бы об этом открыто, а не стала бы запрятывать в подтекст, ибо это не вина человека, а его беда. Но, к счастью, хоть эта беда миновала Марину Ивановну...

А что касается того, что в книге есть ощущение неотвратимости трагической развязки, то это так. И ощущение это возникло у меня не только тогда, когда я работала над книгой, но уже в те далекие годы, когда мне посчастливилось встречаться с Мариной Ивановной.

Недавно среди старых бумаг я обнаружила письмо, которое писала мужу на фронт спустя десять дней после ее гибели, 10 сентября 1941 года. На письме стоит штамп: «Проверено военной цензурой». И потому мне пришлось писать так, чтобы цензору не к чему было бы придрататься и вымарывать слова тушью. Я писала: «Марина Ивановна стала уже историей литературы. Она умерла в Чистополе. Мне всегда казалось, что она умрет не просто, но никогда не думала, что смертью «Поликушки» Толстого. У нее была слишком сложная жизнь, видно, под конец она не выдержала. Я видела ее перед отъездом...»

Вот то, что мне хотелось сказать по поводу «версии», приписанной мне И. Кудровой.

Мария БЕЛКИНА.

КОРОТКО О КНИГАХ



Три повести, рецензируемые здесь, написаны авторами разных эстетических ориентаций и представляют теперь уже три разных литературы — грузинскую, литовскую, русскую. Объединяют их только годы написания: 1992 — 1993. Обстоятельство по нашим временам очень даже существенное. К тому же во всех трех повестях присутствует ситуация постперестроечной жизни наших стран, ситуация, которую мы переживаем по-прежнему сообща. И потому в этом микрообзоре я буду ориентироваться на почти архаичную в контексте нынешней критики задачу: новая литература как отражение новой действительности.

С. К.

І. ШОТА ИАТАШВИЛИ. Больной город. Повесть. Перевод с грузинского Александра Эбаноидзе. «Дружба народов», 1993, № 9.

Начну с повести Шота Иаташвили, кроме всего прочего, поражающей еще и временем написания. «Январь — март 1992» — фактически это дата начала гражданской войны в Грузии. Крест, установленный перед Домом правительства после трагедии 9 апреля 1989 года, никого не остановил. Иаташвили писал свой «Больной город» буквально под грохот пушек с проспекта Руставели. Автор тогда еще не мог знать о дальнейшем развитии событий в Южной Осетии, о грядущей абхазской трагедии, о военных и политических метаниях звонистов. Серьезное испытание для текста, который будут читать сегодняшние читатели. И забегая вперед скажу, что это испытание повесть выдержала. Иаташвили искал обобщенную метафору для изображения болезни, что поразила не только его Грузию, но раз за разом поражает самые разные народы и страны. Он писал о всех нас. И нашел для своего замысла соответствующую форму.

«Я живу в больном городе», — начинает свой рассказ герой повести. Больной город — основной образ повествова-

ния. Здесь повседневное неприметно перерастает в фантастическое: танки на улицах и автоматные очереди, бесконечные смены правительства; мышинные консервы и повидло из тараканов, церкви, превращаемые в порнохрамы, бесконечный поток трупов, которые загружает в печь крематория герой-рассказчик. Всеобщее озлобление и одичание становятся нормой жизни. И только герою, пока глаза его не помутнели окончательно, как у всех прочих, пораженных загадочной болезнью, город все еще предстает в истинном виде: «...чудище с выгоревшими, безоконными домами, однорукими и одноногими мужчинами, изнасилованными женщинами, перемешанными с кровью человеческими мозгами...».

У героя есть надежда спастись, но почти нет надежды что-либо исправить вокруг; он и его друг поэт Сиро мучаются от собственного позорного бессилия. «Если мир погибнет, — говорит им Мафусаил, вечный старец, ровесник города, сохранивший духовную ясность и крепость, — это в первую голову случится по вине поэтов», «за все в ответе именно вы — поэты, музыканты, художники, а не Наполеоны и Муссолини» Пушенное в ход оружие — только следствие.

Но потрясенный гибелью друга, герой берет в руки все-таки оружие. Именно оружием он намерен истребить зло вокруг. И постепенно ему приходится не только убивать врагов, но убить и мать, и любимую, и самого Мафусаила. И чем больше он стреляет, тем отраднее и страшнее становится все вокруг него. В финале как бы издали видит герой свой безнадежно большой город и обреченных, мертвых жителей его и «себя самого — мертвого-мертвого».

Думаю, автор вполне отдавал себе отчет в том, что образный ряд его повести не покажется особо оригинальным в контексте современной литературы. Так же, как и его пафос: все болезни мира вы носите в себе. Потому не пытайтесь лечить других. Начните с себя. Лечите

мир через себя, лечите добротой и человечностью к близким. Покаянием. Как фальшивый Мафусаил — грешник, распутник, убийца и тем не менее обладатель самых ясных и добрых глаз в городе.

Кто сегодня не балуется в прозе абсурдистской символикой и философскими сентенциями? — скептически спросит читатель. И будет не прав. В повести есть очень важный диалог Мафусаила с поэтом по поводу его новых стихов: «„Слабые стихи, но нужные...“ — „И фальшивые...“ — „Нет!.. Это лучшая частица твоей души, а она не может быть фальшивой... То, что ты писал раньше, было ярко, необычно, но от нечистого...“ — „Я не хочу быть банальным...“ — „Это-то и губит мир!.. Безмерная гордыня, мания величия... Так рождаются Геростраты...“».

Оригинальность повести Иаташвили не в ее образном ряде, а в том, как использует он язык «высоколобой» интеллектуальной прозы применительно к своему тексту, как бы предназначенному для балаганного представления на площади (в журнальном предисловии к повести она так и названа «романом в стиле рок»). Это не возвращение к старому спору («поэтом можешь ты не быть...»). Иаташвили знает, что гражданином поэт может стать, только оставаясь именно поэтом. Он просто ищет свой язык, свою поэтику внутри «высоколобой» литературы, пытаясь преодолеть ее самозамкнутость, вернуть искусство к его истоку.

II. ВИДМАНТЕ ЯСУКАЙТИТЕ. Голубка, которая ждет. Повесть. С литовского. Перевод Наталии Воробьевой. «Дружба народов», 1994, № 2.

Отличие от гротескной, экспрессионистской манеры Иаташвили перед нами спокойно текущее, почти камерное по звучанию, написанное в традициях социально-психологической и бытовой прозы прибалтов повествование. Но тема та же: интеллигенция и народ. Отнюдь не камерная тема.

...Герои повести, муж и жена, внезапно решаются бежать из дома. Что-то произошло. Они сами еще не понимают до конца что. Возникшее у них ощущение явной враждебности окружающего мира достигает критической точки. И они бегут, бросив свою квартиру, книги, работу. Без ясной цели переезжают из городка в городок. Станный сюжет и еще более странная внешняя бесстрастность повествования, как бы некоторая непрописанность ситуации.

Что стало толчком к бегству? Зловещая фигура соседа-электрика. Кто он, читатель так до конца и не узнает. По некоторым деталям, скажем, по тому, что он тайно ночами ходит в брошенную квартиру рыться в бумагах, можно предположить, что это добровольный помощник КГБ. Может быть, герои-интеллигенты бегут от происков КГБ? Может быть, но не только...

В описании их покинутой квартиры бросается в глаза почти утрированная интеллигентская эталонность: «белый ворсистый ковер... кресло-качалка красного дерева, письменный стол с позолотой на ящичках и ручках, книжный шкаф во всю стену... пианино с откинутой крышкой, стены, увешанные множеством старых фотографий в темных тоненьких рамках». И быт их строился так же: «Каждое утро... они отправлялись, взявшись за руки, побродить по городку. Обычно они выходили из дома именно в тот час, когда все торопились на работу или за покупками. Они шли медленно, никуда не спеша...» А в описании внешности героя, рафинированного поэта-переводчика и эссеиста, мелькает «крючковатый еврейский нос». Так, может быть, здесь классовое, социальное или национальное разобщение? Может быть, но и на этом автор не настаивает.

Пока автор делает внятными только одно — герои почувствовали себя изгоями, и чем дольше мечутся они по стране, тем острее и переносимей это чувство.

У их изгойства есть четко обозначенный писателем исторический исток — оба они в детстве лишились родителей, не вписавшихся в социалистическую новь; оба долгое время вынуждены были скрывать это. И все-таки главной причиной, как постепенно становится ясно из разворачивающегося внутреннего сюжета повести, было не их раннее сиротство, не их прошлое, а упорство, с которым они долгие годы отодвигали от себя это прошлое, пытались укрыться от него в комфортабельных занятиях культурой, выстроив свое почти автономное существование в этой стране. И вот теперь, внезапно решившись заехать в родной городок, герои ощущают, что прошлое, от которого они прятались, — это и есть их страна.

Так, может быть, гонит героев по свету их глубоко запрятанное от самих себя чувство вины перед собственной страной? Которая по-прежнему остается их страной, по-прежнему жлет их и к которой они никак не могут найти пути. В

финале повести герои стоят на пороге психиатрической лечебницы, возможно, последнего места, где они могли бы жить. Они почти готовы совершить отчаянный шаг. Читатель так и не узнает, чем кончились поиски героев. Проблема не разрешена, так же как не разрешена она и в самой жизни, где и литовская и русская — умная, свободная, благородная — интеллигенция почему-то снова оказывается в стороне от дел.

III. АЛЕКСАНДР ЧУМАНОВ. Дискотека. «Урал», 1993, № 5.

Сюжета у повести нет. Это как бы просто зарисовки с натуры, сделанные человеком, который работает ночным сторожем в Доме культуры крохотного городка под Екатеринбургом и вынужден наблюдать за вечерней жизнью юной провинциальной России. Повествование объединено, казалось бы, только личностью автора и местом действия. Но вот низутся сценка за сценкой, удивительно пластичные и выразительные при том минимуме средств, которыми пользуется автор, возникает атмосфера провинциального Дома культуры, а далее — благодаря месту, которое занимает ДК в жизни любого маленького города, благодаря свободе повествования, позволяющей автору вплетать различные соображения и наблюдения по поводу, — складывается образ городка и его жителей. И оказывается, что содержание повести достаточно жестко определено прежде всего ее мыслью. Перед нами повесть о жизни русской провинции начала 90-х годов, умная, жесткая, неожиданная, при внешней заурядности материала.

Нет нужды доказывать, как непросто писать «простую прозу», когда между изображаемым предметом и читателем не маячит фигура автора, когда у читателя возникает ощущение, будто перед ним широко раскрытое окно, через которое он наблюдает реальную жизнь, так сказать, непосредственно. Для этого на самом деле нужно очень много автора — его умения, его таланта.

Несколько слов о фигуре повествователя в «Дискотеке». Зовут его Александр Чуманов, писатель; официальный статус, то есть членский билет СП, получил тогда, когда тот уже ничего не значил, а сам литературный труд перестал кормить. И работа в ДК — отнюдь не творческая экскурсия в жизнь, а заработок. Повествователь для горожан — человек вроде бы свой и одновременно чужой: «Что видят сегодня мои земляки? Они

видят изрядно траченную жизнью мужичка в драном ватнике и яловых сапогах», «гоняющим на мотоцикле с коляской, а в коляске то мешки с картошкой, то доски какие-нибудь, то трава». «У меня две обидные клички — Поэт и Писатель. Иногда с прилагательными. Но и без прилагательных звучит очень оскорбительно». Дистанция, с которой наблюдает автор жизнь поселка, и сам образ его жизни позволяют увидеть то, чего не заметит ни приезжий чужак, ни свой, приглядевшийся к городку.

Например: при том, что, кроме ДК, в городах, подобных описываемому, других «культурных очагов» не бывает, а сами Дома культуры давно уже функционируют только как «дискотеки», получается, что дискотека сегодня «словно бы олицетворяет все то, что по инерции до сих пор еще называется культурой народа».

Увы, в увиденном и изображенном Чумановым нет ничего напоминающего тот заповедник, ту провинциальную Россию, которой, по мнению некоторых наших публицистов, должна спастись страна. Как одна из самых удручающих черт нового поколения отмечена автором почти полная его дезориентированность, растерянность. Прежние стереотипы поведения, когда младшее поколение волей-неволей зависело от старшего (хотя бы потому, что старшие больше зарабатывают, содержат), потеряли всякий вес. А новых ориентиров реальная жизнь не предложила. И поэтому популярная фраза «новое поколение выбирает пепси» звучит даже не как замаскированная под рекламу пропаганда, а как констатация положения вещей. Потому-то так жалки и отталкивающи потуги нынешней молодежи «жить полной жизнью»: «...тем временем набирает и набирает обороты дискотека... то и дело слышен звон стекла... И вот уже многие, а порой кажется, все — пьяны. Пьяны двенадцатилетние мальчишки в залатанных школьных пиджачках и двенадцатилетние облытительницы в лосинах, пятнадцатилетние крутые мэны и пятнадцатилетние «телки»... Пьяны также двадцатипятилетние отцы семейств... и двадцатипятилетние чувихи... скрывающие недостачу передних зубов». «...последний танец... У раздевалки — столпотворение. Гляжу в окно — там вся обширная площадка уставлена всевозможной техникой — «Жигули», «Москвичи», «мерседесы», «тойоты»... И начинается «большой съем». Крутые мэны, которых даже не было видно на дискотеке, некоторые возрастом годов под тридцать, увозят девочек пачками

А у меня будут стоять перед глазами юные, раскрашенные в боевую раскраску лица, предвкушающие сладкий грех, бо-ящиеся греха, но примирившиеся с его неотвратимостью»

И не в провинции дело. Какая уж тут провинция и чем она отличается от «непровинции», если и здесь точно так же укоренены в быт, а не только в язык, слова «сникерс», «иномарка», «сьем», «бомж», и здесь выясняют в спорах, как правильно произносить — Ельцин или Эльцинд, а философии жизни учит

хриплоголосая кабацкая Маша Распутина. Минули романтические времена, когда писатели удивляли «чернухой» («Стройбат», «Одлян» и т. д.); здесь не «провинциальная чернуха», нет, это уже наш быт, наше среднестатистическое, повседневное, расейское.

Единственное, пусть слабое, но все-таки утешение, что как бы горько и страшно это ни было, но это сказано, явлено. А значит, остается надежда, что сказано не зря.

Сергей Костырко.

*

АЛЕКСАНДР ПРОХАНОВ. Последний солдат империи. Роман. «Наш современник», 1993, № 7, 8, 9.¹

Лучшее в книге Проханова — ее название.

Но все по порядку.

В литературе иногда бывает так, что ограниченность писателя (я имею в виду ограниченность его творческих возможностей) проявляется наиболее явно не в самых провальных его созданиях, в которых дурно все без исключения — от самого замысла до исполнения, от первоначального творческого импульса до особенностей стиля. Случаются книги сквозь шаткие конструкции которых виден тем не менее добротный фундамент. Смотришь на него и думаешь: вот этот фундамент, да хорошему строителю, он бы воздвиг не такую сараюшку.

Поясню, что именно мне просвечивает сквозь новое прохановское сочинение. Попробую пересказать фабулу так, как она видится мне. Итак, происходит все накануне августовского путча 1991 года. Главный герой — Аввакумов, очень ценный специалист, вхожий на самые верха государственной власти, создатель теории «организационного оружия» (то есть нанесение поражения противнику через разрушение или подчинение его государственных и общественных структур). И вот Аввакумов видит, чего не видит почти никто в стране: как идут навстречу друг другу два «подкопа», два Заговора с большой буквы

Один — заговор американско-цереушно-масонско-... (много еще какой); другой — заговор патриотический, исходящий от руководителей партии и государства, попросту — ГКЧП. По известной терминологии известного конспиролога А. Дугина, заговор «атлантистов» и заговор «евразийцев». Одни хотят разрушить СССР, другие — спасти державу. При этом Аввакумов не участвует ни в том, ни в другом заговоре. При этом «атлантисты» знают, что Аввакумов про них догадывается, очень ценят его интеллектуальную мощь и все время прибегают к нему домой, чтобы уговорить ехать в Америку насовсем. Но Аввакумов не хочет. Гекачеписты тоже ценят Аввакумова, но ничего ему не предлагают. Аввакумов не сочувствует «атлантистам», но чувствует, что они победят. Он сочувствует будущим гекачепистам, но чувствует, что они проиграют. При этом космополиты знают про заговор гекачепистов, а гекачеписты знают про заговор космополитов; первые знают, что те тоже знают, а эти знают, что те тоже знают. В конце книги происходит «путч» и побеждают космополиты, потому что они (так уж это выглядит в книге Проханова) подлые, но умные, а патриоты — честные, но не такие умные. А Аввакумов все время коллекционирует бабочек, и делает это хорошо...

Пусть читателя не вводит в заблуждение мой иронический пересказ. Я уверен, что эта схема могла бы лечь в основу настоящего крепкого боевика, международного бестселлера. Причем в этом гипотетическом бестселлере благодаря своевременному вмешательству Аввакумова ГКЧП мог бы и победить. Или хотя бы так: ГКЧП проиграл потому что неосторожно пренебрег его помощью.

¹ В № 22/24 «Общей газеты» (17 — 23.12.93) эта рецензия была напечатана под не принадлежащим мне заголовком и с некоторыми искажениями моего текста, противоречащими содержанию рецензируемого романа. — А. В.

Есть жанр, который на Западе наверняка как-то специально называется: это, так сказать, историко-политический, приключенческо-фантастический роман, в котором соотношение фактов и вымысла зависит исключительно от настроения писателя. Но каким бы это соотношение ни было, никому не придет в голову предъявлять автору счет за несоответствие его построений реальным событиям или общепринятой трактовке этих событий. Например, в одном из западных романов, недавно появившемся на нашем книжном рынке, Гитлер умирает в разгар мировой войны и его заменяют двойником. Ну и что? Такой жанр.

К сожалению, А. Проханов написал на основе вышеприведенной схемы просто политический роман à la Prokhanoff. Более того, он словно напичкан кусками его прежних сочинений о Никарагуа, Афганистане и проч. Точнее — «новыми» кусками, которые не могли войти бы в те «застойные» книги. Мне трудно судить, действительно ли это та правда, которую Проханов не мог высказать при Брежнев, или это нынешнее конъюнктурное договаривание. К счастью, эти фрагменты — будто бы воспоминания Аввакумова о работе за рубежом — даны петитом. Их можно легко пропустить.

О пафосе романа много говорить не приходится — это пафос бессмертной газеты «День» (главный редактор А. Проханов). В этом же духе выдержан и конец романа: Аввакумова убили «демократы». Забили до смерти на улице. Мораль отсюда вытекает такая: езжай в Америку, пока зовут. Но, по-моему, автор имел в виду что-то другое.

Очевидно только одно: ненависть писателя к «дерьмократам» сильнее желания написать добротную, что называется, читабельную книгу.

Я понимаю, нелепо упрекать Проханова за то, что он не Джон Ле Карре.

Но он даже не Том Клэнси!

Андрей Василевский.

ЕГОР РАДОВ. Якутия. М. МИКАП. 1993. 288 стр.

...Еще один (см. выше) погубленный сюжет. Полуфабрикат. И тоже — о распаде Империи (Советской Делпии).

...Павел Дробаха — председатель Либерально-Демократической Республиканской партии Якутии — в конце книги приходит к власти в отдельно взятой

Якутии (книга подписана в печать 23.7.93).

...Якутии, конечно, не существует. Ее выдумал Егор Радов. Карта на обложке украдена у Стивенсона.

...Проханов (см. выше) — не Том Клэнси. Радов — не Проханов. Но и Радов — не Том Клэнси.

А. В.

ВЛАДИМИР СОРОКИН. Месяц в Дахау. Поэма в прозе. Газета «Сегодня», 1994, № 13.

Последний день уходящего 1956 года и первый день наступающего 1957 года оказались особенно памятными для наших читателей: оппозиционная газета «Правда» напечатала рассказ малоизвестного тогда Михаила Шолохова «Судьба человека», который, по свидетельству «Краткой литературной энциклопедии», сразу стал «явлением <...> искусства» (том 8, колонка 762). «Я принадлежу к числу тех писателей, которые видят для себя высшую честь и высшую свободу в ничем не стесняемой возможности служить своим пером <...>» («Правда», 11.12.65, стр. 4) — взволнованно говорил великий диссидент, принимая за этот рассказ Нобелевскую премию мира. Слова, навсегда запомнившиеся нам с той минуты, как их по праву процитировал при получении Букеровской премии 1992 года вечно живой авторитет новой русской литературы Владимир Сорокин.

Газетная публикация его поэмы — также в январе! — является, конечно, продолжением шолоховской традиции (но не эпигонством — публикация сдвинута по отношению к аналогичной шолоховской на три недели, что свидетельствует о творческом подходе). Не случайно один из героев поэмы носит, как и персонаж Шолохова, фамилию Соколов (первый столбец слева, тридцать первая строка сверху). Пользуясь случаем, хочу поблагодарить критика М. Золотоносова, который (я случайно подслушал) обращал чье-то внимание на напряженную ассоциативность другой пары: Сорокин — Соколов. Поскольку одним из персонажей поэмы является оберштурмбанфюрер СС (первый столбец слева, двадцать пятая строка снизу), последняя аббревиатура может быть прочитана и как Соколов — Соколов, и как Сорокин — Соколов, и даже как Сорокин — Сорокин, что лишней раз свидетельствует об удивительной живучести субкультуры русского антисемитизма (сокращенно СРА).

Не случаен и выбор газетной рубрики «Антология»: драматическая история жизни взята в ее обусловленности, в ее связи с историческими испытаниями в жизни народа, отдельного человека (втр стл равно). Главный герой поэмы, носящий имя и фамилию автора, проходит вслед за шолоховским Андреем Соколовым настоящую школу мужества, открывая для себя (и для нас) не только неисчерпаемую амбивалентность задо-мазохистских русско-немецких отношений, но и содержательный диалог двух монструозных ментальностей. Ну и, конечно, дураку ясно, что эмоционально-противоречивое отношение В. Г. Сорокина (персонажа) к русской девочке Лене Сергеевой является не чем иным, как трагическим парафразом патерналистского отношения Андрея Соколова к сироте Ванюшке.

«Изумляли не только идейные, но и эстетические качества „Судьбы человека”, — справедливо писал П. В. Бекетин в коллективном сборнике научных трудов «Победа и мир» («Наука». Л.

1987, стр. 277). Качества эти «ломали традиционные представления о многих вопросах формы и содержания, о писательском мастерстве, о ценностях и законах искусства» (там же). Разве не можем мы сказать того же о поэме Владимира Сорокина? Можем. И скажем. Социально-эстетическая эмблематичность и мощная почвенная самобытность «Месяца в Дахау», сопоставимые только с «Судьбой человека», — лучшее опровержение тех злопыхателей, кто поднял возню вокруг явно надуманного вопроса об авторстве сорокинских текстов (я имею в виду безответственную эскападу в уфологическом журнале «Новое литературное обозрение»). И уж по меньшей мере недоумение вызывают бестактные намеки той же газеты «Сегодня» (редакционная врезка, третья строчка сверху) на то, что писатель будто бы «выпадает из каких бы то ни было измов». Нет, и старость не помеха таланту, если он молод душой!

Вольфик Небрезгливых.

Редакция журнала «НОВЫЙ МИР» еще раз уведомляет зарубежных книгораспространителей, что законным образом отправляются зарубежным читателям только номера «НОВОГО МИРА» в специальном экспортном исполнении — в белой (а не голубой) обложке с эмблемой «NOVY MIR».

Уважаемые читатели!

Если вы не являетесь подписчиками «НОВОГО МИРА» и хотите купить отдельные номера журнала за 1993 — 1994, а также и за другие годы, вы можете это сделать в нашей редакции по адресу Мальтий Путинковский переулок, 1/2 (м. «Чеховская», «Пушкинская», «Тверская», за кинотеатром «Россия») ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 11.30 до 16.30.

Наложением платежом журнал не высылается.

«НМ».

ЗАРУБЕЖНАЯ КНИГА О РОССИИ



ENGELSTEIN LAURA. The key to hapiness. Sex and the Search for Modertnity in Fin-de-Siecle Russia. Cornell University Press. 1992. XIII+461 p.

ЛОРА ЭНГЕЛЬСТАЙН. Ключи счастья. Секс и поиски современности в русском fin-de-siecle.

Свое введение в не имеющее аналогов фундаментальное исследование Лора Энгельстайн начинает с несколько неудобного, способного даже шокировать утверждения: в поздней царской России *секс* был предметом политики. Однако что это было именно так, должно быть очевидно непредвзятому читателю хрестоматийных «Кто виноват?» и «Что делать?», не испорченному интерпретациями русской классики в отечественном (как дореволюционном, так и значительно в большей степени советском) традиционно-асексуальном литературоведении, которое на полном серьезе утверждало, что любовные романы писались в России исключительно с целью популяризации освободительных идей в условиях политической цензуры — нимало не смущаясь тем обстоятельством, что цензура нравов была не менее (если не более) свирепая.

Наследие подобного рода «методологии» сильно сказалось на современных исследованиях в области истории отечественной сексуальной культуры: многочисленные (иногда любопытные, чаще банально-безвкусные) работы и публикации последних лет не идут дальше вынесения на читательский рынок ранее известных лишь исследователям «потаенных» текстов, весь «эротизм» которых зачастую состоит в неумном употреблении ненормативной лексики.

Между тем современное западное понимание «сексуальности» в культуре вовсе не сводится к порнографии, проституции и собственно «сексу» (в том смысле, в котором «его у нас нет» или не было до последнего времени); опираясь на фундаментальное и многотомное исследование Мишеля Фуко «История сексуальности» (о существовании которого автор этих строк узнал лишь из аннотируемого издания), Лора Энгельстайн включает в это понятие не только широкий комплекс идей о сексуальном поведении и различные «сексуальные категории», но и множественность культурного понимания значения и природы различия полов; «мужчина» и «женщина» рассматриваются в качестве социальных категорий, отягощенных грузом своего «пола».

История «полового», или, по более осторожному выражению В. В. Розанова, «семейного вопроса» в России — это история осознания (прежде всего) и реализации человеком права на автономию собственной частной жизни: от государственно-бюрократических институтов, от синодальных и консисторских чиновников, патриархальных социокультурных регламентаций. «Эта книга, — пишет Лора Энгельстайн во введении, — не только о сексе, но также и о либерализме: поиски мира, в котором «счастье» может стать целью частной жизни. Под «либерализмом» я понимаю не только идеи и стремления политических активистов в узком смысле, но топографию установок и ценностей, распределенных среди различных социальных и культурных групп... В России была не только радикальная, но и либеральная интеллигенция — тысячи образованных мужчин и женщин, которые, не будучи политиками, жили в политике и думали о политике в течение профессиональной и гражданской жизни». Примечательно, что русский философский и политический либерализм лишь в начале XX в. вплотную подошел к (впрочем, тогда же и остановился перед) идее включения в свою программу права личности на «свободу половой любви»; значительно раньше об этом начал писать «политический консерватор» В. В. Розанов (факт, обративший на себя внимание и Лоры Энгельстайн).

Хронологические рамки исследования в действительности гораздо шире, нежели указано в подзаголовке: первая часть книги посвящена времени от начала Великих реформ до революции 1905 г.; здесь автор подробно рассматривает историю российского семейного и уголовного права в пред- и пореформенное время, прослеживает связь общелиберальных реформ с изменениями в сексуальном поведении различных социальных слоев российского общества (либеральная интеллектуальная

элита, аристократия, крестьянство и растущее городское население — мещанство и рабочие).

Юридические нормы, хотя и дают отчетливое представление о признаваемых государством и церковью формах социального поведения, очевидно, не отражают конкретно-исторической реальности. И здесь возникает закономерный вопрос: верифицируемо ли конкретным фактическим материалом серьезное историческое исследование столь «щепетильной» темы? Русское общество и русская культура не были, разумеется, столь уж целомудренны, как это хочется иногда представить идеологам определенного направления; однако существовавшие цензурные преграды и традиционные социокультурные запреты резко ограничивают круг реально существующих источников, необходимых для «проверочной» процедуры.

Лора Энгельстайн блистательно справилась с поставленной задачей, обратившись к таким нетрадиционным для историков культуры источникам, как медицинские периодические и непериодические издания. Поскольку предполагалось, что научная литература читается исключительно учеными-специалистами, эти издания мало беспокоили цензуру, и на их страницах уже в XIX в. свободно обсуждались проблемы проституции, сексопатологии, венерических заболеваний и т. д. Научные исследования и статьи, печатавшиеся в таких изданиях, как «Архив судебной медицины и гигиены», «Обозрение психиатрии, неврологии и экспериментальной психологии», «Журнал акушерства и женских болезней», материалы врачебных съездов (например, Высочайше разрешенного съезда по обозрению мер против сифилиса в России, Первого всероссийского съезда по борьбе с торгом женщинами и его причинами) и т. п., предоставили американскому ученому те необходимые источники, на основе которых удалось воссоздать реальную картину сексуального поведения русского общества во второй половине XIX — начале XX в. Заметим, что подобного рода литература в свое время читалась отнюдь не только медиками: достаточно напомнить о той роли, которую исследования в области сексологии сыграли в творчестве В. С. Соловьева («Смысл любви») и В. В. Розанова.

Вторая часть книги посвящена периоду первой русской революции и в большей степени основана на литературных материалах — благо эта историческая эпоха представляет обилие такого рода произведений. Здесь наряду с традиционными источниками (сочинения В. В. Розанова, М. А. Кузмина, М. П. Арцибашева, А. А. Вербицкой — название романа которой и вынесено автором в заголовок исследования, иллюстрации К. А. Сомова, искусство танца Айседоры Дункан и др.) Лора Энгельстайн привлекает опять-таки практически не используемые отечественными исследователями материалы газетных объявлений и рекламы. Ежедневно появлявшиеся в солидных консервативных изданиях (например, в «Новом времени»), подобные тексты способны произвести шокирующее впечатление даже на освоившегося в нынешней российской свободе нравов читателя. (Обращаем на этот факт особое внимание ревнителей якобы традиционного российского целомудрия; ведь как ни верти, А. С. Суворин — не масон!) Ряд таких текстов воспроизведен факсимильно на страницах рецензируемой книги.

Книга содержит также впечатляющую и крайне полезную библиографию, именную и предметную указатели.

Исследование, выполненное американским ученым, позволяет увидеть многое, доселе неизвестное, в «мире неясного и нерешенного» русской культуры. Проблема, однако, еще далеко не исчерпана: в частности, автор предупреждает, что в его задачу не входило изучение индивидуального сексуального поведения; небезынтересными были бы и разыскания в области цензуры, энергично, но, как всегда, малопродуктивно, пытавшейся остановить процесс либерализации нравов. (По случаю приведем один наверняка малоизвестный факт: так, в 1901 г. Главным управлением по делам печати был разослан циркуляр «О запрещении печатания в периодической печати подробных объявлений об вышедших книгах, касающихся половых отношений». ЦИАМ, ф. 16, оп. 91, № 115.)

С появлением «Русского Penthouse» время наскоро слепленных «эротических номеров» литературных журналов миновало. Баркова выучили наизусть, потаенные русские сказки читают дети, «Крылья» и «Тридцать три уroda» никого ни на что не воодушевляют. Есть надежда, что этот таинственный материк русской культуры привлечет наконец серьезных исследователей. Интуиция и жизненный опыт подсказывают (а рецензируемое исследование документально свидетельствует), что, при всех своих «всезычивости», «евразийстве», «космизме» и проч., мужчины и женщины в России были заняты не только разговорами об исторической миссии своей страны. Они еще и любили. Не только ближнего и дальнего — друг друга.

Александр Носов.

КНИЖНАЯ ПОЛКА (3)



Виктор Астафьев. Проза войны. В 2-х томах. Иркутск. «Литера». 1993. Том 1 — 570 стр. Том 2 — 526 стр. 100 000 экз.

Виктор Астафьев. Царь-рыба. Повествование в рассказах. Дополненное издание. Красноярск. «Гротеск». 1993. 384 стр. 100 000 экз.

Иосиф Бродский. Избранное. Москва — Париж — Нью-Йорк. «Третья волна» «Нейманис». Мюнхен. 1993. 298 стр. 10 000 экз.

Редактор-составитель Геннадий Комаров. Автор предисловия Яков Гордин. Этой книгой издательство «Третья волна» начинает выпуск «Библиотеки новой русской поэзии», рассчитанный на пять лет. Проект издания включает в себя более 20 книг «Избранного» тех поэтов, с именами которых автор проекта и издатель Александр Глезер связывает самые значительные достижения «новой русской поэзии»; в предполагаемом списке: Сапгир, Айни, Рейн, Кублановский, Кривулин и т. д.

Евгений Евтушенко. Не умирай прежде смерти. Русская сказка. М. «Московский рабочий». 1993. 367 стр. 10 000 экз.

Николай Заболоцкий. Столбцы. Сборник. Составление, предисловие и примечания А. В. Пурина. СПб. «Северо-Запад». 1993. 512 стр.

Л. Захер-Мазох. Демонические женщины. **В. Захер-Мазох.** Исповедь моей жизни. Перевод с немецкого. М. «Мистер Икс». 1993. 320 стр.

Анатолий Курчаткин. Записки экстремиста. Книга ирреальной прозы. М. «Московский рабочий». 1993. 245 стр. 10 000 экз.

Илья Кутик. Лук Одиссея. 3-я книга стихотворений. СПб. «Современный писатель». 1993. 88 стр. 1000 экз.

Владимир Леонович. Явь. Стихи. М. «Праминко». 128 стр. 1000 экз.

Генрих Сапгир. Избранные стихи. Москва — Париж — Нью-Йорк. «Третья волна». 1993. 256 стр.

Виктор Соснора. Башня. Роман. СПб. «Современный писатель». 1993. 184 стр. 1000 экз.

Бернард Шоу. Избранные произведения. Карьера одного борца. Роман. Пигмалион. Святая Иоанна. Пьесы. Новеллы. Перевод с английского В. Малахиевой-Мирович, П. Мелковой, О. Холмской и др. Послесловие и примечания К. Новикова. М. «Панорама». 1993. 560 стр. 52 000 экз.



Ф. М. Достоевский в забытых и неизвестных воспоминаниях современников. Вступительная статья и подготовка текста С. В. Белова. СПб. «Андреев и сыновья» 1993 33 стр. 5000 экз

Письма Сергея Львовича и Надежды Осиповны Пушкиных к их дочери Ольге Сергеевне Павлищевой. 1828 — 1835. Перевод, подготовка текста, предисловие и комментарий Л. Слонимской. СПб. «Пушкинский фонд» 1993. 294 стр. 15 000 экз.

Р. С. Кац. История советской фантастики. Саратов. Издательство Саратовского университета. 1993. 214 стр. 1000 экз.

Опыт «химической прозы» в жанре литературоведческой монографии, посвященной фантастическим аспектам истории советской литературы (в частности, научной фантастики). Издание подготовлено критиком Романом Арбитманом, убежденным, что, если бы д-ра Каца не было, «его следовало бы выдумать»

Ю. Тынянов. Литературный факт Составитель О. И. Новикова. М «Высшая школа» 1993 320 стр. 5000 экз.

Адресовано студенту-филологу Включает основные теоретико-литературные (в том числе малодоступную сегодня работу «Проблема стихотворного языка»), историко-литературные (Пушкин, Тютчев, Некрасов, Блок, Хлебников), критические и общеэстетические труды ученого. В комментариях Вл. Новикова разъясняются основные тыняновские термины.

С. Н. Булгаков. Сочинения в 2-х томах. Том 1. Философия хозяйства. Вступительная статья, составление, подготовка текста и примечания С. С. Хоружего. 603 стр. Том 2. Избранные статьи. Составление, подготовка текста, вступительная статья и примечания И. Б. Роднянской. 751 стр. М. «Наука». 1993. (Приложение к журналу «Вопросы философии».)

В первый том двухтомника русского философа и богослова о. Сергея Булгакова (издание было сдано в набор еще в 1990 г.), помимо уже переиздававшейся к моменту выхода тома работы «Философия хозяйства» (1912), вошел труд «Трагедия философии (Философия и догмат)» (1920—1921), известный до сих пор только в немецком переводе и напечатанный по русскому оригиналу, хранящемуся в архиве о. Сергея в Православном Богословском институте (Париж). Во второй том вошли образцы публицистики и литературно-художественной критики автора, извлеченные как из его известных сборников «От марксизма к идеализму», «Два града», «Тихие думы», коллективного сборника «Из глубины», так и со страниц старых журналов. Оба тома снабжены именными указателями.

С. Н. Булгаков. У стен Херсониса. Подготовка текста, вступительная статья А. М. Мосина. СПб. АО «Дорваль», АО «Лига», Гарт. 1993. 160 стр. 10 000 экз.

Диалоги «У стен Херсониса» (1923) продолжают многие темы знаменитых диалогов «На пиру богов», написанных в 1918 г. и вошедших в сборник бывших веховцев «Из глубины» В них отразился излом мировоззрения о. Сергея, когда он, по его словам, «перед лицом.. исторического экзамена для русского православия... обратил свои упования к Риму» Впоследствии автор отказался от этих взглядов, однако диалоги не уничтожил, они получили распространение в «самиздате» и впервые были опубликованы в католическом журнале «Символ» (Париж, 1991, № 25). Диалоги сохранили острую актуальность для современной церковной жизни.

Составитель Сергей Костырко.

В связи с отсутствием надежных источников информации о выходящих в стране книгах журнал обращается к издателям с предложением знакомить редакцию со своими новыми изданиями. Книги можно приносить для ознакомления (проезд до станций метро «Пушкинская», «Чеховская», «Тверская», здание бывшей монастырской гостиницы, примыкающее к кинотеатру «Россия», вход со двора, первый этаж, комнаты 7, 10, отдел критики) или высылать по адресу: 103806, ГСП, Москва, К-6, Малый Путинковский пер., д. 1/2, редакция журнала «Новый мир», отдел критики.

SUMMARY

The poetry section contains selections of poems by Eugeny Rhein, Eugeny Khramov and Michael Sinelnikov.

Valery Piscunov whose prose was repeatedly published in «Novy Mir» is coming out with his new story «Trumps of one's own (Hireling's Comments)» telling about nowadays citydweller who leaves for the Caucasus trying to make his living by participating in the war there.

Selected chapters of Inga Petckevitch's «Free Fall» are presented, as well as «rasskaziki» (very short stories) by Andrei Sergeev titled «Exorcism» which are series of parody essays written in 50-th and 60-th with no hope for publication.

In the «Writer's Diary» section there are new essays of Academician Dmitry Lykhatchev «Yon cannot escape yourself...» on the historical self-consciousness and culture of Russia.

The series of essays by Boris Yekimov «On the way» telling about Russian province also continued in the issue.

In the section «Publicistics» a new essay by Julia Latynina «Democracy and Freedom» is presented.

Andrey Vasilevsky in the section «Comments» gives an account of Eugeny Dobrenko's study on Stalin's period literature; while Andrey Novikov writes about the publication of a well-known book by Erich Fromm about Hitler. In the section «Publications and Reports» are published previously unknown or little-known publicistic works by a famous Russian scientist D. Mendeleev (published by I. Motchalov), and an article by O. Muravyova «The senseless Shame of Hatred...» analysing A. Pushkin's poem «To the Slawderers of Russia...» as it was seen by the poet's contemporaries.

In the «World of Art» section Tatyana Cherednitchenko tells the story of «musical entertainments» and «culture of joy of the past and the present».

In the «Book Review» section Victor Kamyranov gives the account of A. Adamovitch's prose; Pavel Basinsky is reviewing recently published novel of the late Dmitry Golubkov; Anatoly M. Kuznetsov writes on the publication of the novels by famous philosopher Alexey Losev; Ye. Oznobkina — on the collection of works by philosopher Marab Mamardashvily; Tatyana Buschuyeva — on the study about general A. Vlasov and The Russia Liberation Army; A. Rutkevitch — on the collection of R. Aron's lectures «Democracy and Totalitarianism».

In «From the Editor's post» section Sergei Bocharov enters into polemics with the articles by Pushkin scholar Valentin Nepomnyashchy previously published in «Novy Mir».

In the «Briefly about Books» section Sergey Kostyrko and Andrey Vasilevsky are reviewing the novelties of modern prose.

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Редакция не имеет возможности ходатайствовать по частным делам.

Главный редактор **С. П. Зальгин**

Редакционная коллегия:

С. С. Аверинцев, В. П. Астафьев, А. Г. Битов, И. П. Борисова, А. В. Василевский (ответственный секретарь), Д. А. Гранин, С. П. Костырко, С. И. Ларин, Д. С. Лихачев, А. М. Марченко, П. А. Николаев, С. В. Николаев, И. Б. Роднянская, В. И. Селюнин, З. М. Фаткудинов, В. Л. Филимонов (зам. главного редактора), М. О. Чудакова, О. Г. Чухонцев

Коммерческий директор **А. О. Петров**

Технический редактор **А. С. Гинзбург**

Свидетельство о регистрации № 138 от 27 сентября 1990 г. в Министерстве печати и массовой информации РСФСР.

Адрес редакции: 103806, ГСП, Москва, К-6, Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 200-08-29.

Сдано в набор 20.02.94 г. Подписано к печати 6.04.94 г. Оригинал-макет изготовлен на компьютерах редакции журнала «Новый мир». Формат бумаги 70x108 1/16. Бумага кн.-журн. Высокая печать. Объем 16 п. л. (22,4 усл.-печ. л., 22,58 усл. кр.-отт.). 28,02 уч.-изд. л.

Тираж 53 200 экз. Зак. 1592. Цена: в России — 290 р., в странах СНГ — 500 р.

При участии издательства «Известия». Москва, Пушкинская пл., 5.
Типография имени И. И. Скворцова-Степанова издательства «Известия».
103798, Москва, Пушкинская пл., 5.

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 1994 ГОДА И В 1995 ГОДУ «НОВЫЙ МИР» ПРЕДПОЛАГАЕТ ОПУБЛИКОВАТЬ:

ВИКТОР АСТАФЬЕВ. *Прокляты и убиты* (роман, книга вторая);

В. БОГОМОЛОВ. *Алина* (повесть);

АНАТОЛИЙ ВИНОГРАДОВ О ВСТРЕЧЕ С ЛЬВОМ ТОЛСТЫМ (публикация Станислава Айдиняна);

РЕНАТА ГАЛЬЦЕВА. *Борьба с логосом* (эссе);

ДАНИИЛ ГРАНИН. *Бегство в Россию* (роман);

А. ДАНИЛИН. «*Бог века сего*» (заметки психиатра);

МОДЕСТ КОЛЕРОВ. *Самоанализ интеллигенции как политическая философия* (эссе);

Н. КОРЖАВИН. *В соблазнах кровавой эпохи* (воспоминания, часть вторая);

АНДРЕЙ КУРАЕВ. *Новомодные соблазны* (Рерихи: оккультизм для интеллигенции);

НЕИЗВЕСТНЫЕ ПИСЬМА С. Н. БУЛГАКОВА. 1918—1923 гг.;

ОЛЕГ ПАВЛОВ. *Казенная сказка* (роман);

ЛЮДМИЛА ПЕТРУШЕВСКАЯ. Д* элегии (строки разной длины);

АНДРЕЙ ПЛАТОНОВ. *Неизданные рукописи. Документы к биографии* (из архива М. А. Платоновой);

Н. Н. ПОКРОВСКИЙ. *Политбюро и Церковь. 1922—1923* (три архивных дела);

АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН. «Русский вопрос» к концу XX века;

И. СУРАТ. *Об одном пушкинском стихотворении* (эссе);

БЕЛЛА УЛАНОВСКАЯ. *Деревенские рассказы*;

ЮЛИЙ ШРЕЙДЕР. *Ценности, которые мы выбираем* (эссе);

ДОРА ШТУРМАН. *Дети утопии* (фрагменты идеологической автобиографии);

ДМИТРИЙ ШУШАРИН. *Возвращение в контекст* (эссе);

а также новые произведения АЛЕКСАНДРА БОРОДЫНИ, ГЕОРГИЯ ВЛАДИМОВА, БОРИСА ЕКИМОВА, АНАТОЛИЯ КИМА, АЛЕКСАНДРА КУШНЕРА, ЮЛИИ ЛАТЫНИНОЙ, ВЛАДИМИРА МАКАНИНА, ОЛЕСИ НИКОЛАЕВОЙ, МАРИНЫ ПАЛЕЙ и других авторов.

СЛЕДИТЕ ЗА НАШИМИ АНОНСАМИ!